

# Русская литература

№ 2

И С Т О Р И К О - Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й   Ж У Р Н А Л

1962

*Год издания пятый*

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Я. Лебедев. Салтыков-Щедрин и русские критики К. Маркса и Ф. Энгельса	3
С. Рейсер. Против кого направлена статья В. И. Ленина «Памяти Герцена»	27
Е. Дрыжакова. Проблема «русского деятеля» в творчестве Герцена 40-х годов (от «Кто виноват?» к повести «Долг прежде всего») . . . . .	39
В. Базанов. Добролюбов и народознание . . . . .	52
К. Давлетов, В. Гацак. О происхождении народного героического эпоса . . . . .	76
В. Пропп. Об историзме русского эпоса (ответ академику Б. А. Рыбакову)	87
А. Квятковский. Ритмология народной частушки . . . . .	92
П. Выходцев. Поэзия наших дней и фольклорные традиции . . . . .	117

## П У Б Л И К А Ц И И   И   С О О Б Щ Е Н И Я

В. Малышев. История первого издания Жития протопопа Аввакума . . . . .	139
А. Десницкий. 1766 год как год рождения И. А. Крылова . . . . .	148
А. Могилянский. М. Ф. Орлов и драматург Н. И. Селявин . . . . .	158
Г. Дейч. Письма А. Е. Розена к М. А. Назимову . . . . .	163
А. Степанов. Новое письмо Н. В. Гоголя к Н. М. Языкову . . . . .	168
И. Ковалев. К биографии Н. Г. Чернышевского . . . . .	171
М. Костова. Три неоконченных произведения В. М. Гаршина . . . . .	175
М. Долинский, С. Черток. Последний путь Чехова . . . . .	190
В. Афанасьев. Неизвестные очерки Куприна . . . . .	202
П. Ширмаков. Новое об А. И. Куприне . . . . .	205
И. Юдина. Из неопубликованных произведений Н. Г. Гарина-Михайловского . . . . .	213
Н. Панченко. Неопубликованные письма Александра Блока . . . . .	215

*(См. на обороте)*

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Л Е Н И Н Г Р А Д

ЗАМЕТКИ, УТОЧНЕНИЯ

П. Берков. О пародии И. А. Крылова «Ветер ветра ветром гонит» (217). — Ю. Левин. Об обстоятельствах смерти А. А. Бестужева-Марлинского (219). — Б. Егоров. Об источниках двух переводов Н. А. Добролюбова (222). — М. Теплинский. Была ли у Чехова комедия «Генерал Кокет»? (222). — Я. Лаурье. Повесть XV века и фильмы XX века (226).

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Г. Дик (ГДР). Чехов в Германии . . . . .	229
Н. Пруцков, М. Мальцев. Актуальные проблемы эстетики В. Г. Белинского	233
Ф. Прийма. К спорам о поэтическом наследии Н. А. Некрасова . . . . .	239
А. Ходюк. Новое издание сочинений А. Н. Толстого . . . . .	249
В. Тимофеева. Маяковский и литература его эпохи . . . . .	253
ХРОНИКА . . . . .	260

---

**Редакционная коллегия:**

В. Г. БАЗАНОВ (главный редактор), А. С. БУШМИН, В. Е. ГУСЕВ,  
В. А. КОВАЛЕВ, Ф. Я. ПРИЙМА, Вс. А. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ,  
В. В. ТИМОФЕЕВА

Отв. секретарь редакции А. А. Горелов

Адрес редакции: Ленинград, В-164, наб. Макарова, д. 4. Тел. А 2-42-24

---

*Журнал выходит 4 раза в год*

## САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН И РУССКИЕ КРИТИКИ К. МАРКСА И Ф. ЭНГЕЛЬСА

В середине 70-х годов прошлого века, когда внимание автора «Истории одного города» и «Дневника провинциала в Петербурге», «Господ ташкентцев» и «Благонамеренных речей» было приковано к коренным вопросам социальной жизни и освободительной борьбы и когда он со все более усиливавшейся энергией сосредоточивался на разоблачении основ старого мира, разгорелась полемика между Ф. Энгельсом и русским публицистом-народником П. Ткачевым. Важнейшими вопросами, поднятыми П. Ткачевым в его «Открытом письме господину Фридриху Энгельсу» и вызвавшими достойные ответы последнего, были вопросы о русском государстве и задачах русской революции. Ф. Энгельс, как известно, в своих статьях об эмигрантской литературе наголову разгромил бакуниста П. Ткачева, дававшего «совершенно превратное представление о положении дел в России».<sup>1</sup>

Читая пятую статью об эмигрантской литературе — «О социальном вопросе в России», нельзя не вспомнить чрезвычайно близкие по смыслу и всему духу своему картины русской жизни в произведениях Салтыкова-Щедрина. Ф. Энгельс в своих выступлениях против П. Ткачева решал вопросы, которые живейшим образом волновали нашего сатирика.

О том, что Салтыков-Щедрин, вероятно, должен был знать о полемике между Ф. Энгельсом и П. Ткачевым, писали М. С. Ольминский, Д. О. Заславский, В. Я. Кирпотин. Мнение, высказанное этими исследователями, не встречало возражений, но все же оно нуждается в фактических подтверждениях.

М. Е. Салтыков прибыл в Германию в конце апреля 1875 года, т. е. к тому времени, когда в газете «Der Volksstaat» завершалась печатью серия статей Ф. Энгельса об эмигрантской литературе. Пятая статья из этой серии — «О социальном вопросе в России» — была напечатана в газете «Der Volksstaat» в №№ 43, 44, 45 от 16, 18, 25 апреля 1875 года и вышла отдельной брошюрой в Лейпциге в том же 1875 году.

Во время пребывания Салтыкова в Баден-Бадене, с 27 апреля по 5 сентября 1875 года, он встречался там с Г. З. Елисеевым и П. В. Анненковым. К. Маркс и Ф. Энгельс были знакомы Анненкову лично. У Анненкова, переписывавшегося с Марксом в 40-х годах, хранилось, среди других, обстоятельное письмо последнего от 28 декабря 1846 года, где наряду с критикой «Философии нищеты» Прудона мы находим одно из ранних у Маркса обоснований теории исторического материализма. В период своих зарубежных встреч с Салтыковым (а встречи эти были весьма дружественными, теплыми) Анненков работал над созданием своих известных мемуаров. К написанию «Замечательного десятилетия», где был нарисован колоритный портрет К. Маркса, где говорилось о лич-

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 18, стр. 527.

ности Ф. Энгельса, сподвижника Маркса, и где приводились обширные извлечения из отмеченного письма Маркса, Анненков вплотную приступил осенью 1875 года.

Интерес соредактора Салтыкова-Щедрина по «Отечественным запискам» Г. З. Елисеева к автору «Капитала» также известен. В 1869 году, полемизируя на страницах «Отечественных записок» с Ю. Жуковским по вопросам о движении народонаселения в России и о материальном положении трудящихся, Елисеев писал: «... я считаю нужным поставить мои доводы под защиту ученого авторитета. Таким авторитетом я избираю даровитейшего и честнейшего из современных политико-экономов, Маркса, известного своим сочинением: „Das Kapital“, 1867».<sup>2</sup>

В конце 60-х—первой половине 70-х годов имена Маркса и Энгельса неоднократно фигурировали на страницах «Отечественных записок». Большие выдержки из первого тома «Капитала» приводил в статье «Дарвинизм и общественная наука» (1870) Н. К. Михайловский. Мы уже не говорим об отзыве Михайловского на русский перевод первого тома «Капитала» в апрельской книге «Отечественных записок» за 1872 год. В 1870 году, за два года до появления русского перевода первого тома «Капитала», одна из его глав — «Рабочий день» — была напечатана в «Отечественных записках» в изложении и местах в переводе В. Покровского.<sup>3</sup> Осенью 1871 года Салтыков, ознакомившись с очерком истории Первого Интернационала и Парижской коммуны, написанным на основе документов, принадлежащих перу К. Маркса («Учредительного манифеста международного товарищества рабочих», «Гражданской войны во Франции»), В. И. Танеевым, уговорил последнего дать его для напечатания в «Отечественных записках». Из заметки «Михайловский», написанной также В. И. Танеевым, можно заключить, что и сама идея написать очерк об Интернационале и Парижской коммуне была внушена ему М. Е. Салтыковым-Щедриным. По цензурным причинам очерк этот не смог появиться в журнале. «Таким образом Салтыков, — заключает из этих фактов С. А. Макашин, опубликовавший среди ряда других мемуарных материалов о сатирике воспоминания В. И. Танеева, — предпринял попытку напечатать в „Отечественных записках“ статью в защиту Первого Интернационала и Парижской коммуны, притом статью, основанную преимущественно на суждениях и оценках Маркса. Интерес этого факта для идейной биографии Салтыкова не умаляется тем обстоятельством, что Танеев допустил в своей статье (она сохранилась в бумагах автора) ряд ошибок и несообразностей. Не все идеи Маркса были им поняты правильно. Но он высоко оценивал заслуги Маркса в деле создания первой международной революционной организации пролетариата, возлагал большие надежды на деятельность этой организации и солидаризировался с Марксовой оценкой исторического подвига Парижской коммуны».<sup>4</sup>

В № 7 «Отечественных записок» за 1871 год имя Ф. Энгельса упоминалось в рецензии на сочинения Н. В. Шелгунова. В отличие от многих чисто популяризаторских статей Шелгунова, говорилось в этой рецензии, статья «Рабочий пролетариат в Англии и во Франции» «представляет больше единства и однообразия, но это потому, что она составлена по Энгельсу... Из всех подобного рода очерков, во множестве появлявшихся в русской журналистике 60-х годов, этот очерк отли-

<sup>2</sup> Гр. Елисеев. Ответ на критику. «Отечественные записки», 1869, № 4, стр. 347.

<sup>3</sup> В. П. Что такое рабочий день? (По Марксу, Das Kapital. Hamburg, 1867). «Отечественные записки», 1870, № 4, стр. 407—434.

<sup>4</sup> М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. Предисловие, подготовка текста и комментарии С. А. Макашина. Гослитиздат, 1957, стр. 556—557.

чается наибольшей полнотой, обстоятельностью и прекрасным изложением».<sup>5</sup>

Факты эти сами по себе естественно наводят на мысль, что русский вопрос на европейской арене, вопрос, с такой остротой возникший в полемике между Ф. Энгельсом и П. Ткачевым и получивший столь определенное и яркое освещение под пером Ф. Энгельса, должен был привлечь к себе внимание литераторов круга «Отечественных записок».

В статьях Ф. Энгельса были выведены на свежую воду явно недобросовестные, клеветнические «методы» спора, к которым прибегал П. Ткачев в своем «Открытом письме господину Фридриху Энгельсу» (Ткачев обвинял Энгельса в «невежестве», намеревался «обуздать» его «дерзость» и пр.), подвергалась уничтожающему анализу социально-философская концепция П. Ткачева — народника-анархиста, бакуниста.

К тому времени и со стороны редакции «Отечественных записок» к П. Ткачеву установилось явно критическое и настороженно-враждебное отношение. Напомним эпизод из полемики редакции «Отечественных записок» с П. Ткачевым.

В № 1 «Отечественных записок» за 1869 год была напечатана рецензия на книгу «Женский труд в применении к различным областям промышленной деятельности...», переведенную под редакцией и с приложением статьи П. Н. Ткачева «Женский вопрос». В рецензии этой критиковались вульгарно-экономические рассуждения Ткачева, его ложные исторические представления. В ней говорилось о том, что «Ткачев очень мало знаком как с социальной наукой вообще, так и с женским вопросом в особенности», и делалось заключение, что «женский вопрос» «в окончательном результате сводится не к тому, чтобы заставить женщину идти по той или другой дороге», т. е. избрать ту или иную трудовую профессию, «а к тому, чтобы дать ей свободное и независимое положение в обществе».<sup>6</sup>

В № 2 «Дела» за 1869 год П. Ткачев, недовольный рецензией «Отечественных записок», выступил с ответной статьей, в которой пытался вывести свои сумбурные воззрения из теории Маркса. Он обрушился на рецензента «Отечественных записок» с рядом оскорблений и осмелился прямо угрожать редакции журнала. Ввиду этого «Отечественные записки» вынуждены были ответить, что считают ниже своего достоинства полемизировать с П. Ткачевым, принявшим высокомерный и грубый тон, и предоставляют себе «решительное право не обращать внимания и не отвечать ни словом на голословную брань и наездничества, выходящие из всяких пределов литературного приличия».<sup>7</sup>

Вопрос о государстве, являвшийся одним из главных в полемике между Ф. Энгельсом и П. Ткачевым, стоял в то время в центре внимания Салтыкова-Щедрина. Для сатирика это был вопрос об одной из «существеннейших основ» эксплуататорского общества. Основы эти — собственность, собственническая семья, паразитическое государство, религия — были постоянными объектами его критики. В 70-х годах разоблачению фальши, «призрачности», исторической обреченности этих «основ» он посвятил самые выдающиеся свои произведения.

Полагая уже законченным свой цикл «Благонамеренных речей», Салтыков-Щедрин в добавление к нему написал специальный очерк «В погоню за идеалами», в котором первенствующее внимание уделил проблеме «теоретической разработки идеи государства».<sup>8</sup> В общем строе

<sup>5</sup> «Отечественные записки», 1871, № 7, стр. 39.

<sup>6</sup> Там же, 1869, № 1, стр. 113, 114.

<sup>7</sup> Там же, № 3, стр. 126.

<sup>8</sup> Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. XI, ГИХЛ, 1934, стр. 449. В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте.

и стиле «Благонамеренных речей» очерк «В погоню за идеалами» выделяется своей публицистической остротой и воинственно-теоретическим пафосом. Отвергая буржуазную науку о государстве, стоящую на страже интересов господствующих классов и пропагандирующую ложную идею о надклассовости государства, писатель-демократ исходит из идеи «высшей правды» и интересов угнетенных «масс». Не возвысившись до марксистского понимания проблемы государства, Салтыков-Щедрин сумел постичь порочность бакунистско-народнических идей и построений и в известной мере приблизиться в своем понимании государства к автору статей об эмигрантской литературе — Ф. Энгельсу.<sup>9</sup>

Очерк «В погоню за идеалами» явился результатом наблюдений и размышлений Салтыкова-Щедрина на протяжении целого года его «скитаний» за границей (XI, 450), т. е. на протяжении того самого 1875—1876 года, который последовал после полемики Ф. Энгельса с П. Ткачевым. Салтыков-Щедрин спорил в своих теоретических размышлениях о государстве, в частности, с теми «русскими людьми», по мнению которых российское государство являлось не «продуктом собственной истории», а «случайною административною подделкой» (XI, 449). Эти слова его прямо попадали в адрес П. Ткачева, утверждавшего, что в России нет ни буржуазии, ни пролетариата, что русское государство «висит в воздухе», «не имеет ничего общего с существующим социальным строем».<sup>10</sup>

Резко и прямо писал Салтыков-Щедрин в очерке «В погоню за идеалами» о буржуазном характере французского и германского государства. О российском же государстве он должен был писать окольно, при помощи художественных «примеров» и по возможности избегая прямых определений. Но он дал ясно понять, что государство это, как и в западных странах, представляет собой корпорацию грабителей, которая выполняет волю и защищает интересы старых и новых столпов общества — помещиков и капиталистов.

Государство в Германии, писал сатирик, это — «право сильного», оружие милитаристской клики, держащей массы «в плену», это «борьба» «со всем, что чувствует себя утесненным» в пределах этого государства (XI, 452). Во Франции, утверждал он, «государство и все, что до него относится», находится «на откупу у буржуазии» (XI, 454). Глубокая правда была в горестном заключении писателя, что в республиканской Франции, как и в монархических странах — России и Германии, массы «коснеют в полном неведении чувства государственности». В глазах Салтыкова-Щедрина французская буржуазная республика с разжиревшими буржуа во главе, в тылу и на флангах была так же враждебна массам, как и российская или германская монархия. Сравнивая российскую монархию с республикой «заатлантических друзей» — Соединенными Штатами Америки, Салтыков-Щедрин со свойственной ему проныей писал, что царизм — своего рода «идеальная» республика, республика, сосредоточенная в одном лице.

Ф. Энгельс писал П. Лафаргу 6 марта 1894 года: «Да! Но ведь у нас во Франции республика, скажут нам экс-радикалы... республика, как всякая другая форма правления, определяется по своему содержанию; пока она является формой буржуазной демократии, она так же враждебна нам, как любая монархия...»<sup>11</sup>

Намеки на то, что написание очерка «В погоню за идеалами» было вызвано особыми обстоятельствами, мы находим в переписке Салтыкова.

<sup>9</sup> Подробный анализ очерка «В погоню за идеалами» и оценку заслуг Салтыкова-Щедрина в трактовке проблемы государства см. в кн.: В. Кирпотин. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. «Советский писатель», М., 1955, стр. 345—351.

<sup>10</sup> П. Н. Ткачев, Избранные сочинения, т. 3, М., 1933, стр. 92.

<sup>11</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXIX, стр. 291.

24 марта 1876 года он писал Н. А. Некрасову из Ниццы по поводу этого очерка, посланного для напечатания в «Отечественных записках»: «Очень неприятно, что я долго засиделся за границей: отсутствующему очень трудно писать статьи по текущим вопросам. Я и теперь думаю, что статья моя уже опоздала и будет трактовать об деле, которое все уже позабыли» (XVIII, 354—355). Тяжелая болезнь помешала сатирику своевременно, без опозданий откликнуться на «дело», на «текущий вопрос». Каким был этот «текущий вопрос», из приведенных данных и наблюдений нетрудно заключить. Добавляя к «Благонамеренным речам» очерк «В погоню за идеалами», Салтыков-Щедрин, конечно, понимал, что проблема «государственности», на которую он откликался, хотя и с «опозданием», еще долго будет оставаться злободневной и для России, и для стран Запада.

В «Убежище Монрепо» Салтыков-Щедрин писал о чтении Маркса. Это единственное прямое упоминание имени основоположника научного коммунизма в произведениях писателя-демократа заслуживает пристального интереса. Важнейшие социально-экономические и философско-исторические идеи «Убежища Монрепо», написанного и опубликованного в 1878—1879 годах, должны быть рассмотрены не только в связи с вопросами русской исторической жизни и литературы эпохи в широком смысле, но и в связи с полемикой о К. Марксе и его «Капитале», развернувшейся в 1877—1879 годах в русской периодической печати. В этой полемике, как известно, живейшее участие приняли «Отечественные записки», во главе которых в качестве ответственного редактора стоял М. Е. Салтыков-Щедрин.

Упоминание имени Маркса в «Убежище Монрепо» не было ни случайным, ни безотчетным. Великий наш сатирик никогда не был склонен к жонглированию именами. В насыщенной революционными событиями грозовой атмосфере 1879 года, «страшного года», как его называл сатирик (см. «Круглый год»), когда в ответ на революционный народо-вольческий террор царское правительство обрушилось массовыми репрессиями на освободительное движение и демократическую печать, в обстановке свирепствовавшего тогда «цензурного бешенства» (выражение Щедрина), когда над «Отечественными записками» после второго предупреждения, сделанного журналу 14 февраля этого года, нависла прямая угроза, Салтыков-Щедрин писал о чтении Маркса, наряду с произведениями других социалистов и русскими революционными зарубежными изданиями.

Сентябрьская книжка «Отечественных записок» за 1879 год, где печатались глава «Finis Монрепо» (в этой главе и говорилось о чтении Маркса) и глава из «Круглого года», подверглась аресту и последовавшим цензурным изъятиям (были изъяты страница из «Finis Монрепо» и половина главы из «Круглого года»). В этих условиях сатирику приходилось прибегать к самой изощренной эзоповской изобретательности. Имя Маркса упоминалось автором «Убежища Монрепо» явно сочувственно, хотя и в очень своеобразном контексте.

Пользуясь приемом, посредством которого ему удавалось намеками, а часто и без обиняков высказывать свои сокровенные мысли устами отрицательного персонажа, автор «Убежища Монрепо» писал от лица помещика Прогорелова, бывшего либерала-фрондера: «Допустим, что я действительно „недоволен“ и с своей личной точки зрения, и с более общей, философской. Допустим, что я, возлежа на одре, читаю Кабе, Маркса, Прудона и даже — horribile dictu! — такую заразу, как „Вперед“ или „Набат“» (XIII, 126).

Ирония Салтыкова-Щедрина в данном случае, как и во множестве других подобных, очень оригинальна и многогранна по своему значению. Она излучает одновременно ряд смысловых потоков и может быть

понята лишь с учетом всеобrazia его идейной позиции и особенностей его теоретического и художественного мышления.

Читатели, следившие за творчеством «знаменитого», «маститого» русского сатирика (а так его называли тогда и друзья и недруги — критики реакционного лагеря), должны были поставить в прямую связь суждение о криминальном с точки зрения тогдашних российских властей чтении Маркса человеком «действительно „недовольным“ и с своей личной точки зрения, и с более общей, философской» с мотивами политической сатиры «Признаков времени», «Дневника провинциала в Петербурге», «Господ ташкентцев», «Помпадуров и помпадурш» и других произведений, где обличались, хлестко высмеивались и карались гневным словом Щедрина гонители коммунизма, враги «Интернационалки» и Парижской коммуны. Ведь не только благочестивые и невежественные реакционные журналисты из газеты «Честлюбивая просвирня», противники «вредного коммунизма», ташкентцы — «крестonosцы» реакции и помпадуры «борьбы», открывшие изуверский контрреволюционный поход против «сочувствия коммунизму» (IX, 198) и «яда, погубившего Францию» (IX, 190), но и либеральные пенкосниматели, как показывал сатирик, старались парализовать влияние идей революционного коммунизма, проникавших в Россию из-за рубежа. Либеральный публицист Менандр Прелестнов, изображенный в «Дневнике провинциала в Петербурге», призывал «не расплываться». «Чтобы ни о социализме, ни об интернационалке... упаси бог!» — предупреждал он (X, 394).

Фантастическая «мирная» Икария Кабе или реакционная мелкобуржуазная утопия Прудона были для пенкоснимателей и господ ташкентцев явлениями относительно безопасными. Некоторые из них порою сами доходили до «заблуждений». Великосветская распутница мадам Персианова, напумевшая своими скандальными приключениями в Париже и по всей Европе («Господа ташкентцы»), даже «ездил... с визитом к Прудону» (X, 115), этому, как писал о нем Ф. Энгельс, «социалисту Второй империи».<sup>12</sup>

Стоит отметить, по крайней мере как факт, что «старинных утопистов», современных ему западноевропейских реакционных мелкобуржуазных «социалистов»-реформаторов типа Прудона и русских утопистов и мелкобуржуазных революционеров — народников Салтыков-Щедрин неоднократно подвергал глубокой и резкой критике и что критические суждения или хотя бы малейшие иронические замечания в адрес Маркса и Энгельса у нашего сатирика-демократа вовсе отсутствуют.

Немаловажный материал для ответа на вопрос, в каком свете следует воспринимать суждение сатирика о чтении Маркса, дает содержание самого «Убежища Монрепо», где упомянуто имя Маркса.

По своей общей идейной концепции «Убежище Монрепо» представляет собою картину исторических судеб правящих классов русского общества. Феодалное дворянство, не сумевшее усвоить буржуазной практики и науки «о накоплении богатств», как показывал Салтыков-Щедрин, в эпоху наступления буржуазного хищничества неизбежно должно было оказаться не у дел и выродиться в «чин» пропавших людей. В эту эпоху, как писал автор «Убежища Монрепо», незыблемыми могли оставаться только крупнейшие землевладельцы — «из тех, которых уж никакие изъятия застать врасплох не могут». Помещиков Прогореловых, «обиженных» реформой 1861 года, обреченных на вымирание в своих последних «убежищах», в своих «гробах», безжалостно вытесняли и изгоняли «новые столпы общества» — «вселенские» кровопивцы-капи-

<sup>12</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 18, стр. 227.



талисты. Этих последних, утверждал писатель, история, в свою очередь, произведет в чин пропащих людей, и произойдет это тогда, когда сама жизнь выработает в недрах буржуазного строя «нового сорта утехи». Пусть, говорил писатель, грабительские интересы Разуваевых и прочих кровопийственных дел мастеров защищают и самодержавная власть, и церковь (образы станового Грацианова и «батюшки»), пусть их «вселенское торжество» не знает ни границ, ни определений, придет и их пора. Трудовой народ, освободившись от ига «бессознательности», разрушит «краеугольные камни» и все «величественные здания», которые на них покоятся. Настанет время народного «подвига», суда истории. Так мыслил и писал Салтыков-Щедрин.

Мнение о том, что наш писатель-демократ не понимал прогрессивной роли капитализма в развитии производительных сил, науки, техники или что к признанию этой роли он подошел лишь в 80-х годах, не согласуется с фактами. Еще в «Письмах о провинции» Салтыков-Щедрин специально останавливал свое внимание на вопросе о «развитии производительных сил страны», о материально-техническом и культурном прогрессе в пореформенных условиях. Он указывал на то, что российский буржуазный прогресс сковывается кабальной зависимостью «свободного» крестьянина от помещика, от полуфеодальной помещичье-буржуазной монархии. Он указывал на то, что буржуазный прогресс осуществляется за счет не знающей удержу эксплуатации трудящихся. «Нам тяжело жить, — писал Салтыков-Щедрин в «Письмах о провинции», — это правда; нам тяжелее, нежели отцам нашим — и это опять правда, но не оттого совсем, чтобы условия современной жизни изменились к худшему, а оттого, что они *мало изменились к лучшему*» (VII, 274). В этих словах была выражена щедринская и вместе с тем глубоко истинная философия пореформенного русского экономического и общественного процесса. Салтыков-Щедрин настойчиво твердил о необходимости решительного раскрепощения производительных сил страны и исследующей, творческой мысли. «... Первоначальные источники, которые питают жизнь общества, — писал он, — до такой степени изменились в своей сущности, что требуют совершенно иных приемов против тех, которые прежде казались удовлетворительными... в нас нет достаточной решимости, чтоб последовательно вступить на новый путь, ... нас все еще соблазняет арсенал «прежних приемов», который и будет продолжать запутывать соображения наши до тех пор, пока мы окончательно не решимся отвернуться от него» (VII, 327—328). В своих письмах о положении и исторических судьбах России — именно так нужно понимать его письма о «провинции» — писатель ратовал за сознательное и активное участие трудовых масс в разрешении противоречий современности, за ликвидацию помещичье-буржуазной монархии и всех пережитков феодально-крепостнической эпохи, за такое развитие общественных производительных сил и такой научно-технический прогресс, которые отвечали бы интересам угнетенных и эксплуатируемых масс.

В предисловии к первому изданию «Капитала» Маркс писал о Германии: «... мы, как и другие континентальные страны Западной Европы, страдаем не только от развития капиталистического производства, но и от недостатка его развития. Наряду с бедствиями современной эпохи нас гнетет целый ряд унаследованных бедствий, существующих вследствие того, что продолжают прозябать стародавние, изжившие себя способы производства и сопутствующие им устарелые общественные и политические отношения. Мы страдаем не только от живых, но и от мертвых. *Le mort saisit le vif!* [Мертвый хватает живого!]<sup>13</sup>».

<sup>13</sup> Там же, т. 23, стр. 9.

Что пережитки устарелых феодальных экономических, общественных и политических отношений кошмаром тяготели над Россией, задерживая ее развитие во всех жизненных сферах, Салтыков-Щедрин писал во многих, чуть ли не во всех своих произведениях 60—80-х годов. Он мужественно боролся за освобождение социальной и научной мысли из-под опеки жандармов и церковников, с восторгом говорил о добрых гениях изобретательства, гениях литературы, служащей воплощением лучших стремлений и идеалов человечества. Разумеется, Губошлеповы, Разуваевы, Деруновы, Кубышкины, Поляковы, Кокоревы и всякого рода иные хищники, подрядчики, менялы, промышленники, финансисты не могли являться сатирику в образах добрых гениев человечества. Они ими никогда не были.

Взгляды Салтыкова-Щедрина на буржуазный прогресс не оставались неизменными. С течением времени они становились глубже и проникновеннее. Ф. Энгельс писал в работе «К жилищному вопросу»: «Существование господствующего класса с каждым днем становится все большим препятствием развитию производительной силы промышленности и точно так же — развитию науки, искусства, а в особенности культурных форм общения. Больших невежд, чем наши современные буржуа, никогда не бывало».<sup>14</sup> А Салтыков-Щедрин во «Введении» к «Мелочам жизни», с возмущением говоря об агрессивных намерениях и действиях крупных западноевропейских буржуазных держав и, в частности, милитаристской Германии, о раздувании военного психоза, «фабрикация испугов» в умах «простецов», защищал права малых народов на самостоятельную жизнь и говорил далее: «Добрые гении пролагают железные пути, изобретают телеграфы, прорывают громадные каналы, мечтают о воздухоплавании, одним словом, делают все, чтоб смягчить международную рознь; злые, напротив, употребляют все усилия, чтобы обострить эту рознь. Политиканство давит успехи науки и мысли и самые существенные победы последних умеет обращать исключительно в свою пользу» (XVI, 419). В очерках «За рубежом» писатель призывал «рассмотреть резон», на основании которого буржуа, «алячущие наживы», находят «возможным существовать, а затем в этой беспылашной массе отыскать, если возможно, и человека, который имеет понятие о „существенных средствах“, который помнит свой вчерашний день и знает наверное, что у него будет и завтрашний день» (XIV, 75). В заключительной главе очерков «За рубежом» писатель говорил о «светящихся городах» Бельгии с ее «неусыпающими фабриками и заводами»: «Вот-то где доподлинно добываются исторические утешения! думалось мне, и воображение рисовало целые картины процесса этого добывания» (XIV, 272). Какие это были «картины», об этом можно только догадываться. Но нельзя забывать при этом, что промышленная Бельгия представляла собою в ту эпоху арену жесточайших классовых битв, арену кровавых расправ буржуазии над рабочим классом, открытой борьбы рабочих масс, поддержанной Интернационалом Маркса. При мысли о «доподлинном добывании исторических утешений» Салтыкова-Щедрина тревожил лишь трудный и неразрешимый для него вопрос о личном практическом участии в освободительной борьбе. Перед писателем-демократом, сопоставлявшим исторический опыт России и стран Запада, всей острее и настоятельней вставал «рабочий вопрос». В очерках «За рубежом» и во «Введении» к «Мелочам жизни» он писал о необходимости разработки рабочего вопроса на российской почве. Салтыков-Щедрин с восторгом отзывался о французском рабочем, умеющем не только чрезвычайно ловко, скоро, горячо работать, но и «делать революцию» (XIV, 171). У русского человека, изу-

<sup>14</sup> Там же, т. 18, стр. 216.

чающего западную жизнь, писал он, «на родине остались массы рабочего люда, которые тоже могут дать пиццу самой широкой любознательности» (XIV, 192). Все это — свидетельства прозрачности Салтыкова-Щедрина, сумевшего понять противоречия современного ему капиталистического общества настолько глубоко, насколько это позволяло его революционно-демократическое мировоззрение.

«Убежище Монрепо», являющееся в этой статье предметом ближайшего интереса, занимает в развитии взглядов сатирика на характер и судьбы российского капитализма одно из важнейших мест. Это своего рода идейно-художественный итог, к которому он пришел к исходу 70-х годов, и отправная позиция для его дальнейших исследований и исканий в 80-х годах.

Говоря в «Убежище Монрепо» о российской буржуазии, которой удалось в короткий срок «опутать все наши палестины», Салтыков-Щедрин указывал на ее невежество, первобытную дикость и на вопиющий антагонизм между «новыми столпами общества» и обглоданной деревней, из которой рекрутировались первые ряды только что возникавшего российского пролетариата. Именно эти особенности российской буржуазии и этот антагонизм выделял и Ф. Энгельс в своей известной характеристике социальных отношений в России. Опровергая народнические бакунистские измышления П. Ткачева, Ф. Энгельс писал: «...нет другой такой страны, в которой при всей первобытной дикости буржуазного общества был бы так развит капиталистический паразитизм, как именно в России, где вся страна, вся народная масса придавлена и опутана его сетями. И все эти кровопийцы, сосущие крестьян, все они несколько не заинтересованы в существовании русского государства, законы и суды которого охраняют их ловкие и прибыльные делишки!

Крупная буржуазия Петербурга, Москвы, Одессы, развившаяся с неслыханной быстротой за последние десять лет, в особенности благодаря строительству железных дорог, и задетая последним кризисом самым живейшим образом, все эти экспортеры зерна, пеньки, льна и сала, все дела которых целиком строятся на нищете крестьян, вся русская крупная промышленность, существующая только благодаря пожалованным ей государством покровительственным пошлинам, — разве все эти влиятельные и быстро растущие элементы населения не заинтересованы в существовании русского государства? Нечего уж и говорить о бесчисленной армии чиновников, наводняющей и обворовывающей Россию и образующей там настоящее сословие».<sup>15</sup>

Полемика о «Капитале» началась в русской прессе спустя два года после опубликования статей Ф. Энгельса об эмигрантской литературе. Участники полемики были Салтыкову-Щедрину хорошо известны. Против Ю. Жуковского, начавшего полемику статьей «Карл Маркс и его книга о „Капитале“» в «Вестнике Европы» (1877, кн. 9), Салтыков-Щедрин выступал еще в 1869 году. Вся эволюция Ю. Жуковского от литератора, стоявшего некогда близко к кругу «Современника», к либералу и чиновнику-карьеристу, защитнику устоев буржуазного общества прошла на глазах Салтыкова-Щедрина. «...Г.г. Антонович и Жуковский, — писал сатирик в 1869 году, — суть не только подлинные либералы, но и столбы... страдающие излишнюю способностью очаровываться» (VIII, 355). Требование Ю. Жуковского, чтобы «Отечественные записки» завели отдел «элементарных изложений» угодных царскому правительству экономических и общественных вопросов в пределах «легальных границ», Салтыков-Щедрин уподоблял «мудрости» «г.г. Каткова, Трубникова, Скарятинина и т. п.», «мудрости» «люблого столоначальника» (VIII, 361).

<sup>15</sup> Там же, стр. 540.

Выступивший с критикой «Капитала» проф. Б. Чичерин, самый ожесточенный противник К. Маркса, монархист и повинист (см. его статью «Немецкие социалисты. 2. Карл Маркс» в «Сборнике государственных знаний» под редакцией В. П. Безобразова, т. VI, 1878), был Салтыкову-Щедрину известен не менее, чем Ю. Жуковский. Еще начиная с 1863 года («Наша общественная жизнь») сатирик разоблачал и высмеивал Б. Чичерина как лжеученого, апостола монархической государственной школы в социальной науке и философии, закоренелого противника демократии. В ряду с другими реакционерами и мракобесами — Катковым, Леонтьевым, Громекой и пр. — Салтыков-Щедрин клеймил Б. Чичерина в своих публицистических статьях и воздал «должное» его махровой «государственной теории» в «Истории одного города».

В 1878 году в июньской книжке «Отечественных записок» предполагалось напечатать рецензию С. Кривенко на злопыхательские, клеветнически-грязные статьи Б. Чичерина о Ф. Лассале и К. Марксе, но цензурный комитет под угрозой ареста книжки добился исключения этой рецензии. В 1882 году для майской книжки «Отечественных записок» С. Кривенко переработал рецензию в статью «Маленькое величие», но и эта статья была вырезана из журнала под угрозой его ареста. С. Кривенко в своих воспоминаниях о М. Е. Салтыкове писал, что статья «Маленькое величие» Салтыкову «нравилась». Насколько статья эта представлялась Салтыкову важной, можно судить по тому, что он настоял на вторичной выплате автору гонорара (зная наперед, что С. Кривенко откажется от него) за загубленную цензурой работу.<sup>16</sup> Цензор в донесении о статье «Маленькое величие» писал: «Статья „Маленькое величие“ написана с целью уронить ученый авторитет Б. Чичерина, нынешнего московского городского головы. Автор статьи, поклонник Лассалья и Маркса, стараясь уличить Чичерина в невежестве и консерватизме, избрал для сего орудием сочинение Чичерина „История политических учений“, помещенное в „Сборнике Государственных Знаний“. В этом сочинении, по словам рецензента, Чичерин является рьяным противником и обличителем утопических учений Лассалья и Маркса, которых он якобы по своей неразвитости понять не может и защиту которых берет на себя анонимный автор рассматриваемой статьи». В конце донесения цензор заключал: «Находя, что статья эта прямо указывает на сочинения Лассалья и Маркса как на последнее слово социальной науки и тем как бы рекомендует читателям их теории, — что в ней приводится много заглавий сочинений Лассалья, у нас запрещенных, цензор находит, что посредством этой статьи распространяется вредное социалистическое учение, и полагает, что майская книжка журнала „Отечественные записки“ подлежит, на основании закона 7 июня 1872 года, аресту».<sup>17</sup>

Точно установить, что писал С. Кривенко в статье «Маленькое величие», не представляется возможным — статья эта не сохранилась. Но для нас важен самый факт неоднократных попыток журнала, во главе которого стоял Салтыков-Щедрин, выступить против клеветнических статей Б. Чичерина о Лассале и Марксе, важна достоверность прямой поддержки, какую оказывал Салтыков-Щедрин этим попыткам.

К 1879 году, когда Салтыков-Щедрин писал и публиковал «Убежище Монрепо», относится еще один важный эпизод. Н. С. Русановым, одним из ранних русских поклонников Маркса, была представлена в «Отечественные записки» большая статья «Современные проявления капитализма в России». Статья эта представляла собою энергичную и

<sup>16</sup> См.: М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников, стр. 248—249.

<sup>17</sup> Приведено в кн.: В. Евгеньев-Максимов. Очерки по истории социалистической журналистики в России XIX века. ГИЗ, М.—Л., 1927, стр. 207—208.

обоснованную критику взглядов народников на русский экономический и общественный процесс, причем автор определенно и недвусмысленно пытался опереться на теоретические воззрения марксизма. Н. Русанов противопоставлял в своей статье «марксистов» народникам и одновременно полемизировал с теми «русскими марксистами», т. е. народниками же, вроде Н. К. Михайловского, которые, признавая ученый авторитет К. Маркса, в то же время совершенно превратно излагали его взгляды, утверждая, будто Маркс возвел свой анализ капиталистических отношений в Англии во «всеобщий непреложный закон человеческих обществ». <sup>18</sup> Н. Русанов исходил в своей статье из того, что «решение вопроса о ближайшей будущности России зависит от исследования явлений чисто русской экономической среды». <sup>19</sup> Он показывал процесс разложения русской общины, процесс отделения на русской почве средств производства от производителя, приводил обширный фактический материал о пролетаризации русского крестьянства, об образовании пролетариата, росте деревенской и городской буржуазии, о развитии капитализма в центральных губерниях России, «где готовится ядро пролетариата... и где, без сомнения, возникает начало классового самосознания „рук“, которым, по капиталистическому воззрению, иметь „голову“ воспрещается». <sup>20</sup>

С точки зрения исторической определенное положительное значение статьи Н. Русанова не снимается некоторыми ошибками народнического толка, которые им самим были допущены. <sup>21</sup> Это положительное в содержании статьи было оценено Салтыковым-Щедриним. В редакции «Отечественных записок» статья вызвала разногласия. «Щедрин, — вспоминал Н. Русанов, — высказался за, Михайловский колебался, решительно восстал против нее за „антинароднический дух“ Елисеев...» <sup>22</sup> Отвергнутая в «Отечественных записках», статья Н. Русанова была вскоре напечатана в первой и второй книжках «Русского богатства» за 1880 год. Первая книжка была преподнесена Салтыкову-Щедрину редактором «Русского богатства» Н. Н. Златовратским.

Отмеченные здесь факты и эпизоды ясно показывают, что имя К. Маркса отнюдь не было для автора «Убежища Монрепо» ни новостью, ни темным именем, ни просто именем еще одного из утопистов. Ведь суждения, споры о Марксе затрагивали тогда животрепещущие вопросы русской жизни, без самого кровного интереса к которым вообще невозможно представить себе Салтыкова-Щедринина как писателя, общественного деятеля и человека.

К. Маркс считал своих русских критиков Ю. Жуковского и Б. Чичерина бездарными и ничтожными эпигонами вульгарной экономии Сея и Бастиа, не достойными не только ответа с его стороны, но даже и какого-либо серьезного внимания. Салтыков-Щедрин в своих произведениях 70—80-х годов неоднократно высмеивал буржуазных экономистов, поклонников Сея и Бастиа. Таковы у него «наш маститый экономист» Грызунов в «Письмах к тетеньке», Валерий Крутицын в «Мелочах жизни». О Грызунове сатирик писал: «Урвет что-нибудь у Бастиа, или у Рикардо, или даже у Кокорева... а скажет, что сам выдумал» (XIV, 464). В обобщающем сатирическом портрете буржуазного экономиста Грызунова нужно видеть не только В. Безобразова, но и Ю. Жуковского и Б. Чичерина.

<sup>18</sup> Н. С. Р у с а н о в. Современные проявления капитализма в России. «Русское богатство», 1880, № 1, стр. 84.

<sup>19</sup> Там же, стр. 102.

<sup>20</sup> Там же, № 2, стр. 87.

<sup>21</sup> Подробный анализ достоинств и ошибок в статье Н. Русанова был дан Б. Козьминин в его книге «От „девятнадцатого февраля“ к „первому марта“» (М., 1933, гл. «Накануне и на другой день 1 марта...»).

<sup>22</sup> Н. С. Р у с а н о в. На родине. 1859—1882. М., 1931, стр. 212.

Другие участники полемики о «Капитале» — Н. Зибер и Н. Михайловский — выступали против Ю. Жуковского и Б. Чичерина в «Отечественных записках» и «Слове». Н. Зибер, одаренный и честный ученый, обличал прислужническую, «нахальную» критику Ю. Жуковского и Б. Чичерина и защищал экономическое учение автора «Капитала», но вопросы революционного учения Маркса, оказавшиеся для него недоступными, обошел молчанием.

Михайловский имел намерение защитить К. Маркса от Ю. Жуковского, но сам он понимал коренное содержание и значение учения К. Маркса превратно, и защита его была отравлена густой примесью народнической, субъективистской критики. Статья Михайловского «Карл Маркс перед судом г. Ю. Жуковского» в «Отечественных записках» (1877, № 10) обнаруживала «вздорность» и недобросовестность «суда» Ю. Жуковского, рассчитывавшего «на ротозеев». Указывая в ряде моментов на верность анализа в «Капитале», Михайловский в то же время предпринял народническую ревизию марксизма.

К. Маркс в письме 1877 года на имя «редактора» «Отечественных записок» сосредоточил внимание на сильнейшем из своих русских критиков — Н. К. Михайловском. Письмо К. Маркса в продолжение девяти лет не могло появиться в печати. Не исключена вероятность, что М. Е. Салтыков-Щедрин, редактор «Отечественных записок», кому оно было фактически адресовано, не оставался относительно этого письма (еще до появления его в печати) в неведении. Ф. Энгельс писал В. И. Засулич 6 марта 1884 года, что Маркс свое письмо «так и не послал», «боясь, что одно его имя поставит под угрозу существование журнала, где будет напечатан его ответ».<sup>23</sup> В послесловии к статье «О социальном вопросе в России», написанном в 1894 году, Ф. Энгельс писал: «Некий г. Жуковский, тот самый, который ныне в качестве кассира Государственного банка скрепляет своей подписью русские кредитные билеты, напечатал нечто о Марксе в „Вестнике Европы“; другой писатель (Михайловский свою статью «Карл Маркс перед судом г. Ю. Жуковского» напечатал под инициалами «Н. М.», — Я. Л.) выступил с возражением ему в „Отечественных Записках“. В качестве поправки в этой последней статье Маркс написал редактору „Отечественных Записок“ письмо, которое долгое время циркулировало в России в рукописных копиях с французского оригинала, затем было опубликовано в русском переводе в „Вестнике Народной Воли“ в 1886 г., в Женеве, а позднее и в самой России. Письмо это, как и все, что выходило из-под пера Маркса, обратило на себя большое внимание в русских кругах и подверглось разнообразным толкованиям...»<sup>24</sup> В 1883 году, после смерти К. Маркса, Ф. Энгельсом были приняты меры к опубликованию в России письма К. Маркса редактору «Отечественных записок». Н. Ф. Даниельсон писал Ф. Энгельсу 9 августа 1885 года: «Года два тому назад вы дали для помещения в одном из наших журналов ответ К. Маркса на статью Михайловского „Карл Маркс перед судом г. Жуковского“. Он не мог быть напечатан, так как журналы закрывались один за другим».<sup>25</sup>

Надо себе представить, с какой осторожностью Салтыков-Щедрин, единственный раз и притом в таком своеобразном контексте пророчивший мысль о чтении Маркса в «Убежище Монрепо», должен был обращаться к имени автора «Капитала» в «Отечественных записках», над которыми тогда нависла угроза правительственного запрещения. Судьба русского перевода первого тома «Капитала», запрещенного

<sup>23</sup> Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями. Изд. 2-е, Госполитиздат, 1951, стр. 306.

<sup>24</sup> Там же, стр. 292—293.

<sup>25</sup> Там же, стр. 122—123.

властями вскоре после его выхода в свет, судьба очерка В. И. Танеева об Интернационале и Парижской коммуне, рецензии и статьи С. Кривенко о клеветнических писаниях Б. Чичерина о Марксе и Лассале и ряд других фактов показывают достаточно ясно, насколько рискованным было для Салтыкова-Щедрина обращение к имени Маркса в журнале. Относительно очерка В. И. Танеева А. А. Краевский считал необходимым напомнить Н. А. Некрасову, что подобное было запрещено печатать на основании повеления самого царя.<sup>26</sup> Насколько Салтыкову-Щедрину приходилось быть осторожным в печатном упоминании имен революционных деятелей, видно из того, что в письме к Елисееву (от 3 января 1880 года) он просил не помещать под одной из статей подписи однофамильца П. Ткачева, к которой цензура могла бы придраться (см.: XIX, 137—138).

Только такие печатные органы, как «Московские ведомости» и «Русский вестник» Каткова, пользовались тогда неограниченным правом писать о Марксе, Интернационале, Коммуне, и писали они много и злобно. Когда вопросы касались программных документов и деятельности «Интернационалки», революционной деятельности «коммунистов», «марксистов» и самого «диктатора Интернационалки» Карла Маркса, публицисты изданий Каткова не останавливались ни перед наглыми фальсификациями, ни перед грубой руганью.<sup>27</sup> Недаром же К. Маркс и Ф. Энгельс неизменно называли среди органов европейской «благонмерной печати», изощрявшихся в клевете на Интернационал и на них лично, катковские «помои» (выражение Щедрина) — «Московские ведомости» и «Русский вестник».

Полемические статьи Н. Зибера и Н. Михайловского против Ю. Жуковского смогли появиться на страницах «Отечественных записок» потому, что Н. Зибер в своем выступлении не касался революционных воззрений и революционной деятельности К. Маркса, а Н. Михайловский, защищая К. Маркса от Ю. Жуковского, сам становился в позу критика Маркса. Михайловский настаивал на неправомерности обращения к марксизму для уразумения противоречий русской жизни и ее исторических перспектив. Любая попытка подцензурного журнала солидаризироваться с К. Марксом как революционным мыслителем хотя бы в самой общей форме навлекла бы на этот журнал жестокие преследования. Это было хорошо известно самому К. Марксу. Известно, что К. Маркс и Ф. Энгельс вынуждены были тогда переписываться со своими русскими корреспондентами с помощью псевдонимов, инсказаний и условных адресов и что временами они должны были и вовсе прекращать свои письменные связи с Россией, чтобы не навлечь преследований на своих русских корреспондентов.

Но возвратимся к «Убежищу Монрепо». За первой главой этого произведения, задуманной первоначально в качестве самостоятельного очерка, последовало развитие ее темы в ряде последующих глав. Развернувшаяся сатирическая повесть представила в живой картине стройную щедринскую концепцию русского общественного процесса. «Убежище Монрепо» содержало многочисленные отклики писателя на события русской и международной политической жизни и на теоретические вопросы, вставшие перед русским обществом в период назревавшей второй революционной ситуации. Вопросы о российском «так называемом

<sup>26</sup> См.: „Литературное наследство», т. 51—52, 1949, стр. 331.

<sup>27</sup> Помимо многочисленных корреспонденций и сообщений на эти темы, печатавшихся в изданиях Каткова, укажем на крупные статьи и исторические «труды» в «Русском вестнике»: «Уроки истории» Е. Феоктистова (1871), «Война и революция» В. Безобразова (1872—1875), «Конгрессы социалистов» Г. Де-Молинарп (1872), «Коммуналисты в Лондоне» Ерна (1873). Последняя из названных статей явилась образцом самой низкопробной и грязной клеветы на К. Маркса.

первоначальном накоплении» и судьбах капитализма в России, оказавшиеся в центре внимания участников полемики о «Капитале», не могли не обратить на себя внимание автора «Убежища Монрепо». Вопросы эти были выставлены в качестве главных в статье Михайловского «Карл Маркс перед судом г. Ю. Жуковского» и вызвали прямые и ясные ответы в письме К. Маркса редактору «Отечественных записок». «Убежище Монрепо», написанное и опубликованное вскоре после статьи Михайловского, освещало те же вопросы. Для нашего сатирика вопросы эти отнюдь не были новыми. Достаточно вспомнить хотя бы «Признаки времени» и «Письма о провинции». В «Убежище Монрепо» он создал итоговую и обобщающую картину, еще раз подтвердил и полемически заострил против народников свой вывод о пришествии чумазого, о воцарении капитализма в России и предсказал историческую неизбежность крушения «чумазовского торжества». Народнические иллюзии, что в России нет капитализма или что начавшийся процесс можно по субъективным соображениям критически мыслящих личностей затормозить, повернуть вспять, Салтыков-Щедрин решительно отвергал. Система образов и идейное содержание «Убежища Монрепо» наголову разбивали народнические теоретические построения, ничего общего не имевшие с действительной сущностью пореформенных экономических и общественных отношений.

Прямо и резко критиковал Салтыков-Щедрин на страницах «Убежища Монрепо» буржуазный характер либерально-народнических воззрений и хозяйственной деятельности автора писем «Из деревни» А. Н. Энгельгардта. Личное дружеское расположение Салтыкова к Энгельгардту и уважение, которое он питал к таланту автора писем «Из деревни», не помешали ему открыто полемизировать с ним. Но полемизировать с Михайловским, своим соредактором, упоминая его имя, он здесь не мог. Однако скрытая полемика с Михайловским в «Убежище Монрепо» несомненно усматривается. Салтыков умел ценить самобытное дарование Михайловского-публициста, видел в нем союзника в борьбе против абсолютизма и пережитков крепостничества, но он отнюдь не был склонен к одобрению народнического идеализма и субъективизма Михайловского.

В роли критика Маркса Михайловский явился впервые на страницах «Отечественных записок» в 1872 году, если не считать его «критические» замечания в адрес автора «Капитала» в статье «Теория Дарвина и общественная наука», опубликованной в первой книге «Отечественных записок» за 1870 год. Речь идет здесь об отзыве Михайловского на русский перевод первого тома «Капитала». Появление русского перевода «Капитала» было событием огромного, исторического значения. В. И. Ленин писал: «Выработка новой методологической и политико-экономической теории означала такой гигантский прогресс общественной науки, такой колоссальный шаг вперед социализма, что для русских социалистов почти тотчас же после появления „Капитала“ главным теоретическим вопросом сделался вопрос о „судьбах капитализма в России“; около этого вопроса сосредоточивались самые жгучие прения, в зависимости от него решались самые важные программные положения».<sup>28</sup>

В своем отзыве на русский перевод первого тома «Капитала» Михайловский, отпустив комплимент «реформам нынешнего царствования», писал: «Мы служим России по мере наших сил и возможностей, ограждая ее от тех злоупотреблений научной и философской мысли, свободы и экономического развития, которые не суть ни наука, ни свобода, ни экономическое развитие. Мы дискредитируем лишь то, что

<sup>28</sup> В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 275.



представляет опасность для России. Нам говорят: подождите. Как!.. Мы должны ждать распада общины, чтобы сказать, что ее следует сохранить; перехода всех государственных земель, заводов в частные руки, сосредоточения в тех же руках мелкой собственности, чтобы сказать, что интересы русских фабрикантов не суть интересы русского народа; укрепления ложного направления мысли, чтобы сказать, что оно ложно...»<sup>29</sup> Михайловский утверждал, что анализ экономических и общественных отношений в «Капитале» и революционное учение Маркса представляют для России интерес прямо отрицательный. «Маркс, — писал Михайловский, — как известно, социалист, глава международного общества рабочих, один из недовольных европейской цивилизацией». «...являясь революционным элементом на Западе, у нас он никакого нарушения спокойствия не может произвести. Идеи и интересы, с которыми он борется, слишком еще слабы у нас, чтобы от их расшатывания могла воспоследовать какая-нибудь опасность. Но они уже достаточно сильны для того, чтобы для нас было обязательно призадуматься над результатами их дальнейшего развития. Вот почему мы и говорим, что книга Маркса является как нельзя более кстати».<sup>30</sup>

Спустя пять лет после появления статьи «По поводу русского издания книги Карла Маркса» Михайловский вновь выступил на страницах «Отечественных записок» со статьей об авторе «Капитала». В ответе Ю. Жуковскому он утверждал, что экономический и социальный уклад русской жизни коренным образом отличается от уклада капиталистических стран Запада и что можно и нужно найти для России свой, особый путь. В начальной части своего ответа Ю. Жуковскому Михайловский писал: «К числу тяжеловеснейших современных авторитетов, способных даже гнетущим образом действовать на читателя, принадлежит Карл Маркс. Редкая логическая сила и громадная эрудиция, признаваемые даже решительными его противниками, могут побудить к принятию без критики и таких его положений, перед которыми отнюдь не полагается открывать настеть ворота». В качестве примера того, что у Маркса заслуживает критики, Михайловский выдвигал главу «Капитала» «Так называемое первоначальное накопление», где, по его словам, «Маркс имел в виду исторический очерк первых шагов капиталистического процесса производства, но дал нечто гораздо большее — целую философско-историческую теорию. Она, — писал Михайловский, — очень любопытна вообще, очень любопытна для нас, русских, в особенности».<sup>31</sup> Эту философско-историческую теорию, сочиненную будто бы Марксом для всех времен и всех народов, Михайловский пытался примерить к условиям русской жизни. «Представим себе теперь русского человека, — писал он, — который уверовал бы в истинность этой исторической теории. Случай очень возможный, так как Маркс и общей своей научной физиономией способен внушить безграничное доверие, и, в частности, приведенная его историческая теория обставлена, в фактическом отношении, с большой роскошью, и в отношении логическом представляет, во всяком случае, нечто стройное, цельное, а потому соблазнительное. Такой русский человек, если только он живет не исключительно головой, не относится безучастно к практике жизни, окажется в чрезвычайно странном и трудном положении. Тот обоюдоострый, страшный и вместе благодетельный, непреодолимый процесс „обобществления“ труда или, вернее, та форма обобществления, которую излагает Маркс, у нас на святой Руси очень мало подвинулась вперед. Крестьянин наш далеко не

<sup>29</sup> По поводу русского издания книги Карла Маркса. «Отечественные записки», 1872, № 4, стр. 183.

<sup>30</sup> Там же, стр. 184.

<sup>31</sup> Н. М. Карл Маркс перед судом г. Ю. Жуковского. «Отечественные записки», 1877, № 10, стр. 322.

в такой мере „свободен“ от земли и орудий производства, в какой это необходимо для пышного развития капиталистического производства. Напротив, несмотря на его печальное положение как земледельца и землевладельца, многие обстоятельства, даже помимо его собственных инстинктов, держат его у земли. С другой стороны, капиталы наши представляют в сравнении с европейскими нечто крайне мизерное. Следовательно, нам предстоит еще пройти вслед за Европой весь тот процесс, который описал и возвел на степень философско-исторической теории Маркс. Разница, однако, в том, что нам придется повторить процесс, т. е. совершить его сознательно. По крайней мере, его должен сознавать тот русский человек, который уверовал в непреложность исторической теории Маркса.<sup>32</sup> Ввиду всего этого Михайловский, отвергая «соблазнительную» «теорию Маркса», защищал в своей статье «попытки русских людей найти для своего отечества путь развития, отличный от того, которым шла и идет Западная Европа».<sup>33</sup>

«Русского ученика Маркса» Михайловский представлял не иначе, как в виде «уверовавшего» догматика и фаталиста, которому предстоит роль пассивного «наблюдателя», с «бесстрашием Пимена заносящего в летопись факты обоюдострого прогресса».<sup>34</sup> Так у Михайловского и в философии марксизма, и в революционной теории марксизма (кроме «Капитала», Михайловский ссылаясь в своей статье на «Манифест коммунистической партии» и «К критике политической экономии»), и в понимании русской жизни и перспектив русской революции все было искажено и поставлено вверх ногами.

К. Маркс писал в «Капитале»: «Всякая нация может и должна учиться у других. Общество, если даже оно напало на след естественного закона своего развития, — а конечной целью моего сочинения является открытие экономического закона движения современного общества, — не может ни перескочить через естественные фазы развития, ни отменить последние декретами. Но оно может сократить и смягчить муки родов».<sup>35</sup>

Михайловский цитировал эти слова еще в статье 1872 года «По поводу русского издания книги Карла Маркса», но при этом он отвергал действительные закономерности русского экономического и общественного процесса, полагая, что русское общество вовсе и не нападало на след естественного закона своего развития. Для России учиться у других наций, как полагал Михайловский, значило избежать капитализма, отменить капитализм как явление, не согласующееся с его, Михайловского, теорией российского «прогресса».

Отвечая Михайловскому в письме на имя редактора «Отечественных записок», Маркс писал, что из его исторического очерка «первоначального накопления» его критик применительно к России мог извлечь только следующее: «Если Россия имеет тенденцию стать капиталистической нацией по образцу наций Западной Европы, — а за последние годы она немало потрудилась в этом направлении, — она не достигнет этого, не превратив предварительно значительной части своих крестьян в пролетариев; а после этого, уже очутившись в лоне капиталистического строя, она будет подчинена его неумолимым законам, как и прочие нечестивые народы. Вот и все. Но этого, — продолжал К. Маркс, — моему критику слишком мало. Ему непременно нужно превратить мой исторический очерк возникновения капитализма в Западной Европе в историко-философскую теорию о всеобщем пути, по которому роковым образом обречены идти все народы, каковы бы ни были исторические

<sup>32</sup> Там же, стр. 325.

<sup>33</sup> Там же, стр. 326.

<sup>34</sup> Там же.

<sup>35</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 23, стр. 10.

условия, в которых они оказываются, — для того, чтобы прийти в конечном счете к той экономической формации, которая обеспечивает вместе с величайшим расцветом производительных сил общественного труда и наиболее полное развитие человека. Но я прошу у него извинения. Это было бы одновременно и слишком лестно и слишком постыдно для меня».<sup>36</sup>

В. И. Ленин назвал ответ К. Маркса Н. К. Михайловскому «ядовитым» ответом. Стоит здесь напомнить и о том, с каким возмущением Ленин писал о Михайловском и других народнических философах, «подсывавших» Марксу «бессмысленнейшие фаталистические воззрения».<sup>37</sup>

Салтыков-Щедрин, в отличие от Михайловского — идеалиста, субъективиста и догматика, был одним из самых выдающихся представителей русской домарксистской философской и общественной мысли. Зачатки историко-материалистического мышления явственно обнаруживаются в его произведениях. Перед великим писателем-демократом, пристально изучавшим противоречия русской экономической и общественной жизни, настоятельно вставал вопрос об открытии объективного закона движения современного ему общества. В статье «Насущные потребности литературы» (1869), отстаивая право на свободное «исследование истины» и выдвигая требование о необходимости решения общего и главного вопроса — об «устройстве отношений человека к человеку и к природе»,<sup>38</sup> он отдавал явное предпочтение «школе социально-экономической» перед другими «школами» и «направлениями» в общественной науке. «... Истина, — писал Салтыков-Щедрин, — есть открытие положительного закона, который имеет уяснить отношения человека к человеку и к природе, положив им в основание твердые и для всякого вразумительные начала». «Человек, — читаем мы в названной статье Салтыкова-Щедрина, — не иначе судит о будущем, как по тем задачам, которые представляются ему в настоящем». «Есть люди, — многозначительно указывал писатель далее, — которые видят истину жизни в правильной организации человеческого труда и в равномерности распределения благ, производимых воздействием этого труда на творческие силы природы. Изучая историю человечества, они открывают в ней, что корни политических вопросов всегда заключались в экономическом положении тех стран, в которых они возникали, и что, следовательно, устранение общественных затруднений может быть достигнуто только при помощи разрешения экономических вопросов, и притом такого разрешения, которое удовлетворяло бы ожиданиям заинтересованного в том большинства. Такое воззрение на истину жизни дает начало школе социально-экономической» (VIII, 157, 159).

Читателю ясно, что Салтыков-Щедрин говорил здесь о революционном устранении «общественных затруднений».

Статья «Насущные потребности литературы» была напечатана в № 10 «Отечественных записок» за 1869 год. Несколько ранее, в № 5 за тот же год, в отделе «Новые книги» была опубликована анонимная рецензия на «Историю политических учений» Б. Чичерина (Часть I. Древность и средние века. М., 1869). Рискуя отвлечь внимание читателя от основной мысли нашей статьи, тем не менее не можем не привести

<sup>36</sup> Там же, т. 19, стр. 120.

<sup>37</sup> В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 332.

<sup>38</sup> Это щедринское определение «общего вопроса» созвучно определению К. Маркса. Характеризуя в «Капитале» «древние общественно-производственные организмы», Маркс писал: «Условие их существования — низкая ступень развития производительных сил труда и соответственная ограниченность отношений людей... друг к другу и к природе». В будущем, продолжал К. Маркс, «отношения практической повседневной жизни людей будут выражаться в прозрачных и разумных связях их между собой и с природой» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 23, стр. 89—90).

из этой рецензии некоторых извлечений. По своей методологии, общей идее и особенностям языка рецензия эта напоминает цитированные места из статьи Салтыкова-Щедрина «Насущные потребности литературы». Но даже и независимо от того, кто был ее автор, она представляет немалый исторический интерес, и можно предположить, что автор ее не был чужд знакомства с некоторыми важными положениями исторического материализма. «Без всякого сомнения, — писал анонимный рецензент, — какая-нибудь средневековая теория двух мечей, или доктрина политического равновесия, или политическая теория национальностей, без всякого сомнения все эти теории слагаются не совершенно в стороне от экономического строя обществ. Но тем не менее связь между ними до такой степени отдаленна и запутана, что усмотреть ее можно отнюдь не с точки зрения политических учений, а с какой-нибудь другой, гораздо более общей и широкой. Большинство политических учений скользит только по поверхности общественной жизни и захватывает ее весьма не глубоко, хотя само собою разумеется, что самый этот недостаток глубины коренится в известной комбинации социальных сил. Но повторяем, корней этих нельзя разглядеть с точки зрения специальной истории политических учений». «... Законы исторического движения человечества, найденные г. Чичериным, — продолжал рецензент, — отличаются не только неполнотой или односторонностью, но и радикальною ложностью. Законы эти добыты впрочем г. Чичериным не самостоятельно, а прихвачены кусочками то у Гегеля, то у Вико. Вся суть их состоит в том, что общественный прогресс представляет движение круговое...» «... Невозможно, — заключал автор рецензии, — вывести закон исторического прогресса из истории политических учений. Будучи густо окрашены теологическо-метафизической краской, почти все политические доктрины испытывают участь общую с философскими системами, поскольку последние развиваются в стороне от точного знания». С чисто щедринской иронией (а Щедрин любил подытоживать свои отзывы подобными изречениями) рецензент заключал, что «под руками у г. Чичерина была обширная и чисто-философская задача, которую, однако, он обошел, по пословице: по усам текло, а в рот не попало».<sup>39</sup>

В «Убежище Монрепо» Салтыков-Щедрин нарисовал правдивую и яркую картину действительных экономических и социальных отношений в пореформенной России. В произведении этом нельзя не видеть отклика писателя-демократа на самые острые вопросы времени, на споры о «судьбах капитализма в России». Изобразив пришествие чумазого, воцарение новых столпов общества, утверждение господства нового «дирижирующего класса», «правлящего класса» — буржуазии с ее «священными» принципами собственности, семейственности и государственности, обнажив первобытную дикость российской буржуазии, ее оголтелый паразитизм, но вместе с тем и то, что она явилась на торжище и пир «мучительства вселенского», автор «Убежища Монрепо» поставил строку точек (XIII, 150). Здесь читатель должен был сосредоточиться, прочувствовать и продумать потрясающую трагедию отечества, ставшего добычей «кровопийственных дел мастеров». Здесь перед читателем должен был возникнуть вопрос о дальнейшей судьбе отечества и о том, что же ему, читателю, предстоит предпринять: метнуться ли в страхе назад, в докапиталистическое прошлое, удариться ли в сочинение утопических проектов «собственного» пути развития, пути, отличного от того, каким шли «нечестивые» народы Запада, или же бесстрашно взглянуть пачавшемуся торжеству капитала

<sup>39</sup> «Отечественные записки», 1869, № 5, стр. 72—74.

прямо в глаза и в недрах его попытаться найти источники и силы для дальнейшей борьбы?

Как ни больно было писателю видеть гнусное торжество чумазого и его измывательство над отечеством, он нашел достаточно мужества и оказался теоретически достаточно подготовленным, чтобы прозреть историческое крушение «мироедского периода». Это крушение, полагал он, придет тогда, когда сама жизнь «выработает нового сорта утех». В «Убежище Монрепо» далее, за многозначительной строкой точек, следовало столь же многозначительное заключение:

*«Но да свершится. История имеет свои повороты, которые невозможно изменить, а тем менее устранить. Это, конечно, не слепой фатализм, перед которым не остается ничего другого, как преклониться, и не произвол, которому люди подчиняются, потому что за ним стоит целый легион темных сил; но все-таки это закон, и именно закон последовательного развития одних явлений из других. Явления приходят на арену истории как бы крадучись и почти не обнаруживая своей внутренней подготовки — вот почему они в большинстве случаев кажутся нам внезапными или произвольными. Но подготовка эта несомненно существовала, только мы, ошеломленные исконной репутацией несменяемости, которую пользовались явления предшествующие, проглядели ее. Так что когда новые вещи, новые порядки и новые дела являются во всеоружии совершившегося факта, то мы видим себя бессильными не только для борьбы с ними, но и для смягчения бесполезных наглостей подкрадывающегося торжества.*

... Покуда мудрость текущей минуты будет учить, что, ввиду устранения жизненных огорчений, человеческое естество необходимо упразднить, а на место его водворить и утвердить естество волчье, до тех пор всякий могущий вместить будет прямо или косвенно черпать из кладезя этой мудрости. Принцип утех — великий принцип, которому суждено вечно пленять человеческие сердца... *Вот, когда жизнь выработает нового сорта утех, тогда сам собою изноет и мироедский период»* (XIII, 150—151).

Не только сама картина русского экономического и общественного развития, нарисованная в «Убежище Монрепо», но не в меньшей мере и теоретические выводы и прогнозы автора имели для своего времени огромное значение. Своей глубочайшей жизненной правдивостью, остротой социального анализа и проникновенными научно-философскими обобщениями «Убежище Монрепо», произведение, явившееся на страницах «Отечественных записок» вслед за писаниями Н. Михайловского о «Капитале» и в годы продолжавшейся в русской прессе полемики об том труде К. Маркса, объективно и по существу было направлено против тогдашних русских «критиков» Маркса.

Понятно, что наш писатель-демократ в России 70—80-х годов не видел и не мог видеть той исторической силы, силы революционного пролетариата, которая положит конец владычеству буржуазии. Но в его предсказании, что «жизнь» непременно «выработает нового сорта утех», создаст материальные условия и силы для победы над властью капитала (а именно эти-то материальные условия и силы Салтыков-Щедрин сознательно, упорно и мучительно искал), содержался глубокий смысл.

Достижения мысли Салтыкова-Щедрина были своевременно и вполне ясно оценены самим Марксом. Известно, что К. Маркс пристально следил за творчеством Салтыкова-Щедрина. Среди многочисленных русских книг К. Маркса, переданных после его смерти Ф. Энгельсом П. Лаврову (в дальнейшем они хранились в архиве германской социал-демократии, в настоящее время сохранившиеся из них находятся в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС), имелись сочинения

Салтыкова-Щедрина: «Дневник провинциала в Петербурге», «Господа ташкентцы», «Убежище Монрепо», «За рубежом». «Убежище Монрепо» было получено и прочтено К. Марксом в 1880 году, вскоре же после выхода этой книги в свет отдельным изданием. Приведенные выше философско-исторические суждения и выводы Салтыкова-Щедрина в главе «Убежища Монрепо» «Предостережение» были отчеркнуты рукою К. Маркса на полях, а строки, выделенные курсивом, были подчеркнуты Марксом.<sup>40</sup>

Философско-исторические выводы, к которым Салтыков-Щедрин пришел в «Убежище Монрепо» в результате изучения общественных отношений в России, были в ряде моментов созвучны идеям и обобщениям автора «Капитала» и в равной мере заострены против «критики» Н. Михайловского. Подчеркнутые К. Марксом слова Салтыкова-Щедрина о том, что история имеет свои повороты, которые «невозможно изменить, а тем менее устранить», напоминают слова К. Маркса в предисловии к первому изданию «Капитала» о том, что общество «если даже оно напало на след естественного закона своего развития... не может ни перескочить через естественные фазы развития, ни отменить последние декретами». Этим же словам К. Маркса созвучны мысли Салтыкова-Щедрина о «законе» общественного развития.

В публикации Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС «Карл Маркс и русская литература» отмечена особая теоретическая важность суждения Салтыкова-Щедрина о «законе последовательного развития одних явлений из других». «Щедрин, как и другие революционные демократы, — читаем мы в предисловии Института к названной публикации, — не стал историческим материалистом. Однако в его исторических взглядах, так же, как и у Н. Г. Чернышевского, было немало зачатков исторического материализма. Естественно, что основоположник подлинно революционной и последовательно прогрессивной теории сочувственно отметил высказывания писателя, свидетельствующие о глубоком понимании некоторых закономерностей исторического процесса. На стр. 188 («Убежища Монрепо», — Я. Л.) Маркс отчеркнул одно из таких высказываний Щедрина. Писатель здесь по-своему применяет закон материалистической диалектики о переходе количества в качество, о подготавливаемых исподволь скачках в историческом развитии человечества...»<sup>41</sup>

Заключительные строки приведенного выше теоретического высказывания автора «Убежища Монрепо» напоминают нам еще одно (тоже уже цитированное здесь) место из «Капитала». Речь идет о «смягчении» (курсив наш, — Я. Л.) бесполезных наглостей подкравшегося торжества». К. Маркс писал, что общество, напавшее на след естественного закона своего развития (т. е. в данном случае капиталистического развития), «может сократить и смягчить муки родов» (курсив наш, — Я. Л.).

Нельзя здесь не подчеркнуть и слова сатирика: «Это, конечно, не слепой фатализм (курсив наш, — Я. Л.), перед которым не остается ничего другого, как преклониться...» Ведь в историческом «фатализме», в создании теории «фатальной непреклонности исторического процесса» упрекал К. Маркса Н. Михайловский! Ведь именно этой выдумке Михайловского был дан отпор в письме К. Маркса редактору «Отечественных записок».

Автор «Убежища Монрепо», заявляя свое мнение в споре о судьбах капитализма в России, видимо, знал, с кем он полемизирует.

<sup>40</sup> См.: Карл Маркс. Замечания и пометки на книге М. Е. Салтыкова-Щедрина «Убежище Монрепо». «Дружба народов», 1958, № 5, стр. 19.

<sup>41</sup> Там же, стр. 7.

Отмеченные здесь созвучия и совпадения в высказываниях Салтыкова-Щедрина и К. Маркса, надо полагать, тоже не были случайными. Poleмика о «Капитале» и в широкой прессе, и на страницах «Отечественных записок» в частности не могла пройти мимо внимания и интересов Салтыкова-Щедрина.

Г. З. Елисеев писал о Салтыкове-Щедрине — писателе и редакторе: «Никто так внимательно и зорко не следил за всеми движениями и явлениями русской и иностранной жизни, начиная от великих до самых малых, никто так не был чуток к новым, едва только нарождающимся переменам и веяниям в общественной жизни, никто не умел так быстро схватить суть этих нарождающихся перемен и веяний и их охарактеризовать часто одним рельефным образом и словом, как он». <sup>42</sup> «... Михаил Евграфович, — продолжал Елисеев, — не только не возлагал ни одной строки своей работы на других, но имел терпенье пересматривать работу всех своих постоянных сотрудников и по своему темпераменту не мог успокоиться до тех пор, пока ему не будет известно до последней строки, что напечатано в его журнале». <sup>43</sup>

Популярность первого тома «Капитала» была в России в то время необычайной. «Отечественные записки» уделили великой книге много внимания. И трудно даже представить себе, чтобы Салтыков-Щедрин с его постоянным и острым интересом к вопросам общественно-политической жизни, вопросам социологии, политической экономии (критика буржуазной политической экономии занимает в его сатире важное место), философии, к социалистическим учениям оказался настолько индифферентным и даже аполитичным, чтобы не проявить к этой книге просто читательского интереса. «Вестник Европы» в майском номере за 1872 год откликнулся на выход первого тома «Капитала» статьей проф. Кауфмана, посвященной методу анализа в «Капитале» («Точка зрения политико-экономической критики у Карла Маркса»). «Большая часть журналов и газет, — сообщал Н. Ф. Даниельсон К. Марксу 4 июня 1872 года, — поместила рецензии о книге. Все — без исключения — отзываются о ней с большой похвалой». <sup>44</sup> М. К. Горбунова-Каблукова писала Ф. Энгельсу 25 июня 1880 года: «... „Капитал“ широко распространен в России и не только среди ученых, но главным образом среди тех, кто проявляет какой-либо интерес к социальным наукам и к положению народа; „Капитал“ много читается учителями и учительницами, т. е. теми из них, которые серьезно относятся к своей профессии. Но чем больше читается „Капитал“, чем больше усваивают читатели и молодежь его основные положения, тем худшей славой пользуется эта книга у наших прокуроров и судебных следователей...» <sup>45</sup>

Идеи «Убежища Монрепо» были плодом органического развития мировоззрения Салтыкова-Щедрина. По своему действительному, объективному смыслу и значению они были полемически направлены и заострены против тогдашних русских критиков Маркса и приближали писателя-демократа к самому передовому мировоззрению эпохи — марксистскому мировоззрению. В этом сказывалась историческая закономерность.

Имеются основания полагать, что упоминание имени Маркса в главе «Finis Монрепо» таило и таит в себе более серьезный смысл, нежели это было принято считать до сих пор. Все это, разумеется, не дает никаких оснований говорить о марксизме Щедрина. Но вопросы и о возможном субъективном интересе сатирика к Марксу и Энгельсу и

<sup>42</sup> М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников, стр. 208.

<sup>43</sup> Там же, стр. 217.

<sup>44</sup> Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями, стр. 81.

<sup>45</sup> Там же, стр. 240.

их деятельности, и о возможном влиянии некоторых их идей на его произведения, вопросы, вызвавшие уже в научно-критической литературе ряд серьезных и заслуживающих внимания предположений, не могут и впредь не интересовать читателя и исследователя. Здесь и в дальнейшем не обойтись без предварительных наблюдений и решений, без гипотез, особенно потому, что история жестокого и мрачного времени Салтыкова-Щедрина скрыла многие факты, которые могли бы нас интересовать. Салтыков не писал обширных лирико-философских писем, какие писал, например, В. Г. Белинский, и дневников, какие оставил Л. Н. Толстой. Над рядом образов и мотивов его политической сатиры еще немало придется потрудиться исследователям, пока не будет раскрыт их действительный смысл.

Сам Маркс отмечал достоинства мысли Салтыкова-Щедрина не только в «Убежище Монрепо», но и в других произведениях. В параллель подчеркнутым рукою К. Маркса в «Убежище Монрепо» выводам писателя о диалектике исторического процесса небезынтересно привести подобное место из «Введения» к «Господам ташкентцам», тоже отмеченное Марксом, заключенное им, как особо важное, в квадратные скобки. Это то место, где Салтыков-Щедрин обличает в Митрофане «плохого теоретика», замкнувшего весь смысл своего существования в табели о рангах, отрицающего «разглагающийся» Запад с его наукой, порываниями к свободе, борьбою за новые общественные и политические формы. В глазах Митрофана, писал Салтыков-Щедрин, изменчивость общественных и политических форм есть каприз и чудачество, обуревающие вселенную, а вовсе не проявление необходимости, содержанием которой является развитие «человеческой индустрии» в эпоху великих открытий и изобретений. В квадратные скобки Маркс заключил слова Щедрина:

«Историческая наука недаром отделила последние четыре столетия и существенным признаком этого отграничения признала великие изобретения и открытия XV века. Здесь проявления усилий человеческой мысли дали жизни человечества совсем иное содержание и раз навсегда доказали, что общественные и политические формы имеют только кажущуюся самостоятельность, что они делаются шире и растяжимее по мере того, как пополняется и усложняется материал, составляющий их содержание. Митрофан ничего этого не знает и не хочет знать. Он живет в век открытий и изобретений и думает, что между ними и тою или другою формою жизни нет ничего общего. В его глазах передвигаются центры человеческой индустрии, в его глазах материальные и умственные богатства перемещаются из одних рук в другие, а он продолжает думать, что все это не более как случайность» (X, 43).<sup>46</sup>

Хотя Салтыков-Щедрин ставил здесь на первое место «усилия человеческой мысли», материалом, составляющим содержание и определяющим изменчивость общественных и политических форм он, по существу, считал развитие «человеческой индустрии», производительных сил и перемещение материальных и умственных богатств из одних рук в другие. Он стремился к подлинно научному постижению действительных закономерностей в развитии человеческого общества.

Для К. Маркса, писавшего, что «пар, электричество и сельфактор были несравненно более опасными революционерами, чем даже граждане Барбес, Распайль и Бланки»,<sup>47</sup> интерес и ценность представляла каждая теоретическая идея Салтыкова-Щедрина, приближавшая русского писателя-демократа к материалистическому пониманию

<sup>46</sup> См. также: Ф. Г и н з б у р г. Русская библиотека Маркса и Энгельса. Сборник «Группа „Освобождение труда“», № 4, ГИЗ, М.—Л., 1926, стр. 363.

<sup>47</sup> К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с, Сочинения, т. 12, стр. 3.



истории. Основоположник научного коммунизма положительно оценивал и заслуги Салтыкова-Щедрина как критика и обличителя капитализма. Щедринская оценка российского капитализма и прогнозы сатирика о его исторической обреченности встретили явное и решительное одобрение К. Маркса.

Страницы «Убежища Монрепо», особенно те, где автор подвергал беспощадной критике «священные» основы помещичье-буржуазного общества, изобличал «новоявленных столпов общества» и утверждал, что никаких новых устоев жизни и человеческих принципов они не утвердят, сохранили на себе многочисленные одобрительные подчеркивания, сделанные рукой Маркса.

В своих характеристиках и оценках российского капитализма К. Маркс неоднократно обращался к верному и меткому слову русского сатирика. В письме к Н. Ф. Даниельсону от 19 февраля 1881 года К. Маркс рекомендовал: «Первое, чем Вам, по-моему, следовало бы заняться, — это поразительный рост *задолженности помещиков*, представителей высшего класса в сельском хозяйстве, и показать им, как они „кристаллизуются“ в общественной реторте под контролем „новых столпов общества“». <sup>48</sup> «Новые столпы общества» неоднократно упоминались К. Марксом в сохранившихся черновых набросках письма к В. И. Засулич от 8 марта 1881 года. <sup>49</sup> Характерно, что слова «новые столпы общества» ставились Марксом в кавычки. В рукописи названного письма читаем: «*nouvelles colonnes sociales*». <sup>50</sup>

Отметим здесь попутно еще один случай прямого цитирования Салтыкова-Щедрина у Маркса с указанием имени автора. Конспектируя книгу Кошелева «Наше положение», Маркс в том месте, где говорится о «полном произволе губернаторов» в печати, записал: «Наши *помпадурь* (как Щедрин называет чиновников) всегда склонны наложить печать запрета на уста и перья жителей...» <sup>51</sup> Слова «помпадурь» и «Щедрин» были написаны К. Марксом по-русски.

Последнюю часть главы «Убежища Монрепо» «Предостережение» К. Маркс считал весьма слабой. Отчасти, вероятно, причиной этой слабости было то обстоятельство, что сквозь иронические поучения Прогрессова не всегда с достаточной ясностью пробивалась авторская мысль. Слабость мышления автора «Убежища Монрепо» К. Маркс видел в том, что он оказался «не очень счастлив» в своих «положительных» выводах. Закончив чтение «Убежища Монрепо», К. Маркс в конце книги написал: «*La dernière partie de la Предостережение est très faible; généralement l'auteur n'est pas fort heureux dans ses conclusions „positives“*». <sup>52</sup>

Это знаменитое заключение таило в себе отнюдь не укор. Слова «не очень счастлив» выражали сожаление. Они указывали на исторические условия русской жизни, сковывавшие движение проникновенной, пророчливой мысли Салтыкова-Щедрина.

Мы можем гордиться богатой научно-критической литературой о творчестве великого русского сатирика-демократа. Монографии, исследования и многочисленные статьи М. С. Ольминского, Д. О. Заславского,

<sup>48</sup> Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями, стр. 110.

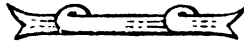
<sup>49</sup> См.: К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXVII, стр. 678, 682, 686, 687.

<sup>50</sup> Архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, ф. 1, оп. 1, д. 4058, л. 8.

<sup>51</sup> Архив Маркса и Энгельса, т. XI. Госполитиздат, 1948, стр. 29 (курсив наш, — Я. Л.).

<sup>52</sup> Карл Маркс. Замечания и пометки на книге М. Е. Салтыкова-Щедрина «Убежища Монрепо», стр. 26 (перевод: «Последняя часть „Предостережения“ весьма слаба; вообще автор не очень счастлив в своих „положительных“ выводах»).

Я. Е. Эльсберга, В. Я. Кирпотина, С. А. Макашина, А. С. Бушмина, А. М. Лаврецкого, С. С. Борщевского, Е. И. Покусаева и ряда других ученых-щедриноведов и критиков явились ценным вкладом в литературную науку и осветили читателю гигантскую фигуру Салтыкова-Щедрина. Но при всем этом еще остаются недостаточно изученными многие чрезвычайно интересные и важные вопросы его мировоззрения и творчества. Попытку заново прочесть некоторые страницы его произведений и представляет настоящая статья. Если не каждое мнение, не каждый вывод исследователя могут найти себе документальные подтверждения (а история отнюдь не ко всему припасла такие готовые документы), то это не должно останавливать его в поисках исторической истины, которая шире и глубже, чем это порой представляется.



## ПРОТИВ КОГО НАПРАВЛЕНА СТАТЬЯ В. И. ЛЕНИНА «ПАМЯТИ ГЕРЦЕНА»

### 1

В марте—апреле 1912 года в России и за границей отмечалось столетие со дня рождения А. И. Герцена. В этом юбилее непосредственное участие принял Владимир Ильич Ленин. Его статья «Памяти Герцена» явилась крупнейшим вкладом в изучение наследия великого русского революционного демократа, определив подлинно научное понимание творческого пути Герцена.

В статье «О рефератах В. И. Ленина за-границей», опубликованной во втором номере журнала «Исторический архив» за 1955 год, указывалось, что М. И. Ульянова установила, что 2 (15) апреля 1912 года Владимир Ильич выступал в Париже «на вечере, посвященном памяти А. И. Герцена».<sup>1</sup> Это важное свидетельство, естественно, хотелось бы уточнить, тем более что Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, публикуя названную статью, указывал, что «работа, начатая М. И. Ульяновой, не была доведена до конца. Собранный ею материал требует дальнейшего исследования».<sup>2</sup>

В 1911—1914 годах революционер-эмигрант В. Л. Бурцев издавал в Париже газету «L'Avenir». В газете попеременно помещались материалы на русском и французском языках; благодаря хорошо поставленной информации она пользовалась определенной популярностью, в ней систематически или эпизодически сотрудничали многие видные революционеры и писатели (например, М. Горький, Г. В. Плеханов и др.). В. И. Ленин имел все основания иронически заметить, что «газетка г. Бурцева „Будущее“ очень напоминает либеральную гостиную».<sup>3</sup>

Просматривая комплект этой газеты, мы обнаружили в № 26 от 1 (14) апреля 1912 года среди прочих объявлений и такое: «Парижская эмигрантская касса. В понедельник, 15 апреля 1912 г. в salle Wagram, avenue de Wagram, состоится вечер, посвященный памяти А. И. Герцена, под председательством Веры Николаевны Фигнер. Ораторами выступают: Авксентьев, Агафонов, Ленин, Мартов, Pressensé, Рубанович. Максим Горький прочтет свой неизданный рассказ. Isay Dobroven исполнит на рояле ряд произведений Шопена. Начало ровно в 8½ час. вечера. Билеты от 20 до 1 фр.; галерея 50 с <антимов>...»<sup>4</sup> и т. д.

Это извещение было не единственным. Обратившись к зарубежной, в частности прогрессивной французской печати, мы сумели найти еще одно объявление в издававшейся тогда под редакцией Жана Жореса «L'Humanité»:

<sup>1</sup> «Исторический архив», 1955, № 2, стр. 3.

<sup>2</sup> Там же, стр. 2.

<sup>3</sup> В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 299; ср.: т. 17, стр. 290, 294, 305; т. 18, стр. 96. В дальнейшем ссылки приводятся в тексте.

<sup>4</sup> «L'Avenir», 1912, № 26, 1 (14) avril.

«Pour honorer la mémoire d'Alexandre Herzen. Aujourd'hui à 9 heures du soir, salle Wagram, 39 bis, avenue Wagram, réunion organisée par la Société de secours aux réfugiés politiques de Russie, sous la présidence de Véra Figner, à l'occasion du centenaire de la naissance de Herzen. Prendront la parole les citoyens: Francis de Pressensé, président de la ligué française pour la défense des Droits de l'homme et du citoyen. Avxentieff, Agafonov, Lenine, Martof et Ronbanowith. Maxime Gorki lira un conte inédit. Après les discours un Concert clôturera la soirée. La recette sera au profit de la caisse de réfugiés russes»<sup>5</sup>.

Как видим, оба объявления схожи: перечень имен ораторов один и тот же. Казалось бы, факт выступления В. И. Ленина на этом собрании можно считать установленным.

Однако это не так.

Для проверки необходимо было найти отчеты об этом вечере. В № 2922 «L'Humanité» от 4 (17) апреля была напечатана (за подписью «S. A.») заметка «Le centenaire d'Alexandre Herzen». Из нее мы узнаем, что вечер, на котором присутствовало более 4000 человек, прошел с большим успехом. На нем выступили В. Н. Фигнер, Ф. де Пресансе, Рубанович, огласивший приветственное письмо Жана Жореса (приведен полный текст этого письма), Авксентьев, Агафонов и Максим Горький, прочитавший рассказ «Рождение человека».

Другой отчет о вечере помещен в газете «Речь» от 7 апреля 1912 года. Под рубрикой «Нам пишут из Парижа» за подписью «Д» сообщалось, что на вечере присутствовало до 6000 человек<sup>6</sup> и что на нем выступали В. Фигнер, Ф. де Пресансе, Рубанович-Жорес, Авксентьев и Горький. Здесь отсутствует названное в «L'Humanité» имя Агафонова. Гораздо важнее, однако, то, что ни в одном из этих отчетов нет имен Мартова и Ленина. Допустим, что пропуск этих имен (и имени Агафонова) в корреспонденции, напечатанной в России, был вызван цензурными причинами, но отсутствие имени Ленина в обоих отчетах заставляет полагать, что он на собрании не выступал. Во всяком случае факт участия В. И. Ленина в этом вечере не находит документального подтверждения.<sup>7</sup>

## 2

Вскоре после юбилейного вечера, 25 апреля (8 мая) 1912 года, в двадцать шестом номере издававшейся в Париже газеты «Социал-демократ» — центральном органе РСДРП — появилась (без подписи) статья В. И. Ленина «Памяти Герцена» (т. 18, стр. 9—15). Следует на-

<sup>5</sup> «L'Humanité», 1912, № 2920, 2 (15) avril. Перевод: «К чествованию памяти Александра Герцена. Сегодня в 9 часов вечера в зале Ваграм, авеню Ваграм, 39 бис, состоится собрание, организованное Обществом помощи русским политическим эмигрантам, под председательством Веры Фигнер по случаю столетия со дня рождения Герцена. Примут участие граждане: президент французской Лиги защиты прав человека и гражданина — Франсис де Пресансе, Авксентьев, Агафонов, Ленин, Мартов и Рубанович. Максим Горький прочтет неизданный рассказ. Вечер закончится концертом. Сбор поступит в пользу кассы русских эмигрантов».

<sup>6</sup> Аналогичную цифру называет М. Ф. Андреева в письме к М. М. Коцюбинскому от 4 (17) апреля 1912 года (М. Коцюбинский — М. Горький. Листування. Харків—Київ, 1929, стор. 57). Ср.: Летопись жизни и творчества Л. М. Горького, вып. 2. Изд. АН СССР, М., 1958, стр. 263, 265, 266. В. Н. Фигнер в письме к М. П. Сажину от 31 марта (13 апреля) 1912 года писала: «Председатрва вечер в честь Герцена. Salle Wagram на 5 [тысяч] чел[овек]. Я буду председательствовать и побеждать робость — необходимо ведь сказать слово!» (Вера Фигнер, Полное собрание сочинений в семи томах, т. VII, изд. 2-е, М., 1932, стр. 185); 25 марта (7 апреля) В. Н. Фигнер присутствовала на другом вечере памяти Герцена, организованном Тургеневской библиотекой (там же, стр. 182).

<sup>7</sup> В разделе «Даты жизни и деятельности В. И. Ленина (Декабрь 1911—июль 1912)» выступление В. И. Ленина зарегистрировано без каких-либо оговорок (В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 21, стр. 656).

помнить, что с декабря 1911 года газета редактировалась В. И. Лениным, а секретарем редакции была Н. К. Крупская.

То обстоятельство, что статья была напечатана без подписи, является, по нашему мнению, косвенным подтверждением того, что В. И. Ленин на собрании не выступал. В ином случае в основе статьи должен бы лежать прочитанный перед тем реферат: такова была обычная практика В. И. Ленина. Так, реферат 1911 года «Манифест либеральной рабочей партии» стал основой одноименной статьи (т. 17, стр. 278—288). Прочитанный в Цюрихе реферат «Европейская война и социализм» лег в основу статьи «Европейская война и международный социализм» (т. 24, стр. 5—8), реферат «Идеология контрреволюционного либерализма» был вскоре превращен в статью «О „Вехах“» (т. 16, стр. 106—114) и т. д.

Если бы В. И. Ленин предварительно выступил с публичным чтением реферата, тогда анонимное печатание статьи теряло бы всякий смысл. Все названные выше статьи, написанные на основе рефератов, подписаны «Вл. Ильин» и «В. Ильин». Вполне вероятно, что реферат или конспект его был все же подготовлен: трудно допустить, чтобы имя В. И. Ленина было помещено в нескольких газетных объявлениях без его предварительного согласия. Однако по каким-то причинам выступление не состоялось. Очевидно, что статья была написана несколько позже с привлечением новых, самых последних материалов.

Так или иначе, работа над статьей была закончена, вероятно, в самом конце марта или начале апреля ст. ст., во всяком случае после юбилея. «Минуло сто лет со дня рождения Герцена» — этими словами В. И. Ленин начинает статью. Для того чтобы статья могла попасть в номер от 25 апреля, она должна была быть сдана не позднее 20 апреля, а скорее — несколько раньше.

В России юбилей Герцена газеты отмечали 25 марта; журнальные статьи, посвященные этой дате, появились почти исключительно в мартовских номерах. Значит, В. И. Ленин мог использовать для своей статьи литературу, вышедшую в России в марте или в начале апреля. Н. К. Крупская, свидетельница написания статьи, сообщает, что в это время Ленина особенно захватили задачи, «вставшие перед русским рабочим движением. Настроение Ильича вылилось, пожалуй, полнее всего в статье о Герцене, написанной им в начале мая (нов. ст., — С. Р.). В этой статье очень много от Ильича, от того ильичевского горячего пафоса, который так увлекал, так захватывал».<sup>8</sup>

Весь текст статьи полемически заострен против всевозможных извращений учения Герцена. «Рабочая партия, — пишет В. И. Ленин, — должна помянуть Герцена не ради обывательского славословия, а для уяснения своих задач, для уяснения настоящего исторического места писателя, сыгравшего великую роль в подготовке русской революции» (т. 18, стр. 9).

Статья В. И. Ленина с точки зрения ее полемической направленности уже подвергалась изучению в нашей литературе: необходимо, в частности, назвать обстоятельную статью М. Зельдовича «К истории статьи В. И. Ленина „Памяти Герцена“».<sup>9</sup> В ней основное внимание уделено доказательству тезиса, что полемический пафос В. И. Ленина противостоял «построениям всех и всяких фальсификаторов», но прежде всего был обращен «против одного из столпов либерального ренегатства — Петра Струве». «Нам представляется, — писал М. Зельдович, — что именно Струве имел в виду Ленин в статье „Памяти Герцена“».<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине. Цит. по кн.: В. И. Ленин о литературе и искусстве. Гослитиздат, М., 1957, стр. 549.

<sup>9</sup> «Вопросы литературы», 1957, № 3, стр. 97—111.

<sup>10</sup> Там же, стр. 100—101.

Эта гипотеза кажется вполне обоснованной: автор с достаточной убедительностью проследил (с центром в работах П. Б. Струве) историю формирования кадетско-либеральной концепции творческого пути Герцена.

На более широком историческом фоне этот же вопрос подвергся внимательному исследованию в работе А. И. Володина «Юбилей Герцена 1912 г. и статья В. И. Ленина „Памяти Герцена“». <sup>11</sup> А. И. Володин сосредоточил внимание на разоблачении В. И. Лениным фальсификации, произведенной кадетами, а также на ошибках социал-демократов (Ю. Стеклова, К. Левина и др.) и народнических писателей (Н. Русанова и др.).

Однако и после этих содержательных работ конкретная полемическая направленность замечаний В. И. Ленина остается не раскрытой. Все хорошо помнят, что в самом начале статьи В. И. Ленин отмечает, что юбилей Герцена вызвал широкие отклики в лагере либералов («вся либеральная Россия»), в реакционной печати («поминает Герцена и правая печать»), и за рубежом («в заграничных, либеральных и народнических, речах»). О рыцарях «либерального российского языкоблудия» Ленин пишет также и в середине статьи.

Не приходится доказывать, что В. И. Ленин за границей получал и систематически читал русские газеты. Ссылками на них полны его работы этого времени. В биографии Владимира Ильича Ленина, в частности, указано, что Ленин в период жизни в Париже приносил русские газеты старому революционеру, эмигранту В. К. Курнатовскому. <sup>12</sup> Жизнь в Париже, конечно, исключала для него возможность (за отдельными исключениями) обращения к провинциальной и второстепенной столичной прессе. Скорее всего в распоряжении В. И. Ленина были основные столичные газеты и журналы.

Юбилейная литература 1912 года учтена в библиографии Б. Н. Окунькова «Литература о Герцене по поводу 100-летнего юбилея». <sup>13</sup> В ней перечислено 66 названий: список далеко не полный; по нашим подсчетам, в юбилейные дни появилось не менее ста статей. Еще менее полный материал содержится в библиографии, приложенной к статье Вас. Е. Чехихина (Ч. Ветринского) о Герцене в «Русском биографическом словаре». <sup>14</sup> В названной выше статье А. И. Володина в приложении перечислено 78 статей в журналах и газетах и 3 отдельные брошюры.

Для наших целей — для установления конкретных адресатов полемики В. И. Ленина — нет надобности в сплошном просмотре всей юбилейной литературы: статьи сугубо местного характера (например, о московском доме Яковлева-Герцена, о памятнике в Ницце и др.), краеведческие заметки (вроде «Герцен и Украина») и побольшие биографические справки сразу же могут быть исключены. Систематическое изучение всей остальной русской и зарубежной, легальной и «вольной» газетной и журнальной литературы позволило обнаружить ряд материалов, устанавливающих конкретных адресатов ленинской полемики, благодаря чему удается полнее осмыслить историческую обстановку идейной борьбы партии большевиков за наследие Герцена, в которой была написана знаменитая ленинская статья.

<sup>11</sup> «Исторические записки», 1960, № 67, стр. 77—102. К сожалению, А. И. Володин некритически принимает сообщение М. И. Ульяновой о парижском реферате В. И. Ленина о Герцене.

<sup>12</sup> Владимир Ильич Ленин. Биография. Госполитиздат, М., 1960, стр. 213.

<sup>13</sup> «Известия Одесского библиографического общества», 1912, т. I, вып. 9, стр. 373—375.

<sup>14</sup> Русский биографический словарь, т. «Герберский — Гогенлоэ». М., 1916, стр. 130—134.

## 3

В газетной и журнальной литературе правый лагерь был представлен немногочисленными статьями В. В. Розанова и П. П. Перцова. Газеты этого направления, и прежде всего «Россия» и «Новое время», откликнулись на юбилей как бы по обязанности немногими, однако достаточно выразительными статьями.

Лагерь марксистов был представлен небольшим количеством статей А. В. Луначарского, Г. В. Плеханова и некоторых других. Работы Плеханова сразу же вызвали нападки справа: в газете «Россия» с презрением говорилось, что статья «Философские взгляды А. И. Герцена» «скудна, бесцветна, а главное — страшно тенденциозна»<sup>15</sup> В «Запросах жизни», которые В. И. Ленин как раз в 1912 году охарактеризовал как журнал «ликвидаторски-трудовическо-вехистский» (т. 35, стр. 30), Н. И. Коробка, полемизируя с Плехановым, утверждал, что он чрезмерно сближает Герцена с марксизмом.<sup>16</sup>

Самая большая группа статей принадлежала кадетам или той части либеральной русской интеллигенции, которая группировалась недалеко от кадетов. Здесь должны быть названы статьи лидера кадетской партии П. Н. Милюкова, а также Ф. И. Родичева, П. Б. Струве, А. А. Кизеветтера, Н. А. Котляревского, А. А. Корнилова, Д. Н. Овсяннико-Куликовского, А. А. Измайлова, Н. П. Ашешова и других. Некоторые из названных лиц (Корнилов, Измайлов, Кизеветтер) выступили в печати по несколько раз. Авторы этих статей, захлебываясь от восторга, прославляли близкие им, по их мнению, идеи Герцена. «Сын свободы», «Великий гражданин» — такими заглавиями была переполнена юбилейная пресса конца марта 1912 года. А. А. Кизеветтер объявил Герцена «рыцарем идеи всечеловеческого братства».<sup>17</sup> Н. А. Котляревский назвал Герцена «Люцифером», «светоносцем нашей общественной жизни».<sup>18</sup> Н. П. Ашешов писал, что имя Герцена является «пречистым и пресветлым именем».<sup>19</sup> В. Богучарский (псевдоним В. Я. Яковлева) особенно отмечал «многогранность ума и многострунность сердца... нашего великого согражданина», который проник «орлиным взором во все ужасающие язвы русской жизни» и изданием «Колокола» «несомненно впледел в свой венок новый, неувядаемый лавр».<sup>20</sup>

В дни юбилея в либеральной прессе стало модным сравнивать Герцена с другим «изгнанником» — князем Андреем Курбским. Популярный критик Измайлов так и озаглавил свою статью — «Курбский новой России».<sup>21</sup> Упомянутый выше Н. П. Ашешов писал: «Впервые после Курбского заговорил властным и свободным голосом не раб, а гражданин».<sup>22</sup>

Стоит только сопоставить весь этот «поток» с тем, что мы знаем о постоянной ленинской нелюбви к громким словам, стоит вспомнить, что в сочинениях Ленина всевозможные виды фразерства не раз вызывали его иронию, насмешку и негодование,<sup>23</sup> мы поймем, насколько все приведенные выше цитаты были ему чужды и непримиримо враждебны.

<sup>15</sup> «Россия», 1912, № 1954, 29 марта, стр. 2, подп. «Критик».

<sup>16</sup> «Запросы жизни», 1913, № 13, стлб. 799—804.

<sup>17</sup> «Русские ведомости», 1912, № 71, 25 марта, стр. 2.

<sup>18</sup> «Речь», 1912, № 85, 25 марта, стр. 4.

<sup>19</sup> «Биржевые ведомости», 1912, № 12854, 25 марта, стр. 3.

<sup>20</sup> «Речь», 1912, приложение к № 83, 25 марта, стр. 9, 11 и 12.

<sup>21</sup> «Русское слово», 1912, № 71, 25 марта, стр. 4.

<sup>22</sup> «Биржевые ведомости», 1912, № 12854, 25 марта, стр. 3.

<sup>23</sup> См. рубрику «Революционная фраза, фразерство и борьба с ним» в предметном указателе «Справочного тома к 4 изданию сочинений В. И. Ленина» (ч. I, стр. 504—505), где приведено свыше 360 ссылок.

«... Никакие потоки жалких слов не помешают нам исполнять нашу обязанность: разоблачать фразерство и мистификацию, где бы они ни проявлялись, в „программах“ ли революционных авантюристов, в блестящих ли их беллетристики или в возвышенных предиках о правде-истине, об очистительном пламени, о кристальной чистоте и о многом другом», — писал Ленин еще в 1903 году (т. 7, стр. 25).

Презрением к пустозвонам проникнуты ленинские слова о людях, скрывающих «свои настоящие цели посредством тех или иных звонких, благозвучных и ничего не говорящих фраз» (т. 16, стр. 266). «Фразерство только засоряет глаза, ослепляет сознание, укрепляет старую тупость, косность, рутину капитализма, парламентаризма, буржуазной демократии» (т. 29, стр. 359). Стоит напомнить также заглавия некоторых статей Ленина: «О вреде фраз» (т. 24, стр. 506—508), «Фразы и факты» (т. 25, стр. 117—119), «О революционной фразе» (т. 27, 1—10), «О чечетке» (т. 27, стр. 17—20; Ленин писал в этой статье о «чечетке революционной фразы»).

Приведенных нами цитат из потока «красивых» фраз, характерных для печати в период герценовского юбилея (март—апрель 1912 года), больше чем достаточно, чтобы слова ленинской статьи об «обывательском славословии» получили историческое, вполне конкретное наполнение.

#### 4

В центре юбилейных торжеств был вечер, организованный литературно-общественным кружком имени А. И. Герцена, основанным в 1908 году, происходивший в Петербурге 27 марта 1912 года в Александровском зале городской думы.<sup>24</sup> Большинство газет поместило более или менее подробные отчеты об этом заседании.

В переполненном зале выступили Н. А. Когляревский, П. Б. Струве, П. Н. Милюков, Ф. И. Родичев, т. е. верхушка кадетской партии, прочно «пленившая» Герцена в дни юбилея. Им надо было во что бы то ни стало превратить Герцена в кадета.<sup>25</sup> С этой целью были предприняты и заседания, и вся газетно-журнальная кампания. В сущности эта кампания была начата давно, еще тогда, когда Струве в 1905 году начал издавать журнал «Полярная звезда». Уже самое заглавие кадетского органа должно было подчеркивать преемственную связь правого крыла кадетов с Герценом, их непосредственным, как они полагали, предшественником. В 1912 году Струве, стремясь лишить учение Герцена его революционного содержания, особенно восхвалял последнего за то, что лондонскому изгнаннику было присуще прежде всего «чувство меры».

Если бы Герцен был в этом зале, сказал П. Н. Милюков, как это явствует из газетного отчета, «ничего не было бы для него чуждым или новым».<sup>26</sup>

В другом газетном отчете речь Милюкова, озаглавленная «Герцен в смене поколений», была описана так: «П. Н. Милюков долго и своеобразно толковал учение Герцена и уверял присутствовавших, что, собственно говоря, Герцен был не кто иной, как самый благонадежный

<sup>24</sup> В Москве юбилей должно было отметить старейшее в России Общество любителей российской словесности, но заседание не состоялось, так как устроители отказались представить на предварительный просмотр властям конспекты речей (см.: «Русские ведомости», 1912, № 64, 17 марта, стр. 2; «Ижевская мысль», 1912, № 87, 29 марта, стр. 3 и др.). Памятное собрание в исторической комиссии учебного отдела Общества распространения технических знаний не было доведено до конца из-за вмешательства полиции, закрывшей заседание («Русские ведомости», 1912, № 84, 11 апреля, стр. 4).

<sup>25</sup> Демьян Бедный высмеял это стремление в басне «Кукушка», опубликованной в «Звезде» 23 февраля 1912 года (№ 12 (48), стр. 10—11).

<sup>26</sup> С. Л. Вечер в память А. И. Герцена. «Речь», 1912, № 85, 29 марта, стр. 4.



кадет». Фальсификация была столь очевидной, что репортер, не выдержав, закончил отчет словами: «Павлу Николаевичу Милюкову, разумеется, никто не поверил».<sup>27</sup>

Либеральному лагерю важно было сгладить остроту классовых столкновений и представить Герцена либералом. Этой цели служило утверждение Л. З. Слонимского, что Герцен близок к Кавелину.<sup>28</sup> С другой стороны, Д. В. Философов примирял Герцена с Чернышевским. Его статья была выразительно озаглавлена: «Примирительная встреча». Оказывалось, что Герцен мало чем отличался от Чернышевского. «...И неужели же, — восклицал Философов, — если бы они оба были теперь живы, они не поняли бы друг друга и не соединились бы как раз во имя того „общего дела“...»<sup>29</sup>

Д. Н. Овсянничко-Куликовский в благонамереннейшем «Вестнике Европы» доказывал, что в «философии и идеологии» Герцен «несомненно был гораздо больше художник, чем мыслитель».<sup>30</sup>

По мнению Н. П. Ашешова, «величайшим счастьем для Герцена был манифест 19 февраля» и «освобождение крестьян было совершено под знаком „Колокола“».<sup>31</sup>

Впрочем, все это уже в прошлом, сейчас остался только Герцен-художник, а «содержание его исканий в области волновавших его вопросов принадлежит истории», — так, в частности, заявлял А. А. Кизеветтер, ссылаясь выхолостить политический смысл всей жизни и борьбы Герцена.<sup>32</sup>

«Герцен одинаково спасителен как от мистической туманной романтики, так и от наивного революционизма» — эта формула Милюкова подводила итог борьбе кадетов за фальсифицированное изображение Герцена по образу и подобию своему.<sup>33</sup>

Милюкову вторил Ашешов: «...если переворот 17 октября своими отдаленными корнями врос в ту почву, на которой когда-то выросли Радищев, Новиков, декабристы, то бесспорно, что Герцен был первым из тех людей, кто толкал Россию на свободный, конституционный путь и властно звал народ и власть к политическому обновлению».<sup>34</sup>

Но кадетам было мало представить Герцена в качестве своего единомышленника: им было также политически важно противопоставить Герцена Марксу. Выполнение этой задачи взял на себя вчерашний легальный марксист Струве. В речи в городской думе он заявил, что «Письма к друзьям» (очевидно, «К старому товарищу») «по глубине мысли и проникновению могут сравниться с предисловием к первому изданию „Капитала“ Маркса и даже выше его».<sup>35</sup>

В тексте речи Струве, напечатанном в журнале «Русская мысль», эти слова звучат гораздо резче: «...полузабытое посмертное произведение русского мыслителя бесконечно выше всего Маркса и марксизма тем благородным моральным духом, который в нем разлит».<sup>36</sup>

В унисон недавнему легальному марксисту либерал Богучарский писал: «Он (Герцен, — С. Р.) был социалистом лишь в смысле своего безусловного отрицания, и отрицания именно с социалистической точки зрения мира буржуазного, но ни под какое определенное социалистиче-

<sup>27</sup> «Петербургская газета», 1912, № 84, 28 марта, стр. 3.

<sup>28</sup> «Запросы жизни», 1912, № 12, 23 марта, стлб. 719—724.

<sup>29</sup> «Русское слово», 1912, № 71, 25 марта, стр. 4—5.

<sup>30</sup> «Вестник Европы», 1912, № 3, стр. 158.

<sup>31</sup> «Биржевые ведомости», 1912, № 12854, 25 марта, стр. 3.

<sup>32</sup> «Киевская мысль», 1912, № 71, 25 марта, стр. 2—4.

<sup>33</sup> «Речь», 1912, № 85, 29 марта, стр. 4.

<sup>34</sup> «Биржевые ведомости», 1912, № 12854, 25 марта, стр. 3.

<sup>35</sup> Там же. Ср.: «Новое время», 1912, № 12945, 28 марта, стр. 5 (приведено в статье М. Г. Зельдовича, стр. 102).

<sup>36</sup> «Русская мысль», 1912, № 4, стр. 138.

ское знамя в смысле положительной школы, доктрины, догмата он не становился». <sup>37</sup>

В полном и трогательном согласии со Струве и Богучарским оказались на этот раз нововременцы. П. П. Перцов в статье «Судьба Герцена» особенно настаивал на том, что Герцен всегда оставался не более чем социалистом-утопистом и вовсе не верил в социализм Маркса. Социализм Маркса, по мнению Перцова, был настолько враждебен Герцену, что, «доживи он до наших дней — до „стены“ германского социализма, он не заметил бы и ее — не захотел бы с ней считаться». Перцов уверял, что «его (Герцена, — С. Р.) политическая роль, как бы она ни была значительна в свое время, окончилась еще при его жизни». <sup>38</sup>

Мы привели весь этот материал, чтобы современному читателю стало ясно, что стоит за краткими, обобщающими формулировками ленинской статьи. Теперь видно, как точен был В. И. Ленин, когда он писал о том, что юбилей Герцена отметила «вся либеральная Россия, заботливо обходя серьезные вопросы социализма, тщательно скрывая, чем отличался революционер Герцен от либерала» (т. 18, стр. 9). Приведенный материал, погребенный на страницах давно ушедших от нас газет и журналов, служит надежным комментарием к этим словам Ленина.

Нам удалось найти также данные, подтверждающие конкретность и той формулировки Ленина, где он говорит о «рыцарях либерального российского языкоблудия, которые прикрывают теперь свою контрреволюционную цветистыми фразами о скептицизме Герцена» (т. 18, стр. 10).

Приведем примеры.

Несколько раз уже упомянутый Апешов в названной выше статье не раз и не два пишет о скептицизме Герцена, например, в таких словах: «... в нем всегда горел огонь святого недовольства и святой критики со сущего скептицизма». <sup>39</sup>

Не раз цитированный Богучарский пишет: «... у этого борца за освобождение трудящихся вечно жил в душе гамлетовский скептицизм». <sup>40</sup> В этой же статье снова встречаем: «... одну из самых отличительных черт его личности было редкое сочетание чрезвычайной экспансивности характера с вечным именно скептическим „сосанием под ложечкой“». <sup>41</sup>

В таком же духе говорилось о Герцене и в анонимной заметке либерально-буржуазной «Нивы»: «... в последние девять лет жизни он во многом разочаровался, во многом изверился, и эти последние годы были для него тяжелы и малоплодотворны». <sup>42</sup>

<sup>37</sup> «Речь», 1912, № 83, 25 марта, стр. 10.

<sup>38</sup> «Новое время», 1912, № 12944, 25 марта, стр. 5. «Стеною германского социализма» тогда называли сто депутатов-социалистов германского рейхстага. Герцену и Марксу несколько страниц было уделено в статье В. Лемуара (псевдоним В. М. Чернова — см.: И. Ф. Масанов. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей, т. II, М., 1957, стр. 117) «Великий образец самокритики», напечатанной в эсеровском журнале «Заветы» (1912, № 1 (апрель), стр. 91—97). Эта статья и напечатанная в том же номере статья того же Чернова («Не во время родившийся») были вырезаны из журнала по требованию цензуры (см. об этом: Б. Н. Окуньков. Литература о Герцене по поводу 100-летнего юбилея, стр. 375). А. И. Володин ошибочно считает В. Лемуара реальным лицом («Исторические записки», № 67, 1960, стр. 80). Номер вышел в свет с запозданием, без этих статей; на титульном листе было обозначено: «Второе, исправленное издание». Читал ли Ленин две названных статьи — неизвестно. Какое-то количество экземпляров первого варианта успело разойтись. Обе статьи сохранились, например, в экземплярах, находящихся в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Библиотеке Академии наук СССР, Библиотеке Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР и некоторых других.

<sup>39</sup> «Гиржевые ведомости», 1912, № 12854, 25 марта, стр. 2.

<sup>40</sup> «Речь», 1912, № 83, 25 марта, стр. 9.

<sup>41</sup> Там же, стр. 10.

<sup>42</sup> «Нива», 1912, № 16, 21 апреля, стр. 319—320.

## 5

В статье В. И. Ленина дан бой не только либерально-кадетскому лагерю. Владимир Ильич не мог оставить без ответа и другого рода юбилейную клевету. «Поминает Герцена и правая печать, — писал Ленин, — облыжно уверяя, что Герцен отрекся под конец жизни от революции» (т. 18, стр. 9). Эти слова В. И. Ленина имеют также совершенно твердый фундамент.

За год до юбилея, 8 июля 1911 года, в «Новом времени» появилась большая статья под названием «Герцен», написанная штатным журналистом этой газеты и одним из ее идеологов В. В. Розановым. На ней стоит остановиться. Внимательно следя за всей русской прессой, В. И. Ленин, конечно, читал эту статью и, весьма вероятно, учел и ее в своих полемических выпадах против реакционеров правого лагеря. Из всех клеветнических статей о Герцене она побивает своеобразный рекорд. Основной ее тезис: Александр II был прогрессивнее Герцена!? «Странно сказать, — писал Розанов, — но государь Александр II, которого он осыпал упреками (в «Колоколе») за недостаточно быстрые и недостаточно радикальные реформы, на самом деле стоял гораздо впереди Герцена, стоял наравне (в одной новой психологии) с Чичериным и Кавелиным, даже, наконец, с кружком „Современника“». Эту трогательную картину «единения» Александра II, Чичерина, Кавелина и круга Чернышевского Розанов рисует далее так: «...и посади его „во власть“ на случай „освобождения престола“, ну — на трон, то он сделал бы несравненно менее Александра II, ибо менее его был трудоспособен и скромнен: он все бы измял, все бы искровянил, и, в конце концов, ничего не сделав, заехал бы от отчаяния в такую реакцию, какая нашему правительству и не снилась...» В заключение статьи Розанов сообщал, что Герцен «зажился», что «он становился комичен» и пр.<sup>43</sup> Каким анекдотом ни звучит сегодня эта статья, но она отражает взгляды реакционнейшей журналистики и не должна быть элиминирована.

Но надо полагать, что Ленин имел в виду не только эту статью.

В «Новом времени» выступил также П. П. Перцов со статьей «Судьба Герцена», на которой мы уже останавливались, где он писал, что «его (Герцена, — С. Р.) политическая роль... окончилась еще при его жизни» и что его как революционера постигло «великое разочарование».<sup>44</sup>

В черносотенном официозе Министерства внутренних дел — газете «Россия», которую Ленин называл «полицейски-столыпинской „Россией“» (т. 13, стр. 407), некий «Критик» (псевдоним остается не раскрытым) так излагал учение Герцена: «Революции бесполезны, ничему не помогут баррикады... нужна долгая подготовительная работа и просвещение темных масс». В той же статье говорилось, что у Герцена не было «рабских целей разных партийных этикетов», а был «дух благородной терпимости», и выражалось сожаление, что «потомки Герцена» «не чувствуют того тупика, к которому ведет плоское позитивное мирозерцание и легкомысленное отрицание стихийной силы греха».<sup>45</sup>

В статье «Московских ведомостей», озаглавленной «Дело жизни Герцена» (автором ее был, по-видимому, ренегат Л. А. Тихомиров), сопоставлялись имена Каткова и Герцена в пользу первого («его значение и влияние более прочное...») и, кроме того, указывалось, что «учиться не у него (у Герцена, — С. Р.), а на нем можно многому именно не революционерам каких бы то ни было партий, а только тем людям, которые

<sup>43</sup> «Новое время», 1911, № 12686, 8 июля, стр. 8.

<sup>44</sup> Там же, 1912, № 12944, 25 марта, стр. 5.

<sup>45</sup> «Россия», 1912, № 1952, 25 марта, стр. 2.

умеют ценить независимость мысли»<sup>46</sup> и т. д. Даже в либерально-буржуазной «Киевской мысли» проскальзывали те же мотивы: Н. Василенко в статье «Общественно-политические взгляды Герцена» сообщал, что «в последние годы своей жизни Герцен менее чем когда-либо верил в резкие скачки общественного движения».<sup>47</sup>

Даже в более или менее прогрессивном по тем временам журнале «Жизнь для всех» журналист Н. Галафре (псевдоним Л. И. Логвиновича) в статье «Жизнь А. И. Герцена» писал, что со времени основания «Колокола» «Герцен уже не был революционером». Вольно или невольно автор оказывался единомышленником В. В. Розанова, не говоря уже о кадетах. «Он умер, — читаем в этой же статье, — совсем одинокий, всеми покинутый, „обломок исчезнувшей породы“».<sup>48</sup>

В «Современнике» — большом литературно-политическом журнале, о котором В. И. Ленин писал, что это «один из наиболее беспринципных интеллигентских журнальчиков» (т. 20, стр. 361), «помесь народничества с марксизмом» (т. 20, стр. 273), — в марте 1912 года Иванов-Разумник по поводу публикации нескольких писем Герцена счел нужным заявить, что «то, что сеял Герцен в своем „Колоколе“ — было временным и злободневным; то что высказал он в письмах и статьях конца сороковых годов — останется вечно истинным при всяком правительстве, при всяком социальном строе».<sup>49</sup>

Трудно сказать, успел ли Ленин прочесть эту статью, но независимо от этого знаменитый тезис Ленина о значении «Колокола», который «встал горой за освобождение крестьян» (т. 18, стр. 12), тезис о Герцене-революционере, обратившем «свои взоры... к *Интернационалу*» (т. 18, стр. 11), звучит прямой полемикой с попытками представить дело так, что якобы у Герцена ценным является лишь его наследие сороковых годов, и замолчать его революционный подвиг последних двадцати четырех лет жизни.

Как видим, и в данном случае слова Ленина, вызванные острой политической борьбой вокруг наследия Герцена, имели совершенно точный адрес.

## 6

Нам остается еще рассмотреть конкретную полемическую направленность следующих слов ленинской статьи: «... в заграничных, либеральных и народнических, речах о Герцене царит фраза и фраза» (т. 18, стр. 9).

Прежде всего обратим внимание на то, что В. И. Ленин, всегда совершенно точный, говорит на этот раз не о статьях, а о речах. Слова эти, очевидно, не случайны, и нам надлежит поэтому найти именно речи.

За рубежом столетие со дня рождения Герцена было отмечено сравнительно широко: в Риме в русской библиотеке Л. Н. Толстого выступал В. Чернов, в Женеве и Лозанне речи произнес А. В. Луначарский,<sup>50</sup> в Лондоне 24 марта (6 апреля) состоялось собрание, на котором, в частности, было прочитано письмо П. А. Кропоткина. Это письмо под заглавием «П. А. Кропоткин о Герцене» было напечатано в парижской газете «L'Avenir».<sup>51</sup> Нет никаких оснований думать, что В. И. Ленин имел в виду это спокойное и серьезное письмо.

<sup>46</sup> «Московские ведомости», 1912, № 72, 29 марта, стр. 1.

<sup>47</sup> «Киевская мысль», 1912, № 85, 25 марта, стр. 6.

<sup>48</sup> «Жизнь для всех», 1912, № 3, март, стлб. 505—512.

<sup>49</sup> «Современник», 1912, № 4, стр. 193—203.

<sup>50</sup> См.: «Русские ведомости», 1912, № 72, 28 марта, стр. 2.

<sup>51</sup> «L'Avenir», 1912, № 29, 20 avril (3 mai), pp. 2—3. Перепечатано: Д и о н о е. А. И. Герцен в Лондоне. «Русские ведомости», 1912, № 75, 31 марта, стр. 2; А. И. Герцен, Полное собрание сочинений и писем, т. XXII, ГИЗ, Л., 1925, стр. 172.

Особо надо остановиться на Франции. В этой стране юбилей был отмечен в Париже и в Ницце. Торжествам в Ницце предшествовало создание специального комитета, в который вошли Анатоль Франс, Жюль Кларети, Франсис де Пресансе, мэр Ниццы Э. Натан, Кейр-Гарди, Вандервельде и некоторые другие.<sup>52</sup> Комитет выпустил специальное воззвание, а 25 марта (7 апреля) из центра города на кладбище отправилась специальная процессия. В московских газетах «Русское слово», «Русские ведомости», а также в выходившей в Петербурге с участием В. И. Ленина газете «Звезда»<sup>53</sup> сообщалось, что собралось более 300 человек и что большую речь произнес Г. В. Плеханов. В другой статье «Русского слова» ее специальный французский корреспондент М. Первухин уточнил, что, кроме Плеханова, на митинге на могиле выступили французский социалист Фредерик Штакельберг, В. М. Чернов, революционер-эмигрант П. Н. Дневницкий и внук писателя — профессор Лозаннского университета А. А. Герцен (он говорил по-русски и по-французски), а также не названные по фамилиям польский и грузинский социалисты.<sup>54</sup> К сожалению, материалы газетных заметок недостаточны, чтобы представить себе характер речей. Выступление Плеханова было вскоре напечатано в № 27 газеты «L'Avenir»,<sup>55</sup> но к нему отзыв Ленина относиться не может.

В Париже, как можно судить, состоялось два собрания. Одно из них — организованное Тургеневской библиотекой, очень многолюдное, — было открыто 25 марта (7 апреля) в присутствии мужа дочери Герцена — историка Габриеля Моно и его сына — художника Эдуарда Моно. На этом собрании «выдавались по интересу речи В. Я. Богучарского и Рубановича... Писатель Вацлав Серошевский выступил по-польски».<sup>56</sup>

Упомянутая в начале статьи заметка «Le centenaire d'Alexandre Herzen»<sup>57</sup> позволяет пополнить список предполагавшихся ораторов еще именами Авксентьева, Луначарского и д-ра Шениса (Chenisse). Но эти три лица, очевидно, не выступали.<sup>58</sup> Имя А. В. Луначарского названо также и в корреспонденции «Русских ведомостей».<sup>59</sup> Кроме того, были оглашены приветствия из различных стран и от учащейся (русской?) молодежи (Парижа?).<sup>60</sup>

Сведений о каких-либо других заграничных собраниях найти не удалось, но можно не сомневаться, что именно это парижское собрание, а может быть, и речи кого-либо из римских или ниццских ораторов Ленин имеет в виду в статье.

Видного деятеля партии эсеров И. А. Рубановича (1860—1920) В. И. Ленин в 1914 году назвал шовинистом «по оппортунизму или по

<sup>52</sup> В «Русских ведомостях» (1912, № 71, 25 марта, стр. 4) состав комитета назван несколько иной, в «L'Humanité» (1912, № 2909, 22 mars (4 avril) p. 2) в заметке «Le centenaire d'Alexandre Herzen» (подп. «S. R.») состав комитета поименован снова с некоторыми отличиями (дополнительно — Габриель Моно, Л. Декав, П. А. Кропоткин, Г. В. Плеханов, И. А. Рубанович и В. Н. Фигнер). В той же заметке назван и распорядительный комитет Ниццы — Мишель Делинь, Фредерик Штакельберг и Михаил Туманов. Текст выпущенного в Ницце воззвания см.: «Русские ведомости», 1912, № 71, 25 марта, стр. 4.

<sup>53</sup> См.: «Русское слово», 1912, № 72, 28 марта, стр. 3; «Русские ведомости», 1912, № 71, 25 марта, стр. 4; № 72, 28 марта, стр. 2; «Звезда», 1912, № 28 (64), 10 апреля, стр. 2—7.

<sup>54</sup> «Русское слово», 1912, № 76, 12 апреля, стр. 3.

<sup>55</sup> Перепечатано: Г. В. Плеханов, Сочинения, т. 23, 1926, стр. 453—457 (под заглавием «Речь на могиле А. И. Герцена в Ницце 7 апреля 1912 г.»). А. И. Володин сообщает, что вечером того же дня Плеханов прочитал в Ницце, в отеле «Родной угол», реферат о Герцене («Исторические записки», № 67, 1960, стр. 81).

<sup>56</sup> «Русское слово», 1912, № 72, 28 марта, стр. 3.

<sup>57</sup> «L'Humanité», 1912, № 2909, 25 mars (4 avril), p. 2, подп. «S. R.».

<sup>58</sup> Ср. объявление в день вечера в «L'Humanité» (1912, № 2912, 7 avril, p. 1).

<sup>59</sup> «Русские ведомости», 1912, № 72, 28 марта, стр. 2.

<sup>60</sup> «Русское слово», 1912, № 72, 28 марта, стр. 3.

бесхарактерности» (т. 21, стр. 84) и неоднократно — «социал-шовинистом» (т. 21, стр. 95, 112, 114, 289; т. 25, стр. 355); в 1916 году он назван «оппортунистическим социалистом» (т. 22, стр. 143). В указанном выше номере газеты «Русское слово» выступления парижских ораторов не приведены. Лишь о Рубановиче коротко сказано, что он говорил об огромном значении общины, которая «до сих пор еще является центром острой политической борьбы».

Эсеры, как известно, явились наследниками поздненароднической идеологии, и, говоря о народниках, В. И. Ленин вполне мог подразумевать и деятеля партии социалистов-революционеров.

Деятельность Вацлава Серошевского (1858—1945), известного польского прозаика, в эти годы носила националистический оттенок; впоследствии он стал защитником режима Пилсудского. Его речь на парижском собрании напечатана в газете «L'Avenir».<sup>61</sup> Но это выступление, на наш взгляд, едва ли могло стать объектом ленинской полемики.

О роли Богучарского в юбилее Герцена ниже уже было сказано. Вспомним, что Богучарского В. И. Ленин еще в 1906 году назвал в числе «перебежавших к либералам социал-демократов» (т. 11, стр. 374), а в 1907 году — «рenegатом социал-демократии» (т. 12, стр. 7), в 1914 году Богучарский назван просто либералом (т. 20, стр. 287, 428).

Выступление Богучарского может быть приблизительно восстановлено. В приложении к № 83 газеты «Речь» от 25 марта 1912 года была напечатана статья Богучарского под цветистым заглавием «Рыцарь духа». В конце статьи помета: «Париж. Март 1912 г.».<sup>62</sup> Едва ли будет ошибкой предположение, что эта статья более или менее близко воспроизводит его выступление в Париже. Выше уже была отмечена эта речь и ее высокопарная фразистость. Слова В. И. Ленина — «царит фраза и фраза» — полностью подтверждаются текстом речи. «Многогранность ума и многострунность сердца», «в душе проходили огромные токи противоположных настроений», «великий сеятель идей, но не проповедник формул и не глашатай рецептов» — все эти словесные выкрутасы не могли не претить стилистической системе Ленина, четкость политических формулировок которого противостоит расплывчатой красноречивости «ораторов» либерального лагеря.

Таковы конкретные адресаты ленинской полемики в борьбе за марксистское понимание творческого пути великого русского революционера и писателя.



<sup>61</sup> «L'Avenir», 1912, № 26, 1 (14) avril. Готовясь к выступлению, Серошевский изучил выходивший в Лондоне журнал «Польский демократ» и обнаружил в нем две статьи Герцена. Его сообщение об этом было напечатано в «Современном мире» (1912, № 6, стр. 188—191).

<sup>62</sup> В 1912 году в Петербурге вышла в свет небольшая книжка Богучарского «Александр Иванович Герцен» (Издание кружка имени А. И. Герцена, 178 стр.). Она вызвала известную рецензию Г. В. Плеханова в № 6 «Современного мира». Плеханов дал ей резко отрицательную оценку. Сен-симонизм, указывал Плеханов, в этой книге нашел совершенно неверную интерпретацию, понимание «сущности христианства» извращено, «разочарование Герцена в Западной Европе совсем не понято нашими либеральными мудрецами вроде г. Богучарского», оценка революционного народничества совершенно ошибочна. Книга Богучарского зарегистрирована в «Книжной летописи» за 1912 год под № 14 от 7 апреля (№ 9170) в числе поступивших с 27 марта по 3 апреля. Возможно, что Ленин успел эту книгу просмотреть; впрочем, ничего принципиально нового по сравнению с опубликованными в дни юбилея статьями в ней не было.

## ПРОБЛЕМА «РУССКОГО ДЕЯТЕЛЯ» В ТВОРЧЕСТВЕ ГЕРЦЕНА 40-Х ГОДОВ

(ОТ «КТО ВИНОВАТ?» К ПОВЕСТИ «ДОЛГ ПРЕЖДЕ ВСЕГО»)

Герцен оставил Россию признанным писателем: «Записки одного молодого человека», «Кто виноват?» и «Доктор Крупов» принесли ему большую известность как художнику; не меньшую популярность снискали к этому времени философские и публицистические статьи Герцена.

На фоне бурного оживления русской прозы середины 40-х годов, когда в литературу вступали такие крупные писатели, как Тургенев, Достоевский, Некрасов, Гончаров, роман Герцена «Кто виноват?» явился весьма примечательным литературным событием. Белинский, в это время уже во многом единомышленник Герцена, дал о «Кто виноват?» интереснейший отзыв в обзоре выдающихся произведений 1845 года, реакционная критика открыто или завуалированно выступила против идеологических основ романа, кроме того, в частной переписке многих самых различных по своим убеждениям литераторов мы находим отклики на роман Герцена.

Друг Герцена Т. Н. Грановский, Некрасов, только что вошедший с таким триумфом в литературу Ф. Достоевский, славянофил И. Аксаков, молодые критики противоположных убеждений В. Майков и А. Григорьев — все признают появление романа Герцена большим событием.

Известное влияние романа «Кто виноват?» испытали в конце 40-х — начале 50-х годов будущие революционные демократы: Салтыков-Щедрин, Чернышевский и Добролюбов.

Думается, роман привлекал к себе внимание не столько сатирическим изображением быта русских крепостников и обличением чиновничье-самодержавной действительности — подобные вещи были не редкостью в литературе середины 40-х годов (стоит вспомнить Гоголя, Тургенева, Григоровича, Некрасова, Соллогуба и др.), сколько остротой этического конфликта, проблемой: как жить, что делать, когда личное оказывается трагическим, когда человек волею судьбы предоставлен обстоятельствам, изменить которые он бессилён.

Философия быта, моральные качества людей, их отношение друг к другу всегда интересовали Герцена: его первые литературные опыты, письма к невесте, дошедшие до нас вятские произведения, отрывки, сюжеты, наконец, дневник показывают, какое большое значение придавал Герцен решению нравственных проблем.

В 1842 году, когда складывались в каком-то самом общем плане контуры будущего романа «Кто виноват?», Герцен сначала в дневнике,<sup>1</sup> а затем в статье «По поводу одной драмы» приходил к выводу, что причиной «сломанного бытия» людей является «теснота и неестественная для человека жизнь праздности; преступное отчуждение от интересов

<sup>1</sup> См.: А. И. Герцен, Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, Изд. АН СССР, М., 1954, стр. 227—228. В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте.

всеобщих, преступный холод ко всему человеческому вне их тесного круга, исключительное занятие собою, взаимное обоготворение. Других вин не ищите, вот большое место!.. Если бы Эмиль (герой драмы Арну и Фурнье «Преступление, или восемь лет старше», — Е. Д.), сверх своих личных привязанностей, имел симпатию к современности, любовь к родине, к искусству, к науке, остался ли бы он сложа руки, в ничтожной праздности разжигая бездействием страсти, истощая силы души на противодействие несчастной любви?» (II, 66).

Заканчивая «Кто виноват?» в конце 1846 года, Герцен в образе Бельтова развивает свой собственный вариант героя, который еще в 1842 году казался ему имеющим все залогом для успешной борьбы с судьбой. Бельтов не отчуждает себя от всего человеческого, не занят исключительно собой, у него есть и «симпатии к современности» (в смысле интереса к окружающей среде), и своеобразная любовь к родине, к искусству, к науке, но все это не спасает его от личной катастрофы.

Почему Бельтов не нашел для себя настоящего дела в жизни и в конце концов отдал все свои душевные силы трагической любви? Только ли потому, что в условиях крепостнической действительности для его деятельности существовали «внешние препятствия»? Герцен в «Кто виноват?», в сущности, только поставил этот вопрос, подобно тому, как и в статье «По поводу одной драмы» тоже ставился вопрос о «главном виновнике». Сопоставляя эти два произведения, можно видеть, что мысль Герцена работала в пределах общечеловеческих этических категорий,<sup>2</sup> и потому он не мог сделать вывода, что конкретными социальными условиями можно объяснять личные катастрофы. Подобного вывода не делал и Белинский. Он явно с неудовольствием писал о таком варианте, несправедливо при этом считая его осуществленным в последней части романа Герцена: «... Бельтов вдруг является перед нами какою-то высшею, гениальною натурою, для деятельности которой действительность не представляет достойного поприща...»<sup>3</sup> Причину трагической скуки и праздности Бельтова Белинский видит в самой его «натуре», в «ложном воспитании», в «богатстве», которое способствует развитию «ума созерцательного, теоретического, который не столько углублялся в предметы, сколько скользил по ним».<sup>4</sup>

Разумеется, великий революционный критик-демократ не мог успокоиться на признании невозможности сделать что-нибудь полезное людям в условиях самодержавно-крепостнической России.

Фигура Бельтова, в которой он увидел сходство с Печориним, игнорируя трагизм конфликта, настойчиво подчеркиваемый Герценом, вообще была неинтересна для Белинского. Он считал, что автор «не совладал» с ним как следует, что и Любонька и Круциферский интересны лишь тогда «они живут в доме Негровых и страдают от всего их окружающего». В одном месте Белинский прямо говорит, что достоинство романа надо искать «не в картине трагической любви Бельтова и Круциферской»,<sup>5</sup> и далее в соответствии со своими идеалами того времени критик считает основной мыслью романа Герцена «страдание, болезнь при виде

<sup>2</sup> Не случайно и Огарев в письме к Е. Ф. Коршу от 28 июля 1847 года видел в романе Герцена не «только беллетристическое произведение» — роман казался ему «глубокой психологической этюдой», этюдой на тему современности, но в то же время он видел в нем постановку вопроса о необходимости синтеза отрицания и утверждения в человеке для определения его нравственной зрелости, его потенциальных возможностей к «гармонической жизни, которая напомнит греческий мир». См.: Помощь голодающим. Научно-литературный сборник, М., 1892, стр. 522.

<sup>3</sup> В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. X, Изд. АН СССР, М., 1956, стр. 321—322.

<sup>4</sup> Там же, стр. 321.

<sup>5</sup> Там же, стр. 322.



непризнанного человеческого достоинства, оскорбляемого с умыслом и еще больше без умысла, это то, что немцы называют *гуманностью* (*Humanität*)».<sup>6</sup> Однако авторские акценты, эпиграф, заглавие романа, а также пастойчивое возвращение Герцена к раздумьям по поводу трагических любовных конфликтов (повесть «Елена», дневниковые записи, «По поводу одной драмы») убеждает в том, что Герцен в «Кто виноват?» на первое место ставил все-таки проблему крушения семьи Круцифферских. Мало того, Бельтов явно заинтересовал Герцена больше всех других лиц, когда он в 1845 году взялся за продолжение романа. Именно появление Бельтова изменило скептическое отношение к «похождениям одного учителя» в ближайшем дружеском кругу Герцена,<sup>7</sup> наконец, по поводу Бельтова произошел очень интересный обмен мнениями у Герцена с Огаревым. В письме от 8—9 июля 1847 года последний писал Герцену уже в Париж: «Перечитал я вчера „Кто виноват?“. Эта повесть на меня всегда производит сильное впечатление, она слишком близка. А знаешь ли что, Герцен? Ведь метил ты Бельтова поставить очень высоко. А между тем Бельтов — durch und durch ложное лицо. Бельтов — романтик и pseudo-сильный человек, хотя все-таки высокий человек. Бельтов — больной человек. Иначе он бы рассчитывал свою силу и объект деятельности и нашел бы среду, где бы мог развернуть ее. Хватание за разные предметы без порядка — признак романтического брожения. Я думаю, неумение отыскать самого себя в мире при огромном чувстве самобытности составляет последний фазис нашего романтизма. Неужели мы не перейдем этот рубеж! Досадно будет. Мне ни умирать, ни замирать ни в каком отношении не хочется». «Но кто же виноват в том, что натура светлая, а жить тяжело? Среда или сами мы? Ни то, ни другое, вероятно, а разница того и другого. Впрочем, это осевшее чувство скорби может быть очищено деятельностью. Деятельность стирает с нее остатки романтической пыли, а остается живая человеческая, весьма простая скорбь, которая знает свой предмет...»

Люди, которым хочется и беспредметно любить, и что-то творить, и что-то делать, похожи на хватов-офицеров, которые все нюхают: нет ли кого побить — ямщика ли, другого ли кого. Да помилуйте, господа, за что же? Если у Вас есть сила — производите, а если побить случится, так бейте, когда кто действительно виноват... К чему я все это говорю? Уж оно, право, старо. Да так, мой друг, последняя филиппика против романтизма».<sup>8</sup>

Герцен отвечал Огареву 3 августа 1847 года: «Быть современным, уместным, взять именно ту сторону среды, в которой возможен труд, и сделать этот труд существенным — в этом весь характер практического человека. И с этой стороны ты совершенно прав, нападая на Бельтова; ошибка в том, что цель не Бельтов, а необходимость подобного воздействия не па из рук вон сильного человека — но на прекрасного и способного человека. Для того чтоб убедиться в этом, достаточно вспомнить биографии всех знакомых, да и наши несколько. При начальных шагах жизни что представлялось на выбор? Доктринерство, всяческий романтизм, я сделался отчасти доктринером и, может, был бы sehr ausgezeichnet in meinem Fache, если б не необходимость уехать в провинцию. Там я сделался романтиком. В действительную жизнь, в действительное спасение вышел я женитьбой, — да ведь и ты женился, однако для тебя это имело совсем иную воспитательную силу. Наконец, литературная (прак-

<sup>6</sup> Там же, стр. 323.

<sup>7</sup> См. письмо Герцена к А. Краевскому от 23 декабря 1845 года (XXII, 248).

<sup>8</sup> «Литературное наследство», т. 61, стр. 768, 767—768. В уже цитированном письме Н. П. Огарева к Е. Ф. Коршу он опять-таки подчеркивал, что у Бельтова нет настоящей зрелости взглядов и что это «невольно перебрасывает человека в романтическое отращивание от деятельности» (Помощь голодающим, стр. 522).

тическая, и очень) деятельность сделалась пока единственной возможной, — дело пошло довольно успешно, хотя я собственно на нее попал в 30 лет. Могло совсем иначе быть; да и, без хвастовства, у нас довольно много силы, даже своего рода *persévérance* и юркость, да, прошу не смеяться над этим словом, юркость — важная помощь в жизни, да еще способность понимать, страдать — и утешаться. Но вот здешний ех-Гегель, вот тебе пример противоположный, а долю и Са<зонов> — *sui generis* романтик — плодovitая бесплодность!» (XXIII, 34).

Эта полемика Герцена и Огарева свидетельствует о следующем. Во-первых, Огарев, да и сам Герцен, хотя прошел всего только один год после публикации «Кто виноват?», не удовлетворены в образе Бельтова решением проблемы «высокого» человека, стоящего над пошлой окружающей средой крепостнической России. Во-вторых, вопрос о деятельности стал самым острым вопросом в дружеском кругу Герцена—Огарева—Грановского, причем о деятельности не абстрактно-романтической, а практической, полезной не только для необходимого собственного душевного удовлетворения, но для людей, т. е., в понимании Герцена и Огарева, для их духовного пробуждения. В-третьих, и Огарев, и Герцен употребляют здесь понятие «романтический характер», «романтическая натура» явно в отрицательном смысле и в то же время с очень конкретным содержанием этого понятия. Романтик, по их мнению, — это тот, кто противоположен сильному человеку, т. е. слабый человек; романтический характер — неумение определить для себя нужное место в жизни, хватание без определенной цели за разные предметы. Романтизм — это незнание действительности, беспомощность, бесполезность, бесплодность.

Какие же факты способствовали такому обостренному отрицанию романтизма, который Герцен и Огарев считают самым главным препятствием для положительной, практической деятельности?

Уже в короткое пребывание в Москве между Владимиром и Петербургом Герцен вошел в дружеский круг, группировавшийся около Огарева и Грановского. Круг этот составляли и прежние друзья Герцена — Сатин, Кетчер, и новые — молодые ученые, литераторы и дилетанты: Галахов, Редкин, Крюков, Боткин, Корш. Во главе стояли Белинский и Бакунин. Ближе всех Герцен сошелся с Грановским.

Большой, талантливый ученый, в высшей степени гуманный человек, преданный друг, Грановский сочетал в себе вместе с «независимым образом мыслей» «мягкость форм» и «примиряющую стихию». Он, по характеристике Герцена, не мог выдержать «ни бесстрастную нелюбовность логики, ни бесстрастную объективность природы» (IX, 124). Для него необходимо была поэтическая религия духа, и все это приводило к тому, что, думая, уча и делая пропаганду «историей», Грановский во многом, особенно в быту и этике, оставался в пределах прежних романтизированных, в конечном счете идеалистических представлений.

В середине 40-х годов Герцен, а за ним и Огарев смело шли на поиски истины во всех областях духовной жизни, готовые принять ее такой, какой она предстанет перед ними. Никто, кроме них, из московского круга, читая те же сочинения и размышляя о тех же фактах действительности, не мог так решительно и свободно рвать с прежними романтизированными идеалами и «отрешаться от всего для мысли или отрешаться от себя для наблюдения» (IX, 124). Грановский сказал однажды в споре: «Личное бессмертие мне необходимо» (IX, 209). Это была фраза, ясно обозначившая предел между друзьями, так как для Герцена убеждение в данном пункте составляло «истинную основу жизни» (IX, 125). Теоретическое разногласие обнаруживало себя по

мере бурного философского роста Герцена от «Дилетантизма в науке» к «Письмам об изучении природы», а летом 1846 года во время совместного пребывания на даче в Соколове произошел так называемый «теоретический разрыв».

Находясь в Соколове, Герцен написал статью «Новые вариации на старые темы», где объектом анализа и раздумий явилась психика современного человека. Наше бытие, наше сознание, утверждал здесь Герцен, полно противоречий, «они прокрались во все наши убеждения, исказили весь нравственный быт», и эти «скорбные и мучительные противоречия», до поры до времени мирно лежащие в основе всех дел современного человека, составляют одну «из самых резких, отличительных черт нашего образования» (II, 87). Герцен несколько раз подчеркивает в статье, что не только не способные понять истину, нравственно слабые люди добровольно отдаются в рабство лени, привычке и внешнему авторитету, но у большей части самых развитых людей найдется «какое-нибудь карманное идолопоклонство» (II, 92), их любовь к нравственной свободе оказывается «чисто платонической, идеальной», «по ней вздыхают, о ней говорят в ученых предисловиях и в академических речах, ей поклоняются пламенные души, но на благородной дистанции» (II, 90).

Несомненно, говоря о «пламенных душах», Герцен имеет в виду именно тех, кого он считал романтиками. В нескольких местах статьи он прямо оперирует понятием «романтизм»: «борьба» «сознания с привычкой, мысли с рассказом, логики с преданием» (II, 89—90) приводит к «желанию» «сохранить разом науку со всеми ее правами и притязанием на самозаконность разума, на действительность ведения, и все *романтические* выходки против разума, основанные на неопределенном чувстве, на темном голосе» (II, 87—88; курсив мой, — *Е. Д.*); «желание выйти из *романтизма* ощутительно, но робко покидаем мы его» (II, 98; курсив мой, — *Е. Д.*).

Именно «романтизмом» называл Герцен состояние своего друга Грановского в период соколовских споров 1846 года (см.: IX, 207), и термин этот тогда же приобрел в употреблении Герцена совершенно особый конкретный, философский смысл: романтизм — это нежелание принять истину такой, какой она является нашему разуму, это стремление сохранить из старых идеалов религии то, что дает возможность надеяться и утешаться.

Характерно, что Грановский в письмах Герцену за границу несколько раз напоминает о своем «романтизме» 1846 года.<sup>9</sup> Очевидно, термин этот был воспринят и бытовал в московском кругу именно как понятие, отделяющее мировоззрения Грановского и Герцена. В этой связи полемика с «романтическими выходками против разума» в статье «Новые вариации на старые темы» приобретает, кроме общепhilosophического, еще некий конкретный смысл. Не случайно, быть может, статья Герцена датирована «с. Соколово. Июль 1846» — место и время «теоретического разрыва». В этот год Герцен уже не вел дневника, переписки (кроме нескольких писем к жене из Петербурга в начале октября) тоже ни с кем не было, поэтому нельзя найти почти никаких свидетельств самого Герцена того времени об этой бесспорно тяжелой для него полосе жизни. В «Былом и думах» и в воспоминаниях современников несом-

<sup>9</sup> См. письмо начала сентября 1847 года («Опять романтизм, скажешь ты, может быть, прочитав это письмо») или письмо, датированное июлем-августом 1849 года: «Марья Федоровна дала мне прочесть письмо твое, Герцен. От него зазвучали все романтические струны, какие есть в душе моей. От прежнего романтизма (1846 года) я отделился, но у меня еще усилился романтизм в части моих личных привязанностей» («Литературное наследство», т. 62, стр. 92, 94).

ненно имела место позднейшая оценка событий.<sup>10</sup> Единственным документом, отражающим какие-то факты и настроения непосредственно после лета 1846 года, является дневник Н. А. Герцен. Несколько раз пишет она о «тоске» и «грусти», наступивших после сознания, что больше «нет этой близости», «будто после похорон лучшего из друзей» (IX, 271), и вместе с тем Наталья Александровна пытается анализировать происшедшее: «Что это, как нелепо устроена жизнь! и вместо того, чтобы облегчить, прочистить себе как-нибудь дорогу, люди отдаются слепому произволу, идут без разбору куда он их ведет, страдают, погибают с каким-то самоотверженьем, как будто не в их воле существовать хорошо. Иные с большим трудом выработали себе внутреннюю свободу, но им нельзя проявить ее, потому что другие, оставаясь рабами в самих себе, не дают и другим воли действовать, и все это так бессмысленно, безотчетно, сами не понимая, что делают и зачем? Ну, а те, которые понимают? Им трудно отстать от предрассудков как от верования в будущую жизнь, и они добровольно оставляют на себе цепи, загораживают ими дорогу другим и плачут о них и о себе» (IX, 274).

Эти мысли и настроения несомненно отражение в более общей форме «теоретического разрыва» в кружке Герцена, и, по всей вероятности, Наталья Александровна передает здесь не только лично свое, но скорее общее с мужем отношение к происшедшему.

Герцен в статье «Новые вариации на старые темы», говоря о нравственном рабстве современных «развитых людей», поясняет, что речь идет не «о внешних стеснениях, а о... стеснениях внутренних, добровольных, отогреваемых в собственной груди, о трепете перед последствием, о боязни перед правдой» (II, 93). Это пояснение Герцена напоминает то, о чем писала Наталья Александровна в своем дневнике. По всей вероятности, запись и сделана ею в какой-то связи с упомянутой выше статьей Герцена. Тот факт, что в дневнике Натальи Александровны эта запись приобретает в соответствующем контексте (постоянное возвращение к теме разрыва в кружке) некий конкретный смысл, подтверждает предположение, что и статья «Новые вариации на старые темы» создавалась в какой-то степени по мотивам споров и разногласий в Соколове в июле 1846 года.

В этой связи следует отметить также следующий факт: в четвертой главе статьи «Новые вариации на старые темы», той самой, которая не была напечатана в «Современнике» и явилась лишь в лондонском издании «Капризов и раздумий»,<sup>11</sup> с теми или иными вариациями повторяется дневниковая запись Герцена 14 марта 1845 года, содержащая размышления о дружбе как о пристрастии.

Рассуждения о дружбе в дневнике Герцена безусловно связаны с его личными взаимоотношениями с москвичами: Кетчером, Боткиным и глав-

<sup>10</sup> См.: П. В. Анненков. Литературные воспоминания. Гослитиздат, 1960, стр. 270—275; Н. А. Тучкова-Огарева. Воспоминания. Гослитиздат, 1959, стр. 72—73.

<sup>11</sup> Эта, по определению самого автора, «речь в защиту пристрастия», ставшая в лондонском издании «Капризов и раздумий» четвертой главой статьи «Новые вариации на старые темы», скорее всего была написана в 1845 году в продолжение посылаемой в «Петербургский сборник» статья «Капризы и раздумья (по разным поводам)». В редакции с ней, по-видимому, познакомился Белинский и ее имел в виду в письме Герцену от 2 января 1846 года, когда писал о «статьке о пристрастии» (см.: XII, 252). Однако по каким-то соображениям (скорее всего по цензурным) глава в печать тогда не попала, а в бумагах Герцена осталась копия (или вариант), с которой он и воспроизвел ее в 1862 году. Что касается даты «июль, 1846», то Герцен ассоциировал эту главу с теми же личными взаимоотношениями, с разногласиями в его собственном дружеском кругу, по мотивам которых была написана статья «Новые вариации на старые темы», поэтому в лондонском издании автор воспроизвел «речь в защиту пристрастия» в качестве четвертой главы этой статьи, соответственно и датируя то и другое одинаково.

ным образом Грановским. Не случайно дневниковая запись заключается словами: «...мне бывает до того тяжело смотреть иногда на Грановского, что слезы навертываются на глазах» (II, 411).

Было бы, однако, ошибочно, учитывая связь статьи «Новые вариации на старые темы» с взаимоотношениями Герцена с московским кругом, считать, что автор ставил перед собой лишь цель скрытой полемики с «романтизмом» (идеализмом) друзей. Герцен, отталкиваясь от конкретных своих впечатлений, поднимает в ней общие социально-этические проблемы. Так, говоря о лжи, «веками скопившейся» в сознании, о «робости и младенчестве мысли», «неумеющей быть последовательной», «о романтических выходках против разума», Герцен все болезни современного человека сводит к одной общей этической категории: духовные предрассудки, принимаемые за долг.

Несколько раз в статье Герцен касается проблемы долга: «Человек стоит беспрестанно на коленях... перед внешним долгом» (II, 93); даже самую свойственную человеку форму жизни превращает человек себе в тяжкий долг» (II, 93); «представляя себе слишком отвлеченно и односторонно идею долга, они (моралисты, — *Е. Д.*) захотели, чтобы и в политическом мире человек предупредительно, добровольно жертвовал собою и всем своим» (II, 95). Герцен объединяет моралистов долга и тех, «кто не все исторгнул из груди, не оправданное разумом» и кто обязательно дойдет до того, что «отвергнет весь разум» (II, 89). И те и другие для него — идеалисты, романтики, которые всегда останутся нравственными «рабами», узко сосредоточенными на своей собственной идее, неспособными ни к какой творческой мысли и практике.

Учитывая все сказанное, можно понять, почему Герцен и Огарев в 1847 году так подчеркивали свое отрицание романтизма в быту, сознании и психике, видели в нем преграду для истинно полезной деятельности. Романтическая, по их определению, неумелость и ненужность Бельтова совершенно естественно не только не могла больше вызывать никакого сочувствия, но, напротив, должна была стать мишенью борьбы. Теоретически это уже произошло в статье «Новые вариации на старые темы». Однако Герцен не остановился на одном публицистическом решении: «Долг прежде всего» называет он свое первое заграничное художественное произведение, к работе над которым приступил в августе 1847 года, находясь в Бретани.

Зимним утром 1847 года Герцен переезжал русскую границу. В марте он прибыл в Париж. Давняя мечта осуществилась — перед ним был город, с юных лет волновавший призраком революции и свободы. Раздумья о России, о русском народе, о судьбе дворянской интеллигенции, так занимавшие Герцена в последние месяцы жизни на родине, естественно, были прерваны. Предреволюционный, бурлящий Париж полностью завладел им.

Чувства, вызванные этой первой встречей со столицей Франции, сначала радостные и приподнятые, затем все более сдержанные и, наконец, иронически-грустные, нашли отражение в «Письмах из Avenue Marigny» и частных посланиях Герцена друзьям в мае—июне 1847 года.

В июле Герцен уехал в Бретань. Там не было ни шумных парижских кафе с нескончаемыми спорами о политике, ни оживленных лиц «блужников», обсуждавших текущие события прямо на улице, ни близкого круга «зрителей» и «солистов» парижских демократических и социальных «хоров». И не случайно, находясь в Бретани, Герцен вновь обращается к раздумьям о русской действительности. Результатом этих раздумий и явилось новое художественное произведение, предназна-

мое для журнала «Современник».<sup>12</sup> При первом упоминании о нем в письме к В. П. Боткину от 31 декабря 1847 года Герцен называет его «повестью», но пока еще без заглавия и сообщает, что написал лишь «пролог» (XXIII, 52). Название «Долг прежде всего» встречается впервые в известных нам материалах лишь в статье 1849 года, когда Герцен предполагал напечатать «первую часть повести», не продолжая ее (VI, 149). Эта «первая часть» — Пролог, состоящая из серии художественно самостоятельных новелл-биографий, по своим идеологическим задачам превратилась в самостоятельное антикрепостническое произведение, лишь в самом начале, в короткой вступительной главе «За воротами», как-то связанное с темой заглавия повести. Не случайно ни в объявлении «Современника», ни в письме к друзьям 31 декабря 1847 года не упоминалось ее заглавие. Очевидно, так без заглавия и отправил Герцен пролог своей повести в Петербург в январе 1848 года (см.: XXIII, 58), потому и Анненков в своих воспоминаниях, говоря о повести, посланной в «Современник», не называет ее заглавием.<sup>13</sup>

Все эти факты могли бы навести на мысль, что в 1847—1848 годах заглавие «Долг прежде всего» и не существовало, что оно, подобно «Кто виноват?», явилось позже. Однако мы теперь располагаем авторизованной писарской копией повести, сделанной для предполагаемого издания ее у немецкого переводчика В. Вольфсона в 1851 году. На основании этой рукописной копии можно установить, что уже в августе 1847 года существовало заглавие «Долг прежде всего». В авторском предисловии «От сочинителя», датированном 25 августа 1847 года и перечеркнутом в октябре 1851 года, Герцен писал: «... я решился любимую тему мою, что „человек должен не рассуждать об обязанностях, а исполнять их, что долг прежде всего, что награда идет сама за исполнением“, развить в нравоучительной повести» (VI, 481).

Ирония, звучащая в этих словах, уже в какой-то степени бросает свет на то, как будет раскрыта автором избранная тема: «нравоучительная повесть» в защиту долга с самого начала была задумана как его отрицание.

В том же предисловии, выдержанном целиком в сатирическом духе, Герцен писал, что его цель — «исправлять нравы», «учить других и вышпатель их до *нашего* совершенства». Здесь в негативном плане речь идет как раз о том, против чего так решительно выступал Герцен в своей статье «Новые вариации на старые темы». Да и само заглавие повести «Долг прежде всего» заключало в себе опять-таки в негативном плане основную мысль этой статьи: разум человека не свободен, у него нет сил выбросить все предрассудки, долг как нравственная обязанность для него важнее всего. Передавая в 1851 году в письме к Вольфзону план повести, Герцен писал: «Мне хотелось в маленьком Анатоле, едва являющемся на сцене, но который должен был сделаться героем рассказа, представить человека, полного сил, энергии, благородства, готовности на деятельность, которого жизнь пуста, тягостна, безотраднa, оттого что он постоянно в борьбе с *долгом*. Человек этот усиливается и успевает мирить свою мятежную волю с тем, что он принимает за долг» (VI, 410).

На основании всех этих данных проясняется замысел повести Герцена о долге. Кроме того, до нас дошло одно свидетельство современника, как-то проливающее свет на творческие планы Герцена весной — летом 1847 года. П. В. Анненков, с которым Герцен встречался в Па-

<sup>12</sup> В сентябрьском номере журнала, в объявлении «Об издании „Современника“ в 1848 году», редакция сообщала: «Автор романа „Кто виноват?“ г. Искандер известил нас, что он пишет *новый роман*, который будет помещен в „Современнике“ («Современник», 1847, № 9, Об издании «Современника» в 1848 году, стр. 9).

<sup>13</sup> См.: П. В. Анненков. Литературные воспоминания, стр. 311.

риже до своего отъезда в Гавр, писал в примечании к соответствующей главе «Литературных воспоминаний»: «Увлечение потоком развернувшейся перед ним жизни отражалось и на планах писательской его деятельности. Он начал повесть из французской революции 89 года с русским деятелем посреди ее и не усомнился послать рассказ в „Современник“. Позднее Панаев говорил мне в Петербурге: „Г<ерцен> с ума сошел, посылает нам картины французской революции, точно она у нас дело признанное и позабытое“. Повесть, разумеется, не попала в печать, а явилась за границей в особом сборнике».<sup>14</sup>

Долгое время исследователи Герцена недоумевали, о какой повести шла здесь речь. Публикация в конце 20-х—начале 30-х годов неизвестных ранее писем и отрывков Герцена<sup>15</sup> в сопоставлении с найденной рукописью повести «Долг прежде всего» дали возможность В. Путинцеву в его книге «Герцен писатель» утверждать, что речь в приведенном выше свидетельстве Анненкова шла именно о названной повести.<sup>16</sup>

Все, о чем упоминает Анненков, вполне приложимо к повести «Долг прежде всего», но акцент все же не тот: у автора «Литературных воспоминаний» — «повесть из французской революции 89 года», у Герцена, как видно из его предисловия, «повесть о долге».

Дело, по-видимому, не в том, что Анненков, писавший свои воспоминания через 25 лет после выхода «Прерванных рассказов», мог забыть какие-то детали. Он свидетельствует о замысле повести, каким он был у Герцена летом 1847 года до отъезда в Бретань. Думается, Анненков не случайно назвал героя предполагаемой повести Герцена «деятелем». Очевидно, Герцен так и мыслил его действующим. Ведь замысел повести складывался у него как раз в тот самый период, когда Огарев писал ему о неудаче Бельтова и когда Герцен, отвечая, определял характер «практического человека». Возможно даже, что именно этот обмен мыслями в письмах по поводу героя «Кто виноват?» натолкнул Герцена на замысел новой повести.

Уехав из Парижа, Герцен предался раздумьям о русской жизни, о том, что так волновало его перед отъездом, о чем писал Огарев в письме по поводу Бельтова. В его творческом воображении бродили русские ситуации, ему рисовались контуры будущего героя — Анатоля Столыгина. Но едва Герцен определил для себя основной идеологический строй предполагаемой повести (о чем свидетельствуют заглавие, эпиграф и предисловие) и обозначил первый конфликт (сыновний долг Анатоля перед деспотом-отцом), как картины быта русских «дворянских гнезд» овладели его художественной фантазией и оттеснили первоначальный замысел повести о долге. Герцен пишет Пролог — «экскурс» в родовое прошлое помещиков Столыгиных, представляющий собой ироническую интерпретацию исторических эпох русского дворянства.

Изображая эпизоды из жизни помещиков Столыгиных, Герцен стремится показать, что порожденная крепостничеством психология раба и господина свойственна не только отношениям между барином и мужиком, но вся русская действительность, вся жизнь, общественная и личная, держится на принципе: подчинять и подчиняться. Это и есть тот необходимый автору социальный фон, на котором он хотел показать трагедию будущего русского деятеля. Это те исторические предпосылки, которые обуславливают духовное рабство русского дворянина и прочно держат его в мире старых предрассудков, принимаемых за долг.

Пролог был важен для Герцена не только своим обличительным пафосом, но еще и тем, что здесь писатель показал духовное наследство

<sup>14</sup> Там же.

<sup>15</sup> См.: А. И. Герцен. Новые материалы. К печати подготовил Н. М. Мендельсон. 1927; «Литературное наследство», №№ 39—40, 41—42.

<sup>16</sup> См.: В. А. Путинцев. Герцен писатель. Изд. АН СССР, М., 1952, стр. 113.

будущего русского деятеля. И в этом отношении очень интересна фигура отца Анатоля, Михаила Столыгина. Именно в связи с ним вводит Герцен в повесть «картины французской революции». Попад во Францию накануне событий 1789 года, Михаил Столыгин сделался своего рода «деятелем»: он «толковал о tiers-état, превозносил Неккера и пугал старых маркиз революцией» (VI, 387), появлялся в салонах, острил, вольнодумствовал. Но никто не принимал всерьез смелости опасных мнений «северного маркиза»; старый французский аббат, прекрасно понявший мимолетность и безобидность его фрондерства, говорил о Столыгине-отце: «...меня всего более удивляет... его способность все понимать и ни в чем не принимать истинного участия... это какой-то посторонний всему» (VI, 387).

Во второй редакции Пролога для издания 1854 года Герцен устами того же аббата дает еще более резкую характеристику русскому «вольнодумцу»: «Будьте уверены, что у него нет будущности» (VI, 277). Герцен придавал этой фразе какой-то обобщающий, символический смысл: отсутствие будущности, как и моральное рабство, из поколения в поколение передавались русским дворянским «деятелям» вместе с усадьбами и крепостными душами. Анатоль Столыгин мыслился Герцену именно человеком без будущего.

Закончив Пролог и отослав его в Петербург, Герцен прекратил работу над повестью и вернулся к ее продолжению лишь через четыре года, в 1851 году. В этом отношении творческая история повести «Долг прежде всего» очень похожа на историю «Кто виноват?»: в 1842 году у Герцена несомненно были общие контуры романа о крушении семьи (мысли «по поводу одной драмы»), затем он, так и не добравшись до основного конфликта, написал своего рода пролог — «Похождение одного учителя» и лишь спустя почти четыре года, в 1846 году, закончил роман. Характерно, что Герцен уже и тогда не заботился о сюжетной завершенности или композиционной стройности своего романа. Он вполне допускал, напечатав несколько глав первой части, не продолжать их в художественной форме, а обозначить в примечании, «что такой-то женится на такой-то».<sup>17</sup>

Будучи художником особого склада, Герцен почти никогда не прибегал к литературному сюжету: он брал из жизни готовое былое в образах, ситуациях или, отталкиваясь от публицистических задач, строил то и другое сам, но при этом у него не было стремления, подобно писателям — его современникам, скрепить все единой сюжетной нитью и выдержать в едином плане композицию повествования.

Все эти особенности Герцена-художника особенно ярко сказались в работе над продолжением повести «Долг прежде всего».

В 1849 году он хотел напечатать Пролог совсем без продолжения,<sup>18</sup> вероятно в каком-либо примечании как-то пояснив заглавие. В 1851 году, посылая «Долг прежде всего» Вольфзону, Герцен написал так называемое «Вместо продолжения» повести. Хотя оно не представляет собой художественно завершенного произведения, тем не менее его однородные по жанру и стилю текстовые комплексы образуют в своей совокупности ткань так называемой «прерванной» повести — своеобразной и характерной формы беллетристики Герцена, где есть стройная и завершенная идейная композиция и нет собственно повествования, замененного эпизодами-миниа­тюрами на фоне публицистики, фельетона, очерка и свободных жанров (письма, дневника и т. д.).

Конфликтная структура повести была определена еще в 1847 году заглавием, эпиграфом и предисловием: «долг» — главное действующее

<sup>17</sup> См. письмо Герцена к Краевскому в августе 1845 года (XXII, 242).

<sup>18</sup> См.: Вместо предисловия или объяснения к сборнику (VI, 149).



лицо повести. И если в «Кто виноват?» Герцен так и не назвал виновника трагической судьбы Бельтова и Круциферских, то в новой повести он называет его «прежде всего», уже в заглавии. В романе 1842—1846 годов Герцен еще сам колебался в определении виновного. Несомненно, в процессе работы над ним Герцен должен был убеждаться в ложности духовной высоты Бельтова (о чем и написал ему Огарев в 1847 году), отсюда это усиление иронии в последнем варианте эпитафии к роману,<sup>19</sup> но окончательно признания Бельтова романтиком, тем самым, который, вполне удовлетворяясь «платонической любовью» к нравственной свободе, «добровольно» отдался в рабство лени, привычке и созерцательному идеализму, в романе еще нет. Вопрос в заглавии остался открытым. И лишь еще раз поставив его в более общей форме в статье «Новые вариации на старые темы», Герцен окончательно признал виновными самих людей, их духовное бессилие, предрассудки, принимаемые за долг.

Начиная летом 1847 года новую повесть, Герцен уже знал виновника трагической ненужности русского деятеля — это долг, долг «прежде всего».

Приступая в 1851 году к продолжению повести «Долг прежде всего», Герцен наметил ряд конфликтов и в нескольких художественных миниатюрах-эпизодах завершил повесть: долг в любви (Анатолий и Оленька), долг патриота (расстрел пленных под Варшавой), религиозный долг (Анатолий-иезуит).

Моральный и духовный кризис Анатоля, русского дворянского интеллигента с его вечным романтическим страданием, бесплодным скептицизмом и неспособностью на последовательный хотя бы внутренний протест — вот что подчеркивает Герцен на протяжении всей повести «Долг прежде всего».

Сравнивая образ Анатоля Столыгина с образом Бельтова, можно констатировать заметную эволюцию Герцена в освещении, а значит и в восприятии так называемого «лишнего человека».

Бельтов при всей своей умной ненужности и бесплодности все-таки был поднят автором на известную высоту. Он и Круциферская явно противопоставлены в романе миру Негровых и Карпов Кондратьевичей. Мало того, в одном месте Герцен с явным сочувствием называет Бельтова «жертвой века» (IV, 118). Его романтические порывы, жажда деятельности и незнание с чего начать, его одиночество в затхлой глуши провинциальной России — все это было в первой половине 40-х годов еще не забытым, лично пережитым для самого Герцена. Переломными можно считать 1844—1845 годы, когда Герцен, увидев успех и огромное влияние на молодежь своих философских работ, наконец твердо встает на путь литературной деятельности и определяет ее для себя как большое «практическое» дело.<sup>20</sup> В тех главах романа, которые создаются после этого перелома, Герцен уже менее пристрастен по отношению к Бельтову. Он, собственно, доводит до единственно возможного трагического конца лишь намеченный им с самого начала любовный конфликт. Образ Бельтова застывает с момента кульминации романа — встречи в саду с Круциферской. Герцен ничем не заканчивает его пути. Бельтов не гибнет, а уезжает. Что ждет его впереди — Герцену пока еще не ясно. Он

<sup>19</sup> Эпитафия к «Кто виноват?» имеет свою историю. Первый раз он фигурирует в письме к А. Краевскому от 24 октября 1845 года (XXII, 245) вместе с возникновением заглавия романа и звучит несколько иначе: «А дело оно предать суду божию и, почислив его оконченным, передать при отношении в архив». Этот эпитафия имеет прямое отношение к трагической развязке романа: судить некого, потому и предать все «суду божию». Другое дело — предать воле божьей «за неоткрытием виновных», как было напечатано в отдельном издании романа в 1847 году. Ясно, что Герцен, в сущности, в противоречие с им же самим созданной трагической ситуацией вносит постановкой этого эпитафия некий комический резонанс, меняющийся в какой-то степени авторское освещение героев в романе.

<sup>20</sup> См. уже цитированное письмо к Огареву от 3 августа 1847 года (XXIII, 34).

пытается внести эпиграфом комический резонанс, в какой-то степени снижающий героев и в первую очередь, конечно, Бельтова. Ведь, в сущности, неудачная любовь к Круциферской — единственное трагическое обстоятельство его жизни, а Герцен неоднократно подчеркивал, что человек не должен сосредоточиваться исключительно на личных страданиях. Заканчивая роман, Герцен доводит до конца лишь семейную катастрофу, а незавершенное общественное бытие Бельтова остается без финала.

В противоположность Бельтову Герцен делает судьбу Анатоля трагической по обстоятельствам. Дикий деспотизм отца, разлука с матерью, несчастливый брак, страх перед вынужденным палачеством и, наконец, сознание страшной ошибки добровольного иезуитства — цепь бесконечных страданий этого человека. Но в образе Анатоля нет ореола трагизма, идеологически Герцен не противопоставляет его миру липовских обитателей. Сатирическое предисловие, иронический эпиграф объединяет всех, для кого «долг прежде всего», независимо от их умственных и личных качеств.

В главе «Вместо продолжения» автор пишет: «Он (Анатоль, — Е. Д.) совершает героические акты самоотвержения, тушит страсти, жертвует влечениями и всем этим достигает того равнодушно-косного состояния, в котором находится всякий встречный, всякая вялая натура» (VI, 410). В издании 1854 года герой еще более снижается автором: «Он... достигает того вялого, бесцветного состояния, в котором находится всякая посредственная и бездарная натура» (VI, 298). И все это говорится о человеке, который «полон сил, энергии, благородства, готовности на деятельность», да сверх того судьба которого складывается постоянно трагически.

Если в «Кто виноват?» Герцен освещал события так, что Бельтов был неспособен вырваться из трагического кольца в силу целого ряда зависящих от него причин, то Анатоля он рисует добровольно обрекшим себя на страдания, которые происходят от отсутствия сил порвать с долгом. В повести «Долг прежде всего» «главный виновник» уже не «за сценой», он открыт и назван. Если в «Кто виноват?» автор не решил до конца судьбу Бельтова, оставляя ему возможность, изменив обстоятельства, перестать быть умной ненужностью, то в повести «Долг прежде всего» Анатоль не только в силу внешних обстоятельств, но и по внутренним психологическим причинам остается в бездеятельном, вялом состоянии. Он сам создал себе трагедию своей безвольностью, добровольным рабством, отказом от поисков истины. Такой представлял себе Герцен в 1847—1851 годах судьбу русской дворянской интеллигенции. И не удивительно: если уж у него поколебалась вера в передовой и близкий ему круг, то как же было не переосмыслить существования «благородных натур» и «умных ненужностей» в более широком масштабе? Не случайно Герцен, заглядывая в историю и наблюдая современность, видел везде одну характерную черту русского дворянства: духовное или моральное рабство, повиновение долгу, неумение и нежелание порвать со старыми, доставшимися в наследство от рабства традициями и предрассудками. Перерабатывая в 1854 году «Вместо продолжения», он с еще большей откровенностью пишет об этом: «Этот характер и среда, в которой он развивался, — наша родная почва, или, лучше, наше родное болото, утягивающее, морящее исподволь заволакивающее непременно всякую личность, как она там себе ни бейся — вот, что мне хотелось представить в моей повести» (VI, 298).

Очевидно, создавая «Кто виноват?» и интерпретируя тип Бельтова как личность, Герцен ориентировался на близкий ему круг передовой дворянской молодежи 30—40-х годов, в котором он еще видел будущих русских деятелей. Однако судьба дворянского класса во второй половине 40-х годов стала сильно тревожить Герцена; что-то новое, слишком свя-

занное со старым, уловил автор повести «Долг прежде всего» в так хорошо знакомом ему круге русской интеллигенции. Эта тревога, очевидно, и побудила его задуматься о происхождении тех традиций духовного рабства, которые тяготели над «русским деятелем».

Действительное состояние русского общества и русского образованного круга, художественным обобщением которого явился тип Анатоля Столыгина, нашло свое отражение в письме Герцена к Ж. Мишле «Русский народ и социализм», написанном за несколько дней до письма к Вольфзону (продолжение повести «Долг прежде всего»). Герцен писал: «Каторжники от рождения, обреченные влачить до смерти ядро, прикованное к нашим ногам, мы обижаемся, когда об нас говорят, как о добровольных рабах, как о мерзлых неграх, а между тем мы не протестуем открыто». И с горечью далее Герцен утверждает, что «свободная речь удивляет и пугает» русских, приводя в доказательство свою книгу (речь идет о книге «Du développement des idées revolutionnaires en Russie», — *Е. Д.*). «Дружеские голоса, уважаемые мною, порицают ее. В ней видят обвинение на Россию... Бедные, дорогие друзья, простите мне это преступление; я снова впадаю в него» (VII, 336).

Как бы тяжело ни переживал Герцен отчуждение от него московских друзей, не одобрявших его эмиграцию и заграничную деятельность, он воспринимал это отчуждение как трагический результат «долгого рабства без борьбы, без близкой надежды», которое напоследок подавляет «самое благородное, самое сильное сердце».

Герцен не обвиняет друзей, уходящих от идеалов молодости и бесцветно и тускло пребывающих в бездействии или призрачной деятельности. «Мое слово отомстит за эти несчастные существования, разбитые русским самовластьем, доводящим людей до нравственного уничтожения, до духовной смерти» (VII, 336).

Одно из таких «несчастных существований» и изобразил Герцен в герое повести «Долг прежде всего». Еще один обобщенный тип русского интеллигента, мечущегося в противоречиях мысли от всеотрицающего спора до соглашения «через край», создан Герценом в другой повести 1851 года — «Поврежденном».<sup>21</sup>

И Анатолий Столыгин и Евгений Николаевич несут в своей судьбе что-то бельтовское (моральное одиночество, трагическая любовь, неудачные попытки деятельности и др.), но несомненно идеологически они гораздо дальше от автора, чем герой «Кто виноват?». Ущербность восприятия, неумение найти себя в современности, романтическая бесплодность, эклектизм, отрицание ради отрицания — все эти болезни современного человека, «русского деятеля» делали его в глазах Герцена достойным лишь горького сожаления со значительной примесью иронии. Герцен еще не видел среди своих современников того, кто мог бы освободиться от духовных предрассудков романтизма и идеализма и стать действительно полезным своему угнетенному народу. «Где герой, которого наконец не сломила бы усталость, который не предпочел бы на старости лет покой вечной тревоге бесплодных усилий?» (VII, 336) — спрашивает Герцен, вглядываясь в своих современников. Такими бесплодными, потерянными и ненужными изображены Герценом «русские деятели» в его повестях конца 40-х — начала 50-х годов.



<sup>21</sup> См. мою статью «В мире идей и образов Герцена начала 50-х годов (повесть «Поврежденный»)» («Русская литература», 1959, № 3 стр. 139—148).

## ДОБРОЛЮБОВ И НАРОДОЗНАНИЕ

## 1

Среди многих работ о Добролюбове-фольклористе несколько особняком стоит статья крупнейшего историка русской литературы А. П. Скафтымова в «Литературном критике». А. П. Скафтымов спрашивает: «Какие же стороны народного сознания видел сам Добролюбов в фольклоре? Делал ли он сам на основании фольклорных материалов какие-нибудь заключения об умственном и нравственном развитии русского народа?» Ранние фольклористические заметки, свидетельствующие о выдающихся способностях молодого Добролюбова, о его огромной и разносторонней филологической подготовке, подробно рассмотрены в трудах советских фольклористов.<sup>1</sup> Но именно эти юношеские и студенческие работы не дают ответа на вопросы, поставленные А. П. Скафтымовым. Фактически Добролюбов «не оставил ни одной развернутой статьи о фольклоре, а те беглые замечания, которые имеются, дают общие представления».<sup>2</sup>

У нас, между прочим, так повелось, что каждый революционный демократ непременно должен быть фольклористом, к тому же выдающимся; если не фольклорист — значит плохой демократ. В действительности куда все сложнее. Революционные демократы не рассматривают народную поэзию изолированно от великих вопросов той или иной эпохи; они не выдвигают фольклор в качестве единственного и самого надежного критерия умственного и нравственного развития народа. В нераздельности, в слитности многих проблем (народная поэзия, народно-экономический быт, практические крестьянские идеалы, общенациональные, общечеловеческие идейные и художественные открытия) своеобразие революционно-демократического народознания, куда входит и фольклористика на правах верного наблюдателя «душевной» и эстетической жизни народа. Показательны работы Добролюбова «О степени участия народности в раз-

<sup>1</sup> Ранние работы Добролюбова, написанные в годы обучения в Нижегородской духовной семинарии и Главном педагогическом институте, стали известны исследователям только в 1934 году, после выхода в свет первого тома нового академического издания. См.: Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений в шести томах под общей редакцией П. И. Лебедева-Полянского, т. I, Гослитиздат, 1934, стр. 493—527, 657—662 (в дальнейшем цитаты приводятся по этому изданию). О Добролюбове-фольклористе см.: А. Скафтымов. Н. А. Добролюбов о фольклоре. «Литературный критик», 1936, № 2; М. Азадовский. Литература и фольклор. Гослитиздат, Л., 1938; В. Е. Гусев. Добролюбов и проблема фольклористики. «Советская этнография», 1950, № 4; В. Е. Гусев. Русские революционные демократы о народной поэзии. Учпедгиз, М., 1955; Б. Ф. Егоров. Н. А. Добролюбов — собиратель и исследователь народного творчества Нижегородской губернии. Горьковское книжное издательство, 1956; Б. Ф. Егоров. Реальная критика Добролюбова. «Ученые записки Тартуского государственного университета», Труды по русской и славянской филологии, вып. 55, 1958; Ю. Н. Сидорова. Борьба Н. А. Добролюбова и Н. Г. Чернышевского с буржуазной наукой о фольклоре. «Ученые записки Московского государственного библиотечного института», вып. 2, 1956; В. Я. Пропп. Молодой Добролюбов об изучении народной песни. «Ученые записки Ленинградского государственного университета», серия филологических наук, вып. 30, № 229, 1957.

<sup>2</sup> «Литературный критик», 1936, № 2, стр. 102.

витии русской литературы» и «Черты для характеристики русского просто-народья». Это не отдельные статьи, а единое по своему замыслу произведение, две части одного и того же трактата об умственном развитии народа, о народной этике и эстетике.

Добролюбов пытается обозреть историко-литературный процесс на протяжении многих столетий, начиная с XI века и кончая первой половиной XIX столетия. Ясно, что в таком широком обзоре событий, идей, фактов не может быть полной исторической картины, неизбежны пропуски, несправедливо забытые страницы. Добролюбов пишет не историю литературы, а трактат о народности в литературе, вернее — о разладе народности и литературы. Конечно, мы не можем согласиться с некоторым принижением идейно-художественных достоинств древнерусской литературы. Добролюбов преувеличивает византийские влияния, безоговорочно признает пагубное воздействие «татарских орд» на народную нравственность и т. п. Исторический процесс часто лишается внутренней закономерности, держится на случайностях, внешних толчках. Вместе с тем статьи Добролюбова до сих пор не утратили своего методологического значения, в них содержатся смелые идеи и обобщения. Речь идет о формировании национального самосознания, о крутых поворотах исторической жизни. Славянофилы и представители «официальной народности» (Шевырев, Погодин, Т. Филиппов) сознательно возвеличивали древнюю Русь. Для них допетровская Россия — некий бесклассовый рай, где процветало единое мировоззрение. Народные воззрения настолько сближались, смешивались с воззрениями государственными, официальными, что в результате пропадало всякое различие между ними.

Добролюбов отказывается рисовать безмятежные древнерусские композиции; он видит постоянный разлад между официальной идеологией, и народным сознанием, не находит полного благополучия в отношениях между литературой и народностью. Наоборот, отношения эти часто складывались драматически, вели к национальным художественным утратам. Отсюда постоянные напоминания о «многих суевериях и грубых обычаях, которыми полна была Русь древняя» (III, 269). История древней Руси — история тяжелых превратностей, насильственных метаморфоз, социальных конфликтов. Не отвергая развития образованности под влиянием христианства, Добролюбов считает, что нельзя смешивать «формальное принятие веры... с действительным водворением ее начал в сердцах народа» (III, 269). Народ долгое время оставался в двоеверии, в обычаях и в фольклоре сохраняются следы языческих пережитков. Фольклору свойственна сопротивляемость новому, приверженность старине, отживающим формам мышления, своеобразный консерватизм содержания и формы. Добролюбов ссылается на рутинерские привычки и обычаи, которые подпирают архаический фольклор. «Факты эти, правда, неутешительны; но пропустить их нельзя, потому что они слишком резко обозначились и в жизни, и в поэзии народной и не истребились до сих пор. Мы говорим о множестве суеверий и предрассудков, донныне охватывающих всю жизнь крестьянина и составляющих несомненный остаток языческих верований» (I, 218).

С другой стороны, народная словесность испытывает влияние со стороны книжной литературы, в фольклоре сказывается идеологическое давление государства и церкви. «Книжная словесность, вынесенная к нам из Византии, старалась, конечно, — пишет Добролюбов, — внести в народ свои идеи; но, как чуждая народной жизни, она могла только по-своему исказить то, что было живого в народе, и не в состоянии была ни проникнуться истинными его нуждами, ни спуститься до степени его понимания» (I, 219). Ученые указывают на множество списков церковных книг, существовавших в древней Руси, но «обилие списков (если и допустить, что оно было так велико, как предполагают некоторые) может быть важно

только разве для истории каллиграфии, а никак не для истории образованности народа» (III, 270).

Конечно, взгляд Добролюбова на культуру древней Руси в настоящее время требует значительных ограничений и существенных поправок. Если славянофилы идеализировали патриархальные отношения, видя в них основу высокой нравственности, то Добролюбов слишком категорически заявляет: «Общественная нравственность была в весьма печальном состоянии во весь до-петровский период» (III, 271). Однако и это крайнее критическое суждение об «общественной нравственности» древней Руси следует правильно понимать.

Критика распространяется и на народ, и на народную поэзию, и на народный быт, и на всю книжную литературу, на боярско-княжескую Русь, на Русь московских царей. Добролюбов утверждает, что патриархальность, невежество, рутинерство отнюдь не показатели нравственного и умственного состояния только простонародья. Шевырев и Жеребцов восхваляли «убежища старинного россиянина, с их теремами и светлицами, с доброй, целомудренной женой и покорными детьми, с медами и наливками!» (III, 279). Добролюбов напоминает о «деликатных ночных похождениях Чурилы Пленковича» и о том, как «Тугарин невежливо вел себя за столом князя Владимира, кладя руку за пазуху великой княгине», а эта «княгиня, в отсутствие мужа, привлекает к себе в спальню статного молодца, начальника калек переходжих» (III, 279). Вот каковы семейные нравы княжеской Руси. С помощью фольклора разрушается славянофильская идиллия и частично реабилитируется народ. Переадресовывание пережиточных, рутинерских явлений для революционных демократов имело принципиальный смысл. Напомним, что Чернышевский приводил из народных поговорок и песен примеры, характеризующие семейные крепостнические отношения: «коли муж жены не бьет, так и мил не живет». Обычный ответ просвещенных скептиков: «грубость народных нравов». Да, грубость, но откуда она? Из свойств народного характера? Нет! Грубость нравов основана не на одном крестьянском невежестве; «пока сам поселянин подвергается грубому обращению со стороны других, нравы его не могут смягчиться».<sup>3</sup> Добролюбов ссылается на нравственные правила «Домостроя». «А про всякую вину по уху, ни по видению не бити; ни под сердце кулаком, ни пинком, ни посохом не колоть, никаким железным или деревянным не бить. Кто с сердца или с кручины так бьет, многи притчи оттого бывают: слепота и глухота, и руку и ногу вывихнут, и перст; и главоболие, и зубная болезнь; а у беременных жен и детям повреждение бывает в утробе. А плетью, с наказанием бережно бити; и разумно, и больно, и страшно, и здорово». Прочитывая это семейное правило из 38-й главы «Домостроя», Добролюбов замечает: «Такие предписания были во второй половине XVI в. высшей степенью гуманности, до которой только могли возвышаться лучшие люди, подобные Сильвестру, автору Домостроя» (III, 280) Прежде чем осуждать народ в невежестве и рутинерстве, необходимо разобратся в тех исторических обстоятельствах, которые систематически прививали русскому крестьянину «домостроевские», патриархальные привычки. На многочисленных примерах Добролюбов показывает вредное влияние крепостнической системы на народную нравственность.

Статья «О степени участия народности в развитии русской литературы» была откликом на второе издание «Очерков истории русской поэзии» А. Милюкова (1858). Добролюбов прощает многие ошибки Милюкова за общий пафос его работы. В «Очерках» не было идеализации древнерусской жизни, литературы и народной словесности; Милюков даже

<sup>3</sup> Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. IV, Гослитиздат, М., 1948, стр. 842.

слишком скептически смотрел на художественные возможности фольклора. С крайними выводами Милюкова Добролюбов не мог согласиться, однако принципиальным своим противником он считал Шевырева, который «в своем мистически-московском патриотизме старался превозносить древнюю Русь выше облака ходячего» (II, 445).

В отличие от Милюкова, перечеркнувшего и древнерусскую литературу и народную поэзию, Добролюбов стремится понять «живое развитие» национального самосознания. Фольклор связан с этим развитием. Народная поэзия изменяет «свой характер,сообразно с новым устройством жизненных отношений». «По нашему мнению, — пишет Добролюбов, — в ней заключается много доказательств того, что в народе нашем издревле хранилось много сил для деятельности обширной и полезной, много было задатков самобытного, живого развития. В этом случае мы не можем согласиться с г. Милюковым, который все безобразие русских сказок и песен складывает на народность и говорит, что от нее нечего было ожидать без коренной реформы» (I, 215). Фольклор не нуждается в идеализации; в песнях и сказках встречаются эстетические нескладницы, содержание фольклора противоречиво. Народ богаче положительными качествами в действительности, нежели в сказках, испытавших влияние испорченной «народности», осложненной чужеземными влияниями. Но в фольклоре же — оппозиция государственной идеологии, официальным нравам, княжеско-боярской среде. В народном эпосе Добролюбов видит вполне оригинальные художественные и идейные концепции. Былинная поэзия не увлекается «воинскими, рыцарскими повествованиями», остается равнодушной к княжеским междоусобицам, проходит мимо политических событий, если они не касаются народных интересов. «Горько было настоящее положение народа, обманутого в своих ожиданиях; он невольно сравнивал нынешние события с преданиями о временах давно минувших и грустно запел про славных могучих богатырей, окружавших князя Владимира. Песня эта была сначала горьким упреком настоящему, а потом, доставляя народу забвение и даже утешение, стала увлекать его и заставляла применять прежние события к современному течению дел» (I, 216).

Добролюбов заметил самое существенное в социальных отношениях древней Руси. В былинах не патриотическое хвастовство, но серьезный упрек династическому правлению, критика княжеских раздоров. Народ «грустно запел», в воспоминаниях о минувших богатырях слышится осуждение «современного течения дел». Отсюда былинная поэзия — поэзия гражданская, политическая, полная намеков на неблагоприятную действительность. Поэтому и историзм эпических песен крайне условен — исторические факты перепутаны. Однако взгляд народа на государственные дела и внутреннее состояние страны передается верно. Известно, что до сих пор идет спор об историзме фольклора, в частности былинного эпоса. Спор во многом искусственный. Добролюбов в свое время ответил и тем, кто былины непременно желает прикрепить к X—XI векам, и тем, кто происхождение их относит к более позднему времени: народ «перепутал лица, местности и эпохи». Проблема фольклорного историзма — не есть проблема внешней правдивости, верности исторических лиц и событий. Былевой эпос потому, видимо, так долго и хранился в памяти народа, что сквозь исторические воспоминания просвечивала действительность более близкая, не идущая ни в какое сравнение с идеализированным прошлым, утратившая героическое содержание.

Показательно, что Добролюбов не выделяет в фольклоре прогрессивные и консервативные жанры: такой способ проникновения в суть художественных и идейных противоречий он считал слишком упрощенным. Весь фольклор, во всем его жанровом многообразии, нуждается в конкретно-историческом анализе.

Добролюбов согласен с Милюковым, что духовные стихи «принесены к нам первоначально из Греции и остались совершенно чуждыми народу, который, слушая слепых нищих, не заимствовал у них ни одной песни и не знал, о чем они поют». Однако Милюков не принимает во внимание тех внутренних процессов, которые происходили в народном сознании. Добролюбов поправляет Милюкова: «Без всякого сомнения, размножение у нас духовных стихов не было случайным явлением, равно как не могло оно быть и явлением, естественно возникшим вследствие потребности самого народа» (I, 219). Сам фольклор становится ареной столкновения различных идеологических воздействий, и «книжники охотно прививают чуждые ему предания». Если Милюков в былинно-песенном Владимире находит сходство с историческим Владимиром, изображение типического характера русского князя, то Добролюбов настаивает на византийских «прибавках», «наростах». Сравнивая былинного Владимира с летописным Святославом и Игорем из «Слова», с храбрыми и деятельными русскими князьями, заботящимися об успехах своего отечества, Добролюбов приходит к выводу, что в эпическом герое отсутствуют необходимые национальные качества. «В нем нет и признаков русского князя; это не что иное, как византийский владыка или вообще восточный правитель, недоступный для народа, стоящий от него на недостижимой высоте, счастливый избранник судьбы, не имеющий другого дела, кроме пиров и веселья. В народных песнях Владимир постоянно является пирующим» (I, 220). Наконец, как ведет себя Владимир во время нападения на Киев Калина-царя? Он не является во главе войска, не разделяет вместе с воинами заботы и опасности; из хвастливого, самонадеянного, пирующего князя, утопающего в азиатской роскоши, Владимир превращается в трусливого, беспомощного владыку.

«Приезжает Илья Муромец с Соловьем-разбойником и велит ему свистнуть в полсвиста, а князя Владимира, вместе с его княгиней, берет под пазуху, чтобы они не упали от свисту соловьиного. А в другой песне князь Владимир и „*окорач ползет*“ от сильного свисту конского... Есть ли во всем этом хоть какое-нибудь сходство с чисто русским, собственным, народным представлением князей? Есть ли что-нибудь подобное вообще в славянских песнях, не подвергшихся восточному влиянию? Как хотите, сваливать подобные представления на коренную русскую народность невозможно. Они могли явиться только в позднейшую эпоху, принесшую к нам много восточных понятий, усердно распространявшихся в народе книжниками, которые столь же плохо понимали требования поэтической истины, как и нужды русского народа. Невозможно сомневаться, что значительная доля искажений в русской народной поэзии произведена была — намеренно или ненамеренно — именно этими книжниками» (I, 221).

Можно спорить с добролюбовской оценкой былинного Владимира, противопоставленного всем другим русским князьям. Деспотизм, аристократизм, самодовольство столь же «восточные», сколь и национально-русские черты княжеской и самодержавной власти. «Восточный» элемент привносится в эпос самой жизнью, эволюцией княжеско-династических принципов. «Прибавка» становится национальной. И все же заслуга Добролюбова состоит в том, что он пытался разобраться в сложных и противоречивых процессах фольклорной культуры, не замалчивал тех воздействий со стороны книжной литературы, которые оставляли след в народной поэзии. Фольклорно-литературные отношения с давних пор основаны на взаимном воздействии, проникновении.

Настойчиво отмечая противоречия и даже враждебность двух культур — церковной, схоластической, книжной и собственно народной, но не ставя между ними перегородок, Добролюбов одновременно доказывает, что древнерусская литература в своих лучших образцах была обязана



народному сознанию, сближению с народной жизнью. О прямом влиянии фольклора на литературу Добролюбов если и говорит, то с большой осторожностью, не преувеличивая этих влияний. По Добролюбову, важнее увидеть в фольклоре общенациональное наследие. То, что мы сейчас относим непременно к крестьянскому творчеству, к народному быту, то в древней Руси и позже, в эпоху средневековья, имело более универсальное значение.

Иногда приходится договаривать за Добролюбова, руководствуясь теми фактами, которые он сообщает. Добролюбов ссылается на народные песни, повествующие о переживаниях девушки, запертой в тереме. «... Не видя света, не зная никаких развлечений, русская девушка, под родительским надзором, и потом женщина, под властью мужа, не могла не роптать на свою грустную участь. Свидетельство этого слышится в наших народных песнях». Но такова судьба не только простой русской девушки. «... Более всех, — замечает Добролюбов, — испытывали все горе затворничества дочери царя» (III, 154, 155). Добавим: они тоже пели грустные песни. Не случайно Пушкин приравнивал в лирических переживаниях Ксению к простой крестьянской девушке. Ксения в «Борисе Годунове» оплакивает жениха словами народной лирической причеты. Расстояние между крестьянской избой и боярским теремом как бы исчезает.

Другой пример. Петр I искореняет народные похоронные обряды, а вместе с ними и «мерзкие» похоронные плачи, которые компрометировали просвещенный абсолютизм. Мать Петра пишет письма в Архангельск, где сын был занят важными государственными делами. В письмах оживают традиции фольклора: «Сотвори, свет мой, надо мною милость, приезжай к нам, батюшка мой, не замешкав. Ей-ей, свет мой, велика мне печаль, что тебя, света моего — радости, не вижу» (III, 178). Эта «мольба скорбящей матери» принципиально ничем не отличается от поэтики народной причеты.

Книжная литература с трудом приравнивается к «народным нуждам и воззрениям», тогда как народная поэзия имеет доступ в домашний быт социальных верхов, ютится в княжеских палатах и даже в дворянских особняках. Народное в фольклоре не чуждается общенационального, оно способно к бесконечному расширению. Фольклор древней Руси обладал именно этой способностью.

Для Шевырева древняя Русь — пример гармонического сочетания официальной государственности и народности. Отсюда у Шевырева столь же гармонические отношения между фольклором и древнерусской литературой. Добролюбов показывает, что эти отношения часто складывались трагически. В живом процессе развития национального самосознания окончательная победа остается на стороне литературы: «С течением времени народная поэзия все теряла свое значение, слабела и гложла, а книжная словесность принимала все более широкие размеры и вторгалась с своими определениями во все отделы народной жизни. Но в ней не было жизненной силы, она не могла проникнуть в самый дух народа и должна была ограничиться только внешностью, формой» (I, 221). Этот процесс «вторжения» был сопряжен с тягчайшими муками самой литературы, страдавшей безнародностью, бессильной понять народный характер, познать и отразить существенные черты народной жизни. Прогрессивность древнерусской литературы в сравнении с фольклором состояла в том, что именно литература способствовала распространению идей просвещения, которые противостояли пережиточным явлениям фольклора. Таким образом, постепенное вытеснение фольклора литературой происходит в период становления самой литературы; «при всей видимой неподвижности древней русской письменности, при всей ее отвлеченности и безжизненной схоластике» в ней происходит «некоторое развитие, которое с течением времени делается все приметнее» (I, 222).

Говоря о степени участия народности в развитии древней русской литературы, Добролюбов имеет в виду не проникновение в церковную и светскую литературу тех или иных фольклорных образов и мотивов, а нечто более существенное, идущее непосредственно от стремлений и интересов народа. «... Самые летописи несколько более начинают обращать внимание на положение народа» (I, 223). Наконец, в «Сказании о псковском взятии», в «Домострое», в сочинениях Курбского, Максима Грека и Котошихина общественная, государственная, отчасти народная жизнь пробивается через мертвую схоластику поучений. «Точка зрения, разумеется, остается та же, отвлеченно-возвышенная, без малейшего принорования к народным нуждам и воззрениям, без всякого живого взгляда на жизненные отношения, производящие то или другое явление в народе. Но важно уже и то, что содержание письменности все-таки расширяется и обращается к настоящему положению дел; значит, в самой жизни была сила, которая могла вывести даже книжную схоластику из ее мертвых отвлечений на поприще деятельности, хоть сколько-нибудь живой» (I, 224).

## 2

Внутреннюю жизнь народа древней Руси Добролюбов охарактеризовал в самых общих чертах, уделив наибольшее внимание правам, которые не исчезают внезапно «вместе с обритыми бородами» (III, 283). Перейдя к XVII веку, а затем и к Петру I, он более подробно останавливается на социальных воззрениях народа. Петр разрешил те «великие вопросы», которые выдвигала народная жизнь. Добролюбов не случайно напоминает о народных волнениях при царе Алексее Михайловиче, о народных ходах, о безуспешных попытках договориться с царем. Сначала народное «неудовольствие» не выходило из пределов законности: на имя государя подавались челобитные с просьбой «удалить своих ненасытных и несправедливых советников». В мае 1648 года народной толпе удалось окружить царя на Кремлевской площади и рассказать ему о своем бедственном положении. Царь обещал «наказать виноватых». Но после встречи с царем царские клеветы Милославский и Морозов жестоко избивали тех, кто жаловался. Тогда «народная сила» приняла другое направление: «разграблены были дома временщиков, растерзаны некоторые из их родственников, их самих потребовал народ для казни» (III, 129). Волнения начались и в других местах, в Новгороде и в Пскове. Добролюбов подробно рассказывает о событиях XVII века, чтобы показать, какие именно «великие вопросы» задавала народная история. «Словом — внимательное рассмотрение исторических событий и внутреннего состояния России в XVII столетии может доказать, — заключает Добролюбов, — что Петр, рядом энергических правительственных реформ, спас Россию от насильственного переворота, которого начало оказалось уже в волнениях народных при царе Алексее Михайловиче и в бунтах стрелецких» (III, 130). В своих реформах Петр опирался на естественный ход событий и успешно использовал народные силы для борьбы с боярской оппозицией. Даже народные шуты, существовавшие ради праздной потехи и дурачества, помогают Петру свалить реакционное боярство: они режут бороду боярам и потешаются над стариной. Однако сам Петр не превратился в того доброго правителя, о котором мечтал народ. «Он сбросил старинные, отжившие формы, какими облакалась высшая власть до него; но сущность дела осталась и при нем та же, в этом отношении. В матросской куртке, с топором в руке, он так же грозно и властно держал свое царство, как и его предшественники, облеченные в порфиру и восседавшие на золотом троне, со скипетром в руках» (III, 195).

Ни Алексей Михайлович, ни Петр I не освободили народ от рабства и произвола, не облегчили его участи. Наоборот, крепостничество еще

более усилилось. Отсюда новая оппозиция народа, его сомнения и горькое разочарование. Вглядываясь в события народной жизни, в социальные движения, Добролюбов пришел к выводу, что в русском народе с давних пор развито «отвращение к крепостному состоянию» (II, 271). Однако это отвращение к крепостному праву, к помещикам и царским чиновникам легко уживается с верой в «доброе» царя. Добролюбов показывает своеобразие крестьянского царизма, особенности мужицкого демократизма. Далек не каждый русский царь вхож в крестьянскую социальную утопию. Вернее даже сказать, что русский крестьянин не видит на престолах «добрых» царей, поэтому он создает своего сказочного царя, иногда идет на прямое сближение этого вымышленного царя с реальным Степаном Разиным. В дальнейшем народное предание снова перелицовывается: Пугачев становится царем, но непременно народным.<sup>4</sup>

Добролюбов ссылается на Алексея Михайловича, который в народных песнях именуется «ласковым». Народ не хотел приписывать ему что-либо «дурное», объяснял все неполадки в государстве коварством бояр. Более того. В народных преданиях Алексей Михайлович сознательно окрестьянивается, превращается в преемника Степана Разина. Добролюбов утверждает, что в народе распространялся слух, согласно которому во время разинского восстания «к Степану Тимофеевичу бежал, дескать, царевич Алексей, по желанию самого царя, за тем, чтобы с помощью Разина преребить всех бояр, которые окружают его и от которых он не знает, как отделаться» (III, 128). Приверженность народа к мнимому «доброму» правителю фактически означала неприятие русской самодержавной власти в той форме, в которой она существовала. К тому же народ не мыслит «доброе» царя вне окружения народных советчиков, которые должны оттеснить коварных бояр и чиновников, встать на их место. Отсюда такая огромная роль отводится в фольклоре, в самой практике крестьянского движения, в поэзии Некрасова челобитчикам, ходокам, дипломатам.

Другой пример — и тоже из Добролюбова. В «слабом царевиче» Алексее, сыне Петра, народ видит свою надежду, пьет за его здоровье. Добролюбов касается происхождения самой легенды о «слабом царевиче» в двух ее версиях — официальной и народной. Приближенные Алексея настойчиво распространяли слухи, что царевич держит сторону народа, собирается освободить его от рекрутских наборов и принудительных работ. Добролюбов поясняет, что «царевич и его сторонники вспоминали о народе не потому, чтобы они действительно питали к нему большое сочувствие, искренно жалели о его тягостях и хотели облегчить его». Борьба за власть, эгоистические классовые интересы заставляют думать о народе, апеллировать к нему. Что же касается самого народа, то разъяснение его привязанности к царевичу должно искать в «причинах, которые увлекли народные массы за Разиным, Пугачевым». Таким образом, симпатии к «слабому царевичу» происходят «от недовольства обычным ходом жизни и существовавшими порядками» (IV, 203).

Боярская оппозиция создала легенду о «добродетельном» Алексее. Официальная легенда была спутницей дворцовых распри, участницей политических заговоров. Народ по-своему толкует эту легенду. Обращение к Алексею Михайловичу, к царевичу Алексею, затем к Константину Павловичу и Константину Николаевичу в 20-х и 60-х годах XIX века получает социальное и реалистическое объяснение. Добролюбов считает, что подобные народные предания «тем более любопытны, что в русской исто-

<sup>4</sup> Для крестьянских восстаний вообще показательное стремление опереться на «священный» авторитет. Без царя не мыслится преобразование основ социального строя. Восстание в Киеве в 1068 году также отмечено верой в «хорошего» князя. «Таким „хорошим“ князем казался мятежным киевлянам полоцкий князь Всеслав» (В. Ма в р о д и н. Народные восстания в древней Руси. Соцэкгиз, М., 1961, стр. 63).

рии начала XVIII столетия редко встречается упоминание о массах и все внимание сосредоточивается на деятельности немногих, составлявших ничтожное меньшинство в сравнении с целым народом, о судьбах которого почти решительно нет известий, как будто его не существовало» (IV, 203).<sup>5</sup>

Статья о Петре печаталась в VI и VII книгах «Современника» за 1858 год. Добролюбов редко прибегал к иносказаниям; он и в этой статье писал об истории, о древней Руси и петровской эпохе. И все же современность просвечивала сквозь традиционные исторические события. В статье о Петре есть такие детали и намеки, которые сталкивают историю с современностью, дают понять, что история повторяется.

Александр II тоже решал вопросы, давно уже заданные правительству жизнью народа. Новый русский царь, как и Алексей Михайлович, «хотел поправить дело путем неприметных, постепенных улучшений, хотел достигнуть цели полумерами, понемножку подвигая дело» (III, 129). Такова была тактика и всех русских либералов, тоже понимавших, что не освободи народ сверху, он освободится снизу. Но если бы нашелся и более энергичный царь, вроде Петра I, то «сущность дела осталась и при нем та же». Такова характеристика самодержавия в целом. Народ по-прежнему верит в возможность договориться с царем, из его рук получить «золотую грамоту», по-прежнему, как и в XVII столетии, посылаются ходоки, пишутся прошения. История действительно повторяется: тех, кто приходит с жалобами, и тем более «подстрекателей», зачинщиков-бунтовщиков нещадно секут и расстреливают. Снова распространяется слух о царском заступнике в лице Константина. И за всеми этими повторяющимися фабулами Добролюбов видит наступление нового исторического момента, когда «народная сила приобретает другое направление», несмотря на сохранность царистских иллюзий и крепкую власть патриархальных традиций.

### 3

Во всех без исключения статьях о Добролюбове-фольклористе центральное место занимает сравнительно небольшая по объему, но очень важная рецензия на сборник «Русские народные сказки» Афанасьева. И это понятно. Именно в этой рецензии Добролюбов громит тех «высоко ученых мужей», которые «восстают и против полных сборников произведений народной поэзии, находя в ней недостаток просвещенных понятий и эстетического вкуса» (I, 429—430).

Защищая фольклор от нападок представителей «гастрономической» науки, положительно оценивая труд Афанасьева (полнота материалов, точность записей, обилие областных вариантов), Добролюбов в то же время отмечает, что «сказки важны всего более как материалы для характеристики народа. А народа-то и не узнаешь из сказок, изданных г. Афанасьевым» (I, 432). Это упрек Афанасьеву и всем другим собирателям фольклора, недостаточно интересующимся, «в каком отношении находится народ к рассказываемым им сказкам и преданиям» (I, 433). «Поэтому, — продолжает Добролюбов, — нам кажется, что всякий из людей, записывающих и собирающих произведения народной поэзии, сделал бы вещь очень полезную, если бы не стал ограничиваться простым записы-

<sup>5</sup> Кроме официальных источников о народной жизни при Петре I («их можно найти и в Полном собрании законов Российской империи, где сохранены довольно обстоятельные известия, например, о рекрутских наборах, о высылке до 40 000 рабочих ежегодно на ингерманландские тундры для постройки крепости и увеселительных дворцов, о налогах на крестьян, которые туда не высылались, о работах на ладожском канале и т. д.»), «есть еще другого рода памятники, которыми наверное воспользуется будущий историк, — это песни, сложившиеся в народе времени Петра, и разные сказания, писанные в труппах и дальних скитах людьми старой веры, скрывшимися туда в полном убеждении пришествия антихриста» (IV, 203).

ванием текста сказки или песни, а передал бы и всю *обстановку*, как чисто внешнюю, так и более внутреннюю, нравственную, при которой удалось ему услышать эту песню или сказку» (I, 433).

М. К. Азадовский видел в этом высказывании программу дальнейших исследований в области фольклора, новые методологические принципы собирания и изучения произведений народной словесности. В качестве примера положительного влияния идей Добролюбова на русскую фольклористику он ссылается на П. Н. Рыбникова и А. Ф. Гильфердинга, на их «интерес к конкретной поэзии, отсюда же и интерес к отдельным хранителям предания, к рапсодам и сказителям».<sup>6</sup> Мы не думаем, что именно с этой стороны, со стороны особого внимания к «личному началу» в фольклоре, к рапсодам и сказителям, нужно рассматривать «новую идеологию» Добролюбова. Фактически в сборнике Афанасьева содержались все «священные» принципы фольклористики, от которых не отказывались Рыбников и Гильфердинг и не отказываются до сих пор собиратели и комментаторы фольклора. Афанасьев несколько недооценивал роль сказочников, зато он, по словам Добролюбова, опубликовал «подлинные сказки русского народа, без прикрас и почти без пропусков, расположенные более или менее удачно, сообразно с их содержанием». Он составил и соответствующий комментарий, указал разницу в вариантах: сохранил «белорусское *дзвяканье* и *цвяканье* да малорусское *эгзонье* и *зоканье*», отметил, что «такая-то сказка записана в Чердынском уезде, а такая-то в Харьковской губернии». К тому же Афанасьев прибавил «кое-где варианты разных местностей». «Кажется, чего бы больше? Характер русских сказок сам тут скажется вам. . . Но выходит не то» (I, 432). Это добролюбовское «не то» многозначительно. Фольклор нельзя вырывать «из живой действительности».

Рецензия Добролюбова далеко выходит за пределы фольклористики и тем более ее частных, второстепенных проблем. Показательно, что Добролюбов, защищая народную поэзию от нападок, но не преувеличивая ее художественного значения, говорит о «курных избах и лохмотьях простонародья», «пустых щях и гнилом хлебе». Обращаясь к писателям и этнографам-фольклористам, Добролюбов так формулирует основную задачу: «обязаны мы знать внутреннюю жизнь народа». В понятие «внутренняя жизнь народа» входит и «душевная жизнь», частично выраженная в фольклоре, и материальный быт, и умственное развитие народа. Едва ли фольклористика, даже самая передовая, если она ограничивается собиранием и изучением художественного фольклора, могла ответить на все эти вопросы, охватить всю «область живой действительности». Добролюбов дает понять, что одного фольклорного материала явно недостаточно для социальной и нравственной характеристики народа и тем более «для его просвещения и облагораживания». «И если мы уже хотим, чтобы когда-нибудь распространялись между ними (людьми, — В. Б.) наши понятия, то, — пишет Добролюбов, — непременно следует начать с возможно полного знакомства с *их* понятиями, с их степенью развития» (I, 431). Сказки, изданные Афанасьевым, только частично объясняют «ту степень развития, на которой находится народ» (I, 433).

«Мы, — продолжает Добролюбов, — не беремся делать каких-нибудь заключений о нравственном и умственном развитии народа на основании изданных ныне сказок. Не считаем удобным распространяться и о степени их художественного значения. Но кто просмотрит, хотя бегло, эти сказки, тот и в них может найти подтверждение по крайней мере тех общих идей, которые со времени Белинского пущены в оборот относительно характера русского народного творчества. Пассивность человека, отвыкшего, вследствие внешних тяжелых обстоятельств, от самостоятельной деятельности,

<sup>6</sup> М. Азадовский. Литература и фольклор, стр. 191.

по все мечтающего о чрезвычайных подвигах силы и мужества, — довольно резко проявляется во всех сказках, имеющих довольно значительный объем и относящихся по содержанию к человеческому миру. В большей части остальных можно заметить мысль о преобладании лукавства и хитрости над грубой силой: очень естественное явление между людьми, которых ум в своем развитии постоянно встречает помеху со стороны грубой силы и вследствие того уклоняется от прямых путей и перерождается в хитрость и мошенничество» (I, 433). Характеристика довольно ясная, несмотря на некоторые умолчания и вынужденные иносказания. В народном творчестве отражены как сильные, так и слабые стороны крестьянского мировоззрения, бытовых и социальных представлений. С одной стороны, русский крестьянин под влиянием «внешних тяжелых обстоятельств» (прежде всего крепостничества) привык к рутинерству, к пассивности, ему недостает практической деятельности, энергии, общественного дела; с другой, он издавна мечтает «о чрезвычайных подвигах силы и мужества» (это нашло отражение в волшебно-героических сказках). Но «грубой силе» крестьянский фольклор противопоставляет «лукавство и хитрость» сказочного героя; это еще не есть «прямой путь» преодоления социальной «помехи».

Добролюбов в сборнике Афанасьева не находит «жизненного начала» («Но и сборник г. Афанасьева не восполняет того недостатка, который как-то неприятно поражает во всех наших сборниках. Недостаток этот — *совершенное отсутствие жизненного начала*»; I, 432). Но только ли к Афанасьеву адресуется этот упрек? Не распространяется ли он и на сказки? <sup>7</sup> Сказки отражают идеалы «полуголодного бедняка», который не имеет ни малейшего представления об «успехах цивилизации». Сказки слабо говорят о необходимости «усовершенствий в народном быте». И, конечно, сказки не охватывают «всей области живой действительности».

В статье «Черты для характеристики русского простонародья» Добролюбов уточняет ту действительность, которую отражают сказки о «дармоедах» и «мироедах», т. е. те самые сказки, которые в рецензии на сборник Афанасьева отнесены ко второй группе («о преобладании лукавства и хитрости»). Под «дармоедами» и «мироедами» в народе разумеют «не только какого-нибудь старосту, земского или сотского, но и всякого мужика, разжиревшего на мирской счет... Между крестьянами сохраняется обыкновенно очень верный и умный взгляд на людей, вышедших из среды их и наживших себе большое состояние разными темными путями» (II, 293). Добролюбов ссылается на разговор с мужиками, на их обличительные речи, направленные против «некоторых известных богачей, вышедших из простонародья». «Говорят, наши мужики лукавы и при случае надуют вас самым мошенническим образом, чтобы зашибить себе лишнюю копейку. Да, бывает и это, хотя не так часто, как рассказывают, и притом более в городах и придорожных или торговых селах, [имеющих много случаев позаимствоваться моралью от высших классов общества]. Но надо заметить, во-первых, что нужда чего не заставит делать; а во-вто-

<sup>7</sup> На это обращает внимание Н. А. Глаголев. Однако его объяснение отсутствия в сказках «жизненного начала» нас не может полностью удовлетворить. Н. А. Глаголев полагает, что в сборник Афанасьева вошли именно те сказки, в которых «отражалась пассивность народных масс», отсутствовали «социальный протест», «критические элементы», «активное начало» (Н. А. Г л а г о л е в. Проблема народа и народности литературы в критике Добролюбова. «Ученые записки Московского государственного университета», вып. 110, Труды кафедры русской литературы, кн. 1, 1946, стр. 41—60). Добролюбов подчеркивает, что в сборник Афанасьева вошли «подлинные сказки русского народа». Сборник «превосходит все другие по своей полноте и по точности». Значит суть дела не в составе самого сборника, а в идейно-художественной природе фольклора. Ясно и то, что в сказках Афанасьева отражены не только пассивные, патриархальные воззрения народных масс, но и «активное начало», «критические элементы» и т. п.

рых, что обман и надувательство крестьяне позволяют себе по большей части относительно других классов общества, с которыми они не только не чувствуют никакого родства и солидарности, но даже, напротив, — находят себя в праве быть недоверчивыми и враждебными. С своим же братом, в своем обществе, они, по общим отзывам, бывают очень честны» (II, 293—294).

Перед Добролюбовым не сказитель и певец, а беседующий крестьянин, народная молва. Еще в студенческой газете «Слухи» Добролюбов указывал на этот источник и призывал непременно записывать слухи и толки, которые так же быстро появляются, как и исчезают. Тогда он писал: народные слухи есть «выражение духа, направления и понятий народных в ту или другую эпоху» (IV, 429). Но эти же нравственные уложения можно найти и в сказках, в волшеббно-героических и в сатирических, в сказочных композициях, через которые ясно просвечивают реальные социальные конфликты. «Дармоедство» понимается слишком по-патриархальному, и борьба с «дармоедством» сводится к ловкому «надувательству», к мнимой победе. В фольклоре еще не распознаны новые формы грабежа, не замечены «дармоеды», выступающие под «вымышленными именами». В новых исторических условиях «дармоедство» прячется «под покровом капитала и разных коммерческих предприятий, но тем не менее оно существует везде, эксплуатируя и придавливая бедных тружеников, которых труд не оценивается с достаточной справедливостью» (III, 268). Наконец, фольклор проявляет благодушие к коронованному дармоеду, к царю. Короче говоря, в эпоху ломки феодальных отношений фольклор не поспекает за развитием самой народной жизни, он тоже нуждается в революционной прививке.

Более или менее полная картина современной внутренней жизни народа создается сложными путями: экономический быт, жизненные крестьянские идеалы, народная поэзия, но главное — события народной жизни, факты самой действительности. Через все статьи Добролюбова проходит основополагающая мысль: «Есть другой путь — путь жизненных фактов, никогда не пропадающих бесследно, но всегда влекущих событие за событием, неизбежно, неотразимо» (IV, 109). Добролюбов приводит в качестве примера «возбудительные» факты, которые действуют сильнее «высоких фраз». Факты эти — «холод и голод», «отсутствие законных гарантий в жизни», притеснение личности. «Поэтому нам кажется, — пишет Добролюбов, — что на излишество фактов и через сто лет нельзя будет пожаловаться у нас; а теперь, напротив, приходится постоянно сожалеть о недостатке фактов, с толком подмеченных и добросовестно обнародованных. И особенно это можно сказать о том отделе фактов, который имеет непосредственное отношение к умственной и нравственной жизни народа» (I, 431—432).

Все последующие выступления Добролюбова направлены против тех, кто собирает и изучает фольклор без знания народной жизни, без искренней любви к народу, без всякого интереса к материальному положению и степени развития народных масс. В работах о Добролюбова-фольклористе обычно не упоминаются его иронические отзывы о путешествующих любителях народной словесности. Между тем они имеют не меньший смысл, нежели довольно скромная похвала Афанасьеву. Добролюбов не делает скидок ни фольклористам, ни этнографам, ни писателям, критика ведется без всяких обиняков.

«За несколькими писателями, действительно наблюдавшими народную жизнь, — говорит Добролюбов, — потянулись целые толпы таких сочинителей, которым до народа и дела-то никогда не было, и думушки-то о нем в голову не приходило, а теперь довелось писать о нем. Говорят, в то время „Сказания русского народа“ Сахарова и „Пословицы“ Снегирева поднялись в цене, и даже „Быта русского народа“ Терещенка

разошлось несколько экземпляров» (II, 541—542). В толпе «сочинителей» — «ученые карлики». Они обычно стоят в стороне от бурных событий народной жизни, не выходят на шумные дороги истории. Оказывается, что можно путешествовать, делать наблюдения, писать путевые этнографические очерки и собирать песни, и... пребывать всю жизнь в «незрелых отроках». Добролюбов приводит в качестве примера такого путешествующего «отрока» А. Филонова, автора «Очерков Дона» (СПб., 1859). Получив образование в столице, Филонов отправляется в Новочеркасск, где к удивлению своему открывает, что «есть улицы, по которым ездит много экипажей и ходит много народу... Не меньшего удивления автора заслужило и то обстоятельство, что в Новочеркасском соборе певчие поют, а народ молится» (II, 527). Вместе с наивным Филоновым, сторонником «старой методы кропотливых и мертвых изысканий», изрядно попадает М. И. Семевскому, в будущем издателю «Русской старины». В молодости он тоже собирал пословицы и песни, путешествовал по Великолуцкому уезду. «Мы помним, — продолжает Добролюбов, — с каким неудержимым смехом читали мы, года два тому назад, книжку г. Семевского, весьма важно и наивно утверждавшего, что в Великолуцком уезде прежде свадьбы бывает сватанье, сговор и девшник, на котором песни поют, и что он, г. Семевский, составил сборник великолуцких пословиц, в роде: ученые свет, а неученые тьма; старый друг лучше новых двух и т. п. Мы долго не могли вспомнить без смеха, как это г. Семевский ходит по Великолуцкому уезду и собирает такие редкие пословицы...» (II, 532). В рецензии на «Братчину» (часть I, СПб., 1859) содержится иронический отзыв о «Заметках о быте вятских крестьян» Мартынова. Подробно рассказывая о пище и посуде, Мартынов сообщает самые банальные сведения. Например: «Кушанья и у крестьян, как обыкновенно, можно разделить на скоромные (*молосные*, по местному выговору) и постные. Национальные блюда русского человека — одни и те же по целой России. Щи, каша, блины, пироги — где не отыщешь их?» Добролюбов замечает: «Таковы и все заметки. Под ними не стыдно было бы подписать свое имя г. Семевскому» (II, 554). Показательна рецензия на первую книжку «Пермского сборника» (М., 1859). Добролюбов отмечает историческую ценность местных преданий о Пугачеве, о других фольклорных материалах говорит между прочим и очень сдержанно. В заключение рецензии сообщается, что «есть еще в «Пермском Сборнике» довольно значительный сборник песен, сказок и загадок, собранных в Чердынском уезде, и описание свадебных обрядов города Чердыни, составленное г. Предтеченским. Составитель описания обрядов доказывает, что в пермском населении сохранилась еще память о древних свадьбах *уводом* и *покупкою*, о которых говорится в летописи. Самые обряды, впрочем, не представляют ничего особенно оригинального и любопытного; в числе сказок есть любопытные, как, напр., 8-я сказка: о крестьянине и незнакомом человеке» (II, 526). Зато о статье Фирсова «Открытие народных училищ в Пермской губернии» Добролюбов пишет с воодушевлением: «живое воззрение» на народ.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Это «воззрение» выражено в письме Фирсова к Добролюбову, которое он почти полностью переписывает в свой «Дневник». Рассказывая о путешествии по России, Фирсов сообщает и такой деревенский эпизод: в избе стоял гроб, возле которого сидела женщина 45 лет и горько плакала. «Я подошел к гробу, открыл полотно и увидел под ним человека лет 20. Какая-то презрительная улыбка замерла на его тонких губах, и какая-то гордость и упорство обозначились на его бледном лбе, окаймленном темно-русыми волосами. „Отчего он умер?“ — спросил я мать мертвеца, когда она перестала выть. — „Да недель 10 назад управитель начал бить моего хозяина, что у него срубили три сосны, а он тут был и не вытерпел, да и дал в ухо управителю. Тогда его, горюна, схватили и высекли кнутами на барском дворе... с тех пор зачах...“» (VI, 424).



Ослабление интереса Добролюбова к фольклористике объясняется не случайными обстоятельствами и не тем, что он не успел ввести в нравственную характеристику «простонародья» фольклорный материал. Еще в статье «О степени участия народности в развитии русской литературы» Добролюбов утверждал, что фольклор постепенно утрачивает свое былое значение, слабеет и гложет. «Литература — всегдашний спутник образованности». Фольклористы если и ссылаются на это высказывание, то квалифицируют его как грубую ошибку. Однако не только Добролюбов, но и Чернышевский и Антонович, и в целом «Современник» не выдвигают фольклор в качестве самого верного показателя нравственных и социальных воззрений народа на новом историческом этапе. Не фольклор исчезает из жизни народа, а народная жизнь опережает фольклор, народная поэзия не успевает за бурным развитием действительности, особенно в годы революционной ситуации. Современная действительность дается фольклору с трудом.

## 4

Статья «О степени участия народности в развитии русской литературы» написана в защиту художественного народознания. Речь идет не о художественном этнографизме и фольклоризме в литературе, а именно о народознании, о признаках истинной народности и о способах познания народной жизни. Борьба за демократизацию литературы требовала уточнения самого понятия «народность», его конкретно-исторического смысла. Если предшественники революционных демократов (русские просветители XVIII века и декабристы-романтики) народную историю растворяют в общенациональных освободительных движениях, теоретически обосновывают необходимость патриотического назидания и художественно решают проблему героического национального характера, то у Белинского и особенно у Добролюбова эти две исторические дороги — народная и национальная — часто скрещиваются и столь же часто снова расходятся. Русской литературе знакомы пыльные дороги народной истории, но Добролюбов считает, что по ним все же мало хожено. Писатели если и ступали на эти дороги, проторенные толпами, то с фонарем истории, углубляясь в далекое прошлое.

По Добролюбову, современный крестьянский быт еще почти целиком принадлежит фольклору, в фольклоре он художественно отображен, особенно в народной лирике, в песнопении. «У нас народ, — пишет Добролюбов в статье о Кольцове, — сопровождает пением все торжественные случаи в своей жизни, всякое дело, всякое веселье и печаль. Еще в колыбели дети убаюкиваются песнями; подрастая, они сами выучиваются напевать народные песни. Собирается зимой молодежь крестьянская на посиделки, и здесь раздаются песни; приходит весна, выходят поселяне встречать ее, составляют хороводы, завивают венки, и при этом непременно поют песни. Едет крестьянин пахать землю, он облегчает труд своей песней; собираются крестьяне жать, косить в знойную рабочую пору, и здесь песня звучит между ними, освежая их среди тяжелых трудов. Провожают лето, празднуют уборку хлеба, — опять с песнями. Песня сопровождает поселянина во всех его общественных трудах; она же следует за ним и в семейную жизнь его. Собирается ли молодец жениться, его сватанье, девичник, свадьба — все это непременно оглашается песнями, готовыми нарочно на этот случай. Настает ли тяжелая разлука с семейством, мать провожает сына, жена мужа — с рыданиями, причитаньями и пением. Умирает ли человек, над ним раздаются похоронные, печальные песни... Так ли, почему-нибудь нападает грусть-тоска на душу, она сейчас пльздается в грустной песне... Веселье ли заберется в сердце, и оно не удержится в нем без того, чтобы не выразиться в удалой, разгульной песне...»

Но у нас мало песен веселых... Большая часть наших народных песен отличается тяжелой грустью. То в них плачет мать по сыне или невеста по женихе; то молодая жена жалуется на суровость мужа и злость свекрови; то добрый молодец на чужой дальней стороне тоскует по родине, в разлуке со всеми милыми его сердцу; то бедняк, убитый своим горем, сокрушается, что ничего не имеет и живет в презрении. Во всем видно желание чего-то, стремление к какой-то лучшей доле, какой-то порыв души, но порыв неопределенный, странный, часто уничтожающийся сам собою. Порой выражается в песне какой-нибудь отчаянный удалой порыв, и часто этот порыв бывает и неразумен, и несогласен с нравственностью общественною...» (I, 123—124).

В этой блестящей характеристике заключена основная идея Добролюбова: в фольклоре всесторонне изображен повседневный крестьянский быт, но в нём не охвачены все события народной жизни, к тому же в фольклоре слабо выражены положительные идеи, туманны мечты о лучшей доле, неопределенны порывы. «Много в этих песнях чувства; но, как видим, — продолжает Добролюбов, — мало разумности, потому что стремления большею частью бессознательны» (I, 124). Иначе говоря, фольклор не в силах внести в народные воззрения, в крестьянский семейный и общественный быт те идеи, которые составляют достояние всего передового человечества. Отсюда особая роль литературы, революционного просвещения. Литература должна стать нравственным помощником народа, его идейным и эстетическим воспитателем. Однако и сама литература не выполнит своей исторической миссии, если она не будет развиваться на народной основе, не будет отражать народных воззрений на окружающую действительность. Процесс взаимосвязанный: народ идейно и эстетически обогащает литературу, литература несет просвещение. Добролюбов мечтал именно о такой литературе, прокладывающей пути к народной жизни, а затем и овладевающей умом и сердцем русского крестьянина. С этих позиций он и рассматривает проблему народности в литературе. Нужно сказать, что Добролюбов приходит к довольно печальным выводам. Не только в древней русской литературе, но и в поэзии XVIII столетия, по его искреннему убеждению, господствует «дидактическое направление», «мертвая схоластика», вместо истинной народности — «напыщенное воспевание бранных подвигов». Исключение не делается даже для Державина. Столь же суровая оценка дается карамзинскому периоду в русской литературе. При Карамзине ослабло ломоносовско-державинское парение, литература сблизилась с дворянской усадьбой, однако точка зрения на народ у карамзинистов «отвлеченная и крайне аристократическая» (I, 232). Писатели карамзинской школы далеки от живой народной действительности, хотя они и пытаются изображать крестьянский быт. У них «сельский быт — прямо из счастливой Аркадии», и русские мужики «похожи на аркадских пастушков» (I, 232). Жуковский принципиально не отличается от Карамзина; его мечтательный романтизм не способствует сближению поэзии с русской народностью. Романтизм Жуковского — с большим привесом карамзинского сентиментализма и державинского отвлеченного риторизма. «Одно только из русской народности воспроизвел Жуковский (в «Светлане»), и это одно — суеверие народное. И, кажется, только в этом отношении романтическая поэзия и могла соприкасаться с нашим народным духом: во всем остальном она отделялась от него неизмеримой пропастью» (I, 233).

Добролюбов не ищет примирения между народной и дворянской Россией; эти две России слишком отдалены друг от друга, социально противоположны, поэтому нет и не может быть примирения. В области эстетики происходят те же конфликты, что и в жизни, в социальных и в правовых отношениях. Миллионы простого народа остаются в «певежестве», они отчуждены «от знания, от искусств, от поэзии». В неравных условиях,

когда просвещение и цивилизация находятся в одних руках, необразованный, непросвещенный народ держится своей эстетики; он и в дальнейшем не примет «мертвых схоластических стихов», ему нужна «живая народная поэзия», соответствующая «его потребностям» (I, 233).

Добролюбов не видит в русской поэзии до Пушкина подлинной народности, фольклорная стилизация (Николев, Нелединский-Мелецкий, Дельвиг) для него всего лишь «старанье подделаться под народный тон» (I, 126). Только Пушкин «в своей поэтической деятельности первый выразил возможность представить, не компрометируя искусства, ту самую жизнь, которая у нас существует, и представить именно так, как она является на деле» (I, 234). Правда, и Пушкин пришел к народности не вдруг, на первых порах ему мешали «карамзинская опрятность, мечтательность Жуковского и эпикуреизм Батюшкова». И все же Пушкин еще в «Руслане и Людмиле» прорвался к народности.

Добролюбов, однако, явно недооценивает революционную сущность пушкинской народности. Например, он утверждает, что Пушкин «умел овладеть формой русской народности». В «Русалке» он видит вершину именно такой «внешней» народности: «уменьше изобразить красоты природы местной, употребить меткое выражение, подслушанное у народа, верно представить обряды, обычаи и т. п.» (I, 235). О Пушкине Добролюбов судит как о своем современнике, предъявляя требования, которые едва ли мог выполнить Некрасов: «Но чтобы быть поэтом истинно народным, надо больше: надо проникнуться народным духом, прожить его жизнью, стать вровень с ним, отбросить все предрассудки сословий, книжного учения и пр., прочувствовать все тем простым чувством, каким обладает народ» (I, 235—236). Ошибка в понимании пушкинской народности частично объясняется рационалистическими требованиями революционно-демократической эстетики. Кроме того, Добролюбов преувеличивает значение пушкинской биографии в становлении мировоззрения поэта.

Гоголь, по мнению Добролюбова, тоже «не постиг вполне, в чем тайна русской народности». Отсюда и общий вывод: «Если окончить Гоголем ход нашего литературного развития, то и окажется, что до сих пор наша литература почти никогда не выполняла своего назначения: служить выражением народной жизни, народных стремлений» (I, 237).

В статье не обойдены Крылов, Кольцов и Лермонтов. Значение Крылова будет «весьма велико, когда его басни дойдут до народа». Но басни еще не дошли до народа и неизвестно, когда дойдут. Добролюбов выделяет Кольцова, который «жил народной жизнью, понимал ее горе и радости, умел выражать их. Но его поэзии недостает всесторонности взгляда; простой класс народа является у него в уединении от общих интересов, только со своими частными житейскими нуждами; оттого песни его, при всей своей простоте и живости, не возбуждают того чувства, как, например, песни Беранже» (I, 237—238). И только Лермонтов, обладавший «огромным талантом», вслед за Пушкиным познал «недостатки современного общества» и понял, что «спасение от этого ложного пути находится только в народе» (I, 238). Однако Лермонтов обстоятельствами жизни был поставлен «далеко от народа», он не успел выразить со всею полнотою народный характер своего творчества.

Народность в литературе — понятие не столько эстетическое, сколько мировоззренческое. Писатель должен порвать с идеологией господствующего класса, перейти на позиции народа, отказаться от сословных предрассудков. Но сам народ в этом общедемократическом требовании остается понятием недифференцированным. Но Добролюбов не замечает собственных противоречий, для него выше всего народные интересы, т. е. интересы русского крестьянства. «Мы действуем и пишем за немногими исключениями, — признается Добролюбов, — в интересах кружка, более или менее незначительного; оттого обыкновенно взгляд наш

узок, стремления мелки, все понятия и сочувствия носят характер парциальности. Если и трактуются предметы, прямо касающиеся народа и для него интересные, то трактуются опять не с общесправедливой, не с человеческой, не с народной точки зрения, а непременно в видах частных интересов той или другой партии, того или другого класса» (I, 211). Собственно и Добролюбов защищает интересы определенной партии, партии «народной», и интересы определенного класса — русского крестьянства. Более того. Он желает, чтобы такая партия была в литературе. И когда он не находит выражения «народной точки зрения» у Тургенева, Достоевского, Гончарова, у крупнейших писателей-реалистов, он приветствует те первые очерки и рассказы из народного быта, которым хотя и недостает широкого взгляда на народную жизнь, но в которых с какой-то ответственностью стороны эта жизнь все же отражается. В понятие «народность» Добролюбов включает практическое отношение к народу, к судьбам русского крестьянина. В этой концепции обнаруживаются и слабые стороны добролюбовской эстетики: он придает слишком большое значение «беллетристической обработке существующих фактов». В результате в «крестьянской» беллетристике на первый план выдвигается Славутинский. Славутинский не отличается силой художественного таланта, не может быть сопоставлен с Григоровичем и тем более с Тургеневым, но преимущество его рассказов («Своя рубашка», «Жизнь и похождения Трифона Афанасьева», «Читальщица») состоит «в самом отношении к предмету». Добролюбов пишет о Славутинском: «Он не считает нужным и щегольнуть сочувствием простому классу, которое с таким самодовольством старались выставить на показ некоторые из прежних, даже талантливых писателей: „вот, мол, я какой добрый, — как снисходительно мужиков расписываю, а стоят ли они этого?“ Напротив, г. Славутинский обходится с крестьянским миром довольно строго: он не щадит красок для изображения дурных сторон его, не прячет подробностей, свидетельствующих о том, какие грубые и сильные препятствия часто встречают в нем доброе намерение или полезное предприятие. Но, несмотря на это, признаемся, рассказы г. Славутинского гораздо более возбуждают в нас уважение и сочувствие к народу, нежели все приторные идиллии прежних рассказчиков» (II, 543).

Славутинский заслуживает похвалы за «мужественное, прямое и строгое воззрение на простой народ» и одновременно за «веру в народ» (II, 544). Нетрудно заметить, что в отзыве Добролюбова о Славутинском есть много общего с характеристикой, какую дал Чернышевский Николаю Успенскому. И там, и здесь, на наш взгляд, заметно дружеское преувеличение. Добролюбов и сам признается, что рассказам Славутинского недостает «художественной полноты в очертании образов» (II, 551). Для Добролюбова рассказы и очерки Славутинского — пример демократического народознания. В рецензии обобщается большой опыт русской литературы и опыт более частный, связанный с изучением крестьянского быта. Постигание «внутреннего смысла» крестьянской жизни — вот собственно в чем состоит главная заслуга Славутинского.

Сравнительно легко познать и усвоить внешний колорит народной жизни, значительно труднее заглянуть в душу русского крестьянина. «Впрочем, приторное любезничанье с народом и насильная идеализация происходили у прежних писателей часто не от пренебрежения к народу, а просто от незнания или непонимания его. Внешняя обстановка быта, формальные, обрядовые проявления нравов, обороты языка доступны были этим писателям и многим давались довольно легко. Но внутренний смысл и строй всей крестьянской жизни, особый склад мысли простолюдина, особенности его мирозерцания — оставались для них по большей части закрытыми. Вот отчего нередко писатели, даже хорошо изучившие народную жизнь, вдруг переносили в нее отвлеченную идею,

зародившуюся в их голове и обязанную своим началом вовсе не народному быту, а тому кругу, в котором жили сами писатели. Выходила *народность* в том же роде, какая была в народных песнях, сочиненных Нелединским-Мелецким и Дельвигом» (II, 544).

Писателям-демократам предстоит еще много сделать, чтобы овладеть «внутренним смыслом» народной жизни. Художественное народознание требует «верного взгляда», «таланта рассказчика» и еще многого другого: «нужно не только знать, но глубоко и сильно самому пережить, пережить эту жизнь, нужно быть кровно связанным с этими людьми, нужно самому некоторое время смотреть их глазами, думать их головой, желать их волей; надо войти в их кожу и в их душу» (II, 545). Путь к народности, намеченный здесь Добролюбовым, не является единственным. Проблеме народности в литературе с успехом могут разрешить и те писатели, которые не вышли из народной среды, не связаны кровно с народными массами. В таких случаях «нужно иметь в весьма значительной степени дар — примеривать на себе всякое положение, всякое чувство и в то же время уметь представить, как оно проявится в личности другого темперамента и характера — дар, составляющий достояние натур истинно художественных и уже незаменимый никаким знанием» (II, 545). Таким вторым и редким даром «истинно художественных натур», способных во всей полноте пережить народное чувство, представить народный характер, в русской поэзии второй половины XIX века был наделен Некрасов, в художественной прозе — великий Толстой.

Литература еще не создала «эпопеи нашей народной жизни», но ее «мы можем ожидать в будущем» (III, 263); «самосознание народных масс далеко еще не вошло у нас в тот период, в котором оно должно выразить всего себя поэтическим образом» (III, 263). Ясно, что Добролюбов возлагал все надежды на революционное будущее, когда народное самосознание найдет свое отражение и в народном творчестве и особенно в литературе, способной выразить «самосознание народных масс».

## 5

О народе нельзя судить по заранее заготовленной умозрительной схеме, т. е. когда «берутся свои отвлеченные принципы, и под них подводится живое народное развитие» (III, 240). Концепция Добролюбова остро полемична, она направлена и против либерально-буржуазного скептицизма, и против славянофильско-реакционной идеализации «тишайшего» русского человека. В конечном итоге оба эти взгляда, несмотря на кажущуюся противоположность, сходятся в главном: русский крестьянин лишался революционной инициативы. «Точно ли существенная и отличительная черта русского простого человека — „недостаток инициативы“, необходимость постороннего попуканья? „Гром не грянет, — мужик не перекрестится“, говорят в свое подкрепление красноречивые знатоки русской народности, выдавая этот пошлый афоризм какого-то грамотея за *народную русскую* поговорку. Но что они под громом-то разумеют?» (II, 262).

Предвзятость, искусственность построений показательны для Николая Жеребцова, автора «Истории русской цивилизации», изданной в 1858 году в Париже. По Жеребцову, коренные чувства русского народа состоят в «верности православию, набожности, покорности и сострадательности» (III, 237). Мнение Жеребцова мало оригинально; Добролюбов отсылает к главному источнику столь субъективной характеристики: «Смирение, покорность, терпение, самопожертвование и прочие свойства, воспеваемые в нашем народе профессором Шевыревым, Тertiем Филиповым и другими славянофилами того же закала, составляют жалкое и

безобразное искажение этого прекрасного свойства деликатности» (II, 292).<sup>9</sup>

Рядом с Шевыревым и Жеребцовым стоят пессимисты, они говорят, что народ «слишком обременен физическими трудами, отбивающими у него охоту помышлять об общих интересах», что «нечего и ждать благотворного распространения образования и здравых тенденций в массе народа. Пройдут века, и все будет по-старому» (IV, 108, 107). Еще более мрачные пессимисты заявляют, что «низший класс нашего народа, по натуре своей, груб, лукав, бессовестен и до того опустился в грязь невежества и пьянства, что только дубиной и можно на него действовать, да и то еще не скоро прошибешь» (V, 383). Если над «жеребцовским» оптимизмом Добролюбов просто издевается, то с разумными пессимистами он разговаривает с должным вниманием, считает, что их сомнения и доводы не лишены некоторых оснований, что в их суждениях есть «частичка правды». Пессимисты — большая и довольно разноликая партия, начинающая с ретроградного англомана Каткова и кончая либеральным Милюковым, а возможно и более демократически настроенными публицистами и писателями, отчаявшимися «в дальнейшей участи» народа.

Был еще Аполлон Григорьев, который стоял как-то особняком, много размышлял о национальном характере, пытался выйти из заколдованного круга предвзятых мнений. С Григорьевым Добролюбов не успел доспорить, но его преклонение перед «тишайшим» человеком или обратным вариантом этого «тишайшего» — «широкой русской натурой», стихийным разгулом Добролюбов отвергает, считая все эти сомнительные варианты сильного народного характера всего лишь дополнением к «темному царству».

Вот в такой обстановке, имея в виду многочисленных защитников и порицателей «ложной народности», Добролюбову пришлось взяться за перо публициста, чтобы поспорить со всеми сразу. Прежде всего он должен был ответить Шевыреву и Жеребцову, затем мрачным пессимистам и представителям государственно-юридической школы в исторической науке.<sup>10</sup>

Опираясь на действительные факты, а не на отвлеченные соображения, Добролюбов в статье «Народное дело» отвечает скептикам: «Говоря о народе, у нас сожалеют обыкновенно о том, что к нему почти не проникают лучи просвещения и что он поэтому не имеет средств возвысить себя нравственно, сознать права личности, приготовить себя к гражданской деятельности и пр. Сожаления эти очень благородны и даже основательны; но они вовсе не дают нам права махнуть рукой на народные массы и отчаяться в их дальнейшей участи». Всякому терпению приходит конец («нет на свете человека и нет общества, которого пельзя было бы вывести из терпения»); «смутное безотчетное недовольство» давно уже таится в народе, в скором времени «оно проявится на самом деле» (IV, 108, 109).

<sup>9</sup> Показательно признание Т. И. Филиппова в письме к К. Н. Леонтьеву от 8 марта 1891 года: «Я едва ли могу уступить кому бы то ни было (древним ли славянофилам, Достоевскому ли) в любви и уважении к русскому народу; но те черты, которые я чту в нем благоговейно, воспитаны и утверждены церковью» (ЦГИАЛ, ф. 728, д. 4, л. 23).

<sup>10</sup> Может быть, историческая наука восполняет недостатки изучения народной жизни? В обширной рецензии на «Историю Петра Великого» Устрялова Добролюбов отмечает, что историко-юридическая школа с пренебрежением относится к «живому материалу (если так можно выразиться о народе)». «Народная жизнь, — пишет Добролюбов, — исчезает среди подвигов государственных, войн, междоусобий, личных интересов князей, и пр., и только в конце тома помещается иногда глава „о состоянии России“. Но и тут больше толкуется о наследственных правах удельных князей, о славе России между иноземными державами и т. п., нежели об интересах прямо касающихся народа» (III, 124).

В статье «Черты для характеристики русского простонародья» собраны воедино все наблюдения Добролюбова над внутренней жизнью народа; эта статья — классический образец демократического народознания.

Чтобы правильно судить о нравственном и умственном развитии народа, о современном состоянии народной жизни, для этого необходимо прежде всего ответить на вопрос, что народом «сделано для усвоения общечеловеческих идей и знаний, для применения их к своему быту, или что им самим создано полезного для человечества» (III, 241). На первый взгляд вопрос странный, слишком умозрительный. Что может сделать темный, непросвещенный, погрязший в тине предрассудков крестьянин для развития общечеловеческих идей? Между тем Добролюбов утверждает, что «массы народные всегда чувствовали, хотя смутно и как бы инстинктивно, то, что находится теперь в сознании людей образованных и порядочных». Это «всегда чувствовали» относится к пониманию социальных противоречий действительности и тенденций ее развития. В этом смысле стихийная «теория трудящихся» как бы опережает общественную мысль и является подспорьем великой русской литературы. «В глазах истинно-образованного человека, — пишет Добролюбов, — нет аристократов и демократов, нет бояр и смердов, браминов и парий, а есть только люди трудящиеся и дармоеды. Уничтожение дармоедов и возвеличение труда — вот постоянная тенденция истории. По степени большего или меньшего уважения к труду и по умению оценивать труд более или менее соответственно его истинной ценности — можно узнать степень цивилизации народа» (III, 267). Таким образом, народ, руководствуясь собственным жизненным опытом, разгадал «постоянную тенденцию истории», возвеличил труд и трудящегося человека и тем самым сыграл выдающуюся роль в развитии цивилизации.

Главной отличительной чертой «простонародья» является трудовая деятельность, отношение к труду. Труд облагораживает человека и формирует его нравственные и эстетические понятия. Важно, что принцип трудящихся Добролюбов излагает от лица народа, от народного «я». «Я не имею права на стеснение чужой личности, так как никто не имеет права стеснять меня самого» и т. д.<sup>11</sup> «Социальная безнравственность» — это такое «печальное положение общества, при котором кровь и пот многих тружеников должны тратиться для содержания одного дармоеда» (III, 268—269).

Теория трудящихся не выдумана, она подсказана Чернышевскому и Добролюбову самим народом. Добролюбов пишет: «И эти соображения не выдуманы нами теоретически: они прочно и глубоко лежат в душе [каждого] простолюдина. Ему обыкновенно даже и в голову не приходит,

<sup>11</sup> «Рядом с понятием неприкосновенности личности [неизбежно] является и понятие об обязанностях и правах труда. „Я не имею права на стеснение чужой личности, так как никто не имеет права стеснять меня самого; значит, я не могу рассчитывать жить на чужой счет: это значило бы отнимать у других плоды их трудов, т. е. насиловать, поработать их личность. Стало быть, я необходимо должен заботиться сам об обеспечении своей жизни, должен работать: живя своим трудом, я не буду иметь надобности отнимать чужое и, вместе с тем, имея материальное обеспечение, буду иметь средства, постоянно сохранять свою собственную жизнь“. Таковы простейшие соображения, из которых вытекает обязанность трудиться, ясная, как день, для всякого простого человека» (II, 275). Через это «я» Добролюбов устанавливает те прочные связи, которые лежат между народной нравственностью и теорией революционных демократов. В народе дорожат «неприкосновенностью личности». Это «желание неприкосновенности для своей личности заставит их уважать и личность других». Первоначально в статье «Черты для характеристики русского простонародья» об этом было сказано еще более ясно: «Таким образом, люди, восстающие против насилия и произвола, тем самым дают уже нам некое ручательство в том, что они сами не будут прибегать к насилию и не дадут простора своему произволу» (II, 275).

чтобы можно было жить на свете, ничего не делая; так он далеко от этого на практике. Скажите любому крестьянину в рабочую пору, чтоб он отдохнул, бросил работу, вы получите простой ответ: а где ж мы хлеба-то возьмем? Не поработаешь, так и не поешь» (II, 275).

Второй элемент добролюбовской характеристики составляет понятие сущности народной нравственности и этики. Сюда входят прежде всего «честность, справедливость и действительное участие в судьбе ближнего». Добролюбов даже слишком возвышает «простонародный» характер, преувеличивает спартагские наклонности простого человека, слишком резко противопоставляет крестьянскую нравственность нравственности «цивилизованных» собратий.<sup>12</sup> Догматически понимая Добролюбова, фольклористы и историки литературы могут прийти к выводу, что только народная поэзия (у фольклористов) и крестьянское сословие (у литературоведов) составляют прогрессивную силу историко-общественного процесса XIX века, что, по Добролюбову, «подлинный положительный герой может быть выдвинут и действительно выдвигается лишь народной средой; что касается господствующих классов, они достойны только сатирического изображения».<sup>13</sup> Однако только доводя высказывание Добролюбова до крайности, можно прийти к недооценке общенационального содержания великой русской литературы и той огромной роли, которую играли в общественном освободительном движении передовые представители господствующих классов. Очевидно, что сам Добролюбов решал проблему положительного героя более диалектически, хотя элементы романтизации «простонародья» в его характеристике все же имеются. Вернее, Добролюбов полемически заостряет эту характеристику, выдвигая на первый план положительные качества народной природы.

Шевырев и Филиппов восхваляют «смирение, покорность, терпение» народа. Нельзя сказать, что Шевырев и Филиппов придумали эти черты. Но Добролюбов пишет вопреки Шевыреву. Нет, говорит Добролюбов, «не то у простого человека», «страсть его глубока и упорна, и препятствия не страшат его». Простой человек не сидит сложа руки, он стремится «изменить свое положение, весь образ своей жизни», он даже «не церемонится покончить с собою насильственным образом» (II, 289). Отражением именно такого народного характера в литературе является Катерина Островского — характер «сосредоточенно-решительный».<sup>14</sup>

Умственное и нравственное состояние не отделяется от материального благосостояния, юридических и правовых норм. Духовное развитие зависит от экономического быта, от общественных отношений. Таково существенное уточнение Добролюбова. А это значит, что и проблема подлинного положительного героя из народной среды в литературе не есть

<sup>12</sup> Сопоставляя чувства и поступки «простого человека» с чувствами и поступками «людей, разращенных неестественным своим воспитанием и положением», Добролюбов невольно впадает в руссоистскую апологию, в нравственную героизацию крестьянина: «Общее расслабление, болезненность, неспособность к сосредоточенной и глубокой страсти характеризует если не всех, то большинство наших „дивилизованных“ собратий. Оттого-то они и мечутся беспрестанно то туда, то сюда, сами не зная, чего им нужно и чего им жалко. Желают они так, что жить без того не могут, и все-таки ничего не делают для осуществления своих желаний; страдают они так, что умереть лучше, — а живут себе, ничего, только меланхолический вид принимают. Не то у простого человека: он или неглижирует, внимания не обращает на предмет, и уже не толкует о своих желаниях; или уж если привяжется, если решится, то привяжется и решится энергически, сосредоточенно, неотступно. Страсть его глубока и упорна, и препятствия не страшат его, когда их нужно одолеть для достижения страстно-желанного и глубоко-здуманного. Если же нельзя достигнуть, простой человек не останется, сложа руки; по малой мере, он изменит все свое положение, весь образ своей жизни...» (II, 289).

<sup>13</sup> Б. Бурсов. Вопросы реализма в эстетике революционных демократов. Гослитгиздат, М., 1953, стр. 359.

<sup>14</sup> «Сильный характер» это и не стихийный «инстинкт буйства», и не патетический «трескучий пафос», всегда сопровождающий случайные и кратковременные



проблема типического характера; в данных исторических условиях можно только предугадывать тенденции развития народного характера наряду с формированием положительного героя из среды господствующих классов.

Спор идет и со славянофильской теорией смирения, и с поэтизацией «широкой русской природы» в духе Аполлона Григорьева. Не Любим Торпов, не Ананий Яковлев из «Горькой судьбины» Писемского («Ананий Яковлев, взятый... как тип, представляется нам, — замечает Добролюбов, — клеветой на русскую природу»; II, 345) и, конечно, не «сильные практические характеры» вроде Чичикова и Подхалюзина являются представителями подлинной народности. В сущности, все это антинародные герои.

В народе покоятся богатейшие возможности, однако эти возможности далеко не всегда проявляются и развиваются должным образом. Часто самые благородные порывы народной природы в неблагоприятных обстоятельствах, в условиях существующей действительности принимают «весьма несчастное» и даже уродливое направление. На примере барского кучера Ефима из повести «Купеческая дочка» Марко Вовчка Добролюбов показывает превратное развитие народной энергии. Ефим — «твердая натура», в подобных натурах «внутренняя реакция всякого посягательства на их личность развивается до размеров поистине сокрушительных и получает наступательный характер» (II, 304).

У Добролюбова мелькает мысль сравнить решительного мужика с Иваном IV, но это значило бы «хватить немножко далеко». И все же Добролюбов дает понять, что и среди народа есть «типайшие» и «грозные». В «грозном» Ефиме может пробудиться чувство социального мщения, но пока протест его носит личный характер, в конечном итоге ведет к «дуроломству». «Сила эта дика, неразумна, гибельна для него самого; но он не силен преодолеть ее влечение, потому что враждебные обстоятельства не дали в нем достаточно развиться гуманным и разумным требованиям природы» (II, 304). Попади эта сила в другие условия, найди другое применение, и она «могла бы получить более разумный человеческий характер» (II, 305). Пока она чаще проявляется в «кровавых сценах из-за любви», в семейно-бытовых конфликтах.

В народе заложены разные возможности. Добролюбов не снимает противоречий, наоборот, постоянно сталкивает разные характеры, ставит эти характеры в трудные жизненные условия, желая тем самым показать всю сложность формирования в русском крестьянине революционного сознания.

Вера в духовные и нравственные силы народа не снимает вопроса о трагическом положении народных масс. В концепции Добролюбова нет места благодушию, сентиментальной риторике. Вся характеристика «простонародья» ведется с учетом тех конкретных условий, в которых проявляется народная энергия. «Обстановка жизни» не позволяет сполна раскрыться народным нравственным качествам. «Обратимся же теперь к крестьянскому миру: кто не согласится, что там разве в виде редкого исключения могут встретиться обстоятельства, которые бы лелеяли правильное и полное развитие нежной, доброй природы! Напротив, вся обстановка жизни там ведет к тому, чтобы натура твердая огрубела и ожесточилась, а слабая, нежная — запугалась, сжалась и пропала в покорном отчаянии» (II, 292). При теперешнем «состоянии крестьянского быта» лучшие народные силы обрекаются на томительное существование. Но при благо-

порывы рефлектирующих дворянских интеллигентов, и не «практическая ловкость» буржуазных дельцов, и не пассивность забитого обстоятельствами «простолудина». Катерина отражает «новое движение народной жизни» (II, 356). Не случайно Добролюбов, говоря о Катерине, использует фразеологию из статьи «Черты для характеристики русского простонародья» (II, 346).

приятных условиях из народа выйдут такие широкие натуры, которые займут «высокое место в ряду лучших деятелей, которых память сохраняется в истории и в преданиях народных» (II, 300). Даже простая деревенская девушка Саша (по рассказу Марко Вовчка) может постоять за себя. «Саша поработана внешним образом, а снимите с нее этот гнет, — она способна подняться до каких угодно нравственных и умственных высот» (II, 287). В другом рассказе Марко Вовчка («Мапа») героиня проявляет чувство любви «к свободе и отвращение к рабству». Но ее порывам противостоит «темное царство» в среде «простонародья», рабская философия, привитая крепостничеством: «поклонись — и все ничего». Это «поклонись» проповедует тетка Маши. Добролюбов сознательно сгущает социальные черты, несколько даже додумывая за автора. В данном случае он руководствуется не столько тенденцией рассказа Марко Вовчка, сколько учением Прудона, называя последнего «одним из знаменитых современных публицистов Европы». Наклонность у русских крестьян «к самостоятельной деятельности и свободному рассуждению» вполне объяснима, естественна и постоянна. Русский крестьянин проходит через те же ступени социального прогресса, по которым двигается все человечество, «история всех обществ, где существовало рабство». Добролюбов ссылается на слова Прудона: «Но в том-то и дело, что деспотизм и рабство, противные природе человека, никогда не могли достигнуть *нормальности*, никогда не могли покорить себе вполне и ум, и совесть человека» (II, 269). На умственную историю русского крестьянина Добролюбов распространяет свет общечеловеческой цивилизации, русский крестьянин не исключение, наоборот в данный исторический момент он может проявить себя вполне революционно и даже оказаться в авангарде общеевропейского освободительного движения. «Напротив, [мы смело говорим, что] в личности Маши схвачено и воплощено [высокое] стремление, общее всей массе русского народа... В русском народе это стремление не только существует наравне с другими народами, но, вероятно, еще сильнее, нежели у других» (II, 272). Это стремление — «отвращение к крепостному состоянию» (II, 274). Напомним, что К. Маркс и Ф. Энгельс в то время страстно ожидали революции в России и «были полны самой радужной веры в русскую революцию и в ее могучее всемирное значение».<sup>15</sup>

Очевидно, что Добролюбов писал о народе определенного исторического периода, точнее сказать — о крестьянстве 1858—1860 годов, когда по всей России прокатилась волна крестьянских восстаний. В 1858 году народ дружно ответил на питейный откуп. Добролюбов немедленно в статье «Народное дело» обобщает и этот жизненный факт: «Сотни тысяч народа, в каких-нибудь пять-шесть месяцев, без всяких предварительных возбуждений и прокламаций, в разных концах обширного царства, отказались от водки, столь необходимой для рабочего человека в нашем климате! Эти же сотни тысяч откажутся от мяса, от пирога, от теплого угла, от единственного армячишка, от последнего гроша, если того потребует доброе дело, сознание в необходимости которого созревает в их душах. В этой-то способности приносить существенные жертвы раз сознанному и порешенному делу и заключается величие простой народной массы, величие, которого никогда не можем достичь мы, со всею нашею отвлеченной образованностью и прививною гуманностью» (IV, 138—139).

Добролюбова многое объединяет с Чернышевским, они вместе работают на народ, верят в революционное пробуждение народных масс, теоретически обосновывают необходимость крестьянской революции. Вместе с тем у Добролюбова были свои симпатии, противоречия, особенности. Чернышевский — гениальный политэконом и социолог, он изучает народный быт, материальный и нравственный народный капитал. Он всегда

<sup>15</sup> В. И. Ленин, Сочинения, т. 12, стр. 335.

трезвый аналитик и строгий реалист, и в характеристике «простонародья» Чернышевский не допускает романтизации. Добролюбов более склонен к героизации народа, к революционной лирике, к демократическому народолюбию. Чернышевский говорит о Добролюбове: «О, как он любил тебя, народ!» Любили народ все революционные демократы, Добролюбов же любил особенно взволнованно, любовью сына, выражающего лучшие стремления народа. Концепцию народного характера Добролюбов строит на огромном материале жизненных впечатлений и наблюдений, опираясь на факты современной ему действительности. Отсюда и общий вывод: «...народ не замер, не опустился, источник жизни не иссяк в нем...» (II, 306). Важно, чтобы народная энергия и инициатива нашли «правильный и свободный выход». Огромную роль в умственном и нравственном развитии народа должно сыграть революционное просветительство. И сам он дает пример, наставляет других, обращается ко всему молодому поколению: «...мы должны прийти к вопросу о том: что нам делать, чтобы устранить по возможности все, что так страшно мешает развитию хороших качеств народа?» (II, 301).

Добролюбов не скрывает своей приверженности к «хорошим качествам народа». «Хорошие качества» — народная энергия, инициатива, способность постоять за себя, уважение личности, деликатность, постоянная любовь к труду и свободе. Эти качества и следовало развивать, совершенствовать, чтобы народ окончательно сбросил с себя патриархальность и приобщился к сознательной общественной жизни.

Трудно сказать, что важнее всего в трактате «Черты для характеристики русского простонародья»: литературная критика повести Марко Вовчка или прокламирование основных принципов демократического народознания. Полагаем, что в освещении народоведческих проблем состоит главный пафос этой статьи. Статья написана с дальним прицелом, ибо Добролюбов прекрасно понимал, что отмена крепостного права не разрешит главных противоречий. Поэтому следовало писать и о том, каков есть русский крестьянин и каким он должен быть. Одной революционной агитации среди крестьян еще недостаточно, чтобы всколыхнуть народные массы, поднять их на борьбу и повести за собой. «Да и вообще не может один — или даже несколько человек, — пишет Добролюбов в статье о Петре I, — произвести в массах волнение, к которому они не приготовлены, которое не бродит уже в умах их, вследствие фактов прошедшей жизни» (III, 166). Добролюбов писал о всей России, он заглядывал в прошлое и внимательно всматривался в современное течение дел, в результате приходил к выводу, что в умах крестьянских уже начинается революционное брожение. Вследствие фактов прошедшей и настоящей жизни вера в реальность крестьянской революции укреплялась со дня на день. До сих пор мы не можем определенно сказать о принадлежности Добролюбова к какой-либо революционной организации. Бесспорно лишь, что в науке и в литературной критике Добролюбов первым совершил революционное «хождение в народ». Правда, это еще не была сама встреча с русским крестьянином с глазу на глаз. Добролюбов не испытал разочарования. В 1860 году повсеместно вспыхивали крестьянские восстания. В статьях Добролюбова слышится эхо этих восстаний. Трудно сказать, к каким бы выводам пришел Добролюбов, пережив окончательный разгром крестьянского движения, убедившись на фактах, что русскому крестьянину не хватает политического сознания. Возможно, что Добролюбов внес бы в свою концепцию уточнения и дополнения. Однако можно с уверенностью сказать, что он не перестал бы верить в революционные силы народа и великое будущее народной России.



## О ПРОИСХОЖДЕНИИ НАРОДНОГО ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА

В настоящее время одной из важнейших задач нашей фольклористики справедливо признается изучение жанров фольклора как живых форм бытия народного творчества. При этом внимание наше привлекает, в первую очередь, народный героический эпос — жанр, может быть, наиболее значительный в фольклоре.

Приступая к изучению героического эпоса, мы неизбежно оказываемся перед вопросом о его происхождении. В самом деле, согласно материалистической диалектике, происхождение и сущность явления находятся в неразрывной связи друг с другом, и силы, порождающие данное явление, в конце концов способствуют его исчезновению. Между тем именно проблема происхождения героического эпоса как художественной системы до сих пор остается мало разработанной.

Основная трудность уяснения сущности героического эпоса и исторических условий, с которыми он связан, заключается в том, что имеется несколько особых разновидностей героико-эпических памятников. Широко известны поэмы, отображающие патриотические войны народов, типа «Илиады», «Давида Сасунского», «Джангара» и др. К ним по своему содержанию в значительной части принадлежат и русские былины. Однако, кроме того, существует «первобытный» эпос, имеющий совсем иную проблематику. Как же объединить эти две формы эпоса единым критерием? Этот вопрос имеет принципиальное значение при определении сущности эпоса. Однако в работах наших ученых он пока фактически не находит своего решения.

Одна из наиболее серьезных попыток разобраться в существе героического эпоса была сделана В. Я. Проппом в его книге «Русский героический эпос».

В героико-эпическом наследии В. Я. Пропп выделяет эпос «догосударственной эпохи» и эпос «созидающегося и крешущего государства».<sup>1</sup> В качестве основной темы раннего эпоса он выдвигает «борьбу за семью». Борьба эта, по существу, была направлена против рода, и В. Я. Пропп заключает, что «эпос этой эпохи был направлен против идеологии родового строя и поддерживал строй, шедший ему на смену».<sup>2</sup> При таком взгляде на возникновение эпоса естественно, что на следующем этапе общественного развития эпос должен выражать «идеалы государства».<sup>3</sup> Получается стройная концепция, обнаруживающая, казалось бы, внутреннюю связь двух форм эпоса. И тем не менее концепция эта вызывает серьезные сомнения.

Трудно согласиться, что эпос представляет собой идеологическую защиту классового строя («шедшего на смену» родовому) против родового. Возникновение классового общества и государства вызывало в народных массах прямое противодействие; войны между сторонниками родового

<sup>1</sup> В. Я. Пропп. Русский героический эпос. Изд. 2-е, М., 1958, стр. 59.

<sup>2</sup> Там же, стр. 57.

<sup>3</sup> Там же, стр. 60.

стройка и эксплуататорами составляли порой целую эпоху (так было, например, в Индии). Не случайно и в своих позднейших выступлениях народные массы часто выдвигали первобытно-коммунистические лозунги. В произведениях народного творчества нередко идеализируются многие стороны родового строя и, в первую очередь, равноправие (легенды о «золотом веке»). Представление о том, что эпос воспевал утверждение классового общества, не соответствует самой сущности народного творчества.

Концепция, согласно которой основным содержанием героического эпоса была борьба за семью и государство, может быть подвергнута критике и с другой стороны. Так, сама тема героического сватовства в действительности не может рассматриваться как «борьба за семью». Герой при этом отправлялся в другие края и у иноплеменников добывал себе жену. По тем временам это было явлением такого же порядка, как борьба за охотничьи угодья, скот и другие материальные блага. Естественно, что данная тема могла возникнуть уже только в период разложения родового строя, но никакой борьбы семьи против рода здесь нет. Это была борьба за жену, которая фактически является одной из форм столкновений между родами и племенами. Если бы в эпосе изображалась борьба внутри данного рода, борьба парной семьи против притязаний сородичей, только тогда можно было бы говорить об отражении борьбы за семью. Точно так же не является борьбой за государство борьба народа, изображаемая в позднейшем эпосе. Борьба, которую ведут эпические герои в поэмах типа «Давида Сасунского», «Джангара», русских былин, балканских героико-эпических сказаний и т. п., является не борьбой за государство, но борьбой за освобождение и объединение своего народа.

Таким образом, фактический материал не укладывается в рамки концепции В. Я. Проппа. Об этом свидетельствует также его невнимание к произведениям, которые трактуют тему борьбы с природой, представляющую основное содержание эпоса в момент его возникновения. Произведениями, непосредственно отражающими победы человека над природой и создание орудий и средств производства, являются не только отдельные легенды, но и эпические поэмы масштаба «Калевалы», которая «представляет более ранний период общественного развития, чем „Илиада“». <sup>4</sup> Совершенно очевиден смысл борьбы за чудесную мельницу Сампо — символ всех отраслей производства, <sup>5</sup> которую ведет народ Калевы с темными колдунами Похьёлы, олицетворяющими собою враждебные, непознанные силы природы. Еще более наглядно об этой борьбе человека с природой, о «производственных» победах человека рассказывают американские индейцы. Первыми подвигами их эпического героя Гайаваты является открытие хлеба (маиса), изобретение ремесел, лодки, музыкального инструмента и т. д.

В этой связи важно отметить, какие функции выполнял эпос в начале своего существования. Было время, когда эпические поэмы служили своеобразным сводом знаний, дающим каждому новому поколению представление об истории своего народа, о его борьбе с природой и соседними племенами. Этот эпос возникал как легенда, как закрепление воспоминаний о прошлом и даже трудового опыта.

В первобытный период для человека плоды его труда имели особое значение. Они представляли для него не только материальную ценность, но были его собственными изделиями, при создании которых он удовлетворял свои эстетические потребности. Это эстетическое восприятие процессов труда составляет важнейший момент в первобытном эпосе. Однако Гегель указывает на это любование трудом и в гомеровских

<sup>4</sup> О. В. Куусинен. «Калевала» — эпос карело-финского народа. «Труды юбилейной научной сессии, посвященной 100-летию полного издания „Калевалы“», Петрозаводск, 1950, стр. 15.

<sup>5</sup> См. об этом: там же, стр. 25—27.

поэмах, отражающих более поздние времена: «Героические эпохи... уже волнуются глубокими страстями, ставят себе значительные цели, но вместе с тем ближайшая среда индивидуумов, удовлетворение их непосредственных потребностей еще является результатом их собственной деятельности». «... Все родственно, во всем человек имеет перед собою силу своих мышц, умелую сноровку своих рук, изощренность своего собственного ума или результат своей смелости и храбрости».<sup>6</sup>

В последние годы мысль о важности изучения легенд о «культурных героях» неоднократно высказывалась Е. М. Мелетинским. Однако, хотя создание средств производства является одной из важных начальных тем эпоса, в этой теме тоже нельзя видеть его существо. Классики марксизма указывали, что высшие образцы явления дают нам ключ к низшим его формам. А в развитых формах героического эпоса на первый план выходят все-таки другие темы. Между тем Е. М. Мелетинский явно склонен преувеличивать значение «культурничества» в эпосе, вопреки тому факту, что оно является только одной из черт эпического героя, причем чертой, исторически преходящей. «От того, что Мелетинский многократно... повторяет определение „культурный герой“, — пишет В. Я. Евсеев, — его статьи приобретают антиисторический характер. Историческое развитие образа Вайянемейнена в его статьях не раскрывается».<sup>7</sup> Е. М. Мелетинский, как и В. Я. Пропп, акцентирует отдельную тему эпических сказаний, опять-таки не показывая, в чем состоит общежанровый признак эпических памятников (от легенд о «культурных героях» до патриотических поэм). Очевидно, необходимо судить о сущности героического эпоса по его общему идейному содержанию.

Это положение становится особенно ясным, если мы обратимся к вопросу об отношении мифа и эпоса. Если идти от темы «культурничества», то миф и эпос практически невозможно разделить. Те или иные «культурные» подвиги нередко приписываются и богам, и тогда идея героической борьбы человека с природой может быть вполне подменена идеей божественной милости. С другой стороны, иногда богоборцем выступает опять-таки бог. Разобравшись в этом сложном диалектическом процессе перехода от мифа к эпосу по внешнему сходству тем и сюжетов, очевидно, невозможно. Вполне логично отсюда, почему в работах Е. М. Мелетинского мифы и начальные формы эпоса смешиваются друг с другом. Он упорно именуется сказания о «культурных героях» мифами.

Чтобы при определении эпоса сразу отделить его от мифа, нужно рассмотреть именно идею эпических произведений. Мифология как таковая есть фантастическое, идеалистическое осмысление человеком на ранних ступенях его развития непонятных для него природных явлений. Мифология, по словам Маркса, овладевала природой в воображении и при помощи воображения. Между тем в искусстве, первую крупную форму которого представляет героический эпос, фантазия является только формой, а не существом, как в религии. Искусство есть одна из форм действительного познания мира. Основой искусства был труд, а первые произведения искусства были непосредственно связаны с трудовыми процессами. И именно героический эпос, писал М. Горький, являлся отражением первых действительных побед человека над природой. Базируясь на этих высказываниях, разницу между мифом и эпосом прекрасно определил В. Я. Пропп: «Эпос рождается из мифа не путем эволюции, а из отрицания его и всей его идеологии. При некоторой общности сюжетов и композиции миф и эпос диаметрально противоположны один другому по своей идейной направленности».<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Гегель, Сочинения, т. XII, Соцэкгиз, М., 1938, стр. 267.

<sup>7</sup> В. Евсеев. Руны «Калевалы» и их истолкователи. «На рубеже», 1960. № 6, стр. 118.

<sup>8</sup> В. Я. Пропп. Русский героический эпос, стр. 35.

В чем же состоит основная идея героического эпоса как жанра? Определяя ее, мы должны учитывать и ранние формы эпоса, отражающие непосредственную борьбу человека с природой, и его позднейшие образцы, где изображается героическая борьба народа с его врагами. Мы должны найти общий содержательный критерий, применимый ко всем героико-эпическим произведениям фольклора. Для того чтобы добиться этого, нужно рассматривать эпос исторически.

Совершенно ясно, что эпос не мог возникнуть с первыми проблесками человеческого сознания. Он не мог возникнуть на ступени дикости, потому что в это время человек находился еще на очень низкой стадии развития. Все усилия людей, все их помыслы были направлены к одной цели — поддержанию своего существования. Ф. Энгельс период дикости называет «периодом присвоения».

Совершенно иное мы видим на стадии варварства. В это время, как указывает Ф. Энгельс, появляются такие существенные виды производственной деятельности, как скотоводство и земледелие, возникает новый, общинный способ производства, который многократно увеличивает силы человеческого коллектива (это на примере Индии показывает С. А. Данге). Трудовые достижения обеспечивают человеку необходимый минимум жизненных средств, и он воспринимает это как «благоденствие». «Человек был ранее повержен, — пишет Данге. — Теперь он стоит во весь рост и поет — уверенный, счастливый, ликующий».<sup>9</sup> С развитием производительных сил развивается и человеческое сознание; человек уже не растворяется в природе, он выделяет себя из нее, точнее говоря, выделяет и осознает себя первобытный коллектив. Именно этот коллектив, одерживающий победы над природой, и стал подлинным героем эпоса. «Первые победы над природой, — писал М. Горький, — вызвали в нем (в народе, — К. Д., В. Г.) ощущение своей устойчивости, гордости собою, желание новых побед и побудили к созданию героического эпоса...»<sup>10</sup>

Обратившись теперь к героическим эпохам в истории народов, мы уже без труда можем выделить то главное в них, что воодушевляло народы и определило расцвет эпоса. Это — образование данной народности, осознание ею самой себя как самого широкого коллектива. От коллективной борьбы рода с природой до общенародной защиты родины от иноплемennых захватчиков — вот тот путь сплочения и осознания себя, который проходит народ. Отражением самосознания этого формирующегося народного коллектива и является героический эпос.

Так, отдельные эпические сказания и легенды о богатырях-борцах с природой возникли у всех славянских племен, но сохранились они у тех, у кого эпос не получил дальнейшего развития. На территории Белоруссии, например, записаны сказания о богатырях-осилках, в русском же былинном эпосе отголосками ранних сказаний, отражающих борьбу с природой, являются столкновения богатырей с различными чудовищами. Затем эти чудовища постепенно приобретают черты иноземных завоевателей, трансформируются в них. Характерно, что русский эпос создается в двух основных пунктах — Киеве и Новгороде, т. е. там, где начинала складываться русская народность. Монгольское завоевание приостановило этот процесс.

Победа над монголами несомненно привела бы к немедленному объединению Руси и к созданию единого эпоса, а не отдельных его циклов. Но народу русскому пришлось объединяться под гнетом татаро-монголов, а момент героического объединения наступил тогда, когда сознание

<sup>9</sup> С. А. Данге. Индия от первобытного коммунизма до разложения рабовладельческого строя. Изд. иностранной литературы, М., 1950, стр. 57.

<sup>10</sup> М. Горький, Сочинения в тридцати томах, т. 24, Гослитиздат, М., 1953, стр. 26.

людей уже стало неподходящим для создания героического эпоса. Поэтому борьба с завоевателями получила отражение в исторических песнях.

Но что значит: сознание людей стало неподходящим для создания эпоса? Дело в том, что все сказанное выше только подводит нас к объяснению происхождения героического эпоса, но еще не является им. Рассматриваем ли мы эпос как отражение борьбы за семью и государство или как отражение народного самосознания, мы — независимо от степени справедливости этих точек зрения — остаемся в плоскости разбора определенных исторических явлений. Между тем героический эпос есть одна из форм художественного сознания. Следовательно, говоря о его происхождении, нужно установить важнейшие его гносеологические, эстетические особенности и показать их зависимость от указанных исторических условий. Итак, каково же происхождение героического эпоса как особой художественной системы и в чем заключается его историческая обусловленность?

Недостаток концепций В. Я. Проппа и Е. М. Мелетинского заключается именно в том, что, поставив в центр внимания тематику эпоса, они не дают нам возможности подойти к нему как к явлению нашего сознания, явлению гносеологическому. Между тем, говоря об эпосе как об отражении самосознания возникающей народности, мы немедленно обращаем внимание на одно чрезвычайно важное обстоятельство. В разобраный нами период возникновения и развития эпоса (от периода варварства до окончательного оформления народности) отдельная личность целиком растворяется в массе. Так было и в первобытном обществе, где вследствие слабого развития производства люди трудились сообща и где у всех у них, по словам Энгельса, было одно общее лицо — лицо рода. Так было и в период формирования и самоутверждения народности, когда общенародные задачи и патриотический подъем также должны были совершенно заслонить отдельную личность и ее духовный мир. Появление, развитие и расцвет героического эпоса, следовательно, находится в прямой связи с появлением, развитием и расцветом *единого* самосознания народного коллектива в целом. Вот что пишет по этому поводу К. Маркс: «Относительно некоторых форм искусства, напр. эпоса, даже признано, что они в своей классической форме, составляющей эпоху в мировой истории, никогда не могут быть созданы, как только началось художественное производство как таковое; что, таким образом, в области самого искусства известные формы, имеющие крупное значение, возможны только на сравнительно низкой ступени художественного развития».<sup>11</sup> Эти слова Маркса цитировались неоднократно, но почему-то до сих пор не было обращено внимания на то ценнейшее указание, которое в них имеется. В самом деле, когда начинается «художественное производство как таковое»? Очевидно, с момента выделения личности из коллектива! С этого момента человек достигает и новой, более высокой «ступени художественного развития»: предметом искусства становится отдельная человеческая личность!

На ранних ступенях своего развития, «не зная» еще в себе отдельной человеческой личности, не раскрывая в искусстве психологию и поступки отдельного человека, не умея еще находить в них характерное для всех (нынешняя форма выражения типического), народ должен был выработать особую систему образности, которая могла бы в обобщенной и в то же время конкретной форме выражать переживания и идеи массы людей в целом. Такой системой образности и явился народный героический эпос.

Специфику этой формы искусства, возникающей на основе коллективного самосознания, раскрывает нам известное высказывание Маркса

<sup>11</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XII, ч. I, стр. 200.



о том, что героический эпос находился в непосредственной зависимости от мировоззрения того времени — от мифологии. Маркс писал: «... греческая мифология составляла не только арсенал греческого искусства, но и его почву. Разве тот взгляд на природу и на общественные отношения, который лежит в основе греческой фантазии, а потому и греческого [искусства], возможен при наличии сельфакторов, железных дорог, локомотивов и электрического телеграфа?».<sup>12</sup>

Следует отметить, что объяснение связи мифа и эпоса до сего времени вызывает большие затруднения. Гораздо легче это удавалось тем ученым, которые сводили происхождение эпоса к мифу и стирали между ними грань. Однако в тупик ставит нас и то совершенно справедливое утверждение об идейной противоположности мифа и эпоса, которое выдвигает В. Я. Пропп. В самом деле, если подойти к этому правильному противопоставлению мифа и эпоса метафизически и абсолютизировать его, то всякая попытка установить связь между мифологией и эпосом должна представляться вопиющей непоследовательностью. Однако это не так. Для того чтобы понять, почему мифологическое мировоззрение отразилось на образности эпоса, отрицающего миф, нам необходимо остановиться на особенностях мифологии.

На заре своего существования, находясь на очень низкой стадии развития, обладая ничтожными крупицами знаний о природе, человек не мог объяснить себе действительную сущность даже простейших жизненных процессов и тем более осмыслить всю природу в ее совокупности. Но чувствуя вокруг себя постоянное действие каких-то неизвестных ему сил, он начал одухотворять окружающее, объяснять его фантастически, в мифах.

Религиозное содержание мифов в силу самой необходимости выливалось в образную форму как единственно возможную в условиях первобытного общества, ибо люди в то время не философствовали, не рассуждали отвлеченно, а ассоциировали природные и общественные явления с доступными их сознанию живыми, подобными людям или животным существами и их поступками. Возникающие у них образные ассоциации они принимали за достоверное знание, и поэтому вместе с рождением мифологических образов рождалась и вера в них. Однако ни в коем случае нельзя путать религиозное содержание мифологического образа с его образной формой. Образная форма не порождается религией, как это утверждается в буржуазной науке. Оценивая мифологию с этой ее стороны, Маркс говорит, что она есть не что иное, как «природа и общественные формы, уже переработанные бессознательно-художественным образом народной фантазией».<sup>13</sup>

В мифах, как доказывают Энгельс и Лафарг, нет ни одного образа, ни одной детали, которые не имели бы своего основания в действительности. «Мифы являются — сокровищницами, хранящими воспоминания о прошлом», — писал П. Лафарг.<sup>14</sup> Он называет и причину того, что многие мифы представляются нам загадочными и необъяснимыми. «Человек создает свою религию под влиянием окружающих его фактов. Но с течением времени эти факты меняются и исчезают. Религиозные же формы, бывшие их отражением в человеческом уме, сохраняются».<sup>15</sup> Миф о рождении богини Афины из головы Зевса должен казаться порождением самой причудливой и бесцельной фантазии. А между тем он возник в период победы патриархальной формы семьи, которая стремилась обосновать свое право на существование, кроме всего прочего, еще и «доказа-

<sup>12</sup> Там же, стр. 203.

<sup>13</sup> Там же.

<sup>14</sup> П. Лафарг. Очерки по истории культуры. М.—Л., стр. 242.

<sup>15</sup> Там же, стр. 243.

тельством» преимущества отца при зачатии. Совершенно ясно эта тенденция выражена в словах самой Афины в трилогии Эсхила «Орестея»:

Ведь у меня нет матери; хвалю я  
От всей души, что свойственно мужчине,  
Но разве только брака не желаю:  
Я дочь лишь только одного отца...

Тот факт, что мужчина патриархата покупал себе жену за подарки, а при разводе получал эту плату обратно, нашел себе самое юмористическое воплощение в следующем эпизоде из жизни богов. Гефест застает свою супругу Афродиту на месте преступления — в момент прелюбодеяния с Аресом; он созывает всех богов засвидетельствовать это обстоятельство и клянется, что не освободит злополучную пару до тех пор, пока отец не вернет ему подарки, которые он должен был отдать, чтоб получить бесстыдную супругу. «На небе человек снова разыгрывает драмы и комедии земли», — делает вывод Лафарг.<sup>16</sup>

Как видим, действительность получала в мифах конкретное образное выражение, которое, в свою очередь, заключало в себе широчайший обобщающий смысл.

При таком понимании сущности мифологии нетрудно уже объяснить, почему она налагала непосредственный отпечаток на искусство. Действительно, как форма общественного сознания искусство может создаваться только в зависимости от мировоззрения эпохи. Между тем на ранних ступенях общественного развития мировоззрение это находило непосредственное чувственное выражение в мифах. Естественно, что на искусстве в данном случае должно было отразиться не только содержание мировоззрения, но и сама его форма. Не случайно героический эпос данного народа всегда несет специфические черты его мифологии.

Может показаться на первый взгляд, что образы в мифах подходят под те требования, каким должна бы отвечать эпическая образность, выражающая идеи и представления целого народа (мифы также выражают идеи и представления целых народов). Однако идейная противоположность, которая, как уже говорилось, существует между мифом и эпосом, получает и совершенно очевидное формальное, художественное выражение. Это становится понятным, когда мы рассматриваем, какое место занимает человек в мифах и в героическом эпосе.

Принимая то положение, что эпос возникает как отражение борьбы человека с природой, и учитывая, что природа в тот период обожествлялась, мы должны признать, что рождение эпоса связано с богоборческими мотивами. Диалектика связи мифа и эпоса проявляется в том, что первым богоборцем часто является опять-таки бог и повесть о нем есть все-таки миф.

Определяя особенности мифа, мы должны обратить внимание на то обстоятельство, что в мифе люди предстают обычно бессильными и пассивными. Если даже человек дерзает и, как Икар, пытается подняться в воздух — его ждет гибель. Наиболее типичным для мифа является образ Актеона, растерзанного собственными собаками за то, что он увидел купающуюся Диану. В мифах образ человека служит только объектом для проявления могущества недоступных богов. Если можно так выразиться, подлежащим в мифах всегда является божество, а человек стоит только в каком-нибудь отношении к нему. В мифах в образной форме человек воплощал те силы, которые господствовали над ним и объяснить которые он не мог материалистически. Такими силами были и природные стихии, и законы общества, и порождение их — человеческие страсти. В эпосе же вперед выступает сам человек как борец с природой. Следует,

<sup>16</sup> Там же, стр. 242.

конечно, оговориться, что на первых порах своего развития эпос еще слишком тесно сплетается с мифологией. Не случайно греческие сказания о героях (о Геракле, об аргонавтах и т. д.) у нас принято называть мифами. Для нас важно, очевидно, не точное определение каждого отдельного случая, но разграничение мифа и эпоса по их существу, в их полном развитии. Следует сказать, что мифологические образы присутствуют и не могут не присутствовать в эпосе, ибо мифология являлась в то время мировоззрением человека и человек, естественно, изображался во взаимодействии с явлениями природы и общества, понятыми идеалистически и получившими мифологическое оформление. Однако в эпосе человек утверждает себя как центр всего: боги — это его страсти, его друзья или враги. . . Но теперь, можно сказать, они уже стоят в косвенном падеже!

Различны и гносеологические функции мифологического и героико-эпического образа. В мифе главное не художественная форма, а идеалистическое содержание, тогда как эпос есть искусство, т. е. образное освоение реальной действительности. Поэтому образ в мифе призван нести в себе содержание, так или иначе выходящее за его форму, эпический же образ, образ человека, обозначает самого себя. Человек в эпосе изображается разносторонне. Хотя отдельные его черты и подчеркивались с особенной силой, но это не было той «специализацией», какую по самой идее своего создания получали боги в мифологии. Человек, говорит Гегель, вмещает в своей груди всех богов. Эта многосторонность эпического образа нисколько не умаляет его обобщающего значения, ибо народ, по словам Горького, «создавая эпическую личность, наделял ее всей мощью коллективной психики».<sup>17</sup>

Отражая в своих образах не мысли и поступки отдельного человека, а судьбы целого народа, героический эпос должен был стать историческим. Ведь история это и есть жизнь народа, жизнь коллектива. В мифах также отражалась история. Но там фантастические, выдуманные отношения богов должны были служить объяснением исторических явлений, выступали как предшествующие причины этих событий. Эпос же призван отразить самую историю как таковую. Историчность эпических образов следует понимать не только в том смысле, что они вызваны определенными историческими условиями и являются в конце концов их отражением (в этом смысле, разумеется, историчен любой образ в искусстве). Нет, эпос и в формальном смысле претендует на более близкое, непосредственное отражение истории.

Так, эпические сказания чаще всего создавались вокруг событий и имен, имевших место в действительности. Значение этого обстоятельства нельзя преувеличивать, однако его не следует и сбрасывать со счета.<sup>18</sup> Оно, в первую очередь, объясняется тем, что коллектив в своем творчестве скорее всего отзывается на яркие, важные события своей собственной истории. Кроме того, фантазия человека на ранних ступенях его развития не могла еще далеко заходить в своих субъективных стремлениях и строила образы на вполне конкретной почве. Так, война между греками и троянцами, изображаемая в «Илиаде», происходила на самом деле; их даже было несколько. Несколько битв было и в Ронсевальском ущелье. Но суть дела заключается не в том, что героический эпос отражает некоторые действительные исторические события и часто сохраняет имена отдельных исторических лиц (Гайавата, Роланд, Карл Великий, Добрыня и др.). Главным здесь является то, что и отклоняясь от действительных исторических фактов эпос, как правило, правдиво, в обобщенной форме

<sup>17</sup> М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 24, стр. 26.

<sup>18</sup> В этом смысле можно согласиться с Б. А. Рыбаковым, который выступает против недооценки исторической основы эпоса (хотя в конкретизации своих положений он, нам кажется, иногда впадает в крайность). См.: Б. А. Рыбаков. Исторический взгляд на русские былины. «История СССР», 1964, №№ 5 и 6.

отображает основные исторические процессы, заключает в себе самые точные данные по истории общественных отношений, семьи, культуры и т. д. Не случайно Маркс в конспекте книги Л. Моргана «Древнее общество» целую главу посвятил разбору родовых отношений у греков на материале «Илиады». Точность описания образа жизни, поступков, обычаев, одежды и оружия героев делает эпос своеобразной энциклопедией своего времени.

Историческая основа, на которой вырастал эпический образ, не только не сужала и не обедняла его, но, наоборот, делала его органически однородным. Это по-своему, но правильно отметил Гегель: «Во всем духовном направлении эпических героев, например, в их образе жизни, умонастроении, их чувствах и действиях должна слышаться скрытая гармония. . . внутреннего мира героев и их внешней среды, должна слышаться та гармония, которая их объединяет в одно целое». «. . . Исторические сюжеты имеют то великое преимущество, что они. . . непосредственно заключают в себе такую гармонию между субъективной и объективной стороной и к тому же еще гармонию, проникающую до деталей».<sup>19</sup> Историческая основа не могла ограничить эпический образ тем более, что народ, создавая его, поступал как тот поэт, о котором писал Лессинг: исторические события он берет не потому, что они совершились, но потому, что они совершились так, что лучше этого он едва ли мог бы придумать для своей цели. Народ брал из своего прошлого только то, что более всего выражало его собственный взгляд на свою историю, его собственные пожелания на будущее. Исторические события смещаются или соединяются в зависимости от поэтической идеи эпоса, и этим обеспечивалась подлинная народность и типическая сила героических образов. Эпические сказания, возникшие в свое время у отдельных родов и племен, соединившихся затем в единую народность, прикреплялись к моменту создания народности, к героическому периоду и собирались в большие общенародные поэмы. В «Илиаде», например, без сомнения, собраны эпические песни, появившиеся много раньше Троянской войны, а некоторые и позже ее. Суть в том, что народ собирал их и посвящал тому событию, которое было для него наиболее значительным, с которого он, так сказать, ведет свою историю. Если бы русские победили в войне с монголами, то, возможно, и у них из отдельных былин создавалась бы единая героическая эпопея типа «Илиады».

Неудивительно, что, являясь олицетворением народа, эпические герои часто совершают столько подвигов, достигают таких результатов, каких сам народ достиг за столетия или даже тысячелетия. Например, в индейских легендах о Гайавате вождь XV века не только объединяет индейские племена (он действительно был главой знаменитого союза пяти ирокезских племен), но и открывает закладки, ремесла и т. д. Естественно, если все то, что народ делал за столетия, приписать одному человеку, то его деяния приобретают характер необыкновенных подвигов. Гиперболизация является основным принципом в изображении эпических героев, основным художественным приемом, опирающимся на мифологическое мировоззрение. Создавая индивидуальные образы, сила и героизм которых должны были равняться силе и героизму всего коллектива, т. е. во много раз превышать возможности одного человека, люди нередко старались объяснить могущество героя его божественным происхождением. Так, все герои «Илиады» имеют божественных (с одной стороны) родителей. То же мы видим в «Калевале» и в песнях о Гайавате (Вайямейнен — сын богини воздуха, Гайавата — внук звезды и сын бога ветра). Не таким ли фантастическим объяснением силы Ильи Муромца является и его исцеление каликами переходными?

<sup>19</sup> Гегель, Сочинения, т. XII, стр. 260—264.

Героико-эпические образы в различные исторические эпохи, у разных народов получали специфические черты в зависимости от характера связи эпоса с его мифологией, в зависимости от особенностей этой мифологии. Так, в древнем эпосе индийцев «Махабхарате» война, ознаменовавшая гибель первобытного общества, согласно тогдашним представлениям, воплощалась в образах, которые соединяли в гротескной форме божественное и человеческое, ибо в каждом человеке предполагалось присутствие элемента божества (пантеизм). Кришна, герой «Махабхараты», уходит после смерти на небо и становится богом, а Рама прямо называется в поэме седьмым воплощением бога Вишну. Только идейное содержание позволяет установить героико-эпическую сущность этой поэмы.

В «Илиаде» боги и герои уже ясно разграничиваются. Но и здесь эпические герои находятся в полной зависимости от мифологических образов, раскрываются только в связи с последними, ибо каждый поступок героя вызывается волей богов.

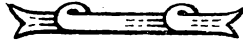
С течением времени, с развитием производительных сил удельный вес мифологических образов в эпосе все уменьшается. Если в сказаниях о Гайавате перед нами даже предметы обихода получают мифическое осмысление, если в «Илиаде» область чудесного суживается и в основном ограничивается областью общественных отношений, то в русских былинах от мифологии остаются, по сути дела, только образы чудовищ да необыкновенная сила богатырей. В конечном итоге местом пребывания божественного, чудесного оказывается только небо, и воля богов распространяется в основном на сложные социальные явления. Практика человека отвоевывает у его предрасудков все большую и большую часть вселенной, и в искусстве образ человека вытесняет постепенно образы богов.

И тут перед нами предстает противоречие в развитии героического эпоса: с одной стороны, уже при своем возникновении он отражает победы человека над природой, которые приводят в конце концов к исчезновению мифологии; с другой стороны, он как художественная форма возникает на основе мифологического мировоззрения и живет в тесной связи с ним. Для борьбы с чудесными силами народный герой принимает чудесные размеры и надевает чудесный панцирь. Но с действительной победой над природой, с исчезновением мифологических представлений о ней все является человеку в действительном виде. В обыденных размерах начинают изображаться и люди. Это приближение к естественным масштабам чувствуется уже в эпических поэмах позднейшего периода. Так, Роланд — это типичный средневековый христианский рыцарь с его понятиями о чести и мужестве, а главное, и с его физическими данными; это уже не гомеровский герой, сокрушить которого могли только боги.

Говоря о том, что существование героико-эпических образов находится в непосредственной зависимости от существования мифологического мировоззрения, мы должны при этом вспомнить и о другом условии существования эпоса, указанном в начале, — о растворении личности в коллективе, которое возможно только в первобытном обществе и в момент выхода из него. Сейчас мы должны подчеркнуть, что существование мифологического мировоззрения и растворение личности в коллективе по времени совпадают. Многобожие является не чем иным, как отражением недифференцированности общества, относительной монолитности его. И именно с возникновением государства на основе разделения труда возникают и укрепляются новые религии с единым богом на небе, соответствующим единому королю на земле (*Ф. Энгельс*). В процессе разрушения родов и племен и образования классового общества происходит, как мы уже говорили, и выделение человеческой личности из коллектива, осознание ею самой себя.

В этих условиях создание героического эпоса становится невозможным, и если еще делаются попытки по традиции использовать эпическую

образность, то продукция этого творчества не получает прежнего значения и скоро забывается. Эпическая образность в новых условиях может иметь только чисто аллегорическое значение, а подобные аллегории уже слишком тяжелы для развитого, реалистически мыслящего современного человека. Из всего изложенного очевидно, что попытка использовать эпическую образность для воплощения новейшего содержания («Генриада» Вольтера или наши новины) является неправомерной, ибо героический эпос есть одна из форм художественного мышления человека на ранних ступенях его развития.



## ОБ ИСТОРИЗМЕ РУССКОГО ЭПОСА

(ОТВЕТ АКАДЕМИКУ В. А. РЫБАКОВУ)

Науки принято у нас делить на «гуманитарные» и «точные». Тем самым гуманитарные как бы попадают в разряд неточных. Для наших гуманитарных наук в целом такое деление, пожалуй, обидно и не совсем верно. Но во многих случаях отставание действительно налицо. Вместо исследования фактов мы имеем общие рассуждения, а если изучаются факты, они часто рассматриваются не до конца и без должного знания дела. Такие мысли приходят в голову при ознакомлении с некоторыми последними работами в области фольклористики.<sup>1</sup>

Одна из самых трудных, но и самых значительных проблем в изучении произведений словесного искусства — проблема взаимоотношения действительности и художественного вымысла. Особенно важен этот вопрос для изучения и понимания эпоса. Старая, так называемая историческая школа разрешала этот вопрос весьма упрощенно: вымысел она вычеркивала из области исторического изучения. Сказки, мифы, легенды, лирика, обрядовая поэзия и т. д. представителями этой школы объявлялись как бы вне истории и не изучались. Из сказок, например, изучались только сказки об Иване Грозном и о Петре. В былинах искали непосредственных отражений истории; в фабуле видели воспроизведение исторических событий, для былинных героев подыскивали исторические прототипы, былинную географию переносили на карту. Нельзя отрицать необходимость изучения исторических реалий; историк, хорошо знающий детали истории, сделает это лучше, чем фольклорист, слабо владеющий этим материалом. Но нужно, чтобы и историк хорошо знал и понимал фольклор и его специфику. Нужно, чтобы сближались не гетерономные явления, а явления, действительно связанные. И, наконец, историчность эпоса определяется все же не реалиями (которые могут и отсутствовать или вноситься позднее), а историческим смыслом и содержанием сюжета. Какие натяжки допускались при применении такого внешнеисторического метода, убедительно показано в книге А. П. Скафтымова «Поэтика и генезис былин» (Саратов, 1924; частично перепечатано в его сборнике статей о русской литературе 1958 года). Советские ученые изучают не только непосредственное отражение действительности, но и ее художественное преломление. Характер этого преломления будет различным в зависимости от эпохи, народа, жанра и целого ряда других факторов. Для нас историчны не только имена и факты, историчен художественный вымысел как таковой. Мы хотим знать, в какую эпоху и при каких условиях мог зародиться сюжет и как он изменялся с течением времени. Мы хотим изучить эпос исторически по существу, а не только по наличию реалий и их характеру.

<sup>1</sup> В. А. Рыбаков. Исторический взгляд на русские былины. «История СССР», 1961, № 5, стр. 141—166, № 6, стр. 80—96; К. Давлетов и В. Гацак. О происхождении народного героического эпоса. См. настоящий номер журнала, стр. 76.

Упомянутая статья К. Давлетова и В. Гацака представляет собой вольное изложение мнений ее авторов, а не выводы из произведенных ими разысканий. Такой жанр несомненно обладает известной привлекательностью и интересом, он может оказаться полезным, если высказывания соответствуют материалам. Но вот авторы пишут: «Эпические сказания (под этим подразумевается эпос, — В. П.) чаще всего создавались вокруг событий и имен, имевших место в действительности». Это говорится об эпосе вообще. Авторы, по-видимому, думают при этом об «Илиаде», о Косовском цикле, о противотатарских былинах и т. д. Но как быть, например, с эпосом карело-финским? Жили ли когда-нибудь Вяйнямейнен, Ильмаринен, Куллерво и т. д.? Очевидно — нет. А тем не менее эпос этот глубоко историчен.<sup>2</sup> То же можно сказать об эпосе ненецком, чукотском, нивхском, якутском и других. И, следовательно, отношение эпоса к истории различно в различные эпохи и у различных народов. Характер историчности меняется с историей. Вопрос много сложнее, чем это представляется на первый взгляд.

Точка зрения, высказанная К. Давлетовым и В. Гацаком лишь мимоходом, лежит в основе большой работы академика Б. А. Рыбакова. Эта работа носит исследовательский характер, богато обставлена материалами. В ней есть стремление заново пересмотреть и конкретно разрешить, на примерах вопрос об историчности былин. Статья содержит много отдельных верных мыслей и наблюдений. Но тем не менее в ней повторены некоторые из основных ошибок дореволюционной исторической школы. Взгляд на былинку — обычный для дореволюционной фольклористики. Для Б. А. Рыбакова былина — «народный учебник прошлого». Но в учебниках не должно быть вымыслов, и вымысел не признается и в былине или, во всяком случае, он не признается достойным исторического изучения.

Мы не будем спорить с Б. А. Рыбаковым по принципиальным вопросам; мы посмотрим, как сам он конкретно решает вопросы изучения былин. Работа представляет собой серию очерков. Во вводной части Б. А. Рыбаков определяет свое понимание историчности, а далее следует анализ трех былин: о Вольге и Микуле, о Шарукане и о киевском восстании 1068 года и былины о Соловье Будимировиче. Работа кончается разделом «Итоги исторического рассмотрения былин».

Статья заслуживает самого пристального изучения и разбора. Такой разбор, однако, своим объемом превзошел бы всю работу. Поэтому мы ограничимся тем, что возьмем под микроскоп только один из разделов, а именно — раздел, посвященный Вольге и Микуле. Соответственно своей концепции историчности былин Б. А. Рыбаков прежде всего ставит вопрос о том, какое историческое лицо послужило прототипом для былинного Вольги.

Что былинный Вольга — историческое лицо, утверждали многие. Мнения были довольно многочисленны, разнообразны и противоречивы, и мы их приводить не будем. Своих предшественников по этому вопросу Б. А. Рыбаков не называет. Он суммарно упрекает их в том, что они не обратили внимания на отчество былинного Вольги — Святославич. Он напоминает, что у исторического Святослава Игоревича был сын Олег (побылинному Вольга), и этот исторический Олег Святославич и объявляется историческим прообразом былинного Вольги Святославича. Все исследование должно показать, что это совпадение имен есть результат тождества былинного героя и исторического лица.

Упреки Б. А. Рыбакова по адресу его предшественников не совсем справедливы. На отчество внимание обращалось, и предположение Б. А. Рыбакова не ново. В 1861 году точно такое же предположение вы-

<sup>2</sup> См.: В. Я. Евсеев. Исторические основы карело-финского эпоса, кн. 1 и 2. Изд. АН СССР, М—Л., 1957, 1960.



сказал П. А. Бессонов в своих примечаниях к первому тому издаваемых им «Песен» Рыбникова. В. Миллер эту теорию отверг в пользу своей более убедительной и лучше обоснованной теории новгородского, а не южного происхождения этой былины.<sup>3</sup> С тех пор теория Бессонова заглохла; теперь она рождается вторично. Доказательство ведется Б. А. Рыбаковым почти так же, как его вел Бессонов. Исторический Олег Святославич (род. 960) был князем древлянским. Былинный Вольга получает от Владимира три города: Гурчевец, Ореховец, Крестьяновец. По мнению Б. А. Рыбакова, это древлянские города. Гурчевец — это Вручий, Овруч, город Ореховец — это Олевск, а Крестьяновец — Искоростень, Коростень.

Вопросы топонимики подлежат еще экспертизе языковедов. С точки зрения лингвистической приведенные соответствия полностью исключаются. Народные искажения совершаются все же в пределах фонетических и морфологических закономерностей, свойственных данному языку. За деталями мы отсылаем к лингвистам, которые могут дать по этому вопросу исчерпывающую консультацию.<sup>4</sup>

Но предположения Б. А. Рыбакова не подтверждаются и фольклористическим рассмотрением этой проблемы. Наиболее ясен вопрос с Крестьяновцем. Б. А. Рыбаков не заметил, что город Крестьяновец известен только певцу Т. Г. Рябину и его довольно многочисленным потомкам. Даже из его односельчан это название знал только один певец — Касьянов. Это, таким образом, узкосемейная, но отнюдь не общебылинная традиция. Еще Всеволод Миллер предполагал, что «города Крестьяновца... совсем не было в основной редакции былины и он добавлен для достижения эпического числа трех».<sup>5</sup> Что Крестьяновец известен только Рябиным, В. Миллер еще знать не мог, но его предположение блестяще подтвердилось. Все решительно исполнители, кроме Рябининых, знают только два города, а не три. Каким образом произошло утроение, довольно очевидно. У Рябининых города обычно называются крестьянскими городами («дарил ему три города крестьянских» и т. п.). «Крестьянский город» превратился в «город Крестьяновец» путем применения продуктивного суффикса «-овец» по аналогии с названиями «Ореховец» и «Вручевец». Город Крестьяновец всегда фигурирует третьим, последним, что также наводит на мысль, что он добавлен. Получается типично фольклорная однозвучная триада.

Как уже указывалось, сближение «Крестьяновец—Искоростень» делается Б. А. Рыбаковым с целью доказать древлянские связи былинного Вольги. С этой же целью название «Ореховец» объявляется восходящим к названию древлянского города «Олевск». Более убедительное объяснение, не страдающее ни лингвистическими, ни иными натяжками, дал В. Миллер: «Былинный Ореховец есть исторический Ореховец (Орехов) на Неве». Этот город хорошо был известен новгородцам, и В. Миллер подкрепляет этим свою теорию новгородского происхождения всей былины. На эту теорию Б. А. Рыбаков не обратил внимания. Но он не обратил внимания и на другое: былаина о Микуле и Вольге известна только в Прионежье; единственное исключение — запись от М. С. Крюковой в счет не идет, так как ее текст книжного происхождения. Былины о Микуле и Вольге нет ни на Мезени, ни на Пинеге, ни в Беломорском крае, ни на Печоре. Чем это объяснить? В. Миллер этого еще не мог знать; объяснения мы ждали бы от историка, хорошо знающего историю заселения края, его колонизации. Новгородская теория Миллера не противоречит приведенным фактам, хотя и не все здесь еще ясно. Древлянская же те-

<sup>3</sup> Всеволод Миллер. Очерки русской народной словесности. Былины. М., 1897, стр. 166—186.

<sup>4</sup> Считаю своим долгом выразить благодарность профессорам Б. А. Ларину, Ю. С. Маслову и Ф. П. Филину за оказанную мне помощь в этом вопросе.

<sup>5</sup> Всеволод Миллер. Очерки... стр. 173.

рия этими фактами не подтверждается: заселение Олонецкого края шло из Новгородской области.

Наконец, третий город, былинный Гурчевец (Гуршевец, Гурсовец, Гурьевец, Курсовец, Курзовец, Куржовец и др.) отождествляется Б. А. Рыбаковым с историческим городом Вручевцем. Отождествление это производится потому, что в бою под Вручевцем трагически погиб, свалившись с моста, Олег Святославич. Этот аргумент мы находим уже у Бессонова. В. Миллер излагает точку зрения Бессонова следующим образом: «Город Гурчевец потому Вручевец (точнее Вручий), что у последнего города трагически погиб, свалившись с моста, брат Владимира Святого, Олег Святославич...»<sup>6</sup> Присмотримся к этому аргументу. Гибель на мосту исторического Олега, по данным летописи, происходила следующим образом: город Вручий был окружен рвом, через который к воротам города вел мост. На этом мосту произошло сражение: «...теснясь друг друга пихаху в гроблю (ров, — В. П.). И спехнуша Ольга с мосту в дебрь».<sup>7</sup> В былине о Микуле и Вольге также говорится о падении Вольги с моста. Вопреки мнению Б. А. Рыбакова, будто этот мотив в былине упорно повторяется, он почти полностью забыт. Из 34 опубликованных записей (включая повторные) он встречается 5 раз (в том числе 2 повторных записи) в весьма фрагментарной и сбивчивой форме. Эпизод этот к основному костяку повествования отношения не имеет и полузабыт. Сопоставляя варианты, можно дать такую картину. Микула когда-то ездил за солью. «Подорожные мужички» потребовали от него «грошей» (по-видимому — уплаты налога на соль), но Микула их избил. Вторично Микула прибывает в эти края уже с Вольгой и его дружиной. Мужики строят «поддельные мосты», и Микула и Вольга проваливаются в воду. О дружине иногда говорится, что она тонет, Вольга же не тонет никогда, его, князя, вытаскивает мужик Микула. Этот эпизод обставляется комически. Не говоря уже о том, что исторический Олег Святославич погибает, былинный же Вольга не погибает никогда, все обстоятельства исторического и былинного эпизодов настолько различны, что для непредвзятого взгляда между ними нет ничего общего. Аналогия здесь ложная.

Возникает вопрос, почему же об Олеге Святославиче слагается песня? На этот вопрос ответ дается следующим образом: в одной из записей упоминается Сантал.<sup>8</sup> Запись эта вызывает у Б. А. Рыбакова недоумение. «Некий» Сантал для него непонятен. Тем не менее этому Санталу придается очень важное значение. Для Сантала тоже должен найтись исторический прототип, и Б. А. Рыбаков находит его в лице Люта, сына Свеналда. По отчеству он Свеналдич. Отдаленного созвучия «Сантал» и «Свеналдич», по мнению Б. А. Рыбакова, достаточно, чтобы заподозрить здесь совпадение исторического и былинного персонажа.

Для фольклориста дело представляется в совершенно ином свете. Б. А. Рыбаков не заметил, что в былинку о Вольге и Микуле здесь вклинились две строки из другой былины, а именно из былины о походе Вольги на Индию или, в некоторых вариантах, Турцию. Там правит «царь Сантал... со своей царицей со Давыдьевной».<sup>9</sup> Былинку, приведшую Б. А. Рыбакова в недоумение, исполнил дряхлый певец Захаров, у которого, как пишет о нем Гильфердинг, некоторые былины «выходили не совсем складными». Вследствие этого царь Сантал вместе с царицей Давыдьевной переселились у него из одной былины в другую. «Турец-Сантал»<sup>10</sup> есть, конечно, не что иное, как «турецкий султан» (сказочный

<sup>6</sup> Там же, стр. 173.

<sup>7</sup> «История СССР», 1961, № 5, стр. 150.

<sup>8</sup> Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. СПб., 1873, № 195.

<sup>9</sup> Там же, №№ 15, 195 и др.; Песни, собранные П. Н. Рыбниковым, т. II. Изд. 2-е, М., 1910, № 146.

<sup>10</sup> Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом, № 91 и др.

Салтан). Эту маленькую фольклорную интерполяцию Б. А. Рыбаков принимает за органическую и важную часть сюжета о Микуле и Вольге, хотя в 34 записях она встречается всего один раз. Но аналогия «Сантал—Свеналдич» подкрепляется еще другим соображением: Лют Свеналдич был убит Олегом Святославичем во время охоты, так как он вторгся в его охотничьи угодья. Что убийство произошло на охоте, очень на руку Б. А. Рыбакову, так как былинный Вольга изображается как охотник. Автор забывает только подчеркнуть, что былинный Вольга охотится, превращаясь в волка, сокола или щуку, что он мифический герой, анализ которого позволяет историкам восстановить тотемические верования древних славян, тогда как исторический Вольга Святославич и Лют Свеналдич принадлежат совсем другой эпохе и вступают в конфликт из-за права пользования совершенно реальными охотничьими угодьями.

По мнению Б. А. Рыбакова, этот эпизод объясняет, почему Олег Святославич был воспет. Исторический Свеналд — фигура отрицательная, представитель варяжского засиления, а Олег Святославич — патриот. Убийство на охоте одновременно представляется как патриотический подвиг.

Вот и все основные аргументы Б. А. Рыбакова (некоторые второстепенные и дополнительные аргументы здесь не рассмотрены). Обращаясь теперь к былине, мы легко замечаем, что основные слагаемые сюжета не рассмотрены. Где центральный эпизод с сошкой, которую не может поднять дружина Вольги, так восхитавший Горького? Кто же оказывается героем былины — Вольга или Микула? Все внимание уделено Вольге, о Микуле почти не говорится. Ничего не говорится и о противопоставлении надменного князя труженику-крестьянину и о последовательном посрамлении Вольги мужиком-пахарем. Впрочем, Б. А. Рыбаков и сам понимает, что в итоге его сопоставления получилось что-то странное. Исторический Олег Святославич был патриотом, борцом за национальную самостоятельность Руси, былинный же Вольга — фигура отрицательная, изображаемая сатирически. Из этого затруднения Б. А. Рыбаков выходит, однако, довольно просто. На стр. 152 он делает сноску, указывая, что «элемент некоторой иронии» появился позднее, а «в XVI—XVII вв. этот иронический элемент мог еще усилиться». На этом кончается анализ былины. Художественная сторона былины, таким образом, не исчерпана. Но не исчерпана и ее историческая сторона. Какова историческая подоплека дарственных актов Владимира? Какова номенклатура этого акта? Соответствует ли это западноевропейским бенефициям или нет? Каковы земельно-имущественные отношения в былине и правовое положение крестьянина? Каковы были права феодалов в отведенных им городах и какой характер носило обложение городов? В былине ясно видно, что обложению подвергнута торговля солью. Каков характер этого обложения? Какая денежная система отражена в былине?

Все эти и другие вопросы решались историками русского эпоса, но они не решались собственно историками. В решении подобных вопросов историческая наука может оказать фольклористике неоценимую услугу и помощь.

Б. А. Рыбаков пишет крайне лаконично и неоднократно говорит о том, что он своих аргументов не приводит. Мы будем ждать более широко аргументированного труда академика Рыбакова. В настоящее же время его работа нас не убеждает, и спор должен продолжаться.



## РИТМОЛОГИЯ НАРОДНОЙ ЧАСТУШКИ

В сокровищнице русского фольклора народная частушка занимает особое место. Ушли в прошлое или доживают свой век многие жанры народной поэзии — былины и сказки, хороводные и обрядовые песни, заговоры и причитания. Частушка же преодолела исторические барьеры и вошла в народную литературу как современница. Не будет преувеличением сказать, что народная частушка потому живет и развивается, что она находилась и находится в гуще жизни народа. В годы гражданской войны частушки, как стаи веселых птиц, летали над молодой советской республикой. Знаменитое «Яблочко» катилось и перекатывалось по всей России.

Меняются времена, меняется и содержание частушек. Но есть в них такое, что при всех тематических и мелодийных изменениях сохраняется как величайшее своеобразие национального поэтического искусства, как могучее динамическое начало, позволяющее мгновенно отличить частушки от других видов лирики. Это — завораживающая сила ритма, того ритма, который, по словам В. Маяковского, и есть «основная энергия стиха».<sup>1</sup>

Русская народная просодия представляет собой необычайное явление отечественной культуры. Здесь сложились свои нормы ритмообразования, резко отличающиеся от канонов классического стиха, но не противостоящие им. Изучение ритмических структур народной частушки имеет большое познавательное значение для фольклористов и литературоведов и практическое значение для поэтов. Без изучения общей системы народной просодии и, в частности, ритмики частушек нельзя понять пути развития современного русского стиха.

История развития стихотворных форм это не изолированный, не автономный процесс их видоизменения и совершенствования. Показательно, что именно в советский период техника народной частушки достигла удивительного мастерства, превосходящего уровень дореволюционной частушки. Техника стиха непрерывно совершенствуется. Между тем некоторые писатели думают иначе. Так, И. Эренбург в беседе с корреспондентом газеты «Литература и жизнь» (16 августа 1959 года) заявил: «Смешно говорить о прогрессе стихотворных форм. Формы меняются, но не совершенствуются, — это не данные точных наук». Положение И. Эренбурга опровергается всей историей развития русского стиха. Конечно, смешно совершенствовать треугольники и параллелепипеды. Но разве Пушкин, например, не усовершенствовал четырехстопный ямб, форма которого была ранее разработана Ломоносовым, а затем Державиным? Аналогичный, но более грандиозный процесс совершенствования стиха мы наблюдаем и в народных частушках.

Как литературный жанр народная частушка представляет собой поэтическую миниатюру в форме монострофы. Подобные миниатюры существуют у всех народов: например, краковяк у поляков, шванка у немцев, танка у японцев, пантун в индонезийской народной поэзии, рабай и бейт у восточных народов. Русская частушка — необыкновенно емкая форма метрического стиха, выработанная народом на протяжении длительней-

<sup>1</sup> См. статью В. Маяковского «Как делать стихи?».

шего времени. Ее монострофичность позволяет поэту экспромтом, на лету схватить мысль, образ, характерную деталь, острый штрих и мастерски вговорить, впеть в определенные метрические грани.

У нас принято записывать частушки четырехстрочием: дань теоретической догме. Ритмологически же и фактически народная частушка является *двустушием*, русским дистихом. Попытки последователей традиционной теории стиха рассматривать частушки как хореические и ямбические образования терпят крушение под напором своеобразного строя частушек, где в ритмических модификациях искусно сочетаются длинные, краткие, а иногда и кратчайшие слоги, паузы различной интонационно-структурной долготы, константные и инверсированные акценты. Количество слогов в частушке колеблется от тридцати двух до шестнадцати. Потому-то и непонятна ритмика наших частушек, что она не поддается анализу с точки зрения ямбо-хореической теории стиха. Потому-то и нет до сих пор удовлетворительных работ, разъясняющих стихосложение частушек. Искать объяснение ритмического строя частушек в напевах бесполезно по одному тому, что в каждой губернии, а ныне в каждой области существуют разные напевы, с разными мелодиями и разными ритмами. Кроме того, ритм и мелодия для тридцатидвухсложной частушки будут иными, чем для шестнадцатисложной. Мы рассматриваем частушки не как песни, а как произведения лирической поэзии. Мы не распеваем их, а читаем. Научиться правильно читать народные частушки, точно соблюдать в рецитации их ритмическую структуру — это уже полдела. А ведь известно, что сборники частушек остаются почти непрочитанными. Их перелистывают лишь литературоведы и фольклористы, читая строки сложной ритмической структуры как прозу, а не как метрические стихи.

Ритмика русской народной частушки в ее лучших образцах отличается необыкновенной оригинальностью и богатством поэтической культуры. В частушке, как ни в каком другом жанре народной поэзии, проявились высокие элементы искусства — близость к жизни, языковой артистизм, поразительное чувство ритма, фонетическая прозрачность речи и сверкающая жизнерадостность народа. По меткому выражению М. Горького, «частушки строятся из чистого языка». Бесподобное мастерство стиха в народных частушках, достигающее порой ювелирной виртуозности, стало возможным, конечно, в результате колоссальной практики и глубокой традиции, которая не застыла в постоянных формах, а непрерывно развивается и совершенствуется в живом взаимном общении народных поэтов. Тонкое мастерство частушек в наилучших образцах дает основание предположить, что истоки частушки нужно искать в древнерусском народном стихе и, возможно, у веселых скоморохов-сатириков.

### Принципы и методика исследования частушек

Прежде чем приступить к характеристике метрических и ритмических структур народной частушки, необходимо остановиться на главнейших моментах ритмологии, относящихся непосредственно к строю частушки.<sup>2</sup>

Всякий правильно организованный метрический стих может быть отнесен к одному из четырех классов: трехдольник, четырехдольник, пятидольник и шестидольник.<sup>3</sup> Что касается народных частушек, то по своей ритмической структуре они принадлежат к классу *четырёхдольников*. Четырёхдольник вовсе не означает обязательно четырехсложную стопу; незачем называть его пеоном, как это делалось у нас по отношению к четырехстопным ямбическим и хореическим размерам, когда объединя-

<sup>2</sup> Общие принципы ритмологии стиха изложены в моей статье «Русское стихосложение» («Русская литература», 1960, № 1).

<sup>3</sup> Там же, стр. 83.

лась, например, ямбическая стопа  $\cup\cup$  с пиррихием  $\cup\cup$  и эта комбинация  $\cup\cup\cup\cup$  именовалась вторым пеонем, а комбинация хорей  $\cup\cup$  и пиррихия  $\cup\cup$  называлась первым пеонем  $\cup\cup\cup\cup$ . Четырехдольная крата, как и всякий другой правильный метрический многодольник, содержит в себе два противоположных начала: 1) постоянное количество меры ритмического движения и 2) разнообразное, изменяющееся качество ритмических модификаций, состоящих из таких элементов движения, как слоги разной структурной долготы, структурные паузы и ритмические ударения в слогах, совпадающие с метрическими акцентами (константный ритм) или не совпадающие с ними (инверсированный ритм). Теоретически четырехдольная крата содержит в себе 124 ритмические модификации. Приведу лишь некоторые модификации, наиболее часто встречающиеся в ритмике классического стиха, в так называемой силлабике и в особенности в народных стихах и тактовиках: *константные* —  $\cup\cup\cup\cup$ ,  $\cup\cup\cup\cup$ ,  $\cup\cup\cup\cup$ ,  $\cup\cup\cup\cup$ ,  $\cup\cup\cup\cup$ ,  $\cup\cup\cup\cup$ ,  $\cup\cup\cup\cup$ ,  $\cup\cup\cup\cup$ ,  $\cup\cup\cup\cup$ ,  $\cup\cup\cup\cup$ ,  $\cup\cup\cup\cup$ ,  $\cup\cup\cup\cup$ ; *инверсированные* —  $\cup\cup\cup\cup$ ,  $\cup\cup\cup\cup$ ,  $\cup\cup\cup\cup$ ,  $\cup\cup\cup\cup$ ,  $\cup\cup\cup\cup$ ,  $\cup\cup\cup\cup$ ,  $\cup\cup\cup\cup$ ,  $\cup\cup\cup\cup$ ; *нейтральные, безударные* —  $\cup\cup\cup\cup$ ,  $\cup\cup\cup\cup$ ,  $\cup\cup\cup\cup$ ,  $\cup\cup\cup\cup$ ,  $\cup\cup\cup\cup$ ,  $\cup\cup\cup\cup$ ,  $\cup\cup\cup\cup$ ,  $\cup\cup\cup\cup$ , и т. д. и т. п. Этими и другими модификациями, как мы увидим, полна ритмика народных частушек. Потому-то и непонятна она рутинерам, стоящим на позициях примитивной и архаичной теории «силлабо-тонизма», которая признает лишь полносложные стопы и отрицает структурные долготы слогов, внутрительные паузы и ритмическую инверсию. Не равносложность, а *равнодольность* краты и всего периода, определяющего структуру стиха, лежит в основе правильных ритмических процессов.

Остановимся на вопросе о константном и инверсированном ритмах в четырехдольниках.

*Константный ритм* возникает, когда реальные ударения в словах, из которых слагается стих, совпадают с метрическими акцентами контрольного ряда. В четырехдольной крате два метрических акцента: главный  $\cup\cup\cup\cup$  и побочный  $\cup\cup\cup\cup$ ; отсюда — *главная константа* и *побочная константа*. Кроме того, встречается и *двойная константа*  $\cup\cup\cup\cup$ , с акцентом на главной и побочной долях краты. Сказанное здесь целиком относится и ко всем паузным и равнодольным модификациям.

*Инверсированный ритм* возникает, когда реальные ударения в словах стиха не совпадают с метрическими акцентами контрольного ряда. Для четырехдольной краты возможны три вида ритмичной инверсии: когда словесное ударение падает на вторую, слабую долю краты — *главная инверса*  $\cup\cup\cup\cup$ ; когда ударение приходится на четвертую, слабую долю — *побочная инверса*  $\cup\cup\cup\cup$ ; когда инверсии подвержены обе доли — *двойная инверса*  $\cup\cup\cup\cup$ .

Обычно на основании системы рифмовки частушка записывается в четыре строки и каждая строка считается законченным стихом. Ритмологически же частушка расчленяется на два *тактометрических периода*. Каждый период представляет собой *четырёхкратный четырехдольник*, метрический объем периода — 16 долей ( $4 \times 4 = 16$ ); следовательно, оба периода частушки заключают в себе 32 доли. Не всегда все 16 долей периода заполняются 16 слогами; как мы увидим, чаще всего и преимущественно количество слогов в частушечном периоде меньше 16-дольной нормы, в некоторых частушках оно убывает до 8 и даже 7 слогов в периоде, но зато максимум повышается иногда до 17 слогов в периоде.

Четырёхкратность повторности — это *родовой* признак всякого правильного метрического многодольника. Частушки, относясь к *классу* четырехдольников по своей доленой структуре, принадлежат к четырехкрат-

ным формообразованиям по родовому признаку. Внутри родового образования (четырёхкратность) следует различать *видовые* формы четырёхдольника, их — четыре:

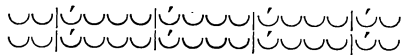
Первый вид:



Второй вид:



Третий вид:



Четвертый вид:



Здесь представлены контрольные ряды тактометрических периодов; в их пределах и формируются все русские народные частушки. Видовые формы четырёхдольника обусловлены положением анакрузы и эпикрузы. *Анакруза* — это начальная часть периода до первого метрического акцента; ей соответствует *эпикруза* — концевая часть периода, начиная с последнего метрического акцента. Первый вид четырёхдольника не имеет ни анакрузы, ни эпикрузы, это — лидирующая форма закрытого контура: остальные три вида имеют открытые контуры.

Каждый тактометрический период с его контрольным рядом является объективной мерой, эталоном не только ритмического процесса, но и речевых формообразований в стихе: норма фразостроения в частушке совпадает с этим периодом. Вот почему частушка объективно (ритмологически и филологически) представляет собой не четверостишие, а дистих, соответствующий двум тактометрическим периодам, или, как сказали бы музыканты, двум тактам на  $\frac{4}{4}$ .

Принципиально верную позицию в понимании структуры частушек занимал А. Туфанов, который в статье «Ритмика и метрика частушек при напевном строе» писал: «Каждую из частушек в ритмическом отношении следует считать равной 32 *chronos protos*... Частушки при исполнении разбиваются на два музыкальные предложения (по 2 строчки в каждом), каждое предложение состоит из 4 колен (по 2 в строчке), каждое колено из 2 тактов».<sup>4</sup> Позицию А. Туфанова разделял П. Соболев; он предлагал положить в основу ритмики частушек «синтетические стопы, т. е. части стиха, соответствующие музыкальным тактам напева и равные между собою по времени протяжения».<sup>5</sup> Практически же, при конкретном анализе ритма частушек оба автора — и А. Туфанов и П. Соболев — пользовались силлабо-тоническими стопами и, конечно, не могли достигнуть нужных результатов.

Поэтика русских народных частушек в лучших своих образцах необычайно интересна по тонкому изяществу, по той сложной простоте, которая присуща высокому искусству. Поражает точность словесного рисунка, абсолютно соответствующего мысли, образу и интонации стиха, восхищает безукоризненный ритм, вбирающий в себя всю полноту художественной выразительности. Я не знаю других произведений русского поэтического искусства, где бы с такой стереоскопической ясностью, с такой непостижимой легкостью и непосредственностью нашло выражение единство со-

<sup>4</sup> «Красный журнал для всех», 1923, № 7—8, стр. 79.

<sup>5</sup> П. М. Соболев. К вопросу о ритмико-метрической структуре частушки. «Художественный фольклор», 1927, вып. II—III, стр. 143.

держания и формы, как это мы видим (слышим) в образцовых народных частушках. Частушка как художественная миниатюра по своей природе должна быть совершенной, безупречной по мастерству. Этот критерий и был положен мною в основу отбора образцов частушек для показа их различных ритмических структур.

Как классифицировать частушки для того, чтобы показать своеобразие их ритмических структур?

Наиболее целесообразным по простоте и объективно удобным для анализа является примененный здесь принцип распределения частушек прежде всего по четырем видам четырехдольника, а затем расположение частушек каждого данного вида в порядке постепенного убывания слогового состава.<sup>6</sup> Внимательный читатель может проследить, как на фоне 16-дольного тактометрического периода систематически, от одной слоговой комбинации стиха к другой, видоизменяется конструкция фразостроения, поэтическая интонация и ритмико-фонетическая мелодийность стиха, как при переходе от беспаузных полносложников к паузным неравносложным, но всегда равнодольными формациями вступают в действие наряду с краткими однодольными слогами долгие двухдольные и кратчайшие полудольные слоги; как на фоне константного контрольного ритма вводятся модификации ритмической инверсии, чрезвычайно обогащающей общую выразительную фактуру стиха. Читатель может проследить, как частушки, убывая в слоговом составе, но вбирая в себя паузы и разнотельные по ритмической структуре слоги, постепенно преобразуются из привычных полносложников в тактовики, в которых действует большое количество многообразных модификаций четырехдольника, не предусмотренных традиционной теорией стиха.

Словом, придерживаясь общепринятых понятий в стиховедении, можно сказать, что на частушках можно проследить процессы формирования наших отечественных четырехдольников — силлабических, силлабо-тонических и тактовиков, правда, однородных (*четырёхкратные* четырехдольники). Как бы ни менялось в частушках количество слогов, какую бы структурную долготу не принимали на себя слоги (краткие, долгие, кратчайшие), как бы ни был насыщен стих ритмическими паузами или модификациями ритмической инверсии, все равно долевой объем каждого стихового тактометрического периода во всех видах четырехкратного четырехдольника остается неизменно постоянным: он равняется 16 долям, а все частушечное двустипшие равно 32 долям. Постоянство количества долей в периоде и разнообразие качества модификаций четырехдольной краты составляют диалектическое единство в структуре всякого правильного ритмического процесса.

Следует добавить, что все образцы частушек в нашей статье нужно читать обязательно метрическим речитативом, так, как это показано разбивкой текста стихов, с соблюдением пауз, долготы слогов и ритмической инверсии. Как правило, односложное слово не растягивается. В многосложных словах последний слог, независимо от того, ударный он или безударный, тоже не растягивается.

<sup>6</sup> В основу нашей классификации положены результаты обследования около 5100 частушек, опубликованных в восьми сборниках. В дальнейшем при ссылках на сборники используются следующие условные сокращения: Б. — Русская частушка. Подготовка текста и примечания В. Бокова. Малая серия «Библиотеки поэта». Изд. 2-е, «Советский писатель», Л., 1950; З.-М. — Частушка. Составитель М. Захаров-Мэнский. Изд. 2-е, М., 1926; К. — Русские частушки. Составитель А. Ф. Кулемкин. Изд. «Московский рабочий», М., 1959; П. — Русское народное творчество в Башкирии. Под общей редакцией Э. В. Померанцевой. Уфа, 1957; С. — Русская частушка. Вступительная статья, отбор и редакция текста В. М. Сидельникова. «Советский писатель», М., 1941; Сим. — В. И. Симанков. Что такое частушка? М., 1927; Я. — Частушки Ярославской области. Составил Н. И. Сутт. Ярославское областное издательство, 1940.



### Четырехдольник первый

Проследим ритмическое строение частушек, структура которых формируется в границах лидирующего четырехдольника первого. Контрольный ряд для двухпериодной частушки:



Это период закрытого контура, без анакрузы и эпикрузы, или, если угодно, с нулевой анакрузой и нулевой эпикрузой. Среди частушек первого четырехдольника отсутствуют 32-сложные дистихи. Зато достаточно образцов частушек 31-сложного объема с комбинацией 15 слогов в первом стихе и 16 слогов во втором:

15 | Катится го|рошинка—и|дет моя хо|рошенька,  
16 Вады|мается по|лесенке по|ет веселы | песенки.  $\wedge$  |  
С. 41

15 | Маменька ру|гается, ку|да платки де|ваются;  
16 То|го не дога|дается, что|милый ути|рается.  $\wedge$  |  
Я. 194

В частушках с комбинацией 15+16 слогов всюду имеется перенос одного слога из второго стиха в конец первого периода (ритмико-слоговой enjambement). В комбинации же 16+15 это явление не встречается:

16 | Скоро, скоро |я уеду, |не найдешь, ми|лашка, следу.|  
15 | Занесет тро|пиночку, ос|тавлю сиро|тиночку.  $\wedge$  |  
З.-М. 21

Частушки 30-сложные встречаются в комбинации 15+15, 16+14 и 14+16 слогов:

15 | Я кошу, за | мной растет зе|леная о|тавушка,  $\wedge$  |  
15 | С беспартийны|ми гулять — од|на худая | славушка.  $\wedge$  |  
З.-М. 12

16 | Шел деревней — | девки спали, | заиграл в гар|мошку — встали, |  
14 | Встали, пробудились,  $\wedge$  | окна раство|рились!  $\wedge$  |  
Б. 87

14 | Я подружку | встретила,  $\wedge$  | что-нибудь за|метила,  
16 Го|ловушка на|клонена, под|ружка обне|волена.  $\wedge$  |  
З.-М. 26

Композиция частушек о 29 слогах не отличается большим ритмическим разнообразием; отчетливо проступают две комбинации — 15+14 и 14+15 слогов:

15 | Я девченка | некрасива, | зато завлекательна.  $\wedge$  |  
14 | За работу | получу  $\wedge$  | орден обя|зательно.  $\wedge$  |  
К. 19

14 | Мой миленок | коммунист,  $\wedge$  | а я беспар|тейная.  $\wedge$  |  
15 | У нас с милень|ким любовь ка|кая кани|тельная.  $\wedge$  |  
З.-М. 13

Значительно обогащает мелодийную структуру частушек применение ритмической инверсии:<sup>7</sup>

14 | Эх, подруга, | *дроби* бей,  $\wedge$  | под ногою | воробей.  $\wedge$  |  
15 | Под другою | галочка, не | выдавай, то|варочка!  $\wedge$  |  
Б. 197

<sup>7</sup> Здесь и далее курсивом выделены слова, подпадающие под ритмическую инверсию.

14 | Давай, милень|кий, с тобой ^ | на карточку | снимемся. ^ |  
 15 | Когда будем | расставаться — | в быстру речку | кинемся. ^ |

З.-М. 27

Наиболее распространенная композиция **28-сложной** частушки — два равносложника по 14 слогов в каждом. Это — древнейшая форма народного стиха, записанного в зиму 1619—1620 года для англичанина Джемса:

| Бережочик | зыблетца ^ |  
 | Да песочик | сыплетца. . . ^ |

Будучи глубоко народной, эта форма стиха вошла в частушки советского времени:

14 | Я плясала, | топала, ^ | полюбила | сокола, ^ |  
 14 | В самом деле | сокола, ^ | статного вы|сокого. ^ |

К. 51

14 | Куплю Лени|на портрет — ^ | золотую | рамочку: ^ |  
 14 | Вывел он ме|ня на свет — ^ | темную кресть|яночку. ^ |

С. 59

14 | Подружень|ки про меня ^ | говорят, что | модница. ^ |  
 14 | Мне и надо | модной быть, ^ | потому — кол|хозница. ^ |

Я. 79

14 | Был мой милень|кий в лесу, ^ | убил рыжу|ю лису, ^ |  
 14 | А с моей фи|гурою ^ | надо черно|бурую! ^ |

Б. 212

Эта форма стиха использована рядом русских поэтов.

В последние десятилетия 28-сложная частушка встречается в комбинации 13+15 слогов:

13 | Девки, ой, ^ | девки, ой! ^ | Вам знаком иг|ривый мой: ^ |  
 15 | Белый — обо|ротистой, кра|сивый — разго|вористой. ^ |

С. 45

13 | По-одру-уж|ка моя, под|руженька ак|тивная, ^ |  
 15 | Никогда не | надоест ра|бота коллек|тивная. ^ |

Б. 251

В структуре **27-сложных** частушек выявлены комбинации 14 + 13 и 13 + 14 слогов. Встречаются такие частушки не часто.

14 | Наливай, ма|маша, чаю | в советские | ча-ашки, ^ |  
 13 | Скоро милень|кий придет ^ | в красенькой ру|ба-ашке. ^ |

З.-М. 31

13 | Товароч|ка милая, ^ | работаем | вме-есте, ^ |  
 14 | Выполняем | на сто сорок, | выполним на | две-ести. ^ |

Б. 255

Очень популярны **26-сложные** частушки с комбинациями 13 + 13, 14 + 12 и 12 + 14 слогов.

Комбинация 13+13 представляет собою в основном устойчивую реликтовую форму древнерусского народного стиха, она-то и послужила русским поэтам XVII—XVIII веков метрическим прототипом для силлабического тринадцатисложника, который звучит так:

13 | Уме недо|зрелый, плод ^ | недолгой на|уки! ^ ^ |  
 13 | Локойся, не | понуждай ^ | к перу мо|и руки: ^ ^ |  
 13 | Не писал летя|щи дни ^ | века прово|дити ^ ^ |  
 13 | Можно, и сла|ву достать, ^ | хоть творцом не|слыти. ^ ^ |

А. Кантемир

От «силлабистов» эта форма стиха досталась русской поэзии, например:

| Свечерело. | Дрожь в конях, ^ | Стужа злее | на ночь; ^ ^ |  
| Заворочался в саях ^ | Михайло И | ваныч. . . ^ ^ |

Н. Некрасов

Теперь сравним частушки, представляющие тот же тринадцатисложник:

13 | Ходи, изба, | ходи, печь, ^ | ходи и го | ланка, ^ ^ |  
13 | Я у мамки | одна дочь ^ | и та ата | манка. ^ ^ |

З.-М. 42

13 | Как приеха | ли сваты ^ | к нашему кры | лечку, ^ ^ |  
13 | Мазнула бе | лым платком, ^ | а сама за | лечку. ^ ^ |

С. 38

13 | Я купила, | милый мой, ^ | новую «По | беду». ^ ^ |  
13 | На свиданье | не придешь, — ^ | я к тебе при | еду. ^ ^ |

К. 26

От частушечного тринадцатисложника отпочковался интересный ритмический вариант:

13 | Полетай, ^ | полетай ^ | в поле, журав | ленок. ^ |  
13 | Поскучай, ^ | поскучай ^ | обо мне, ми | ленок. ^ |

С. 48

Кто мог бы подумать, что с этим народным вариантом совпадает изысканный размер стихов А. Фета? Вот эти стихи (каждое авторское двустишие объединено для наглядного параллелизма в одну строку):

13 | Ветер злой ^ | ветер крутой ^ | в поле Зали | вается, ^ |  
13 | А сугроб, ^ | на степной ^ | воле Зави | вается. ^ |  
13 | При луне, ^ | на версте ^ | мороз Ого | нечками. ^ |  
13 | Про живых ^ | ветер весть ^ | пронес С | лозвоночками. ^ |

К паузной ритмике последней частушки и стихов Фета близок отчасти ритм частушек в комбинации 12 + 14 слогов:

12 | Сенокос, ^ | сенокос, ^ | рано теб | я косят. ^ ^ |  
14 | Ох, уж эти | мне девчонки, | завлекут да | бросят! ^ ^ |

С. 109

12 | Про-освата | ли меня ^ | за буты-ыл | ку вина. ^ |  
14 | Ничего, что | дешево, ^ | зато за хо | рошего. ^ |

К. 87

Необыкновенно интересна по общему интонационному строю и по ритму следующая частушка:

12 | Винтовочка | тук ^ тук, ^ | а красные | тут ^ тут, ^ |  
14 | Пулеметы | тра-та-та, ^ | а белые | ла-та-та. ^ |

С. 66

Любопытно, что с ритмом этой частушки перекликается однотипный (но константный) ритм стихов Н. Асеева (для наглядности каждое авторское двустишие объединено в одну строку):

12 | Тулумбасы | бей, ^ бей, ^ | Запороги | гей, ^ гей! ^ |  
14 | Запороги | вороги, ^ | головы не | дороги. ^ |

Очень редки частушки с комбинацией 14 + 12 слогов:

14 | У нашего | игрока ^ | болит пра | ва я рука, ^ |  
12 | А на левой | па-альчик, ^ | хороше | нький и. ^ |

С. 56

По мере убывания количества слогов в периоде ритмы частушек приобретают все более осязаемое разнообразие за счет новых модификаций, принимая форму тактовиков. В **25-сложных** частушках мы уже находим богатый ассортимент ритмических модификаций. Слова начинают плясать. Разнообразие ритмов 25-сложных частушек отразилось и в слоговых комбинациях стихов: 12+13, 13+12, 14+11, 11+14, 10+15 слогов. Вот ряд примеров:

12 | У меня  $\wedge$  | на руке  $\wedge$  | *серебряны* | кольца,  $\wedge \wedge$  |  
 13 | Разрешите | погулять  $\wedge$  | с вами, комсо|мольцы?  $\wedge \wedge$  |  
 З.-М. 12

13 | Покатилось | решето,  $\wedge$  | *упало* на | сито.  $\wedge \wedge$  |  
 12 | Провожал,  $\wedge$  | целовал,  $\wedge$  | и то недо|сыта.  $\wedge \wedge$  |  
 Б. 195

Во всех отношениях замечательны следующие частушки:

14 | Не пойду я | за попа, пой|ду за комму|ниста.  $\wedge \wedge$  |  
 11 | Буду жить  $\wedge$  | без венца  $\wedge$  |  $\wedge$  *годи*ков | триста!  $\wedge \wedge$  |  
 З.-М. 13

11 | Ой,  $\wedge$  пол  $\wedge$  | провались,  $\wedge$  | потолок  $\wedge$  | обвались,  $\wedge$  |  
 14 | На доске ос|тануся,  $\wedge$  | с милым не рас|тануся.  $\wedge$  |  
 Я. 137

10 | Ра-ассы-ып|ся, горох,  $\wedge$  | ра-азда-ай|ся, народ.  $\wedge$  |  
 15 | Ходу, ходу, | ходику ве|селому на|роду!  $\wedge$  |  
 Б. 195

Весьма оригинальны формы **24-сложных** частушек в комбинациях 12+12, 11+13 и 10+14 слогов. Интересны ритмические варианты комбинации 12+12:

12 | Я и так,  $\wedge$  | я и сяк,  $\wedge$  | и таким ма|нером.  $\wedge \wedge$  |  
 12 | *Могу* петь  $\wedge$  | и плясать  $\wedge$  | с *любим* кавал|ером.  $\wedge \wedge$  |  
 К. 51

12 | *Стояла* на | го-орке,  $\wedge$  | *махала* Е|го-орке,  $\wedge$  |  
 12 | *Егорушка*, | се-ердце,  $\wedge$  | *пусти* обо|гре-еться!  $\wedge$  |  
 Б. 220

12 | Миленькая | Настенька,  $\wedge$  | вышей мне пла|ток  $\wedge \wedge \wedge$  |  
 12 | Ниточкою | красенькой  $\wedge$  | серп и моло|ток.  $\wedge \wedge \wedge$  |  
 Я. 54

Последняя частушка — редкостной формы. Она тем ценнее, что здесь можно установить преемственность ритмики таких стихов, как:

12 | За пустой о|колицей,  $\wedge$  | за Донцом-ре|кой.  $\wedge \wedge \wedge$  |  
 12 | Вадрогнет и рас|колется  $\wedge$  | полевой по|кой.  $\wedge \wedge \wedge$  |  
 А. Сурнов

Среди частушек с комбинацией 11+13 слогов наиболее выразительные следующие:

11 | По-одру-уж|ка моя,  $\wedge$  | *хорошая* | осень,  $\wedge \wedge$  |  
 13 | Нам дадут на | трудовень  $\wedge$  | килограмм по | восемь.  $\wedge \wedge$  |  
 Б. 252

11 | Эх,  $\wedge$  | я-аб|ло-очко, да | на четыре | части,  $\wedge \wedge$  |  
 13 | Хорошо жи|вется нам  $\wedge$  | при советской | власти.  $\wedge \wedge$  |  
 С. 64

11 | Де-евче-он|ки, беда!  $\wedge$  | Некуда де|ваться!  $\wedge \wedge$  |  
 13 | По колена | борода,  $\wedge$  | лезет цело|ваться.  $\wedge \wedge$  |  
 С. 135

Совсем иные ритмы в частушках с комбинацией 10+14 слогов:

- 10 | Эх, Λ скрип, Λ | скрип, Λ скрип, Λ | новые бо|тинки. Λ Λ |  
 14 | Мы, девченки | трактористки, | как одна, — кар|тинки. Λ Λ |  
 С. 126

Среди 23-сложных частушек можно установить три комбинации: 11+12, 10+13 и (редчайший случай) 7+16. Это все плясовые частушки, народные тактовики:

- 11 | Башмачки Λ | мо-ои, Λ | медные под|ковки. Λ Λ |  
 12 | Не сорвать Λ | кулакам Λ | лесозаго|товки. Λ Λ |  
 С. 125

- 11 | Ай Λ да, Λ | ай Λ да, Λ | моя милка | молода. Λ |  
 12 | Молода го|до-очком, Λ | глупая у|мо-очком. Λ |  
 С. 56

- 10 | Весь Λ лес Λ | по-осох Λ | до одной бе|резки. Λ Λ |  
 13 | Через стару|ю любовь Λ | проливаю | слезки. Λ Λ |  
 П. 276

Здесь уместно напомнить о том, что «Цыганская венгерка» Ап. Грпгорьева написана под непосредственным влиянием ритмики народной поэзии:

- 11 | Эх Λ-ма, Λ | ты завей Λ | веревочкой | горе. Λ Λ |  
 12 | Загуляй Λ | да запей, Λ | топи, тоску | в море! Λ Λ |

И, наконец, редчайшая по структуре 23-сложная частушка, где первый стих содержит в себе лишь 7 слогов, зато второй — 16 слогов:

- 7 | Ми-илый Λ | мой, Λ по-ой|дем Λ до-о|мой! Λ Λ  
 16 — Пой|дем, моя за|бавница, с ве|селого гу|ляньяца. Λ |  
 Я. 203

С уменьшением количества слогов в частушке становится меньше примеров. Однако виртуозность стихотворной техники не ослабевает, скорей даже усиливается. Одновременно замечен спад злободневной тематики; вероятно, это объясняется усилением игровой и плясовой ритмики.

Сказанное подтверждается примерами 22-сложных частушек с комбинациями 11+11, 9+13 и 8+14 слогов:

- 11 | По-одру-уж|ка моя, Λ | что ты оро|бела? Λ Λ |  
 11 | Та-анки-ис|та любить — Λ | хорошее | дело. Λ Λ |  
 К. 50

- 9 | Пляс, Λ Λ Λ | пля-аски, Λ | а мне не до | пля-аски: Λ |  
 13 | Развязали|ся чулки, Λ | алые под|вя-азки. Λ |  
 С. 55

- 8 | Ох Λ ти, Λ | ох Λ ти Λ | де-евка Λ | в ко-офте. Λ |  
 14 | Всех целуйте | и милуйте, | а мою не | тро-огте! Λ |  
 Б. 196

Частушки 21-сложного состава встречаются в комбинациях 10+11, 9+12, 8+13, 13+8, 9+10 и 8+11 слогов. Все они очень интересной ритмической структуры:

- 10 | Ра-ассы-ыпь|ся, горох, Λ | с гря-адки на | гря-адку! Λ |  
 11 | Ра-азда-ай|ся, народ, Λ | я пойду впри|ся-адку! Λ |  
 Б. 195

- 9 | Пля-аши — Λ | лю-ублю, Λ | сарафан Λ | ку-ушлю, Λ |  
 12 | Золотые | про-оймы, Λ | поцелую — | по-омни! Λ |  
 Б. 222

Удивительна по ритмической экспрессии и тонкости интонационного жеста следующая, очень оригинальная частушка:

9 | *Товарочки* | говорят  $\wedge$  | про  $\wedge \wedge \wedge$  | что?  $\wedge \wedge \wedge$  |  
 12 | *Меня миленький* | не любит, | а  $\wedge$  мне-то | что!  $\wedge \wedge \wedge$  |  
 С. 119

Вот частушки 20-сложного объема

10 | По-ошел  $\wedge$  | пля-асать,  $\wedge$  | сапоги-то | рву-утся,  $\wedge$  |  
 10 | Ка-афтан,  $\wedge$  | до  $\wedge$  пят,  $\wedge$  | девушки сме|ю-утся.  $\wedge$  |  
 С. 55

9 | Мой  $\wedge$  мил  $\wedge$  | с то-оски  $\wedge$  | потерял  $\wedge$  | но-оски,  $\wedge$  |  
 11 | Самые но|со-очки,  $\wedge$  | потерял с но-очки.  $\wedge$  |  
 К. 88

Очень мало частушек 19-сложного состава:

9 | Эх,  $\wedge$  бей  $\wedge$  | бо-оты,  $\wedge$  | разбивай  $\wedge$  | бо-оты!  $\wedge$  |  
 10 | Мой брати-иш|ка  $\wedge$  стал  $\wedge$  | командир  $\wedge$  | ро-оты!  $\wedge$  |  
 С. 125

8 | И-играй,  $\wedge$  | Ти-ишка,  $\wedge$  | пля-аши,  $\wedge$  | Ти-ишка,  $\wedge$  |  
 11 | У тебя,  $\wedge$  | Ти-ишка,  $\wedge$  | с трудоднями | кни-ижка.  $\wedge$  |  
 С. 125

Восемнадцатисложные частушки не обнаружены. Частушка 17-сложная имеется лишь в единственном примере, качество ее — посредственное:

9 | И  $\wedge$  бей  $\wedge$  | ла-апти,  $\wedge$  | колоти  $\wedge$  | ла-апти,  $\wedge$  |  
 8 | Му-ужья  $\wedge$  | гла-адки,  $\wedge$  | спле-етут  $\wedge$  | ла-апти.  $\wedge$  |  
 Б. 208

Шестнадцатисложные частушки первого вида не обнаружены, они имеются среди четырехдольников третьего вида.

Итак, среди частушек в форме четырехдольника первого нет комбинаций в 32, 18 и 16 слогов.

### Четырехдольник второй

Четырехкратный четырехдольник второй образует тактометрический период открытого контура с однодольной анакрузой и трехдольной эпикрузой. Для двухпериодной частушки контрольный ряд этого четырехдольника такой:

$\cup$  |  $\cup \cup \cup$  |  $\cup \cup \cup$  |  $\cup \cup \cup$  |  $\cup \cup$   
 $\cup$  |  $\cup \cup \cup$  |  $\cup \cup \cup$  |  $\cup \cup \cup$  |  $\cup \cup$

Частушек второго вида гораздо меньше, чем частушек первого вида. Здесь очень ограничено количество слоговых объемов, всюду господствуют только константные ритмы, ритмическая инверсия совершенно не встречается. Весьма сужена тематика частушек.

Демонстрацию миниатюр этого вида начнем с великолепного образца 32-сложной частушки:

16 По | тоненькой те|синочке хо|дил я к сиро|тиночке,  
 16 По | тоненькой е|ловенькой хо|дил я к черно|бровенькой.

С. 44

Здесь всюду применена главная константа  $\cup \cup \cup \cup$ , сообщающая ритму равномерное, плавное движение. В следующей частушке главная константа сохраняется во второй половине каждого периода, а в первой половине участвуют двойная  $\cup \cup \cup \cup$  и побочная  $\cup \cup \cup \cup$  константы:

- 16 Ка|кая трудна|я дорога, | горочка на | горочке.  
16 Хо|роший мальчик | не имеет | по три уха|жорочки.

Б. 146

Показательна частушка, где ритмические ударения создают как будто инерцию четырехдольника четвертого, и только в последней крате периода главная константа выпрямляет ритм, и мы ясно чувствуем, что в частушке — четырехдольник второй:

- 16 Ку|пи-ка, матуш|ка, на платье | голубова | в по|лосу;  
16 Не | отдавай да|лече замуж, | не услышишь | го|лосу!

С. 38

И, наконец, образец частушки с двойной константой в каждой крате; двойные акценты отяжеляют ритм стиха:

- 16 Пой|дú в садóк, сор|вú цветóк, пус|ка́й завянет | тра́вушка.  
16 Пос|ле́дний ча́с с то|бóй сию́, про|ща́й, мо́я за|ба́вущка!

К. 71

Расценивать ритмическую форму этой частушки как «чистый ямб» так же ошибочно, как полагать, что первая в этом разделе частушка «Постоненькой тесиночке» — это «ямб с пиррихием». Ямбо-хореическая концепция абсолютно бессильна объяснить ритмику частушек, построенных на паузных и разнодолготных модификациях.

Подбор частушек в 31 слог не велик; наблюдается в общем комбинация 16+15 слогов, причем анакруза второго периода паузирована:

- 16 Ве|селая дев|ченочка кор|мила поро|сенокка.  
15 Λ | Поро|сенок|чек достался | в пре|мию ми|леночку.

Б. 277

Обнаружена одна частушка с комбинацией 17+14 слогов. Так как 17-сложие превышает 16 долей контрольного ряда, то при чтении последний слог первого стиха ритмически переходит в анакрузу второго стиха:

- 17 У | мамы кофты | попросила, | мама пальцем | погрозила: |  
14 | Вот те кофта | с лапами, Λ | не сиди с ре|бятами.

С. 35

Среди частушек 30-сложного объема наблюдаются комбинации 15+15, 16+14 и 14+16 слогов:

- 15 Сид|дела на ска|меечке, Λ | ела кара|мелечки,  
15 Λ | Ела, улы|балася, ска|зали: цело|валася!

Б. 117

- 16 Пе|ки, мамаша, | пироги, по|следний год по|береги,  
14 Λ | Дай поспать, по|нежиться, Λ | погулять, по|тешиться.

С. 35

- 14 Ах, | девушки, под|руженьки, та|кая я и | есть:  
16 Парниш|ку | видела кра|сивого, не | смела рядом | сесть. Λ Λ

К. 41

В 29 слогов обнаружена лишь одна частушка:

- 15 Да | что ж тебя за|ставило Λ | выходить за | старого?  
14 Λ | Соблазнили | денежки Λ | глупенькую | девушку.

К. 78

То же можно сказать о частушке 28-сложного объема:

- 14 Пой|дем, подружень|ка, домой, — Λ | солнце ниже | ели, Λ  
14 Λ | Моего ми|лого нет, а | ваши надо|ели. Λ

Я. 171

Не удалось найти частушек второго вида в 27, 26, 25, 24 и 23 слога. Невелико количество частушек объемом в 22, 21, 20 и 19 слогов. Частушек в 18, 17 и 16 слогов не имеется.

Вот две частушки **22-сложного** объема, но различного модификационного строя:

11 На |улицу пой|дем,  $\wedge \wedge$  чуб- |ку-удри навь|ем,  $\wedge \wedge$   
11 А |с улицы до|мой,  $\wedge \wedge$  чуб-|ку-удри до|лой!  $\wedge \wedge$

Б. 216

11 Кон|фе-етка мо|я,  $\wedge$  не за|ку-ушенная|я.  $\wedge \wedge$   
11 Сер|де-ечко мо|е  $\wedge$  не за|су-ушенно|е!  $\wedge \wedge$

Б. 219

Необыкновенной прелести исполнена следующая **21-сложная** частушка: обаятельный образ девушки воссоздан с большой ритмической пластикой при помощи самых скупых средств — четыре отглагольных прилагательных с усеченными окончаниями и четыре ритмических ударения на всю 32-дольную частушку:

10 Рас|сý-ыпчива|та,  $\wedge \wedge$  раз|гá-арчива|та,  $\wedge \wedge$   
11 Рос|тó-очком ма|ла,  $\wedge$  да при|мá-анчива|та.  $\wedge \wedge$

Б. 217

В дальнейших частушках наиболее интересной конструктивной особенностью является растяжение трехсложной рифмованной клаузулы до пятидольного объема.

Вот **20-сложная** частушка:

9 Пля|сать  $\wedge$  по-ой|ду  $\wedge$  по по|ля-ано-оч|кам,  $\wedge \wedge$   
11 Гла|зами пове|ду  $\wedge$  по ми|ле-оно-оч|кам.  $\wedge \wedge$

С. 56

Частушки **19-сложные** с комбинацией 9 + 10 и 8 + 11 слогов:

9 Гар|монь  $\wedge$  мо-о|я  $\wedge$  голо|си-иста-а|я,  $\wedge \wedge$   
10 Кол|хо-озная |рожь  $\wedge$  коло|си-иста-а|я.  $\wedge \wedge$

С. 125

8 По |мо-осту  $\wedge$  |шла,  $\wedge$  ки-ир|пи-ично-о|му,  $\wedge \wedge$   
11 Морг|нула одно|му  $\wedge$  симпа|ти-ично-о|му.  $\wedge \wedge$

Б. 221

Таков обзор частушек, выдержанных в рамках четырехдольника второго.

### Четырехдольник третий

Тактометрический период четырехкратного четырехдольника третьего выделяется среди других его видов тем, что, будучи формацией открытого контура, он начинается двухдольной анакрузой и заканчивается двухдольной же эпикрузой. Контрольный ряд для двухпериодной частушки третьего вида такой:

Как мы видим, начало и конец тактометрического периода взаимно уравновешиваются, и весь период отличается монолитностью метрической структуры, цельностью замкнутой формации. Таково ритмологическое объяснение исключительной популярности четырехкратного четырехдольника третьего не только в русской народной метрике и особенно в частушечных миниатюрах, но и во всей авторской поэзии. Метрические нормы и вся ритмическая структура этой формации, видимо, находятся в прямом соответствии с нормами речевой структуры русского языка.

Ниже будут приведены все слоговые комбинации третьего четырехдольника, за исключением необнаруженного 17-сложника (такой пример имеется лишь в системе четырехдольника первого). Среди сокровищ четырехдольника третьего найден редчайший, если не единственный обра-





Примечательно, что этот комплекс народной ритмики блестяще применен К. Чуковским в его сказке «Муха-цокотуха»:

*Козя|вочки с червя|ками, бука|шечки с мотыль|ками...*

С другой стороны, в частушках мы находим любопытный ритмический перебой; это — сочетание второй половины побочной константы  $\cup\cup\cup\cup$  с безударной модификацией  $\cup\cup\cup\cup$ :

15 Выши|вала поло|тенце *у|точ|кой и петуш|кóм*, —  $\Delta$   
15 Ути|райся, мой ми|ленок, *у|треч|ком и вечер|кóм*.  $\Delta$   
С. 108

15 *Миль|ый на велоси|педe* мне по|пался под го|рой.  $\Delta$   
15 Прока|ти! — ему ска|зала. Он ска|зал: Имеешь| свой!  
В. 255

Подобные ритмические ходы известны нам из поэтики русского классического стиха:

Не без| добрых душ на| свете — Кто-ни|будь свезет в Моск|ву,  $\Delta$   
*Будешь| в универси|тете* — Сон свер|шится ная|ву!  $\Delta$   
Н. Некрасов

Из других своеобразных по ритму частушек 30-сложного объема отметим следующие варианты:

16 Гово|рит мне мама| строго: Поче|му не веришь| в бога?  
14 А я| прямо ей в от|вет:  $\Delta$  Пото|му что бога| нет.  $\Delta$   
Я. 122

14 Вспомни,| вспомни, доро|гой,  $\Delta$  как лю|били мы с то|бой.  
16 Шумела| белая че|ремуха над| нашей голо|вой.  $\Delta$   
К. 31

Частушки 29-сложного объема имеют две комбинации: 14 + 15 и 15 + 14 слогов.

Примеры первой комбинации в вариантах:

14 *Подр|уженька, дробь*,| бей —  $\Delta$  разве| хуже мы лю|дей?  $\Delta$   
15 Мы с то|бою зара|ботали по| триста трудо|дней.  $\Delta$   
Я. 97

14 Мой-то| миленький у|ехал  $\Delta$  в ва|гоне голу|бом.  $\Delta$   
15 Строго| девочке на|казывал не| думать о дру|гом.  $\Delta$   
Я. 139

14 *Р|уса| коса́ до п|б|яса*,  $\Delta$  ку|дерки до| глаз.  $\Delta$   
15 Разре|шите, кари| глазки, уха|жоркой быть у| вас.  $\Delta$   
С. 106

Очень динамичны плясовые частушки 28-сложного объема: их ритм построен на внутрителишных паузах, на острых акцентах и часто лишь на мужских клаузулах, великолепно зарифмованных. Основная комбинация слогов 14 + 14.

14 *Сидит*| лодырь у во|рот,  $\Delta$  широ|ко разинув| рот.  $\Delta$   
14 И ник|то не разбе|рет,  $\Delta$  где во|рота, а где| рот.  $\Delta$   
Я. 100

14 *Посе|яла коно|пель*,  $\Delta$  уро|дилась коно|пель,  $\Delta$   
14 Через| эту жоно|пель  $\Delta$  заве|лася кани|тель.  $\Delta$   
В. 218

Интересна частушка, в которой рифма подпадает под ритмическую инверсию:

14 Я хо|роших люб|ила,  $\Delta$  меня| совесть уб|ила,  $\Delta$   
14 А теп|еря ника|ких —  $\Delta$  ни хо|роших, ни пло|хих.  $\Delta$   
В. 208

Или частушка с разноударными рифмами:

- 14 Ой, со|ха, моя со|ха, ^ ты не |складна и пло|ха. ^  
 14 Поле|жи-ка на дво|ре, ^ попа|шу на тра́кто|ре. ^  
 Я. 82

Или частушка, где благодаря растяжению ударного слога в рифмуемом слове клаузула становится пятидольной:

- 14 Доро|гую рыбу |ела, рыба|ко-ослива|я, ^  
 14 Оче|го мальчишки |любят? Не за|но-ослива|я. ^  
 Б. 204

Своеобразно построены 28-сложные частушки с комбинацией 13 + 15 слогов:

- 13 Дождик, |лей, ^ дождик, |лей ^ на ме|ня и на лю|дей. ^  
 15 Я вче|ра сама гля|дела на ми|ленка изда|лей. ^  
 С. 44  
 13 Все то|варочки по |парочкам жу|жу ^ жу ^ |жу. ^  
 15 Я мо|лоденькая |девочка од|на себе си|жу. ^  
 Я. 144

В группе 27-сложных частушек различимы три комбинации — 14 + 13, 13 + 14 и 12 + 15 слогов с вариантами:

- 14 Что ты, |аленький цве|ток, ^ на о|кошке не цве|тешь? ^  
 13 Что же| ты, ^ милый |друг, ^ ко мне |долго не и|дешь? ^  
 С. 41  
 13 Эх, ^ |карие гла|за, да вы гу|би-ительны|е. ^  
 14 Комсо|мольские ре|бята рассу|ди-ительны|е. ^  
 Я. 51  
 12 Ра-а|зда-айся, на|род! ^ Черно|бровая и|дет, ^  
 15 Черно|бровая, бе|довая, ни|где не пропа|дет. ^  
 Б. 210

Ассортимент частушек 26-сложного состава не велик — одна комбинация в 12 + 14 слогов, но ритмические структуры отдельных частушек разнообразны, это — тактовики:

- 12 Ох, ^ |ох, ^ ох, ха |ха! ^ чья-ни|будь буду сно|ха. ^  
 14 Где-то |мне растет же|них, ^ пово|юю я у |них! ^  
 Б. 134  
 12 Гово|рят ^ про ме|ня, ^ что я |ху-уденька|я, ^  
 14 Десять |юбочек на|дену, буду |кру-угленька|я! ^  
 Б. 212

Комбинаций 25-сложной частушки — три: 12 + 13, 11 + 14 и 10 + 15 слогов.

- 12 Комсо|мо-ольца лю|бить — ^ надо |чи-исто хо|дить, ^  
 13 А ^ |в кофточке та|кой ^ не по|любит ника|кой. ^  
 С. 111  
 11 Эх, ^ |то-опну но|гой, ^ да при|то-опну дру|гой, ^  
 14 Чтобы |милый был хо|рош ^ и в кол|хозе и со|мной! ^  
 С. 124  
 11 Их, ^ |их, ^ их, ^ |их, ^ ко мне |сватался же|них, ^  
 14 Боро|да — как поме|ло, ^ глаза |набок пове|ло! ^  
 Б. 203  
 10 И-иг|рай ^ весе|лей, ^ ^ ла|дов ^ не жа|лей! ^  
 15 Мы по|строили кол|хозы, жить в кол|хозе весе|лей! ^  
 С. 124

Обнаруженные частушки **24-сложного** объема оказались одной комбинации (11+13 слогов). Для их структуры характерна пятидольная клаузула:

- 11 Са-а|по-ожки мо|и,  $\wedge$  носы|ла-аковы|е,  $\wedge$   
 13 Что у|девок, что у|баб —  $\wedge$  оди|на-аковы|е.  $\wedge$   
 З.-М. 42

С уменьшением количества слогов в частушке, двухпериодность которой остается неизменной — 32 доли, увеличивается количество внутристишных пауз и долгих (двухдольных) слогов, усложняются ритмические конфигурации и певучесть ритма сменяется пляской слов.

Для **23-сложных** частушек характерны устойчивые комбинации в 11+12, 10+13 и 9+14 слогов со множеством ритмических вариантов в каждой комбинации:

- 11 Эх,  $\wedge$  |ла-апти мо|и,  $\wedge$  лапти|стро-оченны|е!  $\wedge$   
 12 В церкви|о-окна те|перь  $\wedge$  зако|ло-оченны|е!  $\wedge$   
 С. 125

- 10 Ох,  $\wedge$  |то-опну но|гой,  $\wedge$  топну|но-оже-ень|кой.  $\wedge$   
 13 Я — в кол|хозе, ты — в сов|хозе, мой хо|ро-оше-ень|кий.  $\wedge$   
 Б. 259

- 10  $\wedge$   $\wedge$  |То-опнула|я,  $\wedge$  и не|то-опнула|я,  $\wedge$   
 13 Съела|целого бы|ка  $\wedge$  и не|ло-опнула|я!  $\wedge$   
 З.-М. 45

- 9 Та-ан|дуй —  $\wedge$  лю-юб|лю,  $\wedge$  сара|фан  $\wedge$  ку-уц|лю,  $\wedge$   
 14 А не|будешь танцо|вать,  $\wedge$  сара|фана не ви|дать.  $\wedge$   
 С. 54

В группе **22-сложных** частушек имеется три комбинации — 11 + 11, 10 + 12 и 9 + 13 слогов с многочисленными вариантами:

- 11 Ты не|стой  $\wedge$  у ок|на,  $\wedge$  не под|сма-атри-и|вай.  $\wedge$   
 11 Мне не|быть  $\wedge$  за то|бой,  $\wedge$  не под|сва-аты-ы|вай.  $\wedge$   
 К. 87

- 10 Эх,  $\wedge$  |бей  $\wedge$  дро-об|ней!  $\wedge$  Сапо|ги  $\wedge$  не жа|лей!  $\wedge$   
 12 Стало|жить  $\wedge$  хоро|шо!  $\wedge$  Стало|жить  $\wedge$  весе|лей!  $\wedge$   
 С. 124

- 10 Де-ер|жись,  $\wedge$  лебе|да,  $\wedge$  по-ош|ла  $\wedge$  не ту|да.  $\wedge$   
 12 Для те|бя.  $\wedge$  лебе|да,  $\wedge$  сорти|ро-овка — бе|да.  $\wedge$   
 С. 125

- 9 Эх,  $\wedge$  |я-абло-оч|ко,  $\wedge$  нали|ва-ае-ет|ся,  $\wedge$   
 13 Проле|тарии всех|стран соеди|ня-аю-ут|ся!  $\wedge$   
 С. 64

- 9 Ах,  $\wedge$  ми-илка!  $\wedge$  | — Что?  $\wedge$  — Гово|рят  $\wedge$  про  $\wedge$  | что,  $\wedge$   
 13 Бают, | ты меня не|любишь, бают, | не  $\wedge$  за  $\wedge$  | что.  $\wedge$   
 Б. 198

Богата комбинациями группа **21-сложных** частушек — 11 + 10, 10 + 11, 9 + 12 и 8 + 13 слогов:

- 11 Я на|ре-ечке бы|ла,  $\wedge$  бело|мы-ыла-а|ся;  $\wedge$   
 10 Се-ерде-ечко бо|лит —  $\wedge$  просту|ди-ила-а|ся.  $\wedge$   
 З.-М. 46

- 10 Ты не|стой  $\wedge$  пу-ус|той  $\wedge$  возле|де-ере-е|ва.  $\wedge$   
 11 Не ищи  $\wedge$  лю-у|бовь, она по|те-еря-а|на.  $\wedge$   
 Б. 211

- 9 По-ой|ду  $\wedge$  пля-а|сать  $\wedge$  по ка|на-аву-уш-ке.  $\wedge$   
 12 Кто за|денет за бо|ка,  $\wedge$  скажу|ма-ату-уш|ке.  $\wedge$   
 Б. 200

- 8 Ра-аа|да-айся. ^ | круг, ^ ^ и|дет ^ мой ^ | друг, ^ .  
13 Он ^ | видит изда|ля — ^ пляшет | милая моя. ^

С. 54

Значительна по количеству образцов группа **20-сложных** частушек с комбинациями 10+10, 9+11 и 8+12 слогов. Среди них есть отличные частушки советской эпохи:

- 10 Паро|ход ^ плы-ы|вет, ^ а дым | ко-ольца-а|ми. ^  
10 Он сю|да ^ ^ и|дет ^ с комсо|мо-ольца-а|ми. ^

К. 49

- 10 Эх, ^ | я-абло-оч|ко, да ты хрус|та-ально-о|е, ^  
10 Рево|лю-уци-и|я ^ соци|а-альна-а|я. ^

С. 63

- 9 Эх, ^ | вы-ышел ^ | я ^ на до|ро-оже-ень|ку. ^  
11 Агро|но-ома по|звал, ^ а не|бо-оже-ень|ку. ^

Я. 121

- 8 Ах, ^ | Ко-оле-ень|ка, ^ ^ Ко|лю-уше-ень|ка, ^  
12 Ко-му | Коля не хо|рош, ^ а мне | ду-уше-ень|ка! ^

Б. 216

Как и в предыдущей группе, среди **19-сложных** частушек много миниатюр советского периода в комбинации 11+8, 10+9, 9+10 и 8+11 слогов. Привожу некоторые из образцов:

- 11 Пяти|ле-етка мо|я, ^ пяти|ле-етний ^ | план. ^  
8 По-ой|ду ^ в ко-ол|хоз. ^ По-ой|дем, ^ И-и|ван! ^

Я. 85

- 10 Запля|шу — ^ де-ер|жись, ^ ножкой | то-опну | я, ^  
9 Про-о|щай ^ ты, ^ | жизнь ^ допо|то-опна-а|я. ^

С. 124

- 9 Дул, ^ | дул ^ Фе-е|дул ^ оди|но-очко-о|ю. ^  
10 И по|дул ^ в ко-ол|хоз ^ вместе | с до-очко-о|ю. ^

Я. 85

- 8 Ко-ом|байн ^ и-и|дет, ^ мо-о|тор, ^ гу-у|дит. ^  
11 Комбай|нер ^ молодой ^ на ме|ня ^ гля-а|дит. ^

К. 16—17

В поэму С. Есенина «Песнь о великом походе» включены следующие частушечные стихи (транспонировка, принятая в данной работе):

- 9 Ах, ^ | я-абло-оч|ко, ^ Цвета | ми-ило-о|го. ^  
10 Бьют Де|ни-ики-и|на, ^ Бьют Кор|ни-ило-о|ва. ^  
9 Цве-е|то-очек ^ | мой, ^ Цветик | ма-ако-о|вый. ^  
11 Ты ско|рей, ^ адми|рал. ^ Откол|ча-аки-и|вай. ^

Группа **18-сложных** частушек немногочисленна. В ее составе комбинации 10+8, 9+9 и 8+10 слогов:

- 10 Мои | но-оже-ень|ки ^ из до|ро-оже-ень|ки, ^  
8 Се-ей|час ^ при-иш|ли — ^ пля-а|сать ^ по-ош|ли. ^

Сим. 28

- 9 Ах, ^ | сдо-обна-а|я, ^ поше|ни-ична-а|я, ^  
9 Ни ^ | ткать, ^ ни ^ | прясть — ^ нику|ды-ышна-а|я. ^

Сим. 28

- 8 Эх, ^ | бу-уду ^ | я ^ с о-об|но-овко-о|ю. ^  
10 Подру|жи-и|лась ^ | я ^ с сорти|ро-овко-о|ю. ^

С. 125

Частушек о 17 слогах среди формаций четырехдолника третьего не обнаружено вообще, единственный пример этого объема находится в раз-

деле четырехдольника первого. Незначительно количество 16-сложных частушек:

8 По-од|шу-убо-о|ю,  $\wedge$  по-од|бе-ело-о|ю,  $\wedge$   
 8 По-ой|ду  $\wedge$  пля-а|сать, —  $\wedge$  ра-аз|де-ела-а|ю.  $\wedge$   
 С. 54

8 Пля-а|сать  $\wedge$  по-ой|ду  $\wedge$  с о-ог|ля-адко-о|ю,  $\wedge$   
 8 Как  $\wedge$  |жить,  $\wedge$  как  $\wedge$  |быть  $\wedge$  со-ол|да-атко-о|ю?  $\wedge$   
 В. 201

### Четырехдольник четвертый

Самый малочисленный по слоговым группам и по количеству примеров раздел частушек — четырехдольник четвертый. В русском языке, по-видимому, не так уж много слов, подходящих для трехдольной анакрузы, которой начинается период этого четырехдольника.

Контрольный ряд двухпериодной частушки для четырехкратного четырехдольника четвертого такой:

$\cup \cup \cup$  |  $\cup \cup \cup$  |  $\cup \cup \cup$  |  $\cup \cup \cup$  |  $\cup$   
 $\cup \cup \cup$  |  $\cup \cup \cup$  |  $\cup \cup \cup$  |  $\cup \cup \cup$  |  $\cup$

В этом разделе мы встретимся с частушками в 32, 31, 30 и 24 слога. Другие слоговые формации не встречаются в обследованных сборниках.

Группа 32-сложных частушек сравнительно большая, обнаружено восемь образцов — больше, чем таких же частушек в каждом из остальных трех видов. Трехдольная анакруза сообщает ритму четырехдольника максимальную стремительность, стихи этого вида чрезвычайно эластичны, а однодольная эпикруза с метрическим акцентом придает динамичность беспаяузной концовке. Вот примеры:

16 Ходила | по лесу, по | вересу, а | верес — не тра|ва.  
 16 Любила | мальчика три | годика, как | розанчик цве|ла.  
 Я. 144

16 Какие | горы каме|нисты — *нельзя* | на гору взой|ти.  
 16 Какие | девки степе|нисты — *нельзя* | близко подой|ти.  
 С. 45

Однако имеется пример 32-сложной частушки, где в первом периоде эпикруза выражена безударным слогом:

16 Меня за|бава прово|жал, полоски | все указы|вал:  
 16 Наверно, | замужем бы|вать, *эти* по|лосоньки жи|нать.  
 С. 47

В следующей частушке из первого 17-сложного стиха последний слог ритмически переносится во второй период:

17 Не гово|ри, миленок, | дома, что я | девушка бе|дова:  
 15 Замуж | выйду за те|бя, переме|ню сама се|бя!  
 Б. 112

Наряду с частушками, построенными в основном на одноударных модификациях четырехдольника, изредка попадаются частушки, где почти все модификации двухударны  $\cup \cup \cup$  |  $\cup$ , например:

16 Идёт, бре|дёт масте|ро|вой в одной ру|бахе огне|вой.  
 16 Пройл кар|туз, про|ил под|жак, куда ни | плюнь — вездé ка|бак.  
 С. 30

Частушки 31-сложного объема имеют одну комбинацию — 16 + 15 слогов. Особенность этой формы заключается в том, что анакруза во втором периоде начинается однодольной паузой ( $\wedge \cup \cup$  |  $\cup$ ):

- 16 Аэро|план летит вы|соко, мне е|го чуть-чуть ви|дать,  
15 Λ Моя |милка уле|тела, не с кем |больше мне гу|лять.

Я. 175

Ритмическая структура **30-сложных** частушек в общем сходна с предыдущей, отличие состоит в добавлении однодольной паузы в середине второго периода, чем и объясняется комбинация 16 + 14 слогов:

- 16 Косил ми|ленок на лу|гу, просил те|семку голу|бу:  
14 Λ Дай, ми|лашка, поно|сить, Λ весе|лей *будет* ко|сить!

Б. 114

Последняя из обнаруженных групп четырехдольника четвертого — **24-сложные** частушки; они построены на комбинации 12 + 12 слогов, рифмы односложные и трехсложные:

- 12 Аэро|план Λ ле-е|тит, моторчик |но-ове-ень|кий,  
12 Уехал |в а-арми-и|ю мой черно|бро-ове-ень|кий.

Я. 60

На этом мы заканчиваем обзор ритмических структур народных частушек, систематизированных по четырем видам четырехкратного четырехдольника, а в пределах каждого вида — по слоговым подвидам группам. По недостатку места здесь не проведена разбивка внутри каждого подвида на типовые структуры. Для полноты картины следует вкратце остановиться на некоторых своеобразных формообразованиях, это — частушки-трисстихи, частушки-моностихи и частушки с полудольными слогами.

Судя по изученным сборникам, **трисстихи** наблюдаются лишь среди дореволюционных частушек, практикой советского времени они не поддержаны. Трисстихи однообразны по своей конструкции, по ритму и интонации. Среди них нет ни одной плясовой частушки. Все они относятся или к первому или к третьему четырехдольнику. Вот образец трисстиха:

- 15 | Я вечер ве|черовала, | *одну* думу | думала. Λ |  
14 | Милый шел и | не зашел, Λ | огонек за|дунула, Λ |  
14 | Огонек за|дунула, Λ | о другом за|думала. Λ |

Б. 117

Богата и разнообразна группа **моностихов**, которые известны под названием «страданий». Их записывают обычно двустроичием, ритмологически же каждое «страдание» представляет собой законченный тактометрический период, моностих. Подавляющее большинство моностихов относится к третьему четырехдольнику, мало их приходится на первый и четвертый четырехдольники и единичные образцы принадлежат второму четырехдольнику. Ниже приводятся примеры моностихов по всем четырем видам четырехдольника.

Первый вид:

- 14 | На чужой сто|ронушке Λ | заклюют во|ронушки. Λ |

С. 52

Второй вид (единственный пример):

- 16 Гар|моньница, раз|бавница, раз|бавь мое стра|даньце.

Б. 183

Третий вид:

- 16 *Давай*, | милка, *страдать* | вместе, я в гар|монью, *а ты* | в песни.

С. 50

16 Голо|систая гар|монья унес|ла мое здо|ровье.

Б. 184

16 Течет | речка, крутой | берег, а лю|бовь дороже | денег.

К. 92

Ч е т в е р т ы й в и д:

16 Я припа|ду к сырой зем|ле, отец род|ной, возьми к се|бе!

Б. 185

17 Ой, по до|роге пыль клу|билась, мальчик | шел, а я влю|билась.

К. 92

Приведенные моностихи по своей ритмике ничем особенным не отличаются от обычных частушек-дистихов. Однако среди «страданий» мы находим заметную группу моностихов необычайной технологической конструкции — это ритмическая инверсия на рифмах и на клаузулах, проводимая систематически. В результате получается очень приятный интонационно-ритмический рисунок — явление, непонятное с точки зрения силлабо-тонической теории стиха и наблюдаемое, кроме того, в грузинском стихе под названием «высокий шаири». Такие моностихи обнаружены лишь в сборнике частушек В. Бокова, они встречаются среди четырехдольников первого и третьего видов.

Вот несколько примеров первого вида, каждый период сплошь 16-сложный:

16 | Я страдаю, | не вѣрится, | любовь наша | изменится. |

Б. 184

16 | Шила кистет, | трудилась, | подарила — | влюбилась. |

Б. 183

16 | Проводила | милёночка, | сама пошла | тихóнечко. |

Б. 189

Резка́ ритмическая инверсия в моностихах с мужскими клаузулами (четырёхдольник третьего вида):

16 По на|роду глазки | нуцц́, неза|метно кого | ищ́.

Б. 188

16 Как я | вспомню об нѣм, | об нѣм, мое | сердце огнѣм, | огнѣм.

Б. 190

Среди частушечных четырехдольников первого и третьего вида встречаются миниатюры, в которых наряду с краткими и долгими слогами имеются **кратчайшие слоги**, занимающие половину доли. Чтобы понять ритмико-слоговую структуру элементной группы четырехдольника с полудольными слогами, нужно представить себе, что в ней в данном случае помещается пять слогов, из них два занимают одну долю. Полудольные слоги обладают фонетической легкостью, они состоят из гласной или из сочетания согласного и гласного (мо, за, ру, де и т. д.). В четырехдольнике полудольные слоги могут быть распределены следующим образом, при разной акцентировке отдельных слогов:  $\cup\cup\cup\cup = \cup\cup\cup\cup$ ,  $\cup\cup\cup\cup$ ,  $\cup\cup\cup\cup$ .

В частушках первого четырехдольника полудольные слоги занимают преимущественно последнюю долю краты ( $\cup\cup\cup\cup$ ), акцентируется третья доля (полудольные слоги отмечены дужкой сверху):

15 | Батюшка, от|дай, отдай, в со|гласную се|меюшку,  $\wedge$  |

16 | Чтоб меня не | обижали, мо|лоденькую | девушку.  $\wedge$  |

С. 39



15 | Ты, подруга | моя Шура, — | легкое наз|ваньице. Λ |

16 | Без тебя, мо|я подруга, не | выйду на гу|ляньице. Λ |  
Я. 170

15 | Ой-ё, ой-ё, | ретивоё, | маменька ро|димая,

17 Ко|го любила, | проводила за | морюшко за | синее. Λ |  
В. 294

А вот четырехдольник третий с полудольными слогами, расположенными в середине краты (◡-◡◡◡ и ◡-◡◡◡):

16 Разре|шите вы, ро|дители, с комсо|мольцами гу|лять, Λ  
15 Комсо|мольцы нас на|учат книги | Ленина чи|тать. Λ

З.-М. 12

15 Дайте | лодочку не|крашену, не|крашено вес|ло. Λ

16 Вниз по | реченьке по|еду куда пла|точек унес|ло. Λ  
Я. 145

9 Эх, Λ | я-абло-оч|ко, Λ раззо|ло-оче-е|но, Λ

14 Ты, Ан|танта, не фор|си, пока не ко|ло-оче-е|на! Λ  
С. 65

Последняя частушка интересна тем, что в ней совмещены все структурные долготы — долгие, краткие и кратчайшие, т. е. двухдольные, однодольные и полудольные слоги.

Наряду с долгими и полудольными слогами в частушках обращает на себя внимание другое, противоположное явление: обращение двусложия в односложие вследствие выпадения одного из гласных. В поэтике подобные случаи называются *эллипсом*. Наиболее употребителен в народной поэзии слоговой эллипс в словах, имеющих приставку «пере», которая в этом случае принимает форму «пер»:

12 | Коммуни-ис|та любить — Λ | надо перме|ни-иться, Λ |  
13 | Крест на шее | не носить, Λ | богу не мо|ли-иться. Λ |

З.-М. 12

15 | Медицинска|я сестрица | в беленькой ко|сыночке, Λ |  
15 | **Пер**вяжи ско|рее рану | моему кар|тиночке! Λ |

В. 319

Наблюдаются и другие формы гласного эллипса:

15 | Я пойду да | **пер**едену | кофту подне|бесную. Λ |  
15 | Ты зачем же | завлекал ме|ня неинте|ресную? Λ |

Я. 202

15 | **Подру**женька моя, | Нюра, вас о|боих **благд**а|рю: Λ  
15 | Тебя, | Нюрочка, за | пляску, тебя, | Ваня, за иг|ру. Λ

С. 15

15 | Я любила | **бор**новать, ко|тора боро|нуется. Λ |  
15 | Я любила | **посто**ять, ко|торый поце|луется. Λ |

В. 114

В последней частушке, помимо слогового эллипса, мы видим фразово-лексический эллипс — выпадение существительных, с которыми согласованы придаточные предложения: в первом стихе — «бороновать землю, которая боронунется», а во втором — «постоять с парнем, который поцелунется». Возможно, что слоговые эллипсы связаны с просторечием.

Однако употребление в последней частушке двойной формы — «борновать» и «боронуется» дает основание полагать, что в данном случае мы имеем дело скорее с народной «поэтической вольностью» (*licentia poetica*). Можно также предположить, что отмеченные выше примеры слогового эллипса — ритмического происхождения, в прозе или в говоре они не встречаются. Здесь, по-видимому, два смежных полудольных слога обращаются в один однодольный слог, т. е. вместо, например, «*Первяжи скорее рану*» | ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ | ◡ ◡ ◡ ◡ | произносится «*Первяжи скорее рану*» ◡ ◡ ◡ ◡ | ◡ ◡ ◡ ◡ |.

Совершенно необходимо сделать несколько замечаний в связи с неправильным пониманием форм народной частушки и особенно по поводу многочисленных фактов вульгаризации этой народной миниатюры.

Как показано выше, ритм каждой частушки протекает в границах одного из четырех контрольных рядов четырехкратного четырехдольника. Между тем в некоторых сборниках мы находим иноразмерные четверостишия, идущие в разрез с народной традицией. Так, в упомянутом ранее сборнике «Русское народное творчество в Башкирии» мы читаем такую «частушку»:

У ко|лодца воду | черпала,  
Уро|вила в воду | зеркало.  
Уро|вила — не рас|шиблося,  
Полю|била — не о|шиблося.

п. 270

Размер этих стихов — народный, но не частушечный. Таким размером написаны стихи Н. Некрасова:

Надо мной певала матушка,  
Колыбель мою качаючи:  
«Будешь счастлив, Калистратухка!  
Будешь жить ты припеваючи!»

Здесь *трехкратный* четырехдольник третий, в то время как для частушки нужен *четырекратный* четырехдольник. Вот для наглядности контрольные ряды обоих размеров:

1) ◡ ◡ | ◡ ◡ ◡ ◡ | ◡ ◡ ◡ ◡ | ◡ ◡ ◡ ◡  
2) ◡ ◡ | ◡ ◡ ◡ ◡ | ◡ ◡ ◡ ◡ | ◡ ◡ ◡ ◡

Ошибочность зачисления этих двухстиший в отдел частушек видна из публикации в том же сборнике на стр. 193 песни, которая начинается этими же строками.

Аналогичная ошибка допущена и в газетном очерке П. Кузнецова, который назвал частушкой двустишия в духе тех же некрасовских стихов:

Мы как будто не хозяева, —  
Все зависит от Батяева.  
Он дошел до неприличности  
В возвышеньи своей личности.<sup>8</sup>

Так же неправомерно отнесены к частушкам и стихи в сб. «Русская частушка» (М., 1941), явно построенные в ритме «комаринской» (*трехкратный* четырехдольник третий):

Я сто|яла у со|бора у две|рей — ◡  
Полю|бил меня ко|рявый архи|рей, ◡  
А мо|нахи-то с у|ма ◡ со-ош|ли — ◡  
По со|бору-то пля|сать ◡ по-ош|ли. ◡

с. 130

Неверно утверждение Л. Шептаева во вступительной статье к сборнику «Русская частушка» (Л., 1950), будто сатирическая песенка сибир-

<sup>8</sup> Серьезный урок. «Правда», 1961, № 101 (15591), 11 апреля.

ских партизан про Колчака «Мундир английский, Погон Российский, Табак японский, Правитель Омский» представляет собой частушку. Мотив этой песенки не частушечный и, кроме того, после каждого куплета пелся рефрен: «Ах, шарабан мой, американка, А я девченка да шарлатанка». Ошибочно причисление Л. Шептаевым к частушке двустипия В. Маяковского «Ешь ананасы, рябчиков жуй, День твой последний приходит, буржуй». Трехдольных частушек нет в традиции русского народа.

Отнесение приведенных выше стихов к частушкам, в конце концов, просто ошибка, проистекающая от незнания структуры частушечных форм.

Гораздо печальнее, что в сборники народных частушек проникают в огромном количестве бездарные подделки, а иногда открыто халтурные изделия, компрометирующие советский фольклор и высокое искусство народной поэтической миниатюры. Можно было бы выписать многие десятки таких изделий, свидетельствующих о крайнем упадке художественного вкуса. Для них характерны: серый язык, крайне обедненная поэтика, монотонность примитивных ритмов, однообразная интонация, затрудненная фонетика, неуклюжесть и даже безграмотность фразостроения, отсутствие народного юмора. Я ограничусь немногими примерами, без комментариев:

С неба блещут солнца стружки  
В золотистый водоем,  
Нынче новые частушки  
Громким голосом поем.

Я. 112

Землю всю мы унавозим,  
Что намечено, сполна.  
Урожайность обеспечим  
Севом чистого зерна.

Я. 104

Чушь, что бога родила  
Дева-богородица.  
А что в колхозе ферма есть,  
Спорить не приходится.

Я. 123

Над Советским над Союзом  
Шибко реет самолет.  
Мы работаем ударно,  
Наш колхоз идет вперед.

Я. 88

В нижеследующих «частушках» рифмы или крайне небрежны, или вовсе отсутствуют:

Пронеслась в том крае туча  
Грозной бурей неслась;  
Ворвалась японцев куча  
К нам у озера Хасан.

Я. 63

Конституцию народа  
Обсуждали в звеньях мы.  
Мы теперь забыли горе,  
Мы — хозяйева земли.

Я. 37

Очень смутное представление об искусстве частушки сложилось у стихотворцев — известных и неизвестных. Создать блестящую частушку так же трудно, как написать хороший сонет, а между тем многие думают, что частушка — это просто четверостишие, написанное четырехстопным хореем, с каким-то ерническим содержанием. Таковы, например, следующие строки, названные «частушками»:

С леса листики упали.  
Улетели за откос —  
Одоевская моложа  
Ударяет за колхоз.  
Уж плясал мой Сивка вальс,  
Подо мною до выси вился —  
Сколько сивых сивовались,  
А такой не высивился.

Ничего я не боюсь —  
Я и циркуль выкалю,  
И и лебеда из гуся,  
Коли надо — выхолю.

Зубы белы, губы спелы,  
На мизинце малахит,  
Руса коса до пояса,  
Ветер в пазухе шумит.<sup>9</sup>

В последнем четверостишии великолепная по ритму и фонетике третья строка забежала из народной частушки (см. стр. 122 настоящей статьи).

Считается, что все, что идет от народа, — просто, общедоступно, несложно. На примере частушек мы видим, что это не так. Художественная

<sup>9</sup> Илья Сельвинский. Песни. Журнално-газетное объединение, М., 1936, стр. 39—41.

простота в искусстве сложна по своей природе, эту сложность можно обнаружить лишь на больших глубинах. По сравнению с формами обычных силлабо-тонических стихов ритмика народных частушек кажется слишком сложной, а порой даже непонятной. Происходит это потому, что общепринятая теория стиха построена на примитивных началах в XVIII веке. Это был колыбельный период русской книжной поэзии и ее теории. За двести лет поэзия ушла далеко вперед, теория же застряла на месте и продолжает с серьезным видом играть в детские кубики ямбов и хореев.

Далеко с тех пор ушла и русская народная поэзия, в авангарде которой теперь идет частушка. Как мы видели, ее ритмические формы необъяснимы с точки зрения ямбо-хорейческой теории. Мы рассмотрели около 170 частушек. Что ни частушка — то свой, оригинальный рисунок ритма. Это не музейный гербарий, это — живые цветы из благоуханных садов народной поэзии. По богатству и культуре ритмического строя наши частушки в их лучших образцах превосходят ритмические формы античных стихов.

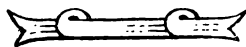
Напомню, что в основе античного гомеровского гекзаметра лежит тот же четырехдольник, на котором основана ритмика наших народных частушек. Но гекзаметр — шестикратный четырехдольник первый, в то время как формы частушек — это четырехкратный четырехдольник четырех видов. В античном гекзаметре были приняты девять модификаций четырехдольника; в нашей частушке их в три-четыре раза больше. Конечно, было бы несусветной глупостью утверждать, будто русские народные частушки выше гомеровских поэм. И в том и в другом случае перед нами результаты длительной артистической работы народного гения.

Можно предположить, что именно предельный лаконизм народной частушки как дистиха привел к тому, что на этой маленькой метрической площадке, на этом «пяточке» русские народные поэты проявили чрезвычайную изобретательность, вскрыв богатейшие ритмические резервы четырехдольника; в противном случае частушка зачихала бы в унылом однообразии «хорейческого» равноритмия, как это мы видим на примерах множества бездарных частушек.

Ритмология стиха русской народной поэзии достойна глубокого интереса и специальных исследований. Мы остановились лишь на небольшом участке народной поэзии — на частушке. Ее строение обязаны знать наши поэты, чтобы перенести элементы жизнерадостной народной ритмики в свои стихи.

Мы ходим по родной земле, не подозревая о том, какие сокровища таятся у нас под ногами.

Частушки, вероятно, непередаваемы на другие языки: их речитативный ритм, то константный, то инверсированный, разнообразная структурно-интонационная долгота в слогах и подчеркнутая метричность общего строя частушечной речи — все это вряд ли может быть выражено в переводах. Замечательный исследователь стиха Б. Томашевский писал: «Интонационный строй речи, нейтрализованный в прозе, приобретает в стихах свое своеобразие и предельную выразительность... Как бы ни был специфичен и своеобразен строй стиха, этот строй принадлежит языку и неповторим за пределами национальных форм речи. В этом причина того, что поэзия остается наиболее национальной формой искусства».<sup>10</sup> Сказанное Б. Томашевским о русском стихе вообще еще в большей степени приложимо к нашей народной поэзии и особенно к частушкам.



<sup>10</sup> Б. В. Томашевский. Стих и язык. Гослитиздат, М.—Л., 1959, стр. 67—68.

## ПОЭЗИЯ НАШИХ ДНЕЙ И ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ

В спорах о современной литературе (особенно о поэзии), о путях ее развития, о современном стиле и т. п. спорящие стороны почти не уделяют внимания такому важному фактору национальных поэтических традиций, как устное народное творчество. Случайно это или закономерно? Решение вопроса требует специального изучения. И мы не беремся дать полный на него ответ. Однако самый факт игнорирования опыта устной народной поэзии и его значения для современности при осмыслении процессов, происходящих в литературе именно наших дней, нам представляется противостественным.

Существует мнение, что поскольку классические формы фольклора в своей основе перестали быть живым, активным участником духовной жизни народных масс, народное творчество вообще утратило или утрачивает свою роль в развитии профессиональной литературы. Приводятся при этом как будто убедительные доказательства, сводящиеся к тому, что фольклор, будучи порождением определенного (довольно древнего) этапа общественного самосознания народных масс, не может в силу своей исторической ограниченности «питать» литературу высокого социального и исторического звучания, постигшую сложные диалектические законы развития человека и общества. В лучшем случае ему отводится роль «стилевого элемента».

История развития советской поэзии неразрывно связана с освоением народно-поэтических традиций. Начиная с первых ее шагов фольклор активнейшим образом воздействовал на выработку многих ее качеств: идейности, демократизма, народности, поэтической красоты и изящества. При этом каждая эпоха диктовала новые методы и формы использования художественного опыта народных масс. Почти все лучшие завоевания русской советской поэзии теми или иными сторонами обязаны этому опыту: то ли в принципах типизации, то ли в жанровой своей характерности, то ли в стиле; иногда же и тому, и другому, и третьему сразу. Достаточно назвать имена поэтов, чье творчество активно питалось традицией фольклора, чтобы представить себе масштабы и многообразие путей освоения национальной народно-поэтической культуры: Д. Бедный, В. Маяковский, А. Блок, С. Есенин, П. Орешин, Э. Багрицкий, М. Исаковский, А. Сурков, А. Прокофьев, Б. Корнилов, П. Васильев, Б. Ручьев, Д. Кедрин, А. Твардовский, Н. Заболоцкий, В. Луговской, В. Лебедев-Кумач, В. Саянов, П. Комаров, Н. Рыленков, А. Яшин, Л. Мартынов, Н. Асеев. Мы назвали только поэтов русских, только старшего поколения и только широко известных!

Мы помним, как в 20-е годы и даже в 30-е многие «теоретики» на основании «несоответствия» старого фольклора современной эпохе отвергали значение народно-поэтических традиций для литературы. Практика опровергла эти прогнозы.

Дело в том, что обращение профессионального искусства к традициям фольклора предшествующих эпох предполагает использование не только

тех форм и видов, которые остаются «живыми» в прямом смысле слова. Все лучшие художественные завоевания человечества никогда не теряют своей активной роли для будущих поколений, остаются предметом учебы, творческого освоения и подражания. Это в равной мере относится как к классической литературе, так и к фольклору, хотя по отношению к последнему вопрос значительно усложняется тем, что в наше время существенно изменились судьбы народного творчества. Изменение характера и даже ослабление связей литературы с народным творчеством в тот или иной период никак не могут служить доказательством якобы исторически преходящего значения народно-поэтических традиций.

Послевоенные годы характеризуются некоторым противоречием между теорией и практикой осмысления и освоения народно-поэтических традиций. В *изучении* прошлого опыта фольклорно-литературных связей (в том числе и по отношению к советской поэзии) этот период — самый плодотворный за все 40 лет советского литературоведения. И дело не только в том, что именно в это время появилось большее количество специальных статей, отдельных сборников и монографий на тему «литература и народное творчество» (в разные эпохи), но и в характере исследования проблемы. При всех недостатках, и даже существенных, литературоведение и фольклористика последних лет в основном отказались от примитивного подхода к вопросам фольклоризма, от элементарных сопоставлений «перекликающихся» цитат и образов. Науку стало интересовать решение главной задачи: выяснение подлинного идейно-эстетического значения народно-поэтических традиций в развитии советской литературы.

В литературной практике мы видим иную картину. По сравнению с предшествующими периодами (30-е годы, Великая Отечественная война) советская поэзия в целом менее интенсивно осваивала опыт устного народного творчества непосредственно. Пожалуй, меньшим стал круг фольклорных жанров, которые брались «на вооружение» поэтами. В наиболее «привилегированном» положении оказалась частушка (не считая пословиц и поговорок). Ее ритмику, живой, энергичный рисунок стиха, ее характерную образность нетрудно различить и в поэмах, и в песнях, и в лирических стихотворениях многих поэтов. И это понятно: частушка — один из наиболее жизненных современных жанров массового народно-поэтического творчества. Путь поисков новых форм и средств выразительности в послевоенной поэзии, к сожалению, недостаточно тесно соприкасался с народно-поэтическими традициями. Трудно, пожалуй, сформулировать главную причину ослабления интереса к народному творчеству в послевоенные годы. Вероятно, правильным будет говорить о комплексе причин. Одной из этих причин являются изменившиеся жизненные условия общества. Широкое «внедрение» профессионального искусства в массы, особенности социальной жизни самого народа способствовали тому, что старые, классические виды и формы фольклора действительно стали занимать все меньшее место в духовной жизни современника. Особенно это коснулось деревни — главного «поставщика» фольклора. И это все не может, разумеется, не влиять на формирование эстетических вкусов художника. Правда, здесь нужно говорить и о некоторых искусственно создававшихся препятствиях для развития традиционного в народных массах поэтического слова (влияние вульгарно-социологических «теорий» о национальном и социалистическом искусстве, трудности развития колхозной деревни, стремление многих собирателей фольклора и культработников выдать за советский фольклор ложно-пафосные поделки и полное игнорирование подлинного народного творчества и т. д.).

Поэт, в чьем сердце запечатлелась вся нелегкая история нашей страны, особенно деревни, Александр Твардовский совсем не случайно среди многих других примет обновления нашей жизни в последние годы

чутко уловил как «знак» «жданных перемен» душевную народную песню, донесшуюся откуда-то «с дальнего покоса» «в тиши вечеровой»:

Ах, песня в поле, — в самом деле  
Ее не слышал я давно,  
Уже казалось мне, что пели  
Ее лишь где-нибудь в кино...

И на дороге, в темном поле,  
Внезапно за душу схватив,  
Мне грудь стеснил до сладкой боли  
Тот грустный будто бы мотив...

Я эти малые приметы  
Сравнил бы смело с целиной  
И дерзким росчерком ракеты,  
Что побывала за Луной...<sup>1</sup>

Другая причина ослабления у многих поэтов внимания к фольклору кроется в некоторых особенностях поэзии наших дней. В результате серьезных изменений в духовной жизни советского человека, обусловленных разоблачением культа личности и всего отрицательного, что с ним было связано, поэты несравненно более широко и более глубоко, чем раньше, обратились к анализу и переосмыслению своего места в общенародной борьбе, своего отношения к недавнему прошлому, своих задач и смысла творчества. Индивидуальная судьба поэта стала предметом более пристального внимания, раздумий — в отличие, скажем, от поэзии Отечественной войны и 30-х годов. Обнаружилось все большее тяготение к так называемой медитативной лирике. Ясно, что народное творчество с его тяготением к общему оказывается здесь менее приспособленным, чем в тех случаях, когда литературой решаются какие-то большие, общенациональные задачи.

По-видимому, имели значение и слишком упрощенное порою истолкование важнейших проблем творчества — о связи поэта с современной действительностью, о сущности лирики и поэзии вообще (теория самовыражения и др.), и особенности жизненных вопросов, волновавших поэтов, и многое другое. Немалый вред принесли и выступления некоторых литераторов в конце 40-х — начале 50-х годов об изучении народного творчества советского периода и об отношении фольклора к современности. Эти выступления посеяли зерна скептицизма к народному творчеству вообще.<sup>2</sup> Однако именно борцы за отражение духа современности в искусстве, старающиеся стоять не затылком, а лицом к будущему, более всего оказались в плену упрощенных представлений о связи времен и культур. Поставим простой вопрос: может ли истинный художник, как бы ни был он своеобразен и как бы ни соотносился с прошлым его, личные вкусы, может ли он игнорировать Гомера, Данте, Шекспира, Гете, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Маяковского, Блока, Есенина и вообще достижения всех предшественников? Нет, конечно, если он не поставил перед собой сознательной цели не быть истинным поэтом. То же следует говорить и о богатейшем наследии фольклора. Фольклор — это ведь не просто «ой ты, гой еси», «добрый молодец» и «красна девица», как примитивно думают некоторые современные ревнители культуры. Фольклор — это поэтическая история народных масс, социальных поисков, заблуждений и

<sup>1</sup> А. Т. Твардовский, Собрание сочинений в четырех томах, т. III, Гослитиздат, М., 1960, стр. 349. В дальнейшем ссылки приводятся в тексте.

<sup>2</sup> Справедливо воюя против модернизации отживших поэтических форм, некоторые поэты и критики стали настойчиво пропагандировать однобокую и потому неверную мысль о плодотворности развития в наши дни лишь чисто литературной художественной традиции. Наиболее полно выражена эта точка зрения в статьях И. Сельвинского и Н. Леонтьева.

надежд, наконец, история развития народного мышления. И именно поэтому он питал сотни лет профессиональное искусство, целью которого было служение народу. Особенности этого мышления обнаруживаются не только и, может быть, даже не столько в отдельных мотивах, образах и сюжетах фольклорных произведений, сколько в самом художественном слове, характере поэтической образности в целом. И если присмотреться к творениям лучших русских художников, начиная с древности и кончая сегодняшним днем, то можно увидеть эту народно-поэтическую основу не только у тех, кто и в более тесном смысле слова связан с фольклорной традицией. Не все это, к сожалению, понимают. Многие поэты (особенно младшего поколения) в поисках новых форм, отвечающих «требованиям эпохи», стали обращаться к различным литературным традициям вплоть до модернистских и демонстративно игнорировать национальные народно-поэтические традиции. Последнее объясняется как ложными теоретическими представлениями, так и попросту плохим знанием культурного наследия своего народа.

Мы не склонны преувеличивать эти факты, но еще более — преуменьшать. Они не случайно вызывают серьезную озабоченность у писателей старшего поколения. В выступлениях выдающихся современных советских художников — М. Шолохова, Л. Леонова, А. Твардовского, М. Исаковского и других — мы всегда находим ценные признания об огромном значении для творческой практики русского народного творчества. Поэтому в призывах ряда писателей старшего поколения изучать фольклор, обогащаться его опытом нет ни малейшего намека на архаизацию нашей литературы. Опасность подстерегает с другой стороны.

Е. Пермитин справедливо писал, указав на постоянную заботу М. Горького об освоении писателями богатств народного творчества:

«Я вынужден вспомнить эти слова великого писателя сейчас, потому что уже на Втором Всесоюзном съезде писателей о них совсем не вспоминали докладчики.

Должен вспомнить и потому, что литература последних лет, особенно творчество молодых литераторов, в своем небрежении к „певучему, сверкающему самоцветами“, по определению... Сергеева-Ценского, „замашистому, кипящему и животрепещущему русскому слову“ зашла очень далеко...

Отрыв от житворных истоков народного творчества лишает искусство жизненности и размаха, уводит к формалистическим или натуралистическим извращениям».<sup>3</sup>

Осознавая это пренебрежение многих современных писателей к народному творчеству, В. Саянов призывал их не к отвлеченному признанию его прав на существование, а к конкретной и постоянной работе над народным поэтическим словом. «Это, — писал он, — великолепная школа для писателей. К сожалению, к фольклору нет должного интереса в нашей литературной среде...

Не было на Руси великого писателя, который не принадлежал бы губами к чистейшему роднику народного образного слова. Не то теперь. Каждый год мы отправляем в творческие командировки наших писателей, и почти никто из них не привозит фольклорных записей. А ведь процесс народного творчества непрерывен, ... рождаются новые жанры, образное слово приобретает зачастую новое звучание и живая русская речь обогащает десятками новых смысловых оттенков старые, коренные слова русского народа. Почти весь этот огромный, самой жизнью творимый, замечательный материал остается вне круга наблюдений многих наших писателей».<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Е. Пермитин. Искрометное народное слово. «Литература и жизнь», 1958, № 111, 17 декабря.

<sup>4</sup> Виссарион Саянов. Статьи и воспоминания. «Советский писатель», Л., 1958, стр. 90.



В еще большей мере это относится к изучению классического фольклора.

А между тем устная народная поэзия и для современных поэтов может служить хорошей школой не только в общеэстетическом отношении, но и в чисто техническом. Известный знаток русского стихосложения А. Квятковский совершенно справедливо писал: «Былинная форма стиха, видимо, не подходит к нашей современности. Но другие народные жанры, и в особенности лирическая поэзия, заключают в себе ритмы бесподобной красоты. Поэты не используют национальное богатство стиховых форм, каким не обладает ни одна литература в Европе. Это тема особая, очень важная, и говорить об этом нужно в специальной статье. Коротко лишь отмечу, что метрика русского народного стиха представляет собой изумительное по самобытности явление, достойное самого тщательного изучения».<sup>5</sup>

В статье «Русское стихосложение», новаторской по своему существу (и, к сожалению, не оцененной по достоинству в нашей критике), А. Квятковский,<sup>6</sup> очень убедительно опровергая сложившиеся неверные теории русского стиха, доказывает на материале классической и советской русской поэзии мысль о глубоких национальных истоках всех важнейших открытий в области метрики. Отсылая читателя к указанной статье, а также к другой, более ранней работе того же автора,<sup>7</sup> обратим лишь внимание на то, что сделанный А. Квятковским пересмотр основ русской просодии опирается на следующее принципиально важное положение: «Наряду с новаторскими опытами многих поэтов, отлично уживаются и традиционные формообразования».<sup>8</sup> Вне учета опыта русской народной поэзии ни одним нашим поэтом, внесшим более или менее заметный вклад в национальную поэтическую культуру, не было сделано открытий в области стиха. Около тысячи (по примерным подсчетам) самых разнообразных стиховых форм, разработанных русскими поэтами, коренятся в очень гибкой системе четырехсложных тактов, имеющих огромное количество видоизменений (модификаций), а не в так называемых ямбах и хореях, совершенно чуждых русскому языку.<sup>9</sup> В этом как раз и состоит одна из главных особенностей русского стиха. А четырехсложный такт — это и есть четырехдольники, характерные для русского народного стиха.

Ввиду особой сложности вопроса о традициях устно-поэтической народной метрики в советской поэзии (эти традиции, как правило, воспринимались и развивались не непосредственно, а через многовековое освоение и развитие их русской классической поэзией) мы не можем в пределах настоящей работы рассмотреть соотношение традиций и новаторства в стихе советских поэтов. Но даже и без подробного анализа очевидна выдающаяся роль таких поэтов, как Маяковский, Есенин, Исаковский, Твардовский, Прокофьев и другие, в развитии русского стиха на основе опыта классической и устной народной поэзии.

Сколько было набегов за сорок с лишним лет истории советской поэзии на традиционный («устаревший», «трафаретный», «пассивный», «гладкописный» и т. п.) русский стих вплоть до споров самого последнего времени! Сколько было низвергателей «старых» и открывателей «новых» систем! Но «железные законы» национального языка постоянно корректировали выдумщиков-теоретиков. И всегда оказывалось, что подлинные открытия в области стиха делались лишь в тех случаях, когда поэты ощущали живую связь с духом и закономерностями живого народного языка

<sup>5</sup> А. Квятковский. Наше поэтическое хозяйство. «Литературная газета», 1959, № 40, 2 апреля.

<sup>6</sup> «Русская литература», 1960, № 1, стр. 78—104.

<sup>7</sup> Александр Квятковский. Метрика русского народного стиха. «Литературный критик», 1940, № 5—6, стр. 229—252.

<sup>8</sup> «Русская литература», 1960, № 1, стр. 88.

<sup>9</sup> Не случайно ни один русский поэт не следовал этой догматической теории.

и народной поэзии, давшей прекрасные образцы его использования. Если даже обратиться только к фактам влияния народного творчества на послевоенную поэзию, мы увидим, что при многих неблагоприятных для этого влияния обстоятельствах использование фольклора для решения современных задач было несомненно плодотворным для многих советских поэтов, тогда как прошлые и современные течения модернизма ничем пока не обогатили нашу поэзию, скорее — наоборот.

Именно эти открытые и молчаливые споры о традициях и новаторстве в современной поэзии отчасти обусловили такую особенность, как различная степень интенсивности в освоении опыта устного народного творчества у поэтов разных поколений. В предшествующие периоды такого разделения не было, что объясняется и изменившимися условиями формирования художника. Если для таких поэтов, как Д. Бедный, С. Есенин, М. Исаковский, А. Прокофьев, А. Твардовский, Н. Рыленков, А. Яшин, Б. Ручьев народное творчество было естественной «питательной средой», во многом определившей их эстетические вкусы, то для поэтов следующего поколения (С. Наровчатов, А. Недогонов, М. Дудин, А. Фатьянов, В. Боков, В. Федоров, В. Солоухин и другие) определяющей в духовном воспитании была книжная культура. Однако живое народно-поэтическое слово, коснувшись их уха и сердца в детстве, для многих из них в зрелые годы стало предметом глубокого интереса и оказало немалую услугу в их художественных открытиях.

В значительно меньшей степени оказалось приобщенным к народному творчеству самое молодое поколение поэтов, выступивших примерно с середины 50-х годов. Только некоторые из них ощущают родство с устной поэзией своего народа и умеют не только передать любовь к ней, но иногда и выразить мироощущение современника, опираясь на народные предания, фантастику, ладно и крепко спитое образное слово — пословицы и поговорки (В. Цыбин, Д. Блынский, А. Поперечный, И. Григорьев, И. Варавва, В. Гордейчев и др.).

Не в одинаковой мере обнаружилось у поэтов разных поколений и стремление к поискам новых форм и путей освоения народно-поэтических традиций.

Поэты старшего поколения, вступившие в литературу в 20-е и начале 30-х годов, оставаясь верными своим эстетическим принципам, выработанным ранее, конечно, не повторяли себя. Напротив, лучшими из них создано все наиболее значительное в послевоенной советской поэзии. Не заостенели они и в своем отношении к устному народному творчеству. И хотя, как правило, народно-поэтические традиции не занимают в их произведениях последних лет такого большого места, как в предшествующие годы, когда формировалось их творчество и складывались основы советской поэзии в целом, многое из написанного ими не могло появиться без длительной и подлинно вдохновенной работы над народно-поэтическим словом. Это относится и к поэме «За далью — даль» А. Твардовского, и к поэме «Юность», циклу стихов «Заречье» и книге «Приглашение к путешествию» А. Прокофьева, и к сборникам Н. Рыленкова «Жажда», «Корни и листья», и к другим поэтическим книгам послевоенных лет. Здесь, в свою очередь, как всегда, обнаруживаются различные тенденции в привлечении традиционно-фольклорных форм для более полного и более глубокого воспроизведения духовного мира современника и нашего стремительного цивилизованного века.

На творчестве ряда поэтов, много поработавших над освоением народно-поэтических традиций и в результате много сделавших для развития советской поэзии, можно видеть, что отход от фольклоризма или ослабление его (т. е. ослабление прямых фольклорных связей и ассоциаций в произведениях поэта) не отменяют принципиальной близости образно-поэтического строя их произведений характеру художественного мышления народных масс.

Вот, например, поэма А. Твардовского «За далью — даль». Это произведение огромной поэтической силы, глубокого народного дыхания, произведение, вобравшее исторический опыт и духовную мощь нашего народа. В предшествующих своих поэмах, осмысляя целые исторические этапы народной жизни в ее главных, самых существенных чертах, Твардовский исключительно многообразно и талантливо использовал народное поэтическое творчество. В последней поэме почти нет следов фольклора. Ни ее сюжета, ни композиции, ни структуры образов традиции устной народной поэзии прямо не коснулись. А между тем мы постоянно чувствуем народно-поэтическую «школу» в идейно-образной системе поэмы, а значит и в самом характере мышления автора.

В самом деле. Случайно ли поэтический образ Волги, так великолепно развернутый в поэме, образ, символизирующий могучие творческие силы нашего народа, величие родины, оказывается сродни именно тому, который создан в народных массах:

Пусть реки есть — их даже много —  
Но Волга-матушка одна!

И званье матушки носила  
В пути своем не век, не два —  
На то особые права —  
Она, да матушка Россия,  
Да с ними матушка Москва...<sup>10</sup>

(III, 260)

\*Случайно ли вдруг в повествовании о суровой, несправедливо сломленной судьбе друга детства всплывает мотив широко известной народной песни «Глухой, неведомой тайгой», а сама эта горькая судьба оценена словно бы устами самого народа, протестующего против собственных устаревших принципов и оценок:

Легка ты, мудрость, на помине:  
Лес рубят — щепки, мол, летят.  
Но за удел такой доныне  
Не предусмотрено наград.  
А жаль!..

(III, 288)

Разве ради фольклорной экзотики появляется в главе «Так это было» народно-поэтический образ старушки-смерти, неподвластной даже сильным мира сего?

Эти и многие другие мысли поэмы, выраженные как будто в традиционных поэтических образах, исключительно современны и всякий раз приобретают дополнительную эмоциональную нагрузку и более расширительное значение, чем их конкретное содержание. В них слышится не только авторский голос, но отзвуки миллионов голосов. Это сам народ видит, судит, обобщает.

Можно ли говорить на этом основании, что фольклоризм поэмы «За далью — даль» есть высший этап по сравнению с фольклоризмом «Страны Муравьи», «Василия Теркина» и «Дома у дороги»? Нет, по-видимому, дело здесь в органическом чувстве меры, диктующем необходимость либо прямого привлечения народно-поэтического образа, либо опосредованного, либо вовсе отказа от него. И в том, и в другом, и в третьем случае Твардовский остается поэтом глубоко народного склада, образное мышление которого сродни художественному мышлению народных масс.

Если присмотреться к поэтической работе А. Прокофьева послевоенных лет, еще более заметной станет тенденция отойти от прямого исполь-

<sup>10</sup> Ср. в русских народных песнях, пословицах и поговорках: «Волга — матушка-река», «Волга — всем рекам мать», «Москва — всем городам мать» и т. п.

зования мотивов, образов и поэтических приемов народного творчества. Тот упрек в стилизации, который критика часто высказывала Прокофьеву ранее, к его стихам последних лет относить было бы несправедливо. В поэтических циклах «Сад» и «Заречье», в книге «Приглашение к путешествию» прокофьевская муза с наибольшей полнотой обнаружила свою народно-песенную суть. Здесь много можно было бы сказать о том, как, продолжая развивать лучшие стороны своей творческой практики, Прокофьев во многих своих произведениях 50-х годов достигает новых поэтических вершин и открывает новые возможности использования народных традиций искусства слова. Несомненной в этом смысле заслугой самого Прокофьева в послевоенный период является утверждение оригинальной песенно-лирической поэзии, в которой слились и переплавились самобытные интонации и образность народной песни и русской частушки.

Вместе с тем послевоенное творчество Прокофьева опровергает распространённое мнение (относящееся не только к Прокофьеву), будто так называемая стилизация фольклора неминуемо приводит к обеднению самой действительности. В книге «Приглашение к путешествию» нет стилизации народной песни или частушки. Но в ней, как и во многих предшествующих произведениях поэта, действительность отразилась лишь одной своей стороной, так сказать — идеальной. Романтически приподнятым предстает главный образ книги — образ советской России, незамутненно светлым и радостным — образ нашего современника. Характер мироощущения поэта таков, что в его книге не нашли отклика сложные, трудные вопросы нашей послевоенной действительности, воспевание родины нередко переходит в романтическое любование отвлеченными ее приметами («Мой лазоревый цветок...» и другие). Вспомнив поэзию Прокофьева 30—40-х годов, мы видим, что тема России, проходящая через всю его лирику, решается в том же «ключе»: необъятности, вечности и красоты. И тут Прокофьев неповторим. Но, как часто бывает, достоинства переходят в недостатки. Порой создается впечатление, что многие стихи рождались не в результате душевной потребности человека, обеспокоенного чем-то в реальной жизни, а по литературной инерции. Лишь когда поэт по-настоящему взволнован сегодняшним днем (например, в разделе «Разговор по душам»), он создает мудрые и истинно поэтические стихи, оставаясь поэтом органически народного склада.

По тому же пути развивались связи с народно-поэтическими традициями и в послевоенном творчестве Н. Рыленкова. Этот период, особенно последние годы, оказался для Рыленкова, как и для Прокофьева, не только исключительно плодотворным, но и по-особому значительным, обозначившим как бы новое рождение поэта. Его книги «Жажда», «Листья и корни» и другие открывают перед читателем мир чувств и переживаний русского человека, прошедшего вместе со своим народом большой и трудный путь от революции до наших дней. Поэтому на всех его раздумьях лежит печать трудов, подвигов и забот, выпавших на долю народа, первым выступившего на борьбу за новую жизнь и испытавшего немало невзгод, лишений и побед. Стихи Н. Рыленкова, дарование которого обнаружилось еще в 30-е годы, в последнее время поражают зрелостью и глубиной гражданских чувств, возросшим мастерством и чуткостью к живому народному слову.

Прямых переключек со сказочными, былинными и песенными мотивами и образами теперь в стихах Рыленкова стало несравненно меньше. А в тех случаях, где это обнаруживается («Снегурочка», «Народ всему свой мудрый счет ведет», «Сколько грусти было» и другие), связи идей и образов, созданных поэтом, с народно-поэтическими оказываются глубже и мы бы даже назвали философичнее. В образах, вобравших многовековой опыт народа, поэт умеет разглядеть глубокий поучительный смысл, важный и для наших дней. Разве не наполняется, например, многозначитель-

ным содержанием именно для современников, советских людей, старинное народное изречение, послужившее основой небольшого стихотворения Н. Рыленкова:

Народ всему свой мудрый счет ведет,  
 Им все по справедливости рассудится.  
 Сказав: «В страду неделя кормит год», —  
 Добавит: «Год на ту неделю трудится».<sup>11</sup>

Интересный материал для выяснения роли устной народной лирики (песни, частушки) в укреплении песенного образно-интонационного строя современной русской поэзии дает и поэзия Б. Ручьева, хотя принципиально нового в освоение фольклорных традиций Б. Ручьев не вносит. Стихи и поэмы Б. Ручьева, поэта тяжелой личной и творческой судьбы, начиная с первой его поэтической книги — «Вторая родина» (1932), лишней раз подтверждают мысль о плодотворности длительного контакта поэта с народным творчеством независимо от основной тематики его поэзии. Песенно-частушечные интонации и образность прекрасно служат и лирическим, и производственно-рабочим стихотворениям и поэмам Б. Ручьева.

О неограниченности и неисчерпаемости путей и форм обращения к фольклору свидетельствует и то, что в послевоенных произведениях некоторых поэтов, далеких от вышеназванных не только по тематике, но по творческому методу, мы видим следы упорных поисков новых принципов освоения народно-поэтических традиций. Мы имеем в виду В. Луговского и Л. Мартынова.

Свой, оригинальный путь переосмысления фольклорных образов и мотивов нашел В. Луговской в книге поэм «Середина века». Чаще всего сказочное, легендарное входит в эту книгу для усиления передачи тех необыкновенных впечатлений, которые возникали у человека — свидетеля грандиозных событий и потрясений в истории XX века. Однако в отличие от многих поэтов (например, Демьяна Бедного), ставивших иногда такие же цели в использовании фольклорных мотивов (по принципу: вот было в сказке, а вот реальная действительность), В. Луговской не идет по пути простых, пусть даже остроумных и верных, сопоставлений. Роль фольклорных элементов в книге Луговского более сложна и мы даже сказали бы усложнена. Вот, например, в поэме «Сказка о дедовой шубе» поэт изображает Россию периода реакции, наступившей после поражения революции 1905—1907 годов. В сущности, изображения эпохи нет, передана лишь тяжелая, словно осенние тучи, атмосфера российских «джунглей». Автор избрал оригинальный и, как нам кажется, удачный способ реализации замысла: через сопоставление мироощущения главного героя поэмы — мальчика и гостей, представителей передовой русской интеллигенции, собравшихся под Новый год у его деда. Отрывочные реплики, короткие диалоги взрослых о современных событиях (столыпинская реформа, смерть Менделеева и т. п.), а главным образом грезы ребенка, забравшегося в дедову шубу для игры и ощутившего вдруг под влиянием «душного воздуха меха» «звериный дух оврагов и лесов», чудесный мир веселых и злых обитателей чащоб — вот не столь уж сложная и как будто несколько странная сюжетная основа поэмы.

В самом деле, какое, казалось бы, отношение имеют к изображению эпохи такие переживания маленького героя:

От неба до земли лучи гуляют.  
 Те лучики натянуты, как нити,  
 И это будто там, где я родился,  
 Из этих сосен вышел и тропинок,  
 И бел-горюч заветный русский камень  
 Лежит на полдороге, и в глуши  
 Подземное растет лесное пенье.

<sup>11</sup> Николай Рыленков. Жажда. Изд. «Молодая гвардия», М., 1961, стр. 89.

Раскинул руки я, и все пошло:  
Холодные текут на север реки;  
И тучи богатырские восходят.  
Стоит избушка на куриных ножках,  
Ключи гремят, и родники бормочут,  
Берестяные ковшики лежат  
У сорока ключей.<sup>12</sup>

Какая связь между подобными картинами, возникающими в воображении мальчика (а они в центре внимания автора), и репликами взрослых, обеспокоенных современными событиями? Как будто никакой. А вместе с тем именно эти картины, навеянные народной поэтической фантазией, вступают как бы в незримый спор с действительностью. Детский сказочный мир противостоит страшной реальности и одновременно является отдаленным намеком на приход чудесного будущего. С другой стороны, фантастические, волшебные образы и мотивы словно аккомпанируют словам и настроению героев.

Кошмарные видения обступают мальчика:

И позади встает  
Кровавый месяц в три земных обхвата,  
И черный волк на нем перебегаёт,  
Не может черный выбежать из круга  
И мечется по огненному кругу,  
Хватается зубами за края.

(стр. 18)

И вдруг обрывок разговора гостей:

— Столыпинская Дума. Хутора.  
Петля Столыпина. Террор кромешный.  
Доколе это будет продолжаться?  
Доколе будет изнывать Россия?

(стр. 18)

Внутренняя связь образов здесь безусловна.

Конец поэмы образно-логически завершает раздумья и заботы героев:

— Опять аресты?  
— Да, опять аресты!  
А где Ульянов? — Кажется, ушел.  
Через Финляндию в Стокгольм. — Неужто?  
Суровый ум! Острейший человек!

И сразу же:

Тут месяц заиграл в кувшинках белых,  
Плеснули щуки, укатились тучи,  
Грибною сырью дунуло из лесу,  
И колокол ударил в третий раз.

(стр. 19)

Завершение детской фантазии традиционным волшебным-сказочным предзнаменованием<sup>13</sup> переводит как бы в обобщенно-символический план беседу героев. И от этого сами реальные факты приобретают особую значительность в художественном повествовании.

В поэме «Эфемера» полусказочные, легендарно-мифологические ассоциации и образы, напротив, усиливают неопределенность и туманность содержания произведения. Поэт настолько усложнил эти мотивы, что фан-

<sup>12</sup> Владимир Луговской. Середина века. Книга поэм. «Советский писатель», М., 1958, стр. 15. Далее ссылки приводятся в тексте.

<sup>13</sup> Часто в волшебных сказках перелом или исход в развитии событий обозначается подобными знаменьями («И вот в третий раз пропел петух» и т. п.).

тастические картины приобрели неопределенно-символический характер: реальная борьба революционеров в период нэпа, мироощущение ее участников оказались где-то в туманной дали, на первый план всплыла отвлеченная романтическая мечта:

...теперь я пью за сказку!  
За сказочность незыблемых законов,  
Чьи имена: борьба, разлука, жизнь!

(стр. 55)

Вряд ли это заключение помогает понять упрятанный автором за семью печатями смысл поэмы о необыкновенности, сказочности тех свершений, которые, по представлению поэта, были содержанием трудных и противоречивых первых мирных лет революции.

Несмотря на совершенно явные издержки в использовании фольклорных традиций, идущие часто от умозрительно-субъективного характера повествования (нарочитая усложненность народно-поэтических образов, вычурность и пр.), В. Луговской нашел в своей книге поэм новые принципы привлечения народной поэзии как средства раскрытия художественного замысла. Романтический пафос всей книги, частое обращение поэта к символическим, отвлеченным образным и историческим параллелям, а рядом с этим — открытая публицистичность стиля определили особенности преломления народно-поэтической традиции. Фантастическое входит в поэму как бы на равных правах с реалистическим, одно сменяет другое, смешивается, переплетается друг с другом. И только в итоге выясняется подчиненная роль одних элементов (сказочных) другим (идущим от реальной действительности).

... Посылаю

Свои окрепнувшие за день мысли  
На поиск правды и на берег сказок.

(стр. 62)

В этих словах, взятых из поэмы «Дербент» и передающих конкретное душевное состояние поэта, выражен, думается, и главный принцип повествования в книге. «Берег сказок», к которому частенько приплывает его поэтическая ладья, должен не уводить от правды действительности, а приближать читателя к пониманию ее — в этом творческий принцип Луговского как автора «Середины века». И если мы всмотримся в образную структуру поэм, то увидим, что сказочность, фантастичность обнаруживаются не только в тех местах, где есть прямые упоминания фольклорных образов и мотивов, но и в характере поэтических образов вообще. Это можно видеть во многих поэмах книги, но особенно явственно в таких, как «Сказка о дедовой шубе», «Эфемера», «Сказка о печке», «Сказка о том, как человек шел со смертью» и других. В них поэт создает аллегорические сюжеты и образы, чтобы придать своей мысли более обобщенный и даже философский характер. Показательна, например, поэма «Сказка о печке». Она следует после поэмы «Дербент», навеянной таким трагическим событием в истории XX века, как приход Гитлера к власти. «Сказка о печке» — это философские раздумья автора по поводу этого факта. Но раздумья эти выражены не в прямой форме, а в сказочно-аллегорической. В воображении поэта, как бы задумавшегося у горящего камина над происходящим, возникает по ассоциации своеобразный фантастический мир мелькающих, танцующих, суесящихся и погибающих «жарких духов»; среди них — «король», который понимает, «что слишком быстро рушатся стропила», и сожалеет «о быстротечном пламени на сучьях», но — сам дитя тех же эфемерных «изменений» — он ясно видит: «... он погибнет Совместно с искрометным государством, ... Когда в печурке кончатся дрова»

(стр. 72). Довольно прозрачные аналогии в этих образах не являются, однако, самоцелью автора. Мысль поэта идет дальше:

И если, как всегда, подумать молча,  
То в мире все — огонь и чистота.  
Пойдем скорей на волю, дорогая,  
Посмотрим на царя в снегу вишневом,  
На снеговое это государство,  
Пока его не скинул воробей  
С малютки ветки, черной от заката,  
Или не съела быстрая капель.  
Но миллионы лет ложится снег  
На злые ветви кленов оголенных.  
И возникают снежные столицы  
С веселыми и бодрыми людьми.  
Жизнь всюду побеждает, даже в сказке.

(стр. 72)

«Огонь и чистота» — истинные хозяева жизни, все остальное неизбежно погибает.

Характер раздумий и умозаключений в этой поэме во многом объясняется тем, что она писалась уже в послевоенные годы. Может быть, отчасти поэтому (чтобы не оказаться простым информатором минувших исторических событий) Луговской обратился к форме образно-аллегорической. Именно эта форма придала повествованию более расширительный смысл, относящийся не только к Гитлеру и гитлеровскому государству, но и им подобным в наши дни. Правда, сама аллегория, фантастика этой (как и других) поэмы в силу слишком усложненно-субъективной трансформации сказочного приобретала черты, близкие уже не столько русской народной сказке или былине, сколько фантастическим рассказам Гофмана. Но в отличие от мрачных и прихотливых фантазий последнего, удививших от реальной действительности в мир иллюзорной мечты, аллегорическо-сказочные образы и сюжеты в книге Луговского подчинены задаче экспрессивно-поэтического и философского проникновения в реальные общественно-исторические закономерности. Его образы никогда не превращаются в болезненные призраки, но «обузданы» железной логикой конкретно-исторического мышления. Не всегда это вполне удавалось поэту, иногда, как мы видели, сказочная фантастика не проясняла, а затемняла замысел автора.

В некоторых поэмах Луговской слишком мудрствует, целиком подменяя реалистическое повествование какими-то неопределенными аллегориями, расплывчатыми образами или просто словами-намёками, так что теряются грани между живым человеческим ощущением и призраком, а в результате остается неясным и главный смысл произведения, его философская основа оказывается мнимой (см., например, «Сказку о сне»). Однако в целом нельзя не оценить смелость и оригинальность использования Луговским народно-поэтических принципов в произведениях открыто публицистического и философского содержания.

Близким Луговскому путем в освоении народно-поэтических традиций идет Леонид Мартынов. Поэт, которого, так же как и Луговского, в целом нельзя отнести к той группе советских поэтов, для которых народное творчество было духовной колыбелью и большой школой поэтического мастерства, Л. Мартынов в ряде произведений, однако, не обошелся без прямого и довольно широкого обращения к фольклорным мотивам и образам. Если у Луговского рассудочность, умозрительность являются следствием открытого, активного гражданского пафоса и тенденции к философскому осмыслению объективных закономерностей истории, то у Мартынова эта рассудочность, логизирование часто проникнуты



узко личным, субъективно-психологическим мироощущением. Как справедливо выразился один критик, «болезнь мнимой многозначительности», постоянное подчеркивание своего новаторства нередко сопровождаются у Мартынова нагромождением книжных ассоциаций, «словесных завитков» и «словесных ужимок».<sup>14</sup> Многие стихи и образы Мартынова настолько субъективны, что теряют реальный смысл, и это делает его поэзию во многих отношениях чуждой эстетическим нормам и принципам народного творчества. Однако в лучших своих стихах Л. Мартынов отходит от этой поэтической нарочитости, от оригинальничания — и тогда перед нами встает серьезный мастер, поэт ищущий и неутомимый, стремящийся понять и художественно вскрыть сложности и противоречия в интеллекте современного человека. Поэт часто задумывается над причинами и истоками тех или иных явлений в психике своего современника, над их связью с общими закономерностями развития природы и общества. И характерно, что когда он стал осмыслять великую всенародную битву — Отечественную войну, он обратился не к книжным и очень субъективным ассоциациям, как это чаще всего бывает у него, а к былинно-сказочному прошлому народа.

Вышедшая в 1945 году (и написанная в основном в период войны) книжка стихов Л. Мартынова «Лукоморье» в смысле поисков новых путей и форм освоения фольклорных традиций — явление интересное, своеобразное.

Поэт приглашает читателя следовать за ним в созданную его поэтическим воображением прекрасную страну Лукоморье:

Я уеду туда, где горят изумруды,  
Где лежат под землей драгоценные руды,  
Где шары янтаря тяжелеют у моря!  
Собирайтесь со мною туда, в Лукоморье!  
О! Нигде не найдете вы края чудесней!<sup>15</sup>

Поэт предвидит возражения скептиков:

— Лукоморье? Изволите звать в Лукоморье!  
Лукоморье отыщете только в фольклоре!  
А бездельник в своей полосатой пижамке,  
Хохотал: — Вы воздушные строите замки!

(стр. 6)

Но он настойчив и уверен. И вот перед читателем открывается дивная страна, богатая рубинами и изумрудами, степными просторами и необозримыми стадами... Многое необычно в этой стране: подсолнух путешествует, деревья запросто разговаривают с поэтом («Подсолнух», «Деревья»). Однако это только аллегории. Это «страна» поэтических вымыслов, творческих тревожений поэта, его «языческой» любви. И не только любви. В диалоге с деревьями мы слышим самое заветное, почти программное признание автора:

Но, — вам я сказать без смущенья осмелюсь, —  
И сам я горел, чтоб другие согрелись!  
И я топором был под корень подрублен,  
Но не был погублен, я не был погублен!  
И сам я летел оперенной стрелою.  
Я знаю грядущее, помню бывшее!

<sup>14</sup> А. В. Македонов. Очерки советской поэзии. Смоленское книжное издательство, 1960, стр. 183—193.

<sup>15</sup> Леонид Мартынов. Лукоморье. Стихи. «Советский писатель», М., 1945, стр. 5. Далее ссылки приводятся в тексте.

Сказали деревья: \
 — Ты должен бояться,  
 Что люди, прислушавшись, станут смеяться,  
 Как ласково ты побеседовал с нами,  
 О, ты, одержимый волшебными снами!  
 Запели деревья:  
 — Мы это оценим!  
 Ты с нами хорош. Мы тебе не изменим.  
 Мы примем тебя в хоровод шелестящий,  
 О, ты, на деревья с любовью глядящий!

(стр. 23—24)

Лукоморье не только в душе поэта. Его ответы ложатся и на реальные образы: «белой Вологды» (стихотворение «Вологда»), удивительных мастериц-кружевниц («Кружева»), «северной Руси» («Дивная страна»). Как и Владимир Луговской, который признавался в книге «Середина века»:

О, сколько лет я, жадный, добиваюсь,  
 Чтоб сделался обычный мир волшебным —

(стр. 229)

Леонид Мартынов стремится выявить в реальной действительности черты необыкновенного, чудесного. Отсюда и своеобразие использования сказочного:

Сказка здесь над былью властуй!  
 Различить вас не берусь.

(стр. 31)

Вот почему прошлое—сказочное поэт часто рассматривает с вышки сегодняшнего понимания и, наоборот, современность освещает светом далекого, легендарного прошлого. Непринужденно «беседуя» с пращуром о его сказочном Лукоморье, автор вдруг сразу обращается к своему современнику:

Лукоморье!  
 Где оно?  
 Не участвую я в споре  
 Тех ученых, что давно потеряли Лукоморье  
 На страницах старых книг, в незаписанном  
 фольклоре. —

Знаю я: где север дик,  
 Где сполоха ал язык —  
 Там и будет Лукоморье!  
 Там, у дальних берегов, где гремят морские воды,  
 Где восстали из снегов возрожденные народы —  
 Лукоморье там мое!  
 Там стоит, в стократ богата,  
 Ошраясь на копье, а быть может, на ружье,  
 Молодая дева Злата.  
 Я не знаю, кто она —  
 Инженер или пастушка,  
 Но далекая избушка, что за елками видна,  
 снова сказками полна.  
 Здравствуй, дивная страна!

(стр. 33—34)

Так свободно поэт разговаривает с прошлым и настоящим, сказочным и действительным. Что это? Поэтическая прихоть? Красивость? Думается, что автор далек здесь от подобных соблазнов. Желание передать ощущение единства времен, нераздельности легендарного и реального, народной мечты в прошлом и нашей современности — вот главная цель поэта. Особенно характерны в этом отношении произведения об Отечественной войне. В поэме «Лукоморье» былинные и исторические герои и их подвиги не только перекликаются с народными делами и помыслами военной поры, но и через толщу веков обращают свой голос к героям со-

временности, скликают их на бой. В поэме «Найду я дорогу в Москву» сам автор мысленно предстает то в облике Добрыни на «грузном коне», к которому обращаются советские люди:

Добрыня! Ты близко? Мы ждем!  
Наш терем сожег лютый враг,  
Ты снова нам дом возведешь —

(стр. 62)

то в образе «строителя палат», мчащегося «на поезде скором», чтобы восстановить пострадавшие города... Сегодняшний и даже завтрашний день немислим без вчерашнего.

Я здесь! Я в былом! Я в грядущем!  
Я всюду! Я буду везде!

(стр. 65)

В. Луговской и Л. Мартынов, несмотря на порою слишком субъективные восприятие и интерпретацию фольклорных мотивов, в некоторых отношениях расширяют (по сравнению даже с такими поэтами, как Д. Бедный, М. Исаковский, А. Прокофьев, Н. Рыленков и другие) возможности использования народно-поэтических традиций в современной поэзии, хотя эти традиции и не сыграли столь значительной роли в формировании и развитии таланта названных поэтов. Примечателен и сам факт, что эти «книжные» поэты обратились к народному творчеству.

Поэты среднего поколения<sup>16</sup> (А. Недогонов, А. Фатьянов, В. Боков, С. Наровчатов, М. Дудин, В. Федоров, В. Замятин и др.) в освоении традиций народного творчества шли в основном по пути своих предшественников. Однако именно в силу того, что обращение к фольклору диктовалось всякий раз конкретными художественными задачами, народно-поэтические элементы и мотивы в их творчестве выполняли особую роль и приобретали оригинальные черты. Иногда даже в произведениях, имеющих существенные недостатки, этот фольклоризм придавал поэтическим картинам живость и жизненную достоверность. Так, например, в большинстве поэм, появившихся в конце 40-х—начале 50-х годов, в период расцвета культа личности, авторитарности мышления, бесконфликтности, послевоенная действительность выглядела настолько удручающе подлакированной, а конфликты настолько мелкими, что, пожалуй, самым отрадным в этих произведениях была та живишка, которая западала в них от народной песни, частушки, прибаутки, острого и меткого народного словца («Весна в „Победе“» и «Колхоз „Большевик“» Н. Грибачева, «Алена Фомина» А. Яшина, «Рассвет над Онегой» А. Чуркина, «Зеленый заслон» Вл. Замятина и др.). Это в некоторой мере относится даже к такому талантливому произведению, как поэма А. Недогонова «Флаг над сельсоветом». У авторов было, однако, стремление к более или менее широкому воспроизведению народной жизни, быта и нравов простых советских тружеников. И хотя ложное понимание некоторых основных вопросов взаимоотношения литературы и действительности не позволяло им полностью реализовать свои замыслы, кое-что сделать удалось, например в обрисовке края, нового героя (образ Алены Фоминой в поэме А. Яшина). Классические и современные народно-поэтические формы играют в этих поэмах активную художественную роль.

Приведем лишь один пример.

В отличие от многих эпических произведений второй половины 40-х годов поэма «Флаг над сельсоветом» Недогонова и до наших дней не потеряла своего художественного значения. Алексей Недогонов, один из

<sup>16</sup> Термин, разумеется, условный.

самых талантливых поэтов, созревших на войне, сумел создать замечательную и своеобразную песню победы. Исследователь творчества поэта В. Тельпугов рассказывает:

«Помнится — встретившись (после победы, — П. В.) с друзьями, обняв своих родных и близких, он, захмелев от счастья, как в полусне, все повторял одно и то же слово: сказка, сказка, сказка. . .

И когда позднее он прочел нам первые страницы своего „Флага“, мы поняли, что образ замечательной русской сказки не случайно так „околдовал“ его в час победы. Зачин поэмы „Флаг над сельсоветом“ — поэмы о победителях — был задуман именно как сказочное повествование о русских чудо-богатырях, о их силе и славе, о их негибавшем босвом духе».<sup>17</sup>

Но эта сказочность не нарочито искусственная, она продиктована самой действительностью, характером мировосприятия нашего современника, которому ощутимо близки идеалы и образы поэтической фантазии его народа. Недогонов так тонко объединяет сказку с былью, что поэма воспринимается одновременно и как реалистическое повествование о легендарном сегодня и как сказочно-романтический рассказ о наших сугубо земных делах и людях.

В самом деле, начало поэмы напоминает скорее былинный зачин, чем обычный поэтический рассказ о путешествии на трофейном коне возвращающегося с победой старшины.

От зари и до зари  
через сотни синих рек  
сквозь чужие пустыри  
едет, едет человек.

Тишина оглушена,  
бьют копыта в тишине:  
едет, едет старшина  
по Европе на коне.<sup>18</sup>

Но былинно-сказочный мотив звучит лишь в начале поэмы. «Сказочная поездка старшины еще продолжается, — справедливо замечает В. Тельпугов, — но сказка незаметно, исподволь уже перешла в быль — в нее влились мотивы реалистические, и перед нами уже не просто чудо-богатырь, а реальный, живой человек, хотя и награжденный более чем богатырской — чудодейственной силой и волей к победе».<sup>19</sup>

Повествование развивается в сугубо реалистическом плане, но запев сделал свое дело: следя за событиями и столкновениями героев в послевоенной жизни, читатель все время ощущает их недавнее легендарное прошлое и таким образом получает дополнительные эмоциональные критерии для оценки поведения героев. Это ощущение усиливается далее тем, что автор на протяжении всей поэмы различными художественными средствами поддерживает в читателе чувство контакта с народным взглядом на изображаемые события. И тут существенным оказывается и мастерски введенное живое народное словцо, и умело, к месту примененная ритмика частушки или песни, и яркий народно-поэтический образ. Старинные фольклорные формы (былина) оказываются в умелых руках не чуждыми новейшим современным (частушка) и вместе прекрасно работают на современную профессиональную поэзию. А поистине мастерское и во многом непохожее, например, на прокофьевское владение Недогоновым богатствами частушечной ритмики открывает новые возможности в освоении профессиональной поэзией поэтики народного стиха и должно стать темой особого рассмотрения.

<sup>17</sup> Виктор Тельпугов. Алексей Недогонов. Критико-биографический очерк. «Советский писатель», М., 1958, стр. 81—82.

<sup>18</sup> Алексей Недогонов. Избранное. Изд. «Молодая гвардия», М., 1953, стр. 6.

<sup>19</sup> Виктор Тельпугов. Алексей Недогонов, стр. 83.

Так же и даже, пожалуй, еще более скрытно разлита народно-поэтическая стихия в творчестве Василия Федорова. В. Федоров редко обращается к фольклорным источникам и нигде не подражает им. Но в ряде его стихотворений и поэм («Проданная Венера», «Золотая жила», «Корни», «Любовь и хлеб», «Полынь-трава» и др.) идейно-эстетические идеалы автора и героев и даже конкретные образы оказываются настолько близкими народно-поэтическим, что при знакомстве с ними невольно ощущаешь их родство, хотя затрудняешься провести зримые параллели. Это обнаруживается прежде всего в понимании смысла жизни (как повседневной и естественной для человека трудовой деятельности), красоты и ценности человека, в неукротимости и удали человеческой натуры, а иногда даже в чисто внешних качествах (ловкость, сила). Могучий богатырь дед Левонтий, бурлак, непоседа, унесший с великой Волги к вольным сибирским рекам свою силушку, чтобы она разметнулась талантом строителя и «рудознатца» («Корни»); молодой, «лицом и телом ладный» сибиряк Харитон, играющий кувалдой словно молотком, «лошадь зашибавший кулаком», духом непокорный и гордый своим человеческим достоинством («Золотая жила»); даже так называемый лирический герой некоторых стихотворений, получивший в наследство «страсть к труду и страсть к дорогам новым», дающий клятву служить «и верою и правдою» родной земле, по-народному судящий тех «очистившихся» от пережитков, которые, «презирая труд», сидят и ждут коммунизм:

Ведь вы же нашу жизнь крадете  
Как сок земли —  
Полынь-трава!<sup>20</sup> —

все эти образы В. Федорова, созданные, разумеется, на основе реальных прототипов, в то же время освещены далеким светом народных представлений о красоте человека.

В плодотворности обращения современного поэта к мелодике и ритмике народной песни убеждает и творчество Михаила Дудина последних лет. Нельзя сказать, чтобы в предшествующих своих произведениях М. Дудин обнаруживал тяготение к народной поэзии. Но вот в последней своей поэме «Останется любовь» (1961) поэт обратился к песенным народным традициям, и его яркий талант засверкал новыми гранями. Поэма не только вся льется словно песня во славу большой человеческой любви, не только ее интонационный строй оказывается сродни протяжным русским песням, но и образы, нарисованные в ней (матери героя, любимой девушки, образ юности), перекликаются с образами многих народных песен. Так, образ матери, возникший в памяти поэта, навеян не только реальным прототипом крестьянки, но и теми идеально-светлыми и чистыми образами женщины, которые созданы в народной лирике.

И мать, — как лебедь, бережком  
С крыла стряхнув росу, —  
Расчесывает бережно  
Тяжелую косу.

И солнечные полосы  
И зайчики ребят.  
И золотые волосы,  
Как водопад, — до пят.

И синих глаз сияние.  
И теплых рук полет.  
То взлет, то замирание, —  
Всплголоса поет.

<sup>20</sup> Василий Федоров. Не левее сердца. Изд. «Советская Россия», М., 1960, стр. 26.

Как волос, голос стелется  
И замирает вновь:  
«Все в мире перемелется,  
Останется любовь».<sup>21</sup>

Нет, М. Дудин нигде не стилизует, нигде не «архаизирует» современность, воскрешая в памяти читателя мотивы, образы и мелодии народной песни. Поэт нигде не допускает прямых переключек с фольклором, а вместе с тем во многом именно благодаря талантливому постижению автором народно-песенного склада и лада все произведение приобрело большой эмоционально-лирический накал, своеобразную романтическую окраску.

Внимание М. Дудина к народной песне, в том числе и солдатской, обнаруженное им в последние годы, проявилось и в стремлении к собственно песенному творчеству. Его «Солдатская песня» приобрела широкую популярность среди советских воинов. Думается, что у Дудина есть большие возможности сказать новое поэтическое слово на основе дальнейшей творческой «дружбы» с народной поэзией.

Довольно широкое распространение в послевоенной поэзии получила традиция художественной обработки народных мотивов и сюжетов. Среди подобного рода произведений есть ряд очень удачных, подлинно поэтических: «Сказка о мертвом камне» В. Солоухина, «Легенда о золотом ключе» В. Заводчикова, «Верность», «Журавли», «Три сердца» В. Цыбина, «Легенда об Орле» Д. Блынского, «Мельница счастья» В. Гончарова и другие. Однако при всех порою замечательных качествах этих произведений мы не можем сказать, что, подобно «Песне про купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова и «О двух великих грешниках» Н. А. Некрасова, «Песне о великом походе» С. Есенина и «Зодчим» Д. Кедрина, все они прочно связаны с современной действительностью, поднимают большие, жизненно важные социальные проблемы. Эти произведения говорят о большой любви их авторов к народной поэзии, напоминают современникам о поэтической душе русского народа в прошлом, ставят какие-то общие вопросы (о человеческом счастье, о художественном творчестве), но они часто либо слишком прозрачно назидательны, либо не очень оригинальны, либо лишены большой художественной впечатляемости.

Среди произведений, написанных по мотивам фольклора, особого внимания заслуживает поэма С. Наровчатова «Василий Буслаев» (1960). Эта поэма примечательна тем, что, имея перед собой блестящие образцы произведений и Рылеева, и Лермонтова, и Некрасова, и Есенина, и Кедрина, поэт пошел своим путем и создал на основе народно-поэтического источника не просто реалистическое произведение на историческую тему, но волнующий поэтический рассказ о русском характере. Главная проблематика поэмы (личность и народ) целиком обращена в нашу современность. Не противореча самому духу народного творчества, С. Наровчатов в то же время смотрит на прошлое глазами нашего современника и тем самым как бы перекидывает мостик между историей и нашей эпохой, между поэтической народной фантазией и реальностью.

Поэма «Василий Буслаев» получила заслуженно высокую оценку в критике. Это действительно одно из наиболее талантливых поэтических произведений последних лет. Мы не можем не согласиться с критиком, который пишет:

«Живое ощущение поэтом традиций русской революции и русской культуры ярко проявилось в поэме о Буслаеве. С. Наровчатов воссоздаст национальный характер русского народа, пусть и на материале далекой древности. Но такого проникновения в коренные основы народного мышления прошлых эпох поэзия давно уже не достигала. . .

<sup>21</sup> «Нева», 1961, № 1, стр. 108.

Думается, мы не погрешим против истины, если скажем, что эта полуисторическая, полупоэтическая, полулегендарная по материалу поэма глубоко современна в своей проблематике. Тема личности и общества раскрыта здесь с необыкновенной глубиной, во всей сложности своей и диалектичности».<sup>22</sup>

Оставляя в стороне подробное рассмотрение поэмы в целом и особенностей преломления в ней традиций, мы лишь подчеркнем, что даже произведение, целиком навеянное устным народным эпосом, может поднимать круг глубоких социальных и философских проблем нашей современности, если только художник остается гражданином своей эпохи, своей нации и использует традиции не внешне. С. Наровчатов избежал и архаизации и модернизации как в трактовке характера главного героя, в решении основной проблематики, так и в средствах поэтической образности. С этой точки зрения поэма представляет собой высокий образец органического слияния традиционного и современного даже в поэтике стиха. Поэма написана выразительным современным языком, ее стиль ни в чем не повторяет ни стиля былин, ни стиля народной песни или раешника. И в то же время в самой образности и интонациях стиха Наровчатов очень тонко передает атмосферу эпохи, специфический характер мышления героев.

Кто кого? Чья взяла?  
Чей почин? Чья дела?  
Господин Великий Новгород  
Бьет во все колокола...

Хоть бы голь одна,  
Что пьяным-пьяна,  
Хоть бы сотни две удалцов-молодцов,  
Хоть бы два конца, но все пять концов,  
Но от бражников до степенных купцов  
Все на улице;  
Все люгуются —  
Кто с кольем,  
Кто с дубьем,  
Кто с орасивой,  
Кто с бревном, кто с доской,  
Кто с хвалой,  
Кто с хулой,  
С наговоркою и напраслиной,  
Поминают сегодня весь день-деньской  
Имя звонкое Васьки Буслаева!..<sup>23</sup>

Так начинается поэма. А далее, умело используя художественные средства различных народно-поэтических жанров — то былинный торжественный строй речи, то раешный речитатив, то песенный удалой напев, автор многокрасочно рисует картины далекого прошлого и не только делает их близкими и дорогими своим современникам, но и с их помощью разговаривает с читателем о судьбах своего народа.

К сожалению, такого рода поэтических опытов в послевоенной поэзии слишком мало. И самое главное — поэты робко или неохотно обращаются к богатейшим во всех отношениях народно-поэтическим традициям, когда непосредственно касаются современности. Вот почему, например, молодая лирическая поэзия последнего времени почти не соприкасается с народным творчеством, а в некоторых произведениях поэтов среднего и старшего поколений «фольклорное» выглядит иногда упрощенным и внешним. Современная лирика, развивающаяся по пути углубления социально-философского содержания, обязывает поэтов искать какие-то новые принципы освоения народно-поэтического опыта.

<sup>22</sup> Григорий Левин. Современность и традиции. «Литература и жизнь», 1961, № 20, 15 февраля.

<sup>23</sup> Сергей Наровчатов. Стихи. «Советский писатель», М., 1960, стр. 198.

Это же относится и к песне. Общеизвестно, что послевоенная поэзия не дала такого богатого репертуара массовой песни, как это было в 30-е и 40-е годы, хотя над песней работали многие поэты. Собственно массовых песен (таких, как «Летят перелетные птицы» и «Ой, цветет калина» М. Исаковского, «Где же вы теперь, друзья-однополчане» А. Фатьянова, «Дороги» и «Гимн демократической молодежи» Л. Ошанина, «Ходит по полю девчонка» Н. Рыленкова и др.) было создано действительно мало. Развивалась в основном песня романсного типа («Пой, моя хорошая» и «Грустные ивы» А. Жарова, «А я люблю женатого» и «Песенка молодых соседей» Н. Доризо, «За дальнею околицей» Г. Акулова и другие).

Из поэтов старшего поколения наиболее активно в жанре песни работали М. Исаковский и А. Чуркин, продолжая осваивать традиции народной лирической песни. Ими был написан ряд текстов, ставших подлинно народными песнями. Но принципиально нового в развитие массовой советской песни они внесли значительно меньше, чем в предшествующие годы.

Особого внимания как песенник заслуживает в послевоенные годы Алексей Фатьянов. Поэт, умерший в самом расцвете творческих сил, Фатьянов был песенником по самой сути своей поэзии, автором массовых песен по преимуществу. Уже песни, написанные им в годы войны («Ничего не говорила», «Где ж ты, мой сад», «На солнечной поляночке», «Давно мы дома не были» и особенно «Соловьи»), утвердили за ним славу чуткого песенного лирика. В последующие годы многие его песни, самые разнообразные по своему характеру, становятся подлинно массовыми и среди них такие, как «Где же вы теперь, друзья-однополчане», «Наш город», «Золотые огоньки», «В городском саду», «На крыльчке твоём» и другие. Народно-поэтические традиции в песнях Фатьянова внешне как будто менее заметны, чем, например, в песнях Исаковского, но совершенно бесспорна органическая их близость народной лирике. Исаковского можно считать прямым учителем Фатьянова-песенника. И песенная школа Исаковского определила в целом характер связи его песен с народным творчеством. Однако Фатьянов не был подражателем своего старшего собрата по перу; он — вполне оригинальный поэт, в том числе и в освоении фольклорных традиций. Его песни «литературнее» песен Исаковского, но в них и внутренний лирический пафос утверждения идеалов прекрасного в человеке и его взаимоотношениях с другими, и своеобразие раскрытия душевных качеств героев (соотношение лирического и юмористического), и даже многие особенности поэтического стиля — все связано с народной песенной лирикой. Песни Алексея Фатьянова говорят о том, как неистощимы пути и формы плодотворного воздействия народной поэзии на развитие современной массовой песни. Истинный подъем песенной культуры возможен, по нашему глубокому убеждению, только на пути творческого, т. е. всякий раз нового, постижения современными поэтами и композиторами богатств народной песни.

Случайно ли, что среди молодого поколения наших поэтов не намечается ни одного поэта-песенника? Нет, не случайно! Этот вопрос заслуживает особого разговора. Однако совершенно очевидно, что увлечение значительной части поэтической молодежи ломкой мелодического строя русского стиха, а отсюда безразличное, а в ряде случаев пренебрежительное отношение к народной песне не может не оказывать отрицательного влияния не только на создание современной массовой песни, но и на дальнейшие судьбы русского стиха в целом. Ведь даже ораторский стих, характерный для русской поэзии от Державина до Маяковского, не противостоит общему гармоническому строю нашей национальной системы стихосложения. Иные же современные поэты ради «оригинальности» и «новаторства» начинают даже бравировать, говоря словами А. Прокофьева, «расхристаным» стихом, который, как выразился А. Твардовский, не что



иное, как «езда со спущенными вожжами, утрата ритмической дисциплины стиха, проще говоря, не поэзия».<sup>24</sup>

Конечно, не вся поэтическая молодежь заражена этим модным поветрием. Некоторые молодые поэты тяготеют к народному поэтическому творчеству, любят его, знают не понаслышке.

Сколько сказок, сколько песен  
В память просится! —

признается поэт Игорь Григорьев.<sup>25</sup>

Тут сказки ты узнаешь  
Только здешние,  
«Матаню» нашу встретишь  
Только тут.

Сам петь захочешь,  
Наши песни слушай, —

обещает Дмитрий Блынский, приглашая читателя в свой родной край — Орловщину.<sup>26</sup>

Однако в целом нельзя сказать, что в творчестве молодых народно-поэтические традиции играют такую же роль, как в становлении и развитии таланта поэтов старшего поколения. Молодые поэты редко берут «на вооружение» художественный опыт народных масс, хотя случаи их обращения к этим традициям подтверждают плодотворность и реальную необходимость учебы современных поэтов у фольклора.

Укажем лишь на один пример.

По всеобщему признанию, одним из наиболее талантливых молодых поэтов является Владимир Цыбин. Критики по-разному оценивают различные стороны дарования поэта, но все они сходятся в том, что стихам Цыбина свойственна серьезность содержания, оригинальная и сочная образность, ритмическое богатство. Более впечатляюще, чем многие его сверстники, Цыбин умеет передать краски и запахи родного края, самобытный склад характера своих героев, проникнуть в национально-исторические корни их психики. Именно народное творчество служит ему одним из источников более глубокого и многоцветного воспроизведения прошлого и настоящего. Это касается не только тех произведений, в которых автор прямо идет от народной легенды, сохраняя даже название «легенда» в качестве подзаголовка («Гнедок», «Верность», «Журавли», «Три сердца»), но и тех, где прямых переключек с фольклором нет (поэмы «Бабье лето», «Две крови» и др.). Народное творчество умело используется молодым поэтом и как достоверный материал для познания истории родного края, психического склада народа. Фольклор зачастую подсказывает ему не только верный выбор общественно важных сюжетов, но и пути художественной реализации замысла: в одном случае — форму легенды о святом чувстве казака к родной земле («Журавли»), в другом — задорную частушечную ритмику, позволяющую убедительнее нарисовать образы героев шахтерского поселка («Из поэмы „Обвал“»), в третьем случае — меткую пословицу или просто народное образное слово. Если с этой точки зрения проанализировать творчество Цыбина, начиная с проблематики его произведений и кончая образной системой, языком, мы увидим, что оно выгодно отличается от поэзии многих его сверстников. И немалая в этом заслуга принадлежит народному поэтическому творчеству, которое он любит и понимает, у которого учится секретам мастерства.

<sup>24</sup> А. Т. Твардовский, Собрание сочинений в четырех томах, т. I, стр. 13.

<sup>25</sup> Игорь Григорьев. Родимые дали. Стихотворения. Лениздат, 1960.

<sup>26</sup> Дмитрий Блынский. Иду с полей. «Советский писатель», М., 1959, стр. 16.

Значит ли это, что современные поэты (особенно молодые), чтобы создать подлинно художественные произведения, обязательно должны обращаться к фольклору? Так упрощенно понимать роль фольклора в развитии литературы было бы грубой ошибкой. Может быть, в будущем, как это и было в русской поэзии до сих пор, сохранится линия развития, особенно близкая народно-поэтическим традициям. Но главное будет состоять в том, чтобы поэты учитывали весь опыт развития русской поэзии и роль в этом процессе народного творчества как части национальной культуры. Для обогащения же языка, его изобразительно-живописных возможностей обращение к фольклору просто необходимо. Именно в народном творчестве, верно заметил еще Пушкин, как нигде поэтическая сила и красота нашего языка получили подлинно «русское раздолье».<sup>27</sup>

Употребление терминов «обращение» к фольклору, «использование» художественного опыта народных масс и т. п. несколько условно, так как не всегда и не для всех писателей это прямое «обращение» к народно-поэтическим традициям обязательно. Во многих случаях, особенно в тех, когда художник ощущает органическую близость своего творческого метода идейно-эстетическим идеалам народных масс, фольклоризм проявляется как бы стихийно: поэт несет в себе эти идеалы и принципы и свободно реализует их в своих произведениях. И, как правило, такой фольклоризм наиболее глубок.

Отсутствие глубокого знания и понимания народно-поэтического наследия всегда будет открывать простор для поверхностного восприятия многих современных явлений, в том числе и духовного облика советского человека, тысячами незримых нитей связанного с прошлым, с национальными традициями, выработывавшимися веками.

Послевоенная советская поэзия в целом еще не нашла те новые принципы и возможности освоения народно-поэтических традиций, которые бы соответствовали решению возросших и усложнившихся задач, стоящих перед современной литературой. Но, как мы видели, поиски не приостановились и возможности обогащения нашей поэзии за счет освоения национальных поэтических традиций не исчерпаны. Вслед за большим русским советским писателем Леонидом Леоновым, обращавшимся к своим собратям по перу, мы не раз готовы повторить: «Умейте благоговейно слушать народную речь. Для нас, литераторов, не может быть слаще музыки. Это такая же радость, как сидеть у родника и следить за игрой живых подземных струек. Какая многогранность народной жизни слышится порой в ее кажущемся иному снобу қосноязычии!»<sup>28</sup>

Как неисчерпаем в своей меткости и образности русский язык, так безграничны и пути проникновения образно-поэтического народного слова (пословиц, поговорок, речений и иных народно-художественных форм) в профессиональную литературу. «Как на крыльях, они перелетают из века в век, от одного поколения к другому, и не видна та безграничная даль, куда устремляет свой полет эта крылатая мудрость» — пишет о народных пословицах и поговорках Михаил Шолохов,<sup>29</sup> и мы вправе отнести эти слова ко всему лучшему, что создано в течение многих столетий нашим талантливым народом в устной поэзии.



<sup>27</sup> Цит. по: Пушкин и Горький о народном творчестве. Пособие для учителей средней школы. Учпедгиз, М., 1938, стр. 9.

<sup>28</sup> Леонид Леонов. Талант и труд. «Правда», 1956, № 92, 1 апреля.

<sup>29</sup> Пословицы русского народа. Сборник В. Даля. Гослитиздат, М., 1957, стр. III.

# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

В. МАЛЫШЕВ

## ИСТОРИЯ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ ЖИТИЯ ПРОТОПОПА АВВАКУМА

Исполнилось сто лет со времени первой публикации Жития протопопа Аввакума.<sup>1</sup> Напечатание памятника письменности знаменует собой как бы второе его рождение. Но для иных произведений их жизнь на этом и обрывается, заканчивается на первом издании. Другие с каждым годом все больше и больше приобретают известность, перешагивают национальные границы, становясь памятниками мировой литературы. К последним относится и автобиография протопопа Аввакума — произведение, получившее ныне всемирное признание.

По единодушному заключению большинства исследователей, Житие Аввакума было написано около 1675—1676 годов. С этого времени началось его проникновение в читательскую среду, правда, сначала ограниченную небольшим кругом особо доверенных лиц, но потом все более и более расширяющуюся.

К сожалению, мы не имеем сведений о том, каким образом переправлялись тексты Жития из Пустозерска «верным людям», кто были эти бесстрашные посредники, которые с большим риском для себя (ведь за сношения с Аввакумом грозила тюрьма или смертная казнь), тайно, по частям, перевозили писания Аввакума его последователям, сохранив этим потомству замечательный памятник древнерусской литературы. Некоторые из этих сильных, самоотверженных людей были и первыми читателями Жития.

В конце XVII века автобиография Аввакума уже приобрела известность в среде старообрядцев, переписывалась и переделывалась ими (об этом говорят дошедшие списки). Последующие поколения сторонников старой веры еще более усердно размножали в копиях главное сочинение своего учителя. В настоящее время известно более 50 рукописных текстов Жития (его трех редакций и одной особой переделки). Они находятся теперь в государственных архивохранилищах; несколько списков имеется у частных лиц. Понятно, что это лишь небольшая часть из всего того, что было переписано и размножено.

В XVIII веке, когда сведения о Житии протопопа Аввакума впервые проникают в печать, оно было распространено только в рукописных списках, тайно ходивших среди старообрядцев, и вне их круга известно было немногим. Первое более или менее отчетливое упоминание о нем в печати обнаруживается почти сто лет спустя после его написания, да и то не в научном труде, а в литературном произведении. В ученые труды, как увидим ниже, сведения о Житии Аввакума проникли значительно позднее. Объясняется это прежде всего, по-видимому, тем, что доступ в те годы к Житию не старообрядцам был очень нелегким.

Наиболее раннее, нам известное, упоминание Жития Аввакума находится в майской книжке «Парнасского щепетильника» М. Д. Чулкова за 1770 год.<sup>2</sup> Здесь М. Д. Чулков в статье «Продается стихотворец лирический», описывая деда бездарного лирического поэта, дает сатирический образ старообрядца, противника всего нового и слепого приверженца старинных обычаев и понятий. Высоко чтя подвиг протопопа Аввакума, этот старовер в знак уважения к своему вероучителю носил перстень с искусно вделанной в него частью ногтя с указательного пальца Аввакума. На воротае кафтана он имел другую реликвию: большую красную запонку с вырезанным на донышке именем протопопшицы. А самое главное, дед поэта, по словам М. Д. Чулкова, «все житие Аввакумово помнил наизусть. Рассказывая оную во всякой беседе с прегорькими слезами, а особливо, как сей угодник их страдал под батогами и под всяким орудием, которым его за дурачество стягали».<sup>3</sup>

Несколько позднее тот же М. Д. Чулков в сатире на какого-то знатного купца-старообрядца, возможно в свое время очень известного деятеля и пропагандиста старой веры, опять называет Житие Аввакума и даже сообщает, как внешне выглядела эта книга.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Автобиография протопопа Аввакума. «Летописи русской литературы и древности», кн. VI, 1861, стр. 117—173.

<sup>2</sup> «Парнасский щепетильник», ежемесячное издание, 1770, май, стр. 31—32.

<sup>3</sup> Там же, стр. 32.

<sup>4</sup> «М. Д. Чулков» Жизнь некоторого мужа и перевоз курьезной души его чрез Стикс реку. Новое издание. СПб., 1791. Автором этого произведения некоторые

Этот купец, в какой бы обстановке ни появлялся, всегда «в руках держал житие Протопопа Аввакума, книгу толщиною по крайней мере в восемь вершков».<sup>5</sup> В другом месте «Жизни некоторого мужа...» Меркурий, один из лодочников-перевозчиков в царстве мертвых, советует этому старообрядцу для облегчения своей участи пойти к судье подземного царства Мивосу и рассказать ему «житие Аввакумово, он это любит».<sup>6</sup> Снова упомянут «обыкновенно» неподпоясанный кафтан старика, украшенный при вороте большой запонкой, но теперь уже с ногтем Аввакума, а не с именем протопопицы.<sup>7</sup>

Из приведенных примеров, как нам кажется, можно заключить, что М. Д. Чулков знал Житие Аввакума не понаслышке, а читал его, оно было у него в руках. Он не только приводит название этого произведения, но и сообщает некоторые сведения о его содержании — о побоях, наносимых Аввакуму, и о протопопице, хотя имя ее даже не упомянуто. Больше того, самое название его произведения — «Жизнь некоторого мужа...» — и центральный образ старообрядческого начетчика, возможно, были в какой-то мере подсказаны ему знакомством с Житием. «Жизнь некоторого мужа...» это сатира не только на конкретного старообрядца, но и на Аввакумово Житие с его главным героем, на старообрядческих «святых». Житие Аввакума направило М. Д. Чулкова на эту полемическую тему и дало ему хороший материал для нее. Таким образом, перед нами один из ранних примеров использования автобиографии Аввакума в художественной сатирической литературе.

Что М. Д. Чулков обнаруживает знакомство с содержанием Жития, подметил еще Ф. И. Буслаев. Комментируя то место «Парнасского щепетильника», в котором сообщается о побоях, наносимых протопопу Аввакуму, он писал: «Известно, что в житии этом особенно много патетических эпизодов о побоях, которые будто бы претерпевал этот расколоучитель и которые должны были в читателе возбуждать к нему сострадание и интерес».<sup>8</sup>

Встает законный вопрос, а мог ли М. Д. Чулков, далекий как будто бы от интересов старообрядчества, познакомиться с автобиографией Аввакума, были ли у него для этого подходящие условия? Ответ на этот вопрос может быть только положительный.

Москвич по рождению, выходец из простого народа, он провел свои детские и юношеские годы в местной демократической среде. В числе окружающих его лиц, как можно предполагать на основании биографических заметок Чулкова, были и старообрядцы.<sup>9</sup> Если же к этому прибавить, что Москва в XVIII веке была одним из главных центров старообрядчества, то вероятность знакомства Чулкова с сочинениями Аввакума еще в Москве становится очевидной.

Впоследствии, занимаясь собиранием и изданием произведений фольклора и этнографии, М. Д. Чулков в поисках нового материала не раз обращался к народной среде. Он не мог миновать и старообрядцев, которые оказались уже тогда главными хранителями самой разнообразной и глубокой старины. Как историк русской торговли, М. Д. Чулков также общался со старообрядцами, среди которых к тому времени уже имелось немало торговых воротил, проводивших крупные операции на российском рынке.

Таким образом, возможность знакомства с рукописями сочинений протопопа Аввакума, в том числе и с автобиографией, у М. Д. Чулкова была.

Описания старообрядческих купцов, их обычаев и привычек сделаны Чулковым на основе личных наблюдений. Образ старообрядческого купца, начетчика и рутинера в «Жизни некоторого мужа...» свидетельствует о том, что писатель хорошо знал быт этой среды, знал его в мельчайших деталях. Следует подчеркнуть, что во времена М. Д. Чулкова не имелось ни одной изданной работы, где так наглядно и обстоятельно была бы показана жизнь представителей старой веры, как в двух разбираемых его произведениях.

Личные наблюдения М. Д. Чулкова над бытом старообрядцев нашли отражение, например, в том, что писатель подчеркивает пристрастие старообрядческих деятелей к мощам и реликвиям своих подвижников: начетчик в его произведениях неизменно носит перстень или запонку, в которые вделана частица от ногтя Аввакума. На первый взгляд может показаться, что это чистая выдумка писателя, литературный прием, имеющий целью подчеркнуть отрицательные стороны изображаемого героя, его ограниченность и косность. Однако в распоряжении М. Д. Чулкова, по-видимому, были какие-то факты.

исследователи считают то Д. И. Фонвизина, то А. В. Алсуфьева. На наш взгляд, оно бесспорно принадлежит М. Д. Чулкову. Это утверждал еще Г. Н. Геннади (см.: «Библиографические записки», 1859, т. II, стр. 340—342).

<sup>5</sup> Жизнь некоторого мужа..., стр. 16.

<sup>6</sup> Там же, стр. 29.

<sup>7</sup> Там же, стр. 10.

<sup>8</sup> «Старина и новизна», 1907, кн. 12, стр. 264.

<sup>9</sup> Ирой-комическая поэма. Редакция и примечания Б. Томашевского. Библиотека поэта. Издательство писателей в Ленинграде, стр. 182.

В XVIII веке среди старообрядцев появились не только иконы Аввакума, но и частицы его мощей, распространяемые ловкими представителями старой веры главным образом ради наживы. Так, например, в семженских кельях женского скита (Архангельская губерния) издавна хранились в маленьком деревянном, окованном железом сундучке, в «медном сосудце», «власы протопопа Аввакума» («белорусы, с проседью»).<sup>10</sup> Реликвии эти остались здесь, вероятно, еще со времени пребывания в крае протопопа Аввакума, сохранные, может быть, одной из многочисленных его «дщерей духовных». Покойный северный писатель и художник С. Г. Писахов говорил автору этих строк в 1934 году в Архангельске, что ему в 1910 году в Пустозерске старушка (фамилию ее он не запомнил) показывала очень старинную круглую, витую медную пуговицу с частицей обгорелой кости внутри, якобы протопопа Аввакума. Весьма возможно, что таких предметов, выдаваемых за «частицы» Аввакума, ходило немало по рукам старообрядцев в XVIII веке.

М. Д. Чулков и некоторые другие писатели XVIII века, изображавшие в своих произведениях старообрядцев, а также сочинители безымянных народных интермедий, интерлюдий и спенок образовали своими произведениями новую линию в борьбе со старообрядчеством. В этих литературных произведениях правоучительно-описательного и сатирически-обличительного характера даны карикатурные типы борцов за старую веру, но использованы при этом иногда события и факты раннего периода в истории старообрядчества.<sup>11</sup>

Возникает вопрос: если Житие Аввакума было известно М. Д. Чулкову (а это так) и, возможно, еще кому-нибудь из писателей и ученых того времени, почему же оно в XVIII веке не было напечатано? Прежде всего, по-видимому, потому, что просветители XVIII века, в том числе и М. Д. Чулков, резко отрицательно относились к старообрядчеству. Последователей старой веры они считали наиболее опасными защитниками косности, темноты, невежества. Протопоп Аввакум в их представлении был только враг прогресса и просвещения.<sup>12</sup>

Что же касается ученых XVIII века, то они в большинстве своем стояли на позициях официальной церкви и резко отрицательно относились не только к вероучению старообрядцев, но и ко всей их книжной культуре. Кроме того, у этих ученых еще мало было накоплено материала по древнерусской литературе, поэтому они не могли оценить высокие эстетические качества и познавательную ценность автобиографии Аввакума.

Не следует также забывать и то, что печатная книга в XVIII веке прежде всего обслуживала интересы правящего дворянского класса, которому в большинстве своем было чуждо все противоречащее его культуре. К тому же автобиография Аввакума с ее ярко выраженными народными чертами в языке и содержании резко расходилась с эстетикой классицизма, господствовавшего в литературе того времени.

Даже позднее, в первой половине XIX века, все еще продолжала жить отрицательная оценка языка и стиля Жития Аввакума. Вот одна характерная запись 1835 года на рукописном сборнике (XIX века) сочинений Аввакума, принадлежащая, как видно из другой записи этого же лица на сборнике, какому-то видному духовному сановнику. Приводим ее полностью: «Списаны в Петрозаводске с рукописи, имеющейся у кузда Трифонова. У мещанки Симаковой здесь же есть рукописная книга в четверку, величиною пальца в четыре, состоящая также из посланий Аввакума, большею частью не тех, какие в тетради етой. Там, на конце, поме-

<sup>10</sup> Четыре поездки на север старообрядческого священника о. Алексея Старкова. «Старообрядческий вестник», 1905, № 9, Климовцы (Буковина, Австрия), стр. 591—592. См. также: «Братское слово», т. I, № 5, 1894, стр. 476.

<sup>11</sup> См., например: М. В. Ломоносов. 1) Петр Великий. В кн.: Сочинения М. В. Ломоносова, т. II, СПб., 1893, стр. 202; 2) Ода Тресотину. В кн.: П. Н. Берков. Ломоносов и литературная полемика его времени. 1750—1765. Изд. АН СССР, М.—Л., 1936, стр. 228; А. Д. Кантемир. Сатира IX. На состояние сего света. В кн.: Антиох Кантемир. Собрание стихотворений. Большая серия «Библиотеки поэта». «Советский писатель», Л., 1956, стр. 183 и 188 (см. также на стр. 60 описание выезда епископа, свидетельствующее, как нам кажется, о знакомстве Кантемира с сочинениями протопопа Аввакума; ср.: «Русская историческая библиотека», т. XXXIX, 1927, стр. 303—304); Интерлюдии или междуброшенные забавные игрища. «Летописи русской литературы и древности», кн. II, 1859, стр. 55; Осип М. Бадальч. Русские интерлюдии первой половины XVIII века. «Slavia», IV, seš. 3, 1925, стр. 533—534.

<sup>12</sup> В художественной литературе первой половины XIX века Аввакума по-прежнему продолжают изображать только как врага просвещения. См.: Баснин <А. Е. Измайлов>. Раскольник Аввакум. «Русский библиофил», 1912, № 4, стр. 63; Н. П. Огарев. Стихотворения и поэмы (Библиотека поэта), т. II. «Советский писатель», 1938, стр. 88.

цена автобиография Аввакумова. Сочинение по слогу самое площадное, даже циничское по местам». <sup>13</sup>

Может быть, необычно смелая форма Жития, слишком своеобразное содержание и слишком народный язык смутили самих старообрядцов XVIII века и удержали их от печатания, а следовательно, и широкого распространения этого памятника, хотя в подпольных типографиях они в последней четверти XVIII века напечатали ряд своих и древнерусских произведений («Прения» дьякона Федора, Соловецкая челобитная, Повесть о табаке, сочинения Андрея и Семена Денисовых, Повесть о белом клобуке и др.). Сами последователи старой веры, а особенно беспоповцы (выговцы), опубликовавшие указанные сочинения, продолжали еще в большинстве своем писать «высоким штилем», в духе шумящей риторики конца XVI—XVII века. Простой, народный язык, характерный для аввакумовых писаний, редко появлялся в их творениях.

Из ученых XIX века едва ли не Филарет Гумилевский впервые обратил внимание на Житие Аввакума и сообщил о нем краткие сведения в своей «Истории русской церкви». <sup>14</sup> Однако он не признал авторства Аввакума и приписал его произведение «неизвестному сочинителю аввакумовой жизни». <sup>15</sup> В другом месте Филарет выписку из Жития сопровождает таким примечанием: «Рки житие — сочинение раскольника». <sup>16</sup>

Как же могло произойти, что Филарет не заметил принадлежности Жития Аввакуму, когда автор его очень отчетливо дает о себе знать? Возможны два предположения. Или у ученого был список, в котором все намеки на авторство Аввакума были сняты позднейшим редактором и повествование велось от третьего лица. Такие списки встречаются, см., например, текст начала XVIII века (а может быть, даже и конца XVII века), хранящийся в Центральном государственном архиве древних актов, собрание библиотеки архива Министерства иностранных дел, № 899/1539. <sup>17</sup> Или, что более вероятно, Филарет самое Житие не читал, а пользовался выписками из него, доставленными ему, возможно, знакомыми рижскими старообрядцами, в городе которых он проживал во время работы над этим разделом своей «Истории русской церкви». В Риге, как известно, в середине XIX века имелось несколько тысяч староверов, около ста лет уже существовала Гребенщиковская беспоповская община с большой библиотекой книг и рукописей. У местных староверов, навверное, хранились списки Аввакумовых сочинений. Близкие Филарету лица, может быть даже из самих гребенщиковцев, вероятно, постарались добыть для него выписки из Жития Аввакума. Цитированный Филаретом список в настоящее время неизвестен. И едва ли когда-нибудь можно будет установить по небольшим, отрывочным цитатам, приведенным в указанном труде, какой рукописью пользовался Филарет. В собраниях прибалтийских старообрядцев, частных и общинных, па сколько нам известно, списков Жития Аввакума сейчас не имеется.

Первое точное упоминание Жития как автобиографии Аввакума находим в статье епископа Макария Булгакова о русском расколе, напечатанной в 1854 году. <sup>18</sup> Через год эта статья без изменений была перепечатана в книге того же автора «История русского раскола...». <sup>19</sup> Макарий шесть раз ссылается на автобиографию Аввакума по списку своей библиотеки (№ 33), пересказывает отдельные эпизоды и места из Жития и приводит из него несколько небольших цитат. <sup>20</sup> В примечании на стр. 161 встречаем совершенно точное название произведения. Пересказывая место Жития, в котором говорится о приезде Аввакума в Москву и о пребывании его у Ивана Неронова, Макарий заключает: «... как сам рассказывает в „житии“ своем, им самим написанном». <sup>21</sup>

Макарий воздержался от какой-либо оценки Жития, хотя, конечно, ему, лучшему по тому времени знатоку старообрядчества и его литературы, безусловно были хорошо понятны значение и ценность этого памятника хотя бы на фоне остальных старообрядческих писаний. Дать объективную оценку Жития в печати ученому помешало его общественное положение — одного из главнейших деятелей совре-

<sup>13</sup> ЦГИАЛ, ф. 834 (архив Синода), оп. 2, № 1658. Сборник XIX века, содержащий «Книгу бесед» и пятую челобитную протопопа Аввакума, л. 1.

<sup>14</sup> Филарет «Гумилевский». История русской церкви. Период патриаршества. 1588—1720. Рига, 1847, стр. 179—182.

<sup>15</sup> Там же, стр. 181.

<sup>16</sup> Там же, стр. 179.

<sup>17</sup> См. об этом списке: «Труды Отдела древнерусской литературы», т. VIII, 1951, стр. 383.

<sup>18</sup> «Макарий». Критический очерк истории русского раскола, известного под именем старообрядства. «Христианское чтение», ч. I, 1854, стр. 476, 481, 485, 518. Это отметил еще П. Паскаль в предисловии к своему переводу Жития: *La vie de l'archiprêtre Avvakum écrite par lui-même*. Paris, «1938», p. 18.

<sup>19</sup> Макарий. История русского раскола, известного под именем старообрядства. СПб., 1855, стр. 137—195.

<sup>20</sup> Там же, стр. 161, 165, 169, 194.

<sup>21</sup> Там же, стр. 161.

менной русской церкви и его роль руководителя в борьбе со старообрядчеством. Что Макарию ясно было научно-литературное значение Жития Аввакума, видно будет ниже, из его закрытого отзыва в Синод об этом произведении.

Список Жития, принадлежавший Макарию, сохранился и ныне находится вместе с другими его рукописями в Государственной библиотеке Украинской ССР в Киеве. В 1927 году он был полностью издан.<sup>22</sup>

История первого издания автобиографии протопопа Аввакума, осуществленного в 1861 году Н. С. Тихонравовым, тесно связана с проявившимся тогда у молодого ученого интересом к памятникам демократической литературы и к отдельным старинным писателям, не удостоившимся совсем внимания или недостаточно оцененным современными литературоведами.<sup>23</sup> В эти годы Н. С. Тихонравов усиленно разыскивает и публикует такого рода произведения на страницах основанного им в 1859 году издания — «Летописи русской литературы и древности».

Ко времени появления Жития Аввакума в печати оно уже достаточно было известно в ученом мире. В начале 1861 года вышла книга Александра Бровковича (впоследствии архиепископ Никанор), в которой очень подробно излагалось содержание автобиографии Аввакума по списку Макария и приводились большие отрывки из нее.<sup>24</sup> Автор уже называл Аввакума писателем, отмечал его ум, «от природы замечательный, развитый чтением многих памятников тогдашней письменности», и язык произведения, «не лишенный своей выразительности и привлекательности». В периодической печати, в справочных изданиях появилось несколько статей и заметок об Аввакуме.

Как названная выше книга Макария, которую Н. С. Тихонравов знал, так и работа Бровковича обратили, конечно, его внимание на Житие Аввакума, подходящее под тип издаваемых им памятников старинной русской письменности. Труд митрополита Макария, кроме того, подсказал Н. С. Тихонравову заглавие для отдельного издания Жития («Житие протопопа Аввакума, им самим написанное»; ср. у Макария: «... в „житии“ своем, им самим написанном»). Из этого издания заглавие потом перешло почти во все последующие публикации автобиографии.

Если Макарий и Бровкович своими книгами направили внимание Н. С. Тихонравова на Житие, то в лице петербургского либерального книгоиздателя Д. Е. Кожанчикова ученый обрел надежного исполнителя своего замысла. Д. Е. Кожанчиков к этому времени уже имел некоторый опыт по изданию старообрядческой литературы (книга А. Бровковича вышла тоже в его книгоиздательстве) и охотно продавал ее в печать, прежде всего потому, что сам был старообрядцем.

Нам представляется, что обе тихонравовские публикации Жития были подготовлены к печати одновременно. Может быть, даже сначала было задумано отдельное издание. Однако, не надеясь, что его удастся прогнать через цензуру, Н. С. Тихонравов подготовил другую, менее бросающуюся в глаза публикацию — для своих «Летописей». Здесь, между другими статьями, Житие не так было бы заметно. И действительно, так и получилось при выходе в свет обоих изданий. Текст в «Летописях» почти никто не заметил, зато книжка вызвала многочисленные положительные отклики в самых различных по направлению органах печати.<sup>25</sup> Даже заглавие в журнальном издании (автобиография вместо Жития) было более осторожным, рассчитанным на усиление бдительности духовной цензуры.

По какой рукописи напечатал Н. С. Тихонравов автобиографию протопопа Аввакума, кому она принадлежала, как выглядел этот список, каким текстом воспользовался он для приведения разночтения «на Угрешу» к слову «на утрени» (см. стр. 119 изд. 1861 года и стр. 6 изд. 1862 года), в публикациях не говорится. В личном архиве Тихонравова и в его собрании рукописей (ныне находятся в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина) сведений об этом также не обнаружено. Здесь среди рукописных книг собрания Н. С. Тихонравова имеется список Жития (№ 721), но он относится к редакции «Б», первое же издание выполнено по редакции «А» (по классификации Я. Л. Барскова). Упомянутый в книге А. Бровковича список из библиотеки Макария принадлежит также редакции «Б».

Можно, однако, почти с уверенностью сказать, что списки Жития, использованные в первом издании, были московские и разыскивать их надо прежде всего там. Скорее всего эти рукописи находились у местных старообрядцев, и Н. С. Тихонравов, хорошо зная их правовое положение, чтобы не подвести владельцев, не сообщил о рукописях никаких данных. Известно, что при посредстве И. Е. Забелина, М. П. По-

<sup>22</sup> «Русская историческая библиотека», т. XXXIX, 1927, стр. 85—150.

<sup>23</sup> Н. К. Гудзий. Николай Саввич Тихонравов. Изд. МГУ, М., 1956, стр. 22—23.

<sup>24</sup> Описание некоторых сочинений, написанных русскими раскольниками в пользу раскола. Записки Александра Б., ч. I. СПб., 1861, стр. 3—18.

<sup>25</sup> Отзывы перечислены в «Трудах Отдела древнерусской литературы» (т. IX, 1953, стр. 402).

година и А. Н. Пыпина Н. С. Тихонравов в это время завязал знакомство с московскими старообрядцами и добывал с их помощью для своего собрания рукописные материалы преимущественно светского содержания. Даже тот же Д. Е. Кожанчиков, частенько бывавший в Москве по торговым делам и знакомый со многими местными староверами, мог оказать помощь Н. С. Тихонравову в получении списка Жития и в снятии копии с него.

Цензурные материалы о первом издании автобиографии протопопа Аввакума находятся в Центральном государственном историческом архиве в Ленинграде (далее ЦГИАЛ). Они выявлены здесь в двух фондах: канцелярии Синода (ф. 796) и Санкт-Петербургского духовно-цензурного комитета (ф. 807). Открывает их записка цензора архимандрита Фотия (Романовского), представленная им в комитет 24 января 1861 года (написана 22 января).

«В С.-Петербургский комитет духовной цензуры члена архимандрита Фотия

#### З а п и с к а

Имею честь донести, что „Автобиография протопопа Аввакума“ не представляет препятствий к напечатанию ее, между статьями чисто ученого содержания, в „Летописях русской литературы и древностей“, но тем не менее может разрешена быть к напечатанию только по благоусмотрению св. Синода.

22 января 1861 года

Член ц<sup>ен</sup>зурного к<sup>о</sup>митета, архимандрит Фотий».<sup>26</sup>

Что предшествовало этому документу, по фондам ЦГИАЛ проследить не удалось. Остается лишь предположить, что отзыв Фотия был написан или на основании личного обращения Н. С. Тихонравова к знакомому цензору (Фотий цензуровал кожанчиковские издания), или же на основе представления Московского комитета духовной цензуры, не решившегося взять на себя ответственность за напечатание такого памятника, как Житие Аввакума: большинство произведений старинной русской литературы, напечатанных в «Летописях» Тихонравова, проходили через Московский комитет.<sup>27</sup> Думается, что более вероятно второе, так как даже столичный цензор, как видно из приведенной его записки, поставил условием лишь сугубо научный характер публикации и окончательное решение вопроса переадресовал Синоду. Цензурные документы говорят об «Автобиографии» — следовательно, речь идет в них не о кожанчиковском издании, имевшем совсем иное заглавие, а о тексте «Летописей».

24 января цензурный комитет в составе архимандритов Макария (Малиновского), Сергия, Феодора, Фотия и секретаря И. Чистовича, обсудив записку последнего, во всем согласился с его мнением. В определении комитета было сказано: «По важности содержания означенной рукописи и на основании 257 ст. Свода цензурных уставов представить ее в св. Синод с мнением цензора и заключением комитета, что может быть напечатана».<sup>28</sup>

Самое донесение комитета Синоду, составленное 30 января и подписанное всеми четырьмя членами комитета и его секретарем, выглядело так:

«Святейшему Правительствующему Синоду  
Санкт-Петербургского комитета для цензуры духовных книг

#### Д о н е с е н и е

Член комитета архимандрит Фотий, рассмотрев рукопись под заглавием „Автобиография протопопа Аввакума“, запискою донес комитету, что она может быть одобрена к напечатанию между статьями ученого содержания в „Летописях русской литературы и древностей“, но предварительно должна быть представлена на рассмотрение и разрешение святейшего Синода.

Комитет, признав отзыв цензора правильным, мнением положил представить и при сем покорнейше представляет означенную рукопись по важности ее содер-

<sup>26</sup> ЦГИАЛ, ф. 807 (С.-Петербургский духовно-цензурный комитет), оп. 2, № 1329 (доклады цензоров за январь 1861 года о рассмотренных ими книгах), л. 40. Записка архимандрита Фотия. Автограф. Внизу записки карандашом и другой рукой: «По важности содержания означ. рукописи и на основании 257 ст. свода ц. уст. Под. 24 янв. № 75».

<sup>27</sup> К сожалению, в фонде Московского комитета духовной цензуры, находящемся в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина (ф. 174), как сообщил нам И. М. Кудрявцев, никаких сведений о прохождении первого издания Жития Аввакума не сохранилось.

<sup>28</sup> ЦГИАЛ, ф. 807, оп. 2, № 1361 (Журнал заседаний комитета за 1861 год), л. 19.



жания на рассмотрение и разрешение святейшего Правительствующего Синода с отзывом цензора и своим заключением, что она может быть одобрена к напечатанию.

Члены комитета: Архимандрит Фотий  
Архимандрит Сергей  
Архимандрит Феодор  
Архимандрит Макарий  
Секретарь  
Иларион Чистович

#### № 96-й

января 30 дня 1861 года.<sup>29</sup>

Синод, получив 31 января донесение духовно-цензурного комитета, отнес разбор дела на 17 февраля, очевидно с намерением, чтобы некоторые члены Синода могли лучше ознакомиться с содержанием рукописи. Не исключена возможность, что в результате этого знакомства Синод, не доверяя мнению своих цензоров, вынес 17 февраля решение послать рукопись на дополнительный отзыв епископу харьковскому Макарию, лучшему, как мы уже отмечали, в то время знатоку истории старообрядчества. Судьба издания Жития Аввакума теперь всецело зависела от его заключения.

В журнале заседаний Синода 17 февраля 1861 года под № 29 было записано приказание: «Рукопись сию препроводить при указе к преосвященному епископу харьковскому Макарию с тем, чтобы о достоинстве оной представил св. Синоду свое заключение с возвращением и самой рукописи».<sup>30</sup>

9 марта в Харьков были направлены рукопись Жития и указ Синода, в котором приводилось и мнение о произведении Санкт-Петербургского комитета духовной цензуры.<sup>31</sup>

Макарий, знакомый с Житием Аввакума и цитировавший его, как мы видели выше, в своей «Истории русского раскола...», однако не сразу ответил Синоду. Получив рукопись примерно 18—19 марта, он, по-видимому, прежде чем взяться за перо, еще раз внимательно ознакомился с содержанием Жития, взвесил все за и против и написал отзыв, поддерживающий издание. На этот раз ученый взял верх над представителем официальной церкви. Его мотивировка, что Житие, прочтенное «непредубежденным читателем», обратится прежде всего против самого Аввакума, едва ли им самим понималась всерьез и была не более как хитроумным аргументом в пользу опубликования Жития. Приводим полностью отзыв Макария, поскольку это, по существу, одна из самых ранних, известных нам, оценок литературно-исторических достоинств Жития, принадлежащая к тому же крупнейшему ученому богослову того времени.

«Святейшему Правительствующему Синоду  
Макария, епископа харьковского и ахтырского

#### Представление

По указу святейшего Правительствующего Синода (№ 823), рассмотрев присланную ко мне рукопись под заглавием „Автобиография протопопа Аввакума“, имею честь донести, что означенная рукопись содержит в себе довольно любопытных подробностей для истории русского раскола, ярко обрисовывает характер Аввакума и хотя рассказывает о некоторых его мнимых чудодейниях, но вообще производит и может производить в душе всякого непредубежденного читателя очень невыгодное понятие об этом расколоучителе. А потому и может быть разрешена к напечатанию. При сем имею честь возвратить самую рукопись.

Вашего святейшества нижайший послушник Макарий,  
епископ харьковский

#### № 146

27 марта 1861 г.

С рукописью „Автобиография протопопа Аввакума“.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> ЦГИАЛ, ф. 796 (канцелярия Синода), оп. 142, № 164 (Дело Синода о напечатании рукописи: «Автобиография протопопа Аввакума», начато 31 января 1861, конечно 27 мая 1861 года, 4 стол, 2 экзп., 1 распоряд. отдел), л. 1. Донесение Комитета духовной цензуры. Внизу донесения помета: «Слуш. 17/24 февраля 1861 г.».

<sup>30</sup> ЦГИАЛ, ф. 796, оп. 142, № 164, л. 2. Выписка из заседания Синода от 17 февраля 1861 года.

<sup>31</sup> Черновик этого указа за № 823, составленный на основании решения заседания Синода от 17 февраля 1861 года, сохранился здесь же в деле (ф. 796, оп. 142, № 164, л. 2).

<sup>32</sup> ЦГИАЛ, ф. 796, оп. 142, № 164, л. 3. Представление еп. Макария Синоду о ру-

Отзыв Макария был получен в Синоде 4 мая, а 12 мая его рассматривали на заседании, о котором в деле сохранилась следующая выписка:

«№ 1075. Копия

1861 года мая 12 дня. По указу его императорского величества святейший Правительствующий Синод слушали дело: о напечатании рукописи под заглавием „Автобиография протопопа Аввакума“. И по справке приказали: представленную С.-Петербургским комитетом для цензуры духовных книг рукопись под заглавием „Автобиография протопопа Аввакума“, согласно с отзывом преосвященного епископа харьковского Макария, разрешить к напечатанию. О чем и послать комитету указ. Подлинное определение членами святейшего Синода подписано 23 мая 1861 года.

Протоколист Садов». <sup>33</sup>

27 мая Синод направил в комитет указ, разрешающий печатание, со ссылкой на положительный отзыв Макария. Этот указ также имеется в деле. <sup>34</sup> Не приводим его содержание потому, что в первой своей части он буквально следует за запиской Макария, а во второй дословно повторяет только что цитированное постановление Синода от 12 мая.

30 мая 1861 года состоялось заседание Петербургского духовно-цензурного комитета, на котором первым параграфом слушали указ Синода от 27 мая за № 2291 о разрешении печатать автобиографию Аввакума. Было «определено»: «Согласно с указом св. Синода дозволить напечатать». <sup>35</sup>

15 октября 1861 года шестой выпуск «Летописей русской литературы и древности», в состав которого вошла автобиография протопопа Аввакума, был подписан к печати цензором Московского комитета духовной цензуры Н. П. Гиляровым-Платоновым. <sup>36</sup> А через 15 дней, 1 ноября того же года, в Петербурге местный комитет духовной цензуры в лице архимандрита Макария (Малиновского) разрешил Д. Е. Кожанчикову печатать уже отдельное издание Жития. Предан был забвению осторожный отзыв архимандрита Фотия, допускающий публикацию Жития только в сборнике, между статьями научного содержания. В быстром продвижении этого столичного издания в печать несомненно сыграл свою роль положительный отзыв Макария и, вероятно, связи Д. Е. Кожанчикова в синодальных кругах.

Но как бы то ни было, после длительной цензурной проволочки в конце 1861 года и в начале 1862 года (кожанчиковское издание, как видно по обложке, — на титуле тоже стоит 1861 год — вышло в начале 1862 года) на книжном рынке страны появилось сразу два издания Жития Аввакума, хотя и выполненных одним и тем же лицом, Н. С. Тихонравовым, по одним и тем же двум случайным спискам. Характеристика качества тихонравовских публикаций не входит в нашу задачу. Эта работа проделана А. Н. Робинсоном в подготовленном к печати новом издании Жития Аввакума. <sup>37</sup>

Неизвестно, какой тираж получило кожанчиковское издание Жития, предполагаем, что по тому времени не малый, так как оно до сих пор чаще других изданий встречается у букинистов. Большой тираж был, видимо, рассчитан на старообрядцев, которые, однако, даже в XIX веке в своей массе предпочитали пользоваться рукописными списками.

кописи, автограф. В Синоде, как видно из пометы, оно получено было 4 апреля и занесено в регистр под № 261.

<sup>33</sup> ЦГИАЛ, ф. 796, оп. 142, № 164, л. 4. Копия выписки из протокола заседания Синода от 12 мая 1861 года. Внизу ее имеется помета другим почерком: «Исполнена 27 мая 1861 г., указ за № 2291».

<sup>34</sup> ЦГИАЛ, ф. 807, оп. 2, № 1341 (Дела по указам Синода о рассмотрении книг за 1861 год), л. 59—59 об. Указ Синода от 27 мая 1861 года.

<sup>35</sup> ЦГИАЛ, ф. 807, оп. 2, № 1361, л. 121. Протокол заседания комитета от 30 мая 1861 года.

<sup>36</sup> См. дату выхода в свет шестого выпуска «Летописей» на лицевой стороне нижней его обложки, в самом низу ее. Общий титульный лист ко всему III тому «Летописи» делался позднее, при сброшюровании вместе двух выпусков, пятого и шестого, поэтому поставленная на обороте титульного листа III тома дата выпуска в свет — 20 марта 1861 года — была перенесена сюда с пятого выпуска, составившего собой первую половину III тома. Она, следовательно, относится только к этому выпуску. Шестой выпуск, обложка которого при формировании тома была уничтожена, имел свое отдельное цензурное разрешение, помеченное 15 октября 1861 года. См. отдельные экземпляры шестого выпуска в библиотеке Пушкинского дома АН СССР и в рукописном отделе Библиотеки Академии наук СССР.

<sup>37</sup> См. также у Н. И. Субботина в кн.: Материалы для истории раскола, т. V. М., 1879, стр. XXII—XXIII.

Издание Жития способствовало переоценке его наукой, деятелями культуры и широкими читательскими кругами. Оно стало справедливо восприниматься не как каноническая книга старообрядцев, а как памятник художественной древнерусской литературы.

Изданное сто лет назад Житие протопопа Аввакума подняло значение древнерусской литературы, расширив круг ее выдающихся произведений. Наряду с летописями, Хождением Афанасия Никитина, повестью о Горе-Злочастьи и другими произведениями старорусской письменности оно вошло в сокровищницу мировой литературы, составляет нашу национальную гордость. Житие Аввакума изменило представление и о старообрядческой литературе, заставило более бережно и внимательно относиться к ее писаниям. И тем досаднее, что, несмотря на ряд хороших публикаций текста памятника, до сих пор еще нет научного издания Жития, выполненного с учетом всего рукописного наследия. Нет еще и всестороннего, капитального литературоведческого исследования этого произведения. Надеемся однако, что в самые ближайшие годы этот пробел в науке будет заполнен.<sup>38</sup>



<sup>38</sup> Когда статья уже была набрана, мне с помощью М. И. Чуванова удалось установить, что Н. С. Тихонравов осуществил первое издание Жития Аввакума по рукописи первой четверти XIX века, принадлежавшей библиотеке Московской духовной академии. Ныне рукопись хранится в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина (ф. 173 (Московская духовная академия), врем. кат. № 69. лл. 26—48).

## 1766 ГОД КАК ГОД РОЖДЕНИЯ И. А. КРЫЛОВА

Вопрос о годе рождения И. А. Крылова далеко не нов. Но обсуждался он в основном в плане сравнения 1768 и 1769 годов. Автор настоящей статьи попытался направить полемику по новому руслу, доказывая, что И. А. Крылов родился в середине 60-х годов XVIII века.<sup>1</sup> В последнее время появилась работа, которая заставляет нас вновь выступить в защиту своей точки зрения. В третьем номере журнала «Русская литература» за 1959 год была напечатана статья С. М. Бабинцева, который привел новые данные в пользу 1768 года. Автор обращался за справками в ряд учреждений и произвел большие розыски нового материала. С. М. Бабинцев, с одной стороны, призывает к дальнейшей работе, а с другой, подводит временный итог всем попыткам решить вопрос, причем читателю ясно, что этот итог может оказаться окончательным. Поэтому мы, в свою очередь, решили расширить и уточнить аргументацию в пользу другой даты.

Рассмотрим сначала вкратце наши старые доводы.<sup>2</sup> Мы указывали на то, что до нас дошли сомнения некоторых современников, хорошо знавших И. А. Крылова, в правильности обычно указываемого его возраста. Судя по его наружности, Ф. Ф. Вигель и М. П. Сумарокова, постоянно встречавшиеся с Крыловым в доме князя Голицына в Казань, давали ему столько лет, что годом его рождения должен был быть 1764-й, если не еще более ранний. По поводу этих воспоминаний Я. К. Грот, также лично знавший И. А. Крылова, замечал: «Не явился ли Иван Андреевич на свет годиками тремя-четырьмя ранее того срока, к которому мы относим его рождение?» Если наружность И. А. Крылова вызывала у его современников сомнения относительно его возраста, то впоследствии его почерк заставлял исследователей думать о том же. Так было, например, с В. Ф. Кеневичем.

Некоторые факты из ранней биографии Крылова выглядят маловероятными, если считать, что он родился в конце 60-х годов. Таковы его предварительная поездка и переезд в Петербург, хлопоты его по службе и т. д. К тому же и раннее творчество Крылова совсем не производит впечатления несмелых детских шагов.

Затем мы обращали внимание на то, что никогда не придавали должного значения некоторым определениям своего возраста самим Крыловым, дошедшим до нас через близких ему людей. Особенно интересно сообщение г-жи Каргоф и М. Е. Лобанова, которые писали, что он лишился отца на тринадцатом году своей жизни. Год смерти отца Крылова нам известен точно — это 1778 год. Произведя несложную операцию вычитания, мы определяем год рождения И. А. Крылова как 1765 или, допуская возможную неточность в подсчете месяцев, какой-то из соседних с ним.

Никак не согласуется со старыми датами рассказ Крылова о детской игре в пугачевщину, записанный А. С. Пушкиным с его слов.<sup>3</sup> Немыслимо представить себе, что это описание относилось к маленькому ребенку, каким был бы тогда Крылов, родился он в конце 60-х годов.

Имеется, наконец, и документальное подтверждение того, что Крылов родился раньше, чем обычно принято думать. Это известное указание А. Шалыгина на то, что И. А. Крылов тотчас после смерти отца в июне 1778 года переводился в губернский магистрат и был отмечен в бумагах пятнадцатилетним.<sup>4</sup> Отсюда вытекает, что И. А. Крылов родился в 1763, самое позднее в 1764 году. Перед нами, таким образом, самое раннее документальное указание возраста И. А. Крылова, тем самым особенно убедительное. Если бы не было других, противоречащих этому сведений, то даже части того, что нами перечислено, было бы достаточно, чтобы определить, когда родился И. А. Крылов. Но в том-то и дело, что такие данные имеются.

В том же 1778 году, когда И. А. Крылов осиротел и переводился по службе из уезда в губернию, его мать, Марья Алексеевна Крылова, в прошении на имя им-

<sup>1</sup> А. В. Десницкий. К вопросу о годе рождения И. А. Крылова. «Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена», Кафедра русской литературы, т. 107, 1955.

<sup>2</sup> См.: там же, стр. 337—341.

<sup>3</sup> См.: там же, стр. 338—339.

<sup>4</sup> См.: там же, стр. 337.

ператрицы Екатерины II указала, что ее старшему сыну идет десятый год. Отсюда следует, что И. А. Крылов родился не в 1764 или 1763, а только в 1769 году. Эта дата неоднократно повторялась в документах И. А. Крылова на протяжении всей его жизни, она же фигурирует и в его увольнительном аттестате 1841 года. Ее мы встречаем в одном из писем к И. А. Крылову его брата, Льва Андреевича, в собственном письме Крылова к В. А. Олениной от 1 февраля 1827 года<sup>5</sup> и в одном из поздравительных писем И. А. Крылову в дни празднования его юбилея 1838 года.

Желая объяснить причину появления противоречивых сведений о годе рождения Крылова, мы высказали, на наш взгляд, наиболее вероятное предположение, что, хлопоча о пенсии, Марья Алексеевна сочла нужным скрыть тот факт, что ее старший сын скоро станет совсем взрослым и сможет сделаться кормильцем осиротевшей семьи. Усилить этим свои шансы на пенсию ей было нетрудно: ведь все дело с изменением возраста надо было провести через те же самые канцелярии, в которых служил и с которыми был связан ее покойный муж. Раз появившись, эта дата должна была повторяться и в дальнейшем.

Противоречия в указании года рождения И. А. Крылова этим не ограничиваются: кроме сведений о том, что он родился в середине 60-х годов, кроме даты 1769 год, в 1783 году появилась новая дата — 1768 год. Ее мы видим в указе об увольнении И. А. Крылова из Тверского губернского магистрата, она же затем повторяется в послужном списке И. А. Крылова от 1814 года. Этой датой рождения Крылова воспользовались, когда Николаю I потребовалось поспешить с организацией какого-нибудь литературного юбилея. В результате эта дата стала официально признанной, ее приняла Академия наук, ее указывали в своих статьях биографы И. А. Крылова — П. А. Плетнев, М. Е. Лобанов, г-жа Карлгоф, Н. И. Греч. Однако в начале нашего столетия была восстановлена другая дата — 1769 год, — которая до сих пор и остается общепринятой.

Но откуда же появился 1768 год? Нам кажется, что дело тут в том, что Марья Алексеевна Крылова сгоряча очень уж убавила года своему старшему сыну. Несометствие документов его внешности, уму, литературной и иной деятельности оказалось настолько велико, что и матери и сыну, конечно, не раз пришлось побывать в немалом затруднении и подумывать о том, нельзя ли отступить хоть несколько назад. Вот и появилась дата 1768 год, делавшая Крылова хоть чуть постарше, а в то же время легко объяснимая часто встречавшейся путаницей в соседних годах.

Сравнивая убедительность аргументации в пользу разных годов рождения И. А. Крылова, мы пришли к выводу, что И. А. Крылов родился в середине 60-х годов, вероятнее всего в 1764 году, и что можно отправляться в исследованиях его жизни и творчества от этой даты. Однако мы полагали, что настаивать на окончательном принятии новой даты преждевременно, необходима еще дальнейшая работа, новые поиски и проверка полученных результатов.

В каком ж состоянии находится вопрос о годе рождения И. А. Крылова в настоящее время? Новое в него вносит уже упоминавшаяся статья С. М. Бабинцева, который пришел к выводу, что решить вопрос на основании ранее известных официальных документов нельзя. Конец всем недоумениям положила бы метрическая выпись, но она не найдена, и после новых безрезультатных попыток С. М. Бабинцева возможность ее обнаружения стала совсем маловероятной. По документам отца писателя узнать что-либо новое тоже не удалось. Но опровержение ряда бывших в научном обороте доказательств, а главное, сделанные С. М. Бабинцевым находки привели его к убеждению, что годом рождения И. А. Крылова является 1768 год. Правда, он пишет: «Можно сомневаться в том, что 1768 год является абсолютно достоверной датой рождения Крылова, нужны еще дальнейшие разыскания»,<sup>6</sup> — но как описание проделанной работы, так и весь смысл статьи говорят за то, что до нахождения новых данных следует придерживаться именно этой даты. Одно согласиться с этим нельзя.

Основное открытие С. М. Бабинцева — это найденная им в архиве одной из петербургских церквей исповедная запись матери Ивана Андреевича Крылова, его самого и его младшего брата Льва. Запись 1786 года. Здесь указано, что Ивану Андреевичу в это время было 18 лет, т. е. получается, что он родился в 1768 году. Может показаться, что перед нами как бы замена найденной метрической выписи. С. М. Бабинцев полагает, что запись произведена со слов Марьи Алексеевны Крыловой, и считает, что «если в официальных прошениях М. А. Крылова могла дать

<sup>5</sup> Подробнее см.: там же, стр. 334, 335—336. Полемика С. М. Бабинцева по вопросу о письме к В. А. Олениной ошибочна. С. М. Бабинцев пишет, что 1 февраля 1827 года Крылов «мог себя считать 57-летним обожателем в том случае, если бы родился в 1770 или в 1771, но никак не в 1769 году». На самом же деле, если бы Крылов родился в 1770 году, то в письме он называл бы себя 56-летним, а если бы родился в 1771, то 55-летним. Так, как известно, подсчитал возраст И. А. Крылова и современник его, М. Е. Лобанов (М. Л о б а н о в. Жизнь и сочинения Ивана Андреевича Крылова. СПб., 1847, стр. 74, прим.).

<sup>6</sup> «Русская литература», 1959, № 3, стр. 186.

несколько преуменьшенные сведения о возрасте своих детей, то при исполнении церковного обряда не было никакого смысла в таком обмане, тем более, что, как человек религиозный, М. А. Крылова, наверное, при таких обстоятельствах сочла бы делом грешным и недопустимым называть ложные годы рождения».<sup>7</sup>

Признавая, что открытый С. М. Бабинцевым документ чрезвычайно интересен,<sup>8</sup> мы подходим к нему совсем с другой стороны. Могла ли М. А. Крылова в исповедной записи сообщить неверные сведения? Не только могла, но, как это видно из самого документа, и сообщила. Так, она записала себя «вдовствующей майоршей», будучи на самом деле только капитаншей. Отец И. А. Крылова вышел из военной службы в чине капитана, да и в гражданской остался и умер, как это отмечал еще В. Ф. Кеневич, в том же чине, не получив повышения. Значит, Марья Алексеевна могла сообщить неверные сведения, тем более когда это было нужно по каким-либо соображениям. Любопытно, что младший сын записан «артиллерии сержантом» десяти лет (ясно, что Лев Андреевич числился в полку для фиктивного прохождения службы), а сам Иван Андреевич отмечен: «казенной палаты секретарь» восемнадцати лет. Возможно, что Марья Алексеевна нужно было представить справки о прохождении исповеди на службу сыновей. Запись же эта была произведена канцелярским порядком и непосредственного отношения к процессу исповеди не имела. Сделал ее кто-нибудь из низших церковных служащих, псаломщик или дьячок, думавший только о пятаках и гривенниках, перепадавших ему в карман от верующих. Из такой «безгрешной» канцелярии за некоторую мзду можно было получить справку о прохождении исповеди и не ходя на нее. Кстати, некоторый намек на то, что сыновья Марья Алексеевны именно так и исповедовались, имеется. Она отмечена в книге номером 336, а они на следующими номерами, а 346 и 347.<sup>9</sup> Похоже на то, что Марья Алексеевна пришла на исповедь одна, исповедовалась, а уходя, выписала у псаломщика справки на «казенной палаты секретаря» Ивана Андреевича и на его брата «артиллерии сержанта».

Из всего вышесказанного ясно, что эта исповедная запись не является решающим документом при определении года рождения И. А. Крылова, никак не заменяет метрической выписи, а представляет собой один из многих официальных, повторных, подлежащих критическому рассмотрению материалов по данному вопросу.

Другим, для науки, собственно, не новым, но заново вводимым в оборот документом является указ Екатерины II от 23 августа 1783 года об увольнении И. А. Крылова из тверского магистрата. Согласно этому указу, Крылов родился в 1768 году. Сведения этого документа С. М. Бабинцев считает особенно убедительными, потому что это «самый ранний послужной список И. А. Крылова». Но нельзя согласиться с тем, что этот документ представляет какую-либо исключительную значимость. Если бы это еще был вообще первый документ... Но он — третий. Да и сам С. М. Бабинцев, включив его в перечень известных ранее официальных бумаг, пришел к выводу в начале своей статьи, что на их основании, а значит, на основании и этого послужного списка нельзя окончательно решить вопрос о годе рождения И. А. Крылова.

Итак, на наш взгляд, статья С. М. Бабинцева, содержащая новые, ценные сами по себе факты, не разрешила этого важного вопроса. Причем и сам автор оговаривается, что «нужны еще дальнейшие разыскания». Такая осторожность вполне объяснима, особенно при возвращении к 1768 году, вновь принять который возможно было бы только перед лицом совершенно бесспорных фактических данных.

Не ограничиваясь опровержением предложения С. М. Бабинцева, обратимся пообстоятельнее, чем прежде, к юбилею 1838 года, во время которого появилось еще одно, чрезвычайно «значительное» утверждение года рождения И. А. Крылова. На нем по ряду причин надо остановиться, тем более, что на него до сих пор внимания в нашем литературоведении не обращалось. Оно было сделано императором Николаем I. В честь юбилея «по высочайшему повелению» были выбиты золотые, серебряные и бронзовые медали с его портретом. Вот одна из них, серебряная, перед нами. Она, правда, дешевенькая, легкая, полая внутри, но интересна тем, что на ней четко обозначено — «родился 2 февраля 1768 года». Вполне понятно, что после такого «высочайшего» утверждения «императорская» Академия наук отмечала, не обсуждая, какой год считать юбилейным, столетие со дня рождения И. А. Крылова в 1868 году. Понятно, что 1768 год стал на протяжении всего XIX века официально утвержденной датой. К тому же срок юбилея устанавливался при Крылове, можно было думать, что с его согласия. Однако юбилей 1838 года чрезвычайно настораживает исследователя. Во время юбилея о семидесятилетии Крылова почти не упоминалось. Об этом свидетельствует прежде всего «высочайшая грамота» о награждении Крылова орденом Станислава второй степени

<sup>7</sup> Там же, стр. 185.

<sup>8</sup> Он особенно ценен сведениями о матери И. А. Крылова. Хотя она, по нашему мнению, и имела для Крылова большее значение, чем отец, знаем мы о ней слишком мало.

<sup>9</sup> См.: «Русская литература», 1959, № 3, стр. 185.

от 2 февраля 1838 года за собственноручной подписью Николая. Текст этой грамоты был тогда же напечатан:

«Отличные успехи, коими сопровождался ваши долговременные труды на поприще отечественной словесности и благородное, истинно русское чувство, которое всегда выражалось в произведениях ваших, сделавшихся народными в России, обращало на себя наше постоянное внимание, в ознаменованье коего жалуем вас кавалером императорского царского ордена нашего св. Станислава второй степени, знаки коего, при сем препровождаемые, повелеваем вам возложить на себя и носить по установлению. Пребываем к вам императорскою и царскою милостию нашею благосклонны».<sup>10</sup>

В грамоте, как видим, нет никаких дат. Нет даже упоминания о том, что орден дан в связи с юбилеем, в ознаменование его. Если исходить только из текста самой грамоты, то перед нами «ознаменование» постоянного внимания Николая I к русской литературе, в частности к творчеству И. А. Крылова.

И на торжественном обеде Крылова поздравляли с «юбилеем», с пятидесятилетием литературной деятельности, с днем рождения, говорили о празднике литературы. Но никто не поздравил его с семидесятилетием. В брошюре, напечатанной в 1838 году — «Приветствия, говоренные Ивану Андреевичу Крылову в день его рождения и совершившегося пятидесятилетия его литературной деятельности, на обеде 2 февраля 1838 г. в зале Благородного собрания», — как видим по заглавию, совершенно не говорится о семидесятилетии. Открывая чествование, председатель собрания А. Н. Оленин заявил, обращаясь к Крылову, что присутствовавшие «собрались в день вашего рождения, чтоб единодушно праздновать пятидесятилетие ваши успехи на поприще русской словесности». В стихах князя Вяземского, прочитанных на юбилее, было сказано тоже только о «радости полувековой». Вообще о семидесятилетии на чествовании, как это видно по «Приветствиям» и по отчету о нем в «Журнале министерства народного просвещения», не говорилось совершенно.

Странное впечатление производит юбилей, на котором не обращали внимания на юбилейную дату. Впрочем, говорили о пятидесятилетии литературной деятельности. Но для юбилея литературной деятельности оснований вообще не было. Если говорить о действительном начале творчества Крылова, то надо было обратиться к его первой пьесе «Кофейница», написанной в начале 80-х годов. Если говорить о начале печатанья произведений Крылова, то систематически он начал печататься с 1789 года, когда стал издавать журнал «Почта духов», первые же эпизодические его выступления в печати относятся к 1786 году, когда он поместил несколько своих произведений в журнале «Лекарство от скуки и забот». Однако ни в выступлениях на торжественном обеде, ни в печати не установили точной даты начала его литературной деятельности, да и вообще не проявили никакого внимания к его ранним произведениям. Скорее о них на юбилее, как и вообще при жизни Крылова, старались забыть. Крылов-журналист, сатирик был очень не по душе министру народного просвещения Уварову, самому Николаю I, да и всей, почти без исключения, комиссии, проводившей чествование великого баснописца в 1838 году. Одним словом, на юбилее не интересовались и второй возможной юбилейной датой. Просто воспользовались хоть сколько-нибудь подходящим случаем и, придав юбилею характер праздника литературы, организовали «торжество, необычное в России». Оно в самом деле было таким: тут и орден, и памятная медаль, выбитая в честь юбиляра, и торжественный обед в Благородном собрании. Собралось более двухсот человек. «Собрание необыкновенное! — восклицал корреспондент «Журнала Министерства народного просвещения». — Здесь на литературном торжестве в лице любительей словесности видели многих государственных сановников: г. председатель Государственного совета граф Н. Н. Новосильцов, г. военный министр граф А. И. Чернышев, граф А. Х. Бенкендорф, г. министр финансов граф Е. Ф. Канкрин, г. министр внутренних дел Д. Н. Блудов, г. министр государственных имуществ П. Д. Киселев и многие другие... Через несколько минут к довершению общего удовольствия прибыл г. министр народного просвещения и присутствующие с восторгом узнали о всемилостивейшем внимании государя к знаменитому баснописцу; С. С. Уваров, прочитав высочайший рескрипт, возложил на грудь Крылова звезду ордена св. Станислава второй степени. Все спешили поздравить И. А. Крылова с сею почестью, в которой каждый видел высочайшее участие государя императора в торжестве русской словесности и благословлял в душе любовь монарха ко всему прекрасному и полезному в отечестве».<sup>11</sup>

Вот каким был этот юбилей.

Естественно, что «первый тост пира был предложен г. председателем праздника за здравие государя императора и всей его августейшей фамилии...

За сим г. министр народного просвещения предложил тост за здоровье И. А. Крылова и краткою речью возбудил общий восторг, выразивший признательность к монарху, отцу отечества». Министр народного просвещения сказал: «Я счи-

<sup>10</sup> «Журнал министерства народного просвещения», 1838, март, стр. XLI—XLII.

<sup>11</sup> Там же, январь, стр. 213—215.

таю одним из приятнейших дней моей жизни день, в который я удостоился быть посреди Вас, мм. гг., орудием все милостивейшего внимания государя императора к нашему незабвенному Крылову и на этом празднике русской словесности представителем его державного благоволения к ее трудам и успехам». <sup>12</sup> «... Утешительно было видеть, — писал корреспондент «Журнала Министерства народного просвещения», — что г. министр народного просвещения желал сколько можно долее участвовать в общем удовольствии присутствующих, как радушный хозяин на пире русской словесности, и оставил залу тогда только, когда стали уже угасать огни торжества». <sup>13</sup>

«Державное благоволение» к русской литературе год тому назад привело к смерти Пушкина, и совершенно очевидно, что этот «праздник литературы» был специально устроен для того, чтобы поднять упавшую репутацию царского правительств, чтобы не только продемонстрировать на его примере любовь и уважение самодержавия к литературе, но и заставить забыть тяжелое впечатление от смерти Пушкина. «Праздник 2 февраля послужит самым блестящим примером уважения, с каким ценят великие дарования в отечестве нашем, и останется навсегда памятным в летописях русской словесности», <sup>14</sup> — утверждал «Журнал Министерства народного просвещения».

Как же отнесся к празднеству сам Крылов? П. Плетнев тогда же писал в «Современнике»: «Но что выражало его полувеселое и полудумчивое лицо? О, к его душе верно теснилось все прошедшее, одно, что не изменяется никогда в своей прелесть. Он верно проходил мыслию по этому чудному пути, который указало ему тайное провидение, чтобы темное, заботам и трудам обреченное дитя увенчано было в старости по единому духу отзвуку всего отечества». <sup>15</sup>

Грусть Крылова на юбилее понятна. Он, конечно, понял, что бестактная роль, в какую его поставили по отношению к Пушкину, должна была с этих пор сделаться постоянной ролью в русской литературе. Вот какие мысли «теснились тогда в его душе», и «проходил он мыслию» не столько по пути своего прошлого, сколько обозревал тот путь, на который ему предлагали встать. Сразу после юбилея к нему обращались с такими письмами, как например письмо Жуковского от 10 февраля 1838 года: «Великая княгиня Мария Николаевна хочет, чтобы ты написал себя в своем кабинете в том благолепном виде, в каком одна только муза тебя видит, то есть в шлафроке, и чтоб кабинет был точно таким представлен, каков он бывает ежедневно». Самодержавие готово было так же бесцеремонно лезть в личную жизнь Крылова, как перед этим оно нагло лезло в личную жизнь Пушкина. Крылов ответил тем, что после юбилея совсем перестал писать.

В недавно пушкинском журнале «Современник» П. Плетнев пытался правительственному осмыслению юбилея противопоставить другое. В начале его статьи «Праздник в честь Крылова» четко сказано: «2-го февраля нынешнего года совершилось 70 лет от рождения И. А. Крылова и 50 лет с появления первых его стихов». <sup>16</sup> Конечно, в статье была отражена правительственная организация торжества, но в то же время было обращено внимание на народное значение юбилея, на отношение к Крылову читателей, выразившееся в эти дни; большое внимание было проявлено к самому Крылову: «Умилятельно было видеть, — писал Плетнев, — этого гостя, растроганного и смущенного новостью его положения посреди друзей, знакомых и чужих, где для всех он был единственным предметом радости и внимания. Торжество таланта всегда восхитительно. Оно свидетельствует о чудесном могуществе мысли». <sup>17</sup> Именно здесь Плетнев писал о «полугрустном» виде Крылова на юбилее. Плетнев был хорошо знаком с Крыловым. Надо полагать, что Плетнев представлял себе отношение Крылова к устроенному 2 февраля торжеству не только по его задумчивому лицу. Рассказывая о том, как появилась мысль устроить Крылову юбилей, Плетнев приписывает все инициативе литераторов, которым было ясно, что «его юбилей мог быть всеобщим русским праздником». <sup>18</sup> И для Крылова, и для читателей Плетнев, как мог, старался изобразить юбилей менее зависевшим от целей императора Николая, чем он был на самом деле.

Между прочим, в какой степени определение года рождения Крылова Плетневым можно считать весомым. Да едва ли можно обращать на него особенное внимание. У него рядом стоят две даты, из которых одна, совершенно очевидно, не верна. Плетневу легко было установить, пятьдесят ли лет прошло с начала литературной деятельности И. А. Крылова. Но он не сделал этого. Значит, нет оснований думать, что он проверял и другую дату.

К моменту юбилея известны были две даты рождения Крылова. Более пространенной была — 1769 год. Но иногда встречалась и другая — 1768-й. В лите-

<sup>12</sup> Там же, стр. 216—217.

<sup>13</sup> Там же, стр. 222.

<sup>14</sup> Там же, стр. 223.

<sup>15</sup> «Современник», 1838, № 1, стр. 69—70.

<sup>16</sup> Там же, стр. 57.

<sup>17</sup> Там же, стр. 68.

<sup>18</sup> Там же.



ратуре она появилась, как указывает Я. К. Грот, в «Опыте краткой истории русской литературы» Н. И. Греча, изданном в 1822 году. С тех пор она стала широко известной. Используя возможность выбрать любую дату, Николаю предложили отпраздновать юбилей Крылова поскорее, в 1838 году, а он, как мы видели, и устроил юбилей... себе.

Л. К. Ильинский писал, что дата 1768 год держится единственно в силу «научной традиции». Как видим, это не совсем так. Перед нами традиция не научная, а политическая.

А теперь надо перейти к тому, что можно сказать в усиление нашей прежней аргументации. При сравнении всех сведений о годе рождения И. А. Крылова надо обратить внимание на то, что указания о рождении И. А. Крылова в конце 60-х годов представляют собой автоматическое, официальное повторение раз принятой даты. Условившись считать 1769 год годом рождения И. А. Крылова, согласившись на возможное «исправление» на один год, мог ли сам Крылов или его мать сообщать в ответственных случаях что-либо другое? Могли ли они рассказать истину малолетнему брату Ивана Андреевича — Льву. Едва ли. К чему было Крылову убеждать брата и рассказывать ему все эти «тайны». Вот брат и думал, что его «тятенька» родился в 1769 году. Мог ли сам И. А. Крылов писать В. А. Олениной о своих настоящих годах, сообщая в то же время на службе, где был под начальством ее отца, официальные сведения? Чего другого можно ожидать от разных служебных аттестатов, послужных списков, указов при переводах с одной службы на другую, как не повторения одной и той же первоначальной даты. Повторения не прибавляют убедительности утверждению, что И. А. Крылов родился в конце 60-х годов — перед нами, по существу, один аргумент, один факт, отраженный, так сказать, во многих зеркалах. Зато совсем иной характер имеют сведения о рождении Крылова в середине 60-х годов. Они появляются отовсюду, не будучи связаны друг с другом, не завися друг от друга. Какое отношение имели воспоминания Вигеля и Сумароковой к первому нам известному документу о рождении Крылова чуть ли не в 1763 году? Да никакого. В какой «цепной», так сказать, зависимости от этих данных находится воспоминание Крылова о том, когда он лишился отца, или запись А. С. Пушкиным рассказа Крылова о детской игре в пугачевщину? Ни в какой.

Некоторые из аргументов моей прежней статьи оспаривались. Возможно их подкрепить новыми соображениями. С. М. Бабинцев заметил, что мы не знаем прямых высказываний И. А. Крылова о том, что он лишился отца на тринадцатом году. Но ведь г-жа Карлофф еще при жизни И. А. Крылова писала, что она сообщает то, что слышала от него самого, П. А. Плетнев подтверждает это.

Конечно, перед нами не прямые слова И. А. Крылова, высказанные и напечатанные им от своего лица. Но снимает ли это значение данного сведения? Конечно, кое-что убавляет в его весомости. Но что? Если бы перед нами были прямые слова Крылова, то был бы кончен весь спор о годе его рождения. Перед нами было бы решающее утверждение. Поскольку же перед нами не прямое свидетельство Крылова, абсолютной убедительности оно не имеет, сохраняя, конечно, большую значимость.

Надо заметить, что в XVIII веке было обычным обращать внимание не только на то, сколько человеку лет, а и на то, сколько лет или даже дней исполнилось ему от рождения к моменту какого-либо события. Так, например, в «Записках» Андрея Тимофеевича Болотова мы постоянно встречаем такого рода подсчеты: «Во все время тогдашнего нашего пребывания в деревне, ни в который день мы так ни веселились, как в пятый, случившийся тогда 21 июня. Онный был 7,777 день от рождения моего сына».<sup>19</sup> Или: «Итак, в сей последний день месяца октября мы дочь мою Настасью в замужестве помолвили, и случилось сие в 20,164 день моей жизни».<sup>20</sup> Еще: «Мне при начале сего года шел 55-й год и 19,804 день моей жизни».<sup>21</sup> Когда И. А. Крылов умер, тоже подсчитывали, сколько дней, часов и минут он прожил. Так что нам был, конечно, смысл поставить вопрос: а нет ли каких-либо воспоминаний о такого рода подсчете себе лет самим Крыловым.

Занимаясь вопросом о годе рождения И. А. Крылова, не обращали должного внимания на его высказывания, дошедшие до нас, так сказать, через вторые руки. Он высказывался официально, поддерживая какую-нибудь документальную дату, а одновременно проговаривался, указывая, что то-то «было на таком-то году его жизни». Биографы пользовались этими его обмолвками для того, чтобы высчитывать что угодно, но не дату рождения. Ее принимали по какому-либо документу и от нее отсчитывали указанные Крыловым годы, определяя то или иное событие в его жизни. Мы считаем необходимым поступить наоборот: выбрать какую-либо бесспорную дату в жизни Крылова, о которой он высказался, что она была «на таком-то году», и от нее отсчитать указанные лета, определяя таким образом год его рождения.

<sup>19</sup> Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков, т. IV. СПб., 1873, стлб. 931.

<sup>20</sup> Там же, стлб. 1119.

<sup>21</sup> Там же, стлб. 1055.

В данном случае, имея дело с указанием, на каком году он лишился отца, и зная точно, когда тот умер, мы можем особенно убедительно определить год рождения И. А. Крылова. Что в жизни ребенка сильнее, чем неожиданное сиротство, поражает его, что прочнее врезается в память? Трудно себе представить, чтобы И. А. Крылов мог забыть, когда у него умер отец.

С. М. Бабинцев возражает еще против одного из наших прежних аргументов: «Что касается рассказа И. А. Крылова о его детстве, записанного А. С. Пушкиным, то нет оснований считать упоминание о „предводительстве“ в игре серьезным доказательством более раннего года рождения Крылова». Но значит каким-то доказательством и с точки зрения С. М. Бабинцева это «упоминание» является? Весь разговор, значит, о степени весомости аргумента. Ее-то и стремится умалить С. М. Бабинцев, сводя все к одному «упоминанию». На самом деле перед нами совсем не «упоминание», а целый небольшой рассказ о детской игре в пугачевщину, в которой Крылов, ни много ни мало, а был предводителем одной из сторон. По описанию характера игры, в которой принимали участие «взрослые ребята» и в которой дело доходило почти до смертоубийства, немислимо, чтобы Крылову было тогда пять лет, если предположить, что он родился в 1769 году, и даже шесть, если в 1768-м.

П. Н. Берков на обсуждении моей первой статьи о годе рождения И. А. Крылова в Институте русской литературы обратил внимание на то, что сам А. С. Пушкин сообщал и общепринятое тогда сведение о рождении Крылова в конце 60-х годов. Конечно, это требует объяснения. Но для этого вопрос можно повернуть несколько иначе. Предположим, что Пушкин, с которым Крылов мог быть откровенным до конца, знал истину, знал, что Крылов родился в середине 60-х годов. Так что же он должен был делать? Разве он мог злоупотребить доверием Крылова, рассказавшего ему то, о чем ему приходилось молчать десятки лет? Нет, конечно. Он мог только сообщать официальные сведения, одновременно проговариваясь и об истине. Но могло быть и иное. Пушкин мог и не знать истины, мог не обратить внимания на противоречия в своих сообщениях, связанных с годом рождения Крылова: просто узнал факт и отметил его, рассказал ему Крылов о своей детской игре, и он записал этот рассказ. В таком случае, чем менее пригнаны факты этого рассказа к обычным представлениям записавшего, тем, значит, точнее была запись.

Напрасно опровергать приведенные нами аргументы на том основании, что каждый из них в отдельности не имеет решающего значения. Мы этого ни за которым из них пока и не признаем. Но какое-то, большее или меньшее, значение они имеют. Нужно учитывать их совокупность, обращать внимание на их избыток и несвязность друг с другом.

Заметим, что Крылов сам никогда не говорил о путанице с годом своего рождения, разбираться в которой начали еще при нем. Он не мог ее не видеть, причем ему было бы очень легко внести полную ясность в вопрос, если бы он захотел окончательно указать 1768 или 1769 год. Но он этого не сделал. Раз так, можно думать, что он родился в середине 60-х годов и не ставил вопроса о годе своего рождения именно потому, что открыто отвергнуть датировки конца 60-х годов он не мог. Конечно, такого рода рассуждения не имеют сколько-нибудь решающего значения, но все же некоторую «дополнительную» убедительность нашему утверждению они придают.

Можно заметить что Крылов, автор произведений, написанных «эзоповским» языком, со своими будущими биографами был вынужден разговаривать тоже так, что об истине приходится только догадываться.

Любопытно обратиться к воспоминаниям современников, знавших Крылова в ранние годы его жизни, воспоминаниям, особенно убедительным в данном вопросе. Общеизвестно сообщение тверского старожилы<sup>22</sup> о «юноше» Крылове. Но если Крылов родился даже в 1768 году, он не достиг в Твери юношеского возраста. Он мог им быть только в том случае, если родился раньше. Еще более убедительны воспоминания о Крылове тверских лет, сохранившиеся в семье Львовых, сообщенные Е. Н. Львовой. Она писала, что Крылов был «принят» в дом Львовых еще при жизни его отца двенадцатилетним мальчиком, подросток и продолжал ходить к ним в дом в Твери, став «молодым человеком».<sup>23</sup> Даже если Крылов впервые появился в доме Львовых в год смерти своего отца, то и тогда он родился в 1766 году, а если несколько ранее, то соответственно и год его рождения переносится еще больше к первой половине 60-х годов. Конечно, и «молодым человеком» в Твери он никак не мог быть, родись он в 1769 или 1768 году.

Новую и совсем неожиданную аргументацию в пользу нашего утверждения дает С. М. Бабинцев в другой своей статье, рассуждая о месте рождения И. А. Крылова.<sup>24</sup> Он довольно убедительно доказывает, что И. А. Крылов не мог родиться в Москве в конце 60-х годов. Но ведь все биографы Крылова в один голос утверждают, что родился он именно в Москве. Не естественнее ли не вступать с ними

<sup>22</sup> «Северная пчела», 1846, № 292.

<sup>23</sup> См.: «Русская старина», 1880, сентябрь, стр 205—206.

<sup>24</sup> «Русская литература», 1960, № 3, стр. 196—197.

в спор, а заключить, что если он в конце 60-х годов не мог родиться в Москве, значит он родился там в другое время.

С. М. Бабинцев признает вполне возможным, что Марья Алексеевна Крылова сообщила неверный возраст сына в прошении Екатерине, но сводит дело к тому, что подправила она возраст сына всего на один год. С. М. Бабинцев сомневается: «... вряд ли М. А. Крылова пошла бы в официальном прошении на имя самодержицы всероссийской на сильное искажение данных, на явный подлог». Весь вопрос сводится, значит, к степени благоговения Марьи Алексеевны перед Екатериной и к мере ее смелости. Но об отношении Марьи Алексеевны к императрице мы судить не имеем возможности. Что же касается смелости Марьи Алексеевны, то уехать из насиженного гнезда с малолетним и другим, еще не вполне оперившимся сыном, кинувшись в неведомое петербургское будущее, могла женщина именно решительная, готовая идти на риск. Стоит вспомнить; как она ехала через места, охваченные пугачевским восстанием, чтобы не сомневаться более в ее смелости.

Еще более усиливает нашу аргументацию указание И. А. Крыловым времени начала своей служебной деятельности. Переводясь в Петербург, Крылов в своей челобитной 1783 года писал на имя Екатерины II: «В службу вашего императорского величества вступил я 1777-го года подканцеляристом тверского наместничества в калезинский нижний земский суд, потом 1778-го года переведен в тверской губернский магистрат». И так, поступил он на службу в 1777 году. Эта дата подтверждается и повторяется во всех его бумагах 1783 года, связанных с переводом в Петербург.<sup>25</sup> Однако в аттестате, выданном ему в 1810 году, появляются совершенно иные сведения, согласно которым на службу в калезинский уездный суд он поступил 2 февраля 1781 года, а 4 декабря того же года был переведен в тверской губернский магистрат.<sup>26</sup> С тех пор 1781 год как год начала его служебной деятельности повторяется в его служебных документах, а также в аттестате, данном ему при окончательной отставке.<sup>27</sup>

На этот раз перед нами совершенно бесспорный факт, что И. А. Крылов вынужден был скрывать то, что он начал служить в 1777 году. Вот прямое доказательство явного искажения документальных данных Крыловым. Но зачем он это сделал?

Может быть, его служба в 70-х годах была фиктивной и ему сложно было потом подтвердить ее документами? Нет, как раз наоборот. Документы, подтверждающие начало его служебной деятельности в 1777 году, настолько солидны, что трудность должна была заключаться в том, чтобы их обойти, не посчитаться с ними. И эту трудность Крылов преодолевал, убавляя годы своей службы в Твери.

К тому же, зачем он служил в разных тверских и петербургских канцеляриях, стремясь стать профессиональным литератором? Не из любви же к переписыванию казенных бумаг? Когда просматриваешь год за годом его служебные документы XIX века, то видишь, как шли его повышения по службе с увеличением оклада за выслугу лет. Уменьшать свой служебный стаж с этой точки зрения Крылову было прямо невыгодно, причем если бы он как-либо случайно сократился, то ему ничего бы не стоило восстановить его. Однако он не делал этого в течение целой трети века. Почему?

Из всего, что мы знаем, можно вывести лишь одно предположение. Фактически Крылов начал служить в таком возрасте, когда это было вполне возможно. Но когда Марья Алексеевна изменила ему год рождения, видимо сгоряча не сообразив, что эта поправка пойдет во все его документы на протяжении всей его жизни, то получилось, что служить он начал неправдоподобно рано. И вот, чтобы свести задним числом концы с концами, Крылов изменил ту дату, которую исправить было легче, и передвинул ее ровно на то количество лет, на какое была передвинута Марьей Алексеевной дата его рождения.

Есть, наконец, возможность привести и абсолютно «решающие», точные данные. Если поставить вопрос так: документам какого периода жизни И. А. Крылова надо отдать предпочтение, когда он мог и должен был сообщить наиболее достоверные сведения, — то прежде всего должен показаться наиболее убедительным его самый первый документ. Он указывает на 1763—1764 год. Можно обратиться и к другим материалам.

В молодые годы у Крылова не было особенного интереса к созданию своей биографии, ему нужно было вести тяжелую жизненную борьбу. При поступлении на службу, переводах с одной на другую забота была не о создании автобиографии, а о согласовании документов, решающее значение имели соображения чисто практического характера. Указывалась такая дата, которая не создавала дополнительных трудностей. Но был такой период в жизни Крылова, когда он мог сообщить в своих документах автобиографические сведения фактического порядка, особенно-то не считаясь с подобными соображениями. Это большая часть 30-х годов XIX века

<sup>25</sup> См.: Сборник статей, читанных в отделении русского языка и словесности императорской Академии наук, т. VI. СПб., 1869, стр. 346—349.

<sup>26</sup> См.: там же, стр. 296.

<sup>27</sup> Там же, стр. 317.

Он служил тогда в Публичной библиотеке, создав себе условия сравнительно сложного, обеспеченного во всех отношениях положения. Миновал период бурных политических событий, Крылов поднялся к зениту своей литературной славы, стал надворным и статским советником. Как раз в это время, в середине 30-х годов А. С. Пушкин интересовался его ранней биографией; интерес к его биографии возрос вообще. Да и у самого Крылова в это время сильнее, чем когда-либо прежде, должен был появиться к ней интерес; и теперь он мог легче всего сообщить истину или приблизиться к ней, будучи наименее зависимым от привходящих соображений. В это-то время в «имянном списке» Публичной библиотеки за 1837 год годом его рождения указан 1766-й.

Юбилей 1838 года вычеканил на золоте, серебре и бронзе год рождения Крылова. Можно было взять в руки памятную медаль, предвствие надписи на надгробном памятнике, и прочесть: «год рождения 1768». Официально утверждается конец 60-х годов XVIII века как время его рождения. А в противовес этому особенно ответственно и значимо в новом именном списке Публичной библиотеки за 1838 год годом рождения И. А. Крылова опять называется 1766 год. И снова повторяется это сведение в таком же именном списке за 1840 год. К этому троекратному повторению 1766 года следует присмотреться особенно внимательно.

Однако на эти документы внимания не обращали, не считались с ними, как будто их и не было вовсе. Только С. М. Бабинцев, перечисляя официальные указания года рождения И. А. Крылова, назвал их, ограничившись выражением недоумения: «Остается необъясненным факт появления в конце 1830-х годов в трех именных списках чиновников библиотеки даты „1766 год“ при наличии в четвертом именном списке даты „1769 год“».

Четвертый список — это документ окончательной отставки, здесь пришлось подчиниться общеизвестной традиции привести даты всей служебной деятельности к единообразию; причем любопытно, что Крылов, насколько мог, отстранил от себя наиболее одиозный 1768 год.

В связи с этими тремя документами, свидетельствующими в пользу 1766 года, находится четвертый, не учитывавшийся ранее, хранящийся также в отделе рукописей Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде; это «Дело управления императорской Публичной библиотеки о доставлении в канцелярию министра народного просвещения списков о службе чиновников» за 1840 год. Здесь содержатся послужные списки директора, библиотекарей, подбиблиотекарей и писцов за 1840 год. В этом документе мы находим следующие сведения об И. А. Крылове: «Иван Андреев сын Крылов. 73 лет. Православного вероисповедания» (стр. 20). Этот список не копия, указанного ранее за тот же год, а новый, более подробный, по другой форме составленный, на листах с напечатанными вопросами. На послужных списках отмечено: «подлинные подписаны г. директором». По-видимому, перед нами копия или черновик подлинника, отправленного в министерство. Цифра 73 вроде как бы вписана в оставленное при первоначальном заполнении списка место. Видимо, наводились справки, дата уточнялась и только тогда была проставлена дополнительно. По этому документу получается, что Крылов родился в 1767 году, с некоторой натяжкой можно подсчитать, что опять-таки в 1766-м.

Настойчиво называя дату 1766 год, И. А. Крылов, возможно, сообщил подлинный год своего рождения. Может быть, он пытался приблизиться к нему, передвигая дату все ближе к середине 60-х годов. Почему тогда он указал 66-й, а не 65-й, скажем. Скорее всего потому, что можно было сослаться на «возможную описку», т. е. цифры 6 и 8 легко могли быть написаны так, что их можно было спутать. Когда же пришлось уточнять, приводить в строгое соответствие дату рождения с ранее сообщавшимися сведениями для списка 1840 года, отправляемого в министерство, Крылов назвал спасительные 73 года, который можно было истолковывать и как 66 год и менее решительно.

Прежде чем подводить итог спору о годе рождения И. А. Крылова, заметим: сам факт, что для утверждения новой даты необходимо вести спор, обсуждать, заново ставить вопрос само по себе как бы говорит против нее. Утверждая, что Крылов родился в середине 60-х годов, выступаешь как бы против чего-то прочного, сеешь сомнения, становишься сам и других заставляешь становиться на какую-то зыбкую почву неабсолютных доказательств. Однако пора обратить внимание на то, что необходимость вести спор, выбирать из нескольких дат, доказывать, связана теперь не только с новой датой, а с любой, какую бы ни принять. В свете аргументации в пользу новой даты рождения Крылова ясно, что современному исследователю биографии И. А. Крылова, желающему сохранить старую дату его рождения, необходимо доказать ее заново, объяснить противоречивые ей факты, опровергнуть их. Желая сохранить старую точку зрения, исследователь не может остаться на позиции одностороннего, поверхностного сомнения во всем новом в данном вопросе.

Не к чему дважды говорить об одном и том же; подводя итог, читатель сам противопоставит единообразно повторяемое в силу цепной зависимости сведение о рождении И. А. Крылова в конце 60-х годов разнообразным убедительным данным, свидетельствующим, что Крылов родился в середине 60-х годов XVIII века.

Биография И. А. Крылова во многом скрыта и таинственна. Так обстоит дело и с вопросом, нами рассматриваемым. С самых ранних лет И. А. Крылову, сыну «простой женщины», какою мы знаем его мать, приходилось пробивать себе дорогу в социально чуждой ему среде. Мы можем понять его стремление восстановить перед смертью, в конце своей творческой деятельности истинный год своего рождения; понятен 1866 год в его документах; понятны его разговоры этого периода, из которых биографы почерпнули, что он лишился отца на тринадцатом году своей жизни. Истинная дата повышала значение его раннего творчества, превращала его «Кофейницу» и «Филомелу» из произведений, которыми можно было пренебрегать из-за их «детскости», в создания достаточно зрелого ума, истинная дата заставляла задуматься над всей его ранней биографией. Поняв смысл восстановления Крыловым истинной даты, мы не можем не посчитаться с ним, не можем остаться в плену традиции.

Итак, И. А. Крылов родился в середине 60-х годов. Но когда же точно? Среди всех хотя и убедительных, но приблизительных сведений самым решающим, как мы видели, является то, что он родился в 1766 году. Его-то и следует принять. Правда, большинство других данных указывает скорее на более раннюю дату. Их изобилие, с одной стороны, еще более отдаляет нас от старых дат конца 60-х годов, а с другой, дает основание предполагать, что могут быть найдены какие-либо новые сведения, уточняющие вопрос в этом направлении. Для старых дат сделано очень многое целыми поколениями исследователей, а о новых редко кто и задумывался всерьез. Может быть, 1766 год придется пересмотреть и заменить более ранней датой. Поэтому и в исследованиях биографии Крылова, с нашей точки зрения, возможно отправляться от предположения и о более раннем годе. Но сейчас при настоящем состоянии документации и аргументов принятой датой может стать только 1766 год.



## М. Ф. ОРЛОВ И ДРАМАТУРГ Н. И. СЕЛЯВИН

Лишь короткое время числившийся членом Союза Благоденствия, крупнейшего из ранних декабристских объединений, блестяще одаренный Михаил Орлов стал одним из влиятельнейших деятелей декабристского движения. Точно так же, почти ничего не печатая, Орлов занял видное место в русской литературной жизни и журналистике. Достаточно вспомнить роль Орлова в истории прогрессивного литературного общества «Арзамас», чтобы правильно оценить неотразимое обаяние его выдающейся личности. Речь в киевском отделении Библейского общества, произнесенная 11 августа 1819 года, была вершинным явлением не только в литературной деятельности самого Орлова, но и в художественной публицистике тех лет. Эта широко распространенная в списках речь была воспринята прежде всего как чисто литературное произведение. Переписка между П. А. Вяземским и А. И. Тургеневым свидетельствует об этом наилучшим образом.<sup>1</sup>

Ссылка после разгрома декабристского движения надолго лишила Орлова возможности деятельно участвовать в литературной и журнальной жизни. Лишь вернувшись в Москву в 1831 году, Орлов смог напечатать свою содержательную книгу об экономических условиях развития общества<sup>2</sup> и вскоре после этого принять участие в журнале «Московский наблюдатель». Уже после смерти Михаила Орлова в 1842 году были опубликованы его мемуарные очерки из истории капитуляции Наполеона в 1814 году.<sup>3</sup>

Пушкин, Жуковский, Батюшков, Вяземский, братья Тургеневы, Денис Давыдов, Чаадаев, баснописец и журналист А. Е. Измайлов — таковы имена наиболее видных литературных деятелей той эпохи, лично связанных с Орловым. Не говорим здесь о В. Ф. Раевском, поскольку тесное общение его с Орловым основывалось преимущественно на внелитературных интересах.

Однако литературные связи Михаила Орлова обследованы до сих пор далеко не полностью. Представляют, в частности, несомненный интерес его дружеские взаимоотношения с одним из военных сослуживцев, генералом Селявиным, вольнодумцем, поэтом и драматургом.

Николай Иванович Селявин (177?—1833) происходил из среды московского дворянства. Почти всю свою жизнь он находился на военной службе, во время которой и сблизился с Орловым. В годы Отечественной войны против армий Наполеона Селявин был уже генерал-майором, а позднее, в чине генерал-лейтенанта, занимал руководящие посты в Главном штабе. После исторических событий конца 1825 года Селявин был назначен вице-президентом Кабинета его величества, сохранив этот видный пост почти до самой смерти.<sup>4</sup>

Литературная деятельность Селявина началась в Москве. Уже в 1796 году им была опубликована отдельным изданием первая его стихотворная трехактная комедия «Осмеянный вертопрах». Потом последовали оды Суворову, Александру I (на восшествие его на престол) и некоторые другие. В 1806 и 1809 годах были напечатаны еще две стихотворные комедии Селявина «Женихи, или Победенный пред-рассудок» и «Добро не в попад, а зло не во вред».<sup>5</sup>

Продолжая традиции фонвизинского «Недоросля» и «идеологической» комедии 90-х годов XVIII века (характерным ее образом может служить комедия А. И. Клушина «Смех и горе»), Селявин своими комедиями подготовлял появление

<sup>1</sup> Остафьевский архив князей Вяземских. 1. Переписка князя П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым, т. I. СПб., 1899, стр. 296—297, 299—300, 306—307, 346.

<sup>2</sup> [М. Ф. Орлов]. О государственном кредите. Сочинение, писанное в начале 1832-го года. М., 1833.

<sup>3</sup> «Утренняя заря на 1843 год», стр. 3—65.

<sup>4</sup> О Селявине см.: Русский биографический словарь, том «Сабанев — Смыслов», СПб., 1904, стр. 294; Император Александр I и его сподвижники в 1812, 1813, 1814 и 1815 годах. Военная галерея Зимнего дворца, т. V. СПб., 1848—1849, № 24, стр. 1—3; «Русская старина», 1900, № 3, стр. 643—659 (переписка его с П. Д. Киселевым); Э. П. фон Берг. Русская комедия до появления А. Н. Островского. Варшава, 1912, стр. 24, 242.

<sup>5</sup> В рукописи сохранились комическая опера «Бердичевская ярмонка, или домо-вой», басни и другие стихотворения.

грибоедовского «Горя от ума». Самые несложные комедийные ситуации он неизменно наполнял совершенно определенным общественным и идейным содержанием. Уже в первой его комедии имеется образ помещицы Глупиловой, воюющей со своими крепостными слугами и, подобно Простаковой, заявляющей со сцены:

Однако ж задала я им хорошей час.  
Ухватом рожки все у них перепятнала.<sup>6</sup>

Но подобный прямолинейный обличительный натурализм не характерен для творчества Селявина. В основе смысловой ткани его произведений — целая серия афористически выраженных и обычно внешне слабо связанных между собою сентенций, лишь изредка концентрируемых в выразительном диалоге, как в фокусе отражающем тенденцию произведения.

Афористичность селявинского стиха может быть оценена по следующим образцам:

Что глупой враг открыл, то умной друг покроет,  
Природа есть союз: рука ведь руку моет.

Коль будет всяк капрал, не станет рядового.

Все люди по словам и хороши и честны.

Сквозь тучи черные яснее блещет свет.<sup>7</sup>

Прогрессивность идеологии, утверждаемой в комедиях Селявина, вполне проявилась уже в «Осмеянном вертопрахе». В какой мере идейно содержательны сентенции персонажей Селявина, видно из следующих примеров, взятых из комедии «Женихи, или Побезденный предрассудок»:

Мне рабство пагубно; под игом трудно жить.

А принуждение напасть и тягота.

Полезен мира плод, а в распрях мало проку.

Мне польза ближнего как собственность любезна.<sup>8</sup>

Само собою разумеется, что в этом отношении комедии Селявина лишь развивали традиции, заложенные Ломоносовым, Княжвиным и некоторыми другими замечательными русскими драматургами.

Дружеская переписка между Орловым и Николаем Селявиным носила литературный характер, что видно уже из ее формы: драматург отвечал Орлову стихотворными посланиями (правда, в литературном отношении довольно слабыми), а под его воздействием и Орлов пытался писать стихи. Однако содержание переписки выходит за пределы чисто литературных интересов.

К сожалению, до нас дошла лишь часть писем Орлова и ответных посланий Селявина. Мы располагаем четырьмя письмами Орлова, из которых первое относится ко времени назначения его командиром 16-й дивизии, непосредственно перед отъездом из Киева в Кишинев, т. е. незадолго до оформления его в составе Союза Благоденствия, последнее же было писано в Москве, за две недели до декабрьского восстания. Дошедшие до нас послания Селявина (их всего два) непосредственно не связаны с имеющимися в наличии письмами Орлова.

#### Любезнейший друг Николай Иванович,

Я смеялся до слез, читая твое послание, и как ты меня в оном не хвалишь и не ругаешь, я не мог его не прочитать некоторым из моих друзей, которые в запуски со мной расхохотались. Я вижу, что ты все тот же человек, как и был, да и я, любезный друг, мало в нраве переменился. Привычка командовать изменила несколько мою наружность, но когда сойдусь с другом или спишусь с ним, то все те же мысли и тот же образ чувствовать. Тебя я всегда любил за некоторое чисто-сердечие, смешанное с нелюдимостью, с презрением ко всему подлому и низкому. Я сам враг подлости более нежели когда-нибудь был.

Пиши ко мне, что делает Гуськов? Как ты устроил его участь? Чем сам ты занимаешься? Нет ли какого-нибудь сочинения нового? Нет ли комедии? Ходишь ли

<sup>6</sup> Ник... Сел... Осмеянный вертопрах. Оригинальная комедия в трех действиях, в стихах. М., 1796, стр. 23.

<sup>7</sup> Николай Селявин. Добро не в попад, а зло не во вред. Комедия в трех действиях, в стихах. СПб., 1809, стр. 91, 79, 83, 37.

<sup>8</sup> Николай Селявин. Женихи, или Побезденный предрассудок. СПб., 1806, стр. 49, 63, 69, 105.

в театр? Шатаешься ли по улицам? Или погребен под громадою бумаг и увлечен струею текущих дел?..

Ты видишь, что штиль мой столь высокопарен, а дружба и сердце все те же. Целую тебя от души и прошу любить искренно тебя любящего

Михайла Орлова

Сего 23-го июня 1820  
Киев<sup>9</sup>

Послание его превосходительству  
М. Ф. Орлову

24 ноября 1821

В кругу друзей, среди семейного блаженства,  
Супружеской любви и счастья совершенства,  
Ужель, почтенный друг, любезнейший Орлов,  
Нет времени тебе сказать мне пару слов?  
Порадовать меня приятнейшим рассказом,  
Как дни свои ведешь? Или тебе приказом,  
О чем теперь прошу, рещуся повелеть!  
Пред старшим кто неправ, тот станет сожалеть.

Люби меня по мне, не по моей одежде;  
Я тот же, что и был, как знал меня ты прежде.  
Однако ж разность в том: хотя мне не дан дар  
Звезд с неба схватывать, но к ним кипит мой жар  
И я достиг до двух!!.. Как вод источник чистый,  
Колблем ветерком, струи родит серебристы,  
Подобно грудь моя, двух блеском звезд горя,  
Все вокруг меня златит — в свет райский претворя!

Порадуйся, мой друг!.. Пусть люди малодушны  
От зависти ко мне унылы, мрачны, скушны;  
Орлов, как ясный день! Они, как черна ночь!  
Хотя, признайся мне, и ты от звезд не прочь?  
Неправда ль? — Угадал! — Что ценишь их высоко,  
То кажет уже мне твой орден Данненброка!..  
Пред звездами, пред сим вместилищем приман,  
И филантропия исчезнет как туман!

Не стыдно их иметь, мой милой друг, в предмете:  
Они дороже всех сокровищей на свете!  
Богатство лишь одних скупцов к себе манит;  
Ну! всякой ли его считает за магнит?  
Кто знает, Крез ли я иль Ир, нужду терпящий?  
Но яркий блеск лучей, от звезд происходящий,  
Увидит и слепой без помощи очков.  
Прощай и будь ко мне по-прежнему, Орлов.

Узнай, что мой портрет поставлен в Эрмитаже!  
Отлична честь сия мне сделана тогда же,  
Когда я орден, мной желанный, получил!  
Случай рассудок мой никак не омрачил.  
Не чужд порядок мне естественного чина:  
Пигмей, как ни тянись, все ниже исполина,  
Хоть с великанами поставлен наряду!..  
Я знал и буду знать всегда мою чреду.<sup>10</sup>

Послание  
его превосходительству Михаилу Федоровичу Орлову

Приятное письмо твое  
И весть, что бог тебе дал сына.  
Молчанье прервали мое.  
А рад, что есть к тому причина!  
Язык мой движим от души,  
Пишу без дара, без искусства,

Стихи те, право, хороши,  
Которые внушают чувства.

Стократно поздравлять хочу  
С любезным отраслем Орлова  
И мыслями вперед лечу!..

<sup>9</sup> ЦГИАЛ, ф. 938, оп. 1, ед. хр. 607, л. 69.

<sup>10</sup> Там же, ед. хр. 9, лл. 8—9. Экземпляр автора.



Когда получит он дар слова,  
Скажу ему: не суеты,  
Но истину б любил сердечно;  
Чтоб был умен и добр, как ты,<sup>11</sup>  
И жив отец в нем будет вечно.

Что ты счастливее меня,  
Я в том с тобою соглашаюсь,  
И лентою тебя маня,  
Сам ею мало утешаюсь!  
Наружный блеск тогда не льстит  
И лакомый кусок не сладок,  
Коль бедность в будущем грозит  
И в настоящем недостаток!

А с ними вместе муки, грусть,  
Тоска и чисто огорченье  
Смирили честолюбье. Пусть  
Оно другим во утешенье.  
Могу без почестей прожить:  
Доволен! Мне не нужно боле.  
Любимцам счастья блажить  
Пространное открыто поле.

Какой Зоил тебе сказал  
(На таковых и нет законов),  
Что будто закром я набрал  
Аренд, перстней и пенсиров? ..  
Одною награжден землей  
(Для поддержанья, видно, чина),  
Но мне такая польза в ней,  
Божусь! как от земли Пекина!

Что я храню и честь и долг,  
То утверждать пред всеми смею:  
По службе агнец я, не волк,  
Но зверей хищных не робею.  
Терпенье, скромность — часть людей:

Прошу принять сии стихи за прозу. В первых многим жертвуют для рифмы, а в последней свободно объясняются наши чувства; я говорю о моих. — Стихи при получении ленты писаны были в жару, а в горячке обыкновенно бредят.

Твой искренно преданный  
Николай Селявин

С.-Петербург  
10 апреля 1822.

Уведомясь, что ты находишься в Киеве, я медлил отсылкою сего письма, рассчитывая, когда оно сможет застать тебя в Кишеневе — временном гнезде твоём.<sup>12</sup>

Любезный друг Николай Иванович,

Ты на меня не пеняй, я два раза к тебе писал и знаю ценить твою дружбу. Раз полустихами, а другой подлюю прозою. Теперь я зарыт в делах хрустальных у себя на фабрике и стараюсь загладить прежнюю ветренность. Кажется, что немного развязал дела и еду поспокойней. Мне много есть о чем сетовать, но на письме не годится.<sup>13</sup> Утешение нахожу в семействе, и первородного назвал Николаем.  
Табак тебе пришло.

<sup>11</sup> Это не лесть, а чистая правда. (Прим. Селявина).

<sup>12</sup> ЦГИАЛ, ф. 938, оп. 1, ед. хр. 9, лл. 65—66. Черновик.

<sup>13</sup> Письмо написано Орловым спустя несколько месяцев после возмущения рядовых в Камчатском полку вверенной ему дивизии. Это событие и арест В. Ф. Раевского привели к фактическому отстранению Орлова от командования 16-й дивизией.

Прощай, любезной друг, я с завода еду за женой в Крым — и спешу сесть в коляску.

Твой истинной друг  
Михаил Орлов

Сего 23 июля 1822 года  
Село Милятино

Сего 2 мая 1823 года. Милятино.

Любезный друг, я получил твое письмо от 26 марта 1823 года и приложенное к оному послание от 10-го апреля 1822 года в деревне моей, селе Милятине, куда я приехал наведаться о приходах и расходах и где нашел, что итоги оных так верны, что мне остается жить без гроша нынешний год. — Хотя это не весьма утешительно, но все-таки лучше, нежели то, что пишешь о себе. — Я не понимаю, как ты, который всегда чужд был приятностям столицы и тем глупым удовольствиям, коих я искал так долго в обществах так называемого большого света, ты, который похож был на Алкивиюда одною только страстью к Шамаеву,<sup>14</sup> не понимаю, говорю, как ты давно не уклонился от всех суев столицных. — Поверь, что в провинции можно столь же приятно жить, как и в Петербурге, и гораздо дешевле.

Итак, соберись силами и перемени твое пребывание. Но прежде проси помощи у государя. Он милостив и не откажет, конечно, променять саратовскую степь на аренду. Сию последнюю, особливо ежели она в южных польских провинциях, ты можешь легко продать на контрактах. Денис Давыдов, твой брат по парнасским затеям, продал таковую за 150 тысяч рублей, забрал денги и спокойно живет в Москве.

Советую тебе, любезный друг, запастись этим хорошенько и устроить твою будущность. Это не шутка; время летит, иных пудрит сединою, у других, как у меня, щиплет волосы клоками. Ты меня не узнаешь. Голова моя тебе понравится конечно, ибо обнажена и гола, как нечто шемаевское. — Естли ты не постарел, то легко поймешь меня.

Прощай, любезный друг, я еду в Москву и в течение мая ворочусь в Киев.

Твой искренний друг  
Михаил Орлов

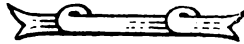
Кланяйся Толло.<sup>15</sup>

Любезной друг, Николай Иванович, ты получишь сие письмо чрез поручика Горчакова,<sup>16</sup> служившего некогда при мне. Он просит, чтоб его перевести в 1-ю армию, в 5-й корпус или в Гренадерской, ибо семейственные его обстоятельства того требуют. Сие соединит все удобства для него, ибо он тогда может вместе продолжать службу, которую любит и оставлять не хочет, и заниматься своими собственными делами, кои требуют его надзора. Так как это состоит в кругу твоей власти, я уверен, что ты не откажешься оказать ему сию милость.

Я живу покойно в Москве; тебя люблю и уважаю по-прежнему и таланту к стихотворению не приобретаю. — Прощай, любезной друг.

Михаил Орлов

Сего 26-го ноября 1825-го года  
Город Москва.<sup>17</sup>



<sup>14</sup> Иван Антонович Шемаев (ум. в 1851 году) — артист балетной труппы императорских театров (ЦГИАЛ, ф. 497, оп. 97/2121, ед. хр. 2429, лл. 66, 68 и 83).

<sup>15</sup> Граф Карл Федорович Толь (1777—1842) — генерал от инфантерии, один из руководителей Генерального штаба.

<sup>16</sup> Поэт Владимир Петрович Горчаков (ум. в 1866 году), служивший в 16-й пехотной дивизии с ноября 1820 года и хорошо знавший Пушкина. Еще при жизни В. П. Горчаков напечатал «Выдержки из дневника» («Москвитянин», 1850, №№ 2, 3 и 7), в которых немало говорится об Орлове, и воспоминания о Пушкине («Общезанимательный вестник», 1858, № 8, стр. 374—382). См. также «Рассказы о Пушкине, записанные П. И. Бартеневым» (М., 1925, стр. 48, 106, 123).

<sup>17</sup> ЦГИАЛ, ф. 938, оп. 1, ед. хр. 607, лл. 67—68, 70—75.

## ПИСЬМА А. Е. РОЗЕНА К М. А. НАЗИМОВУ

В рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР находится 73 письма А. Е. Розена, адресованные М. А. Назимову. Первое из них датировано 20 октября 1844 года, последнее — 11 апреля 1884 года.<sup>1</sup> Настоящая коллекция составляет лишь часть писем Розена к Назимову, о чем свидетельствует, в частности, отсутствие писем за 1845—1872 годы.

Письма Розена к Назимову почему-то до сих пор не публиковались и не введены в научный оборот. Такое положение более чем странно, так как они представляют несомненный интерес для историков и литературоведов.

А. Е. Розен и М. А. Назимов прожили долгую и плодотворную жизнь. Первый из них был осужден по V разряду, сослан на каторгу в Нерчинск, а в 1832 году отправлен в Курган. Здесь Розен познакомился с М. А. Назимовым, у которого поселился с женой и детьми. С этого времени между двумя декабристами завязалась тесная дружба, продолжавшаяся до конца их жизни. Какое значение они придавали ей, можно судить хотя бы по одному тому, что день их знакомства — 19 сентября — ежегодно отмечался как особый праздник.

В 1837 году Розену и Назимову разрешили переехать на Кавказ и поступить в армию. Розен, по болезни, пробыл там только до 1839 года, а затем был отправлен под строгий надзор в имение своего брата под Нарву. Значительную часть своей последующей жизни А. Е. Розен посвятил собиранию материалов по истории движения декабристов, получив у своих товарищей лестное название «историографа декабристов». Розен имел тесную связь со многими декабристами, писателями и общественными деятелями. Его статьи часто появлялись на страницах журналов и газет. Умер он 19 апреля 1884 года.

Несколько иначе сложилась жизнь М. А. Назимова. Он долго служил в армии и принимал деятельное участие в кавказских войнах. Только в 1846 году он получил, наконец, офицерский чин и вышел в отставку. С этого времени и до самой смерти (в 1888 году) М. А. Назимов жил в Пскове. Здесь он принимал участие в разработке реформы 1861 года, был долгое время председателем Псковского губернского земства и на этом поприще много сделал для развития просвещения в губернии.

М. А. Назимов имел широкий круг друзей и знакомых, среди которых были многие видные деятели науки, искусства и литературы. В числе друзей Назимова в разные годы жизни можно назвать А. С. Пушкина, К. Ф. Рыльева, Г. С. Батенкова, А. И. Одоевского, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова и многих других. С Лермонтовым Назимов был не только близко знаком, но и имел влияние на его творчество.<sup>2</sup> Он оказал также помощь Н. А. Некрасову, когда последний писал свою знаменитую поэму «Русские женщины».<sup>3</sup>

В письмах Розена к Назимову затрагивается широкий круг вопросов, далеко выходящих за пределы биографии двух деятелей декабристского движения. В них дается оценка ряда социально-экономических и политических событий пореформенной России, содержатся интересные сведения о движении декабристов, а также важные данные для истории русской литературы XIX века.

Ниже публикуются отрывки из восьми писем А. Е. Розена к М. А. Назимову, относящихся к 1874—1881 годам.

Викнина, 18 февраля 1874 года

Здравствуй, добрый сердечный друг Михаил Александрович. Письмо твое от 3 февр. очень меня обрадовало, по почерку заключаю, что зрение твое все улучшается, дай боже, чтобы сохранилось до конца...

<sup>1</sup> Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, ф. Р. 1, оп. 24, ед. хр. 49.

<sup>2</sup> См.: Ленина Иванова. Лермонтов и декабрист М. А. Назимов. «Литературное наследство», т. 58, 1952, стр. 431—440.

<sup>3</sup> Н. А. Некрасов, Полное собрание сочинений и писем, т. 3, Гослитиздат, М., 1949, стр. 589; т. 11, стр. 230, 244; см. также: Архив села Карабихи. М., 1916, стр. 165; «Звенья», т. 5, 1935, стр. 505—506.

В Русском вестнике за январь 1874 не мог равнодушно пробежать статью «Из биографии графа М. Н. Муравьева» Д. А. Кропотова.<sup>4</sup> Знаешь ли ты автора? Он должен быть славянофил, а не русофил. Жаль мне, что не мог тебе сообщить мою заметку и советоваться с тобою.<sup>5</sup> Время не позволило, а молчать не приходится, пока есть глаза и память. Если цензура не пропустит, то воспользуюсь досугом и пополю данные объяснения щекотливых вопросов. Само собою разумеется, не бранюсь, не ругаюсь, но возражаю вежливо и правдиво. Беспристрастные люди, они не вывелись еще без остатка, поймут и уважат истину.<sup>6</sup>

Викина, 13 марта 1874 <года>

Здравствуй, дорогой и честный друг мой Михаил Александрович. Благодарю за добрые письма твои из Птб., последнее от 4 марта...

Заметку мою на статью «Из биографии графа Мих. Н. Муравьева» в конце февраля отправил в Русскую старину и получил ответ, «что печатать ее, по крайней мере, в ближайших книгах, решительно невозможно: цензура ни за что не пропустит и т. д.»

«Голос» слегка заметил ложь и промахи автора «Из биографии М. Н. Муравьева».

«С.-Петербургские ведомости» заступились за Пестеля.

Матвей Ив. Муравьев пишет мне, что «автор статьи в 1 № Русского вестника есть отставной полковник, живет в Птб., считается порядочным человеком, но что статья его не выдерживает критики, сам себе противоречит, и пишет против правды. Главными деятелями против голода в Смоленске в 1820 году были не Мих. Н. Муравьев, но братья Михаил и Иван Александрович Фоввизины; он тогда не был богат, сам нуждался. Написал Зеленую Книгу не только чтобы противодействовать Пестелю, но против своего родного брата Александра, который действовал тогда окрестя себе голову, принимал в общество подозрительные личности; на одном совещании явился аптекарь, им принятый, который всем объявил, что он донесет, если не получит незначительную сумму денег; другой им принятый член, кажется, помещик Нижегородский, объявил, что он поступит в общество, чтобы посоветоваться с умными людьми по своему делу, которое оказалось довольно нечисто».<sup>7</sup> — Но мне дела нет до Мих. Н. Муравьева; никто, кроме времени и забвения, не смоем пятна с него и с Блудова — лишь бы не клеветали,<sup>8</sup> не злословили без доказательств со стороны правды.

Твой старый друг А. Розен.

<sup>4</sup> Речь идет о двух главах из книги Д. Кропотова «Жизнь графа Михаила Николаевича Муравьева» — «Деятельность Муравьева во время голода в Смоленской губернии» и «Нахождение под следствием по делу 14-го декабря» («Русский вестник», 1847, № 1, стр. 5—82).

<sup>5</sup> В письме от 15 марта 1874 года Розен просил Назимова, который должен был ехать в Петербург, зайти к М. И. Семевскому, прочитать эту заметку и сообщить ему свое мнение. Сделал ли это Назимов, установить не удалось.

<sup>6</sup> Статья Кропотова вызвала резкую критику также и других декабристов. Попытки Розена публично разоблачить Кропотова продолжались почти 40 лет. Только в 1884 году «Русская старина» (т. ХLI, стр. 61—70) поместила его очерк «Михаил Николаевич Муравьев и его участие в тайном обществе 1816—1821 гг.», в котором он полностью опроверг статью Кропотова.

<sup>7</sup> В опубликованном в 1884 году «Русской стариной» очерке Розена (см. примеч. 6) ничего не сказано об ошибках Кропотова при изложении роли Муравьева в борьбе с голодом в Смоленской губернии и о написании Зеленой книги. Возможно, что это продиктовано цензурными соображениями. Принято считать, что авторами Зеленой книги были С. П. Трубецкой, И. Г. Бурцев, Петр Колошин и Никита Муравьев. Что же касается М. Н. Муравьева, то он упоминается лишь как автор одной части Зеленой книги, которая, однако, была декабристами забракована. Составленную М. Н. Муравьевым часть Зеленой книги было поручено пересоставить Петру Колошину. См.: М. Азадовский. Затерянные и утраченные произведения декабристов. «Литературное наследство», т. 59, 1954, стр. 617; а также: С. Н. Чернов. У истоков русского освободительного движения. Саратов, 1960, стр. 261—329.

<sup>8</sup> Розен намекает на крайне неблагоприятную роль Д. Н. Блудова на посту делопроизводителя верховной следственной комиссии по делу 14 декабря. Составленный Блудовым с преступным легкомыслием и юридическими ошибками «Доклад о тайных политических обществах» дал возможность правительству с особой жесткостью расправиться с декабристами. Неблаговидная роль Блудова была отмечена Н. Тургеневым в его книге «Россия и русские». Обвинения были настолько неопровержимы, что Блудов даже не нашел возможным ответить на них. Что же касается реакционной роли М. Н. Муравьева вообще и особенно в расправе с польскими повстанцами в 1863 году, то она была хорошо известна современникам, которые прозвали его «Муравьевым-вешателем».

19 декабря 1877 &lt;года&gt;

В фельетоне Голоса взята из Русск. архива Бартенева «Записка Лорера», где говорится об А. И. Одоевском, будто бы он ехал с Лорером, когда экспромтом написал «Куда несетесь вы, крылатые станицы» и т. д., а мне кажется, что он тогда ехал с тобою, что я и поместил в «Русской старине» и прибавил строфу, которую Одоевский собственноручно мне приписал в мой альбом в Пятигорске в 1838 к своему экспромту:

И что не мерзлый ров, не снеговой увал  
Нас мирно подарят последним новосельем,  
Но кровью жаркою обрызганный чакал  
Гостей бездомных прах разбросит по ущельям.

Этими строками дорожу особенно, потому что он своих стихов никому сам не писал, а диктовал кому угодно.<sup>9</sup>

19 сентября 1880 &lt;года&gt;

Здравствуй, неизменный старый друг Михаил Александрович. Ты знаешь, с какими чувствами и впечатлениями мы здесь вспоминаем твою дружбу и первую встречу в Кургане в этот день. Если бы ты и теперь был там и с тобою Нарышкины и Бригген и проч., то я, не задумываясь ни минуты, поспешил бы к тебе и к добрым искренним товарищам. Так и сензор наш, пребывающий в Москве Матвей Иванович уверял меня, что пребывание его с товарищами в Ялutorовске было самое приятное время его жизни. В Изюме встретил я доктора, переведенного из Кургана, служившего там 15 лет, город для нас был бы неузнаваем: почти все кирпичные дома, на площади близ присутственных мест стоит ряд городских извозчиков, горькой нужды не видать нигде. Новая пятикупольная церковь по твоему чертежу красуется в городе.

Читаешь ли ты «Русскую старину»? В последнем № за сентябрь помещены 4 главы воспоминаний Александра Петровича Беляева, имевшего корректором своей рукописи знаменитого романиста гр. Льва Толстого.<sup>10</sup>

Краткая биография родителей, детство его, юношество и морской кадетский корпус описаны хорошим текущим слогом без педантизма; меня изумила только часть предисловия кающегося автора, который опомнился на 77 году жизни. Впрочем, по нескольким строчкам предисловия нельзя судить о книге; если доживем до конца ее, то узнаем намерение, направление и цель этой книги. Есть намеки такой несправедливый относительно иезуитского правила — будто бы цель оправдывает всякое средство достижения,<sup>11</sup> против такого правила торжественно восставали в многих заседаниях тезка твой Мих. Ал. Фонвизин и другие, ссылаюсь на книгу Николая Ив. Тургенева и на самое донесение следственной комиссии.<sup>12</sup>

Слух носился, будто гр. Л. Толстой собрался писать новый роман о декабристах и бросил намерение, узнав, что главные лица и деятели были люди порочные, развратные и злодейственные. Может быть, он черпал свои сведения из книг стороннических, передающих отзывы ошибочные, вроде книги Кропотова, биографии гр. Мих. Никол. Муравьева. Слава богу, что не вывелись на земле свидетели истины.<sup>13</sup>

<sup>9</sup> Об обстоятельствах, при которых Одоевский сочинил это стихотворение, а М. А. Назимов записал его, см.: А. И. Одоевский. Полное собрание стихотворений и писем. «Academia», М.—Л., 1934, стр. 404—405.

<sup>10</sup> В редакционном примечании говорилось, что воспоминания Беляева были «указаны» журналу Л. Н. Толстым. По свидетельству Беляева, Толстой сделал на полях его рукописи много отметок, согласно которым он, Беляев, внес необходимые прибавления. Трудно сказать, насколько серьезно Толстой «поощрял» Беляева к изданию его записок, что последний неоднократно подчеркивал, но одно несомненно: Толстой их читал во время своей работы над романом о декабристах. Воспоминания Беляева вызвали резкую критику у многих декабристов и исследователей декабристского движения.

<sup>11</sup> Розен имеет в виду следующее место предисловия Беляева: «В воспоминаниях этих читатель также увидит, как люди с прекрасными чувствами и стремлениями, мгновенно выступавшие на политическое поприще и так же мгновенно, хотя и не бесследно исчезнувшие, могли сознательно усвоить и принять коварное иезуитское правило „цель освещает средства“» («Русская старина», 1880, т. XXIX, стр. 1).

<sup>12</sup> Речь идет о работе Н. Тургенева «Россия и русские» и «Донесении следственной комиссии» (1826).

<sup>13</sup> Первые замыслы Л. Н. Толстого написать роман о декабристах относятся к 1863 году. В конце 1877—начале 1878 года он энергично собирал материалы для романа и написал несколько отрывков. Однако уже в 1879 году Толстой оставил

Викнина, 8 декабря 1880 (года)

Здравствуй, мой добрый верный друг Михаил Александрович! Сердечно благодарю за твое хорошее письмо от 28 ноября и за добрые желанья...

Не знаю, что мне завтра привезет Русская старина? Может быть, что я напрасно принимаю к сердцу беляевское предисловие в сентябрьской книжке на том основании, что доброе и честное имя наших товарищей не может ничего терять от необдуманных журнальных строчек писателя, зарпортованного в своей идее и в своих словах и выражениях, и что добрая память о наших не может быть омрачена ни старыми, ни новыми злословиями.

Вот что писал мне П. Н. Свистунов от 16 ноября: «Спешу сообщить Вам приятную весть — Матв. Ив. дал мне прочесть два письма Ваших, в которых Вы поминаете о записках А. П. Беляева. Вас смутило его предисловие, что и побудило меня ознакомиться с ним. Я выпросил у Матв. Ив. Русскую старину за сентябрь. Злополучная фраза о коварном иезуитском принципе встревожила и возмутила меня не меньше Вашего. Решился с ним объясниться. По просьбе моей он ко мне сегодня зашел. К чести его должен сознаться, что он без упорства возражал и скоро убедился в своем промахе, как он сам выразился. И точно, в предательском умысле обвинить нельзя столь честного и доброго человека. Простился он со мною с тем, чтоб, возвратившись домой, составить заметку, в виде оговорки, и отправить ее к Семеновскому для помещения в декабрьской книжке, вместе с продолжением его записок. Он только что сообщил мне эту заметку, желая узнать мое мнение. Посылаю Вам копию: „В предисловии к моим воспоминаниям, без пояснения моей мысли о моих благородных товарищах, написал, что они, к несчастью, усвоили себе иезуитское правило, — что цель оправдывает средство, не пояснив, что в этих средствах они разумели восстание против тогдашнего порядка вещей, в котором и сами приносили себя в жертву, но гнушались всякими безнравственными мерами, как-то: поджогами, ограблениями, позорными убийствами из-за угла, какие употребляют новейшие революционеры, отвергающие бога, религию и священные семейные союзы“.<sup>14</sup> Признаюсь, все это меня не удовлетворяет, и мне досадно и гадко, что все это случилось чрез доброго человека. Да храниг тебя господь! Обнимаю тебя и кланяюсь Исааку Филипповичу.

От клеветы никто не уйдет, мало ли что писали в двадцатых годах и еще напишут в будущем времени, об этом я нисколько не хлопочу; но главное дело в той личности, кто писал. Беляеву непростительно так выражаться».

Викнина, 29 апреля 1881 (года)

Здравствуй, мой дорогой неизменный старый друг Михаил Александрович! Сердечно благодарю тебя за твои хорошие письма от марта и от 11 апреля...

Не знаю, прочел ли ты фельетон Голоса от 4 апреля № 94 — о нашем А. И. Одоевском? — Там сказано: «и тайну своего сердца он почти всю унес в могилу. Говорим *почти*, так как, по счастью, кое-что из его произведений уцелело, благодаря товарищам его, декабристам Назимову и барону Розену, записавшим их». С тою же почтою получил я письмо от сестры нашего Оболенского княгини Натальи Петровны и дочери его Ольги, известивших меня, что в Кронштадте умер старший сын нашего Оболенского, бывший медик, и оставил вдову и двух малюток 2-х и 4-х лет без всяких средств жизни, а бабушка для воспитания детей нашего Оболенского сперва продала деревню свою, потом дом свой в Калуге, живет в наемном и содержит вдову и дочь нашего Евг. Пет. и перебивается с помощью божьей. Не имея лишнего рубля, пришла мне мысль отправить библиографу собранные мною стихотворения Одоевского, им же самим пересмотренные и исправленные в Пятигорске, с тем, чтобы он прямо от себя адресовал бы сто рублей на имя кн. Н. П. Оболенской для известного ей употребления по поручению моему. В моем собрании исчезло Сочетание Грузии с Россией — Далекый путь — кн. Волконской 1829 года на день ее рождения — к Пушкину ответ — Чалма — Отрывок поэмы Василью — раздавал прочесть, и мне не возвратили.

Вот список уцелевших у меня стихотворений, чего не достаёт и сохранилось у тебя, прошу мне переслать для дополнения. Сам не могу взяться за издание, потому что меня проучили 2 книгопродавца туземных и 3 заграничных.

это намерение и больше к нему не возвращался. Подробно история работы Толстого над романом о декабристах, а также о причинах отказа от этого намерения освещены в статье М. А. Цявловского «„Декабристы“». История писания и печатания романа» (см.: Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, юбилейное издание, т. 17, Гослитиздат, М., 1936, стр. 469—585; Н. Н. Гусев, Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого, Гослитиздат, М., 1958, стр. 219 и сл.).

<sup>14</sup> Приведенная заметка Беляева не была опубликована в декабрьской книжке «Русской старины», в связи с чем Розен написал гневное письмо в редакцию, в котором опровергал клевету Беляева. Только после этого письма редакция поместила заметку Беляева в значительно более смягченном виде, чем она приведена в настоящем письме.

## У меня наличный запас.

1. Полночь в Петро-Пав. креп. в Свят. неделе	1826
2. Сон поэта	»
3. Душа узника. Элегия	»
4. Мой непробудный сон в Чите	1827
5. Луна. Экспромт	»
6. К отлетевшей — в Чите	1828
7. На смерть Грибоедова. Дума	1829
8. Элегия	1830
9. Умирающий художник (на смерть Веневитинова)	»
10. Сен Бернар	1831
11. Колыбельная песнь Кондратию или «нрб.» в Петровской тюрьме	1832
12. Ему же, в память соименного Рылеева	»
13. Липа, воспоминание	»
14. Последняя надежда (Андр. Евг. Розену)	»
15. А. М. Янушкевичу в Ишиме на поселении	1836
16. Ему же на привет от курганских товарищей	»
17. Послание к отцу своему из Ишима	»
18. В альбом	»
19. На пути при виде Кавказских гор. Экспромт	1837
20. Река Усьма на пути по Тамбовской губ.	»
21. Марье Вас. Вольховской	»
22. Моя Пери, Карагачь, 29 февр.	1838

Викнина, 24 августа 1881 <года>

Здравствуй, мой добрый и верный друг Михаил Александрович! Сердечно благодарю за твое хорошее письмо от 8 августа и за твои обстоятельные заметки. Об Одоевском умница напечатал: «если в русском обществе есть искра чувства и вкуса, то Одоевский, хотя и поздно, должен сделаться одним из его любимцев; или как сказал о ком-то Victor Hugo: c'est un mort destiné à renaître».

Мне только жаль, любезный друг, что я моим многословием и мелким почерком утомил твое зрение. Охотно выпущу из черногого очерка моего и Рюрика и Державина; вычеркну совершенно лишние повторения, но оставлю белую тетрадь не как фарс или шик молодости, а как доказательство, как он всегда избегал писания; может быть и то, что он держал тетрадь для присутствия духа (contenance), потому что между слушателями были знатоки литературного предмета не слабее его.

Не могу не упомянуть о религиозности его, как о духовном сокровище, подерживавшем лучших друзей наших во время продолжительных испытаний, — и Лермонтов коснулся этого предмета, сказав о нем в «памяти А. И. Одоевского»: «Он сохранил . . . . . И веру гордую в людей и жизнь иную». — И далее: «И то, что ты сказал перед кончиной, Из слушавших тебя не понял ни единый. . .» Значительно сокращаю мою вставку о препятствиях к большому развитию его таланта. Забайкальская жизнь до 1833 года описана мною со всевозможною подробностью в моих лейпцигских записках. Продолжение до 1839 написано Басаргиным, и могут дописать еще ныне живущие в Москве Свистунов и Дм. Завалишин. Правда все-таки останется правдою.<sup>15</sup>

24 сентября 1881 <года>

Кончил биографический очерк нашего Одоевского, приложил фотографическую копию с акварельного его портрета, нарисованного в Чите Ник. Александр. Бестужевым, и еще четверостишие почерка руки его.

Свистунов уведомил меня, что Беляев отправил М. И. Семеvскому для напечатания две первые песни поэмы «Василько» Одоевского и спрашивает, нет ли у меня третьей и продолжения. Одоевский сам был недоволен своею поэмою, отмахивался рукою, когда я просил его продолжать и окончить. Он отговаривался скудностью историч. документов и недостатком топографич. указаний. Все, что у меня было из этой поэмы, я дал прочитать в Пятигорске и обратно не получил; прошло сличком 40 лет, и полагаю, что этих чтецов уже нет на свете.<sup>16</sup>



<sup>15</sup> Биографический очерк о А. И. Одоевском Розен поместил в изданном им первом полном собрании стихотворений поэта. См.: Полное собрание стихотворений князя А. И. Одоевского. Собрал барон А. Е. Розен. СПб., 1883.

<sup>16</sup> Подробно об издании поэмы «Василько» см.: А. И. Одоевский. Полное собрание стихотворений и писем. «Academia», М.—Л., 1934, стр. 373—391.

## НОВОЕ ПИСЬМО Н. В. ГОГОЛЯ К Н. М. ЯЗЫКОВУ.

В последнем томе «Revue des études slaves»<sup>1</sup> профессор Кембриджского университета Е. Хилл опубликовала полученное в дар от Сиднея Сейбина в 1943 году неизвестное письмо Гоголя, приведя его факсимиле. В краткой вступительной заметке на основе заключительных строк письма (в нем отсутствуют имя адресата и год написания) Е. Хилл высказала предположение о том, что оно было адресовано Н. М. Языкову и могло быть написано между 1845—1847 годами.

В своем основном предположении — об адресате письма — Е. Хилл не ошиблась. Знакомство с содержанием ответного письма Языкова к Гоголю, тоже, кстати сказать, не имеющего даты (опубликовано В. И. Шенроком в «Русской старине»),<sup>2</sup> дает нам право с полной уверенностью утверждать, что данное письмо Гоголь послал одному из своих близких друзей — Николаю Михайловичу Языкову (1803—1846). Приводим письмо:

«Ничего еще не пишу тебе верно начет моего местопребывания, нахожусь в недуге, увеличивающемся более и более, чувствую, что нужно куда-нибудь двинуться, и не достает сил, а с тем вместе духа и решительности, ибо страшусь, что останусь один,<sup>3</sup> что может случиться особенно в Гастейне, а это мне опасно. Но оставим отныне всякую речь обо мне и не будем больше говорить о моем здоровье. Все в руках божиих! Маленькое письмо твое от 27 дня мая получил.<sup>4</sup> Бог да хранит тебя. На дачу выезжай поскорее, не трудись и отдохни летом, но не сиди на месте и двигайся побольше на воздухе. Пей чай и все утро на воздухе прохаживайся побольше, не пропуская ни одного<sup>5</sup> вечера. Днем, если можно, сиди также на воздухе, придумай такое занятие, хоть, например, ужение рыбы. Жаль мне, что Москвитянин, судя по письму твоему,<sup>6</sup> готов прекратиться,<sup>7</sup> впрочем я уже видел с самого начала. Прить и натуга у нас на миг; за нею в ту же минуту следует лень и беспечность, без одного повелевающего и движущего всем у нас никакое дело ни на каком поприще не состоится. А повелевать и двигать всем никто не умеет, но потому, что не умеет повиноваться. Впрочем наше поле литературное, слава богу, не бедно, и мне кажется вообще утешительным.<sup>8</sup> Много очень замечательного. Я прочел Тарантас Соллогуба,<sup>9</sup> который гораздо лучше его самого. Произведение очень удачное, таланта, ума и остроты много.<sup>10</sup> Оно ровно, выдержано и даже в своем роде полно. Язык правилен, и слог очень хорош. Но еще больше меня остановили произведения Кулиша. Судя по отрывкам из двух романов, которые я прочел,<sup>11</sup> в нем все признаки таланта большой руки, я бы очень хотел иметь

<sup>1</sup> «Revue des études slaves», 1961, t. 38, pp. 105—109.

<sup>2</sup> «Русская старина», 1896, № 12, стр. 646—647.

<sup>3</sup> Далее зачеркнуто: в тяжелом состоянии

<sup>4</sup> Письмо Н. М. Языкова от 27 мая 1845 года неизвестно.

<sup>5</sup> Далее зачеркнуто: вечер

<sup>6</sup> Далее зачеркнуто: не пойдет

<sup>7</sup> Гоголь имеет в виду письмо Языкова от 15 июня 1845 года, в котором последний писал: «„Москвитянин“, как кажется, дойдет до конца 1845 г. и до своего собственного кое-как, нога за ногу, ковыляя и падая. Знать не судьба И. Киреевскому быть редактором журнала: его деятельности хватает только на три №№» («Русская старина», 1896, № 12, стр. 638).

<sup>8</sup> Далее зачеркнуто: может быть и так

<sup>9</sup> Соллогуб Владимир Александрович (1814—1882). Первые семь глав повести «Тарантас» были опубликованы в «Отечественных записках» (1840, т. XII). Отдельное издание повести с иллюстрациями Г. Гагарина появилось в начале 1845 года (В. А. Соллогуб. Тарантас. Путевые впечатления. СПб., 1845, 287 стр.; ценз. разр. 24 октября 1844 года). Судя по письмам Гоголя к жене писателя С. М. Соллогуб и В. А. Соллогубу от 3 января 1846 года, он познакомился с повестью «Тарантас» еще в рукописи (Н. В. Гоголь, Полное собрание сочинений, т. XIII, Изд. АН СССР, 1952, стр. 27—28; в дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте). В данном письме Гоголь сообщал о своем вторичном чтении повести.

<sup>10</sup> Далее зачеркнуты два слова, написанные неразборчиво.

<sup>11</sup> Кулиш Пантелеймон Александрович (1819—1897). Первый исторический роман П. Кулиша «Михайло Чарнышенко, или Малороссия 80 лет назад» был опубликован в 1843 году в Киеве. «Пять глав из нового романа П. Кулиша „Черная рада“» появились в «Современнике» в 1845 году (№ 3, стр. 332—376; № 4, стр. 5—37;



сведения о нем самом, об авторе, тем более, что о нем почти не говорят. Если бог сохранит его, то ему предстоит важное место в нашей литературе. Повести Даля, особенно те, где кучеческий, крестьянский и всякий хозяйственный домашний быт внутри нашего государства,<sup>12</sup> по-моему очень значительны,<sup>13</sup> и мне кажется, что своей внутренней значительностью и полезностью они пополняют или выкупают отсутствие творчества в авторе. Жаль, что ты мне не прислал Гаммы Полонского,<sup>14</sup> я бы очень хотел прочесть их. Но... устаю и прерываю письмо. Бог да хранит тебя! Помолись также и обо мне. Попроси всех, чьи молитвы считаешь действительными, помолиться обо мне, моих же молитв не достает на то.

Адресуй на имя Жуковского

Июнь 24 <1845>

весь твой Г.

Знакомство Гоголя с Языковым произошло в конце июня 1839 года на курорте Ганау.<sup>15</sup> Позже они путешествовали по Италии и жили в Риме. В 1842 году Гоголь и Языков лечились вместе в Гастейне.<sup>16</sup>

Дружеские отношения между писателем и поэтом нашли свое отражение в их переписке, охватывающей 1841—1846 годы. До настоящего времени было известно 44 письма Гоголя к Языкову,<sup>17</sup> 30 писем Языкова к Гоголю собраны и напечатаны В. И. Шенроком в «Русской старине».<sup>18</sup>

Гоголь высоко ценил поэтический талант Языкова. Впервые имя поэта и восторженная оценка его стихов встречаются в письме Гоголя к А. С. Данилевскому от 1 января 1832 (X, 217). В последующие годы Гоголь внимательно следил за развитием творчества Языкова; он принимал близкое участие в устройстве его жизни и облегчении физических страданий, выпавших на долю тяжело заболевшего поэта.

Гоголь видел также в Языкове художника, близкого ему по своим литературно-эстетическим взглядам и религиозно-нравственным исканиям. Последнее наиболее отчетливо проявилось в их переписке в середине 40-х годов, в период, предшествующий созданию писателем «Выбранных мест из переписки с друзьями». В эту книгу, как известно, были включены письма Гоголя к Языкову (1844—1845), содержащие развернутые критические отзывы Гоголя о стихотворении Языкова «Землетрясение» и суждения о задачах лирической поэзии (XII, 260—264, 377—379, 421—425). Эти письма Гоголь использовал для статей «Предметы для лирического поэта в нынешнее время» и «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность» (VIII, 278—281, 387—390). Публикуемое письмо является ценным дополнением к известной нам переписке Гоголя с Языковым. Обратимся непосредственно к анализу его содержания.

Большую часть 1844 года Гоголь прожил во Франкфурте-на-Майне вместе с В. А. Жуковским в его загородном доме, где усиленно работал над вторым томом «Мертвых душ». В начале 1845 года, по словам Гоголя, его охватывает «нервическое тревожное беспокойство и разные признаки совершенного расклевания во всем теле». Он решает на время уехать из Франкфурта в Париж «для развлеченья

№ 5, стр. 135—196). Об отрывках из указанных романов Кулиша и сообщил Гоголь Языкову.

<sup>12</sup> Далее зачеркнуто написанное неразборчиво слово

<sup>13</sup> Даль Владимир Иванович (1801—1872). Отзыв Гоголя о бытоописательных повестях Даля является в хронологическом отношении первым из известных нам гоголевских оценок творчества писателя. До 1845 года Даль опубликовал повести: «Бедовик» («Отечественные записки», 1839, № 5), «Вах Сидоров Чайкин» («Библиотека для чтения», 1843, № 1), «Колбасники и бородачи» («Отечественные записки», 1844, № 5), очерки: «Уральский казак» (сб. «Наши, списанные с натуры русскими», 1842, вып. 14), «Хмель, сон и явь» («Москвитянин», 1843, ч. II, № 3), «Денщик» («Финский вестник», 1845, т. 2) и др.

<sup>14</sup> Полонский Яков Петрович (1819—1898). «Гаммы» — первый сборник стихов поэта (Я. П. Полонский. Гаммы. Стихотворения. М., 1844. 63 стр.). Имя Полонского встречается также в письме Гоголя к Языкову от 1 мая 1845 года (XII, 482), где он сообщал адресату о том, что прочел в «Москвитянине» (1845, ч. I, № 2) его стихотворение «Я. П. Полонскому» («Благодарю тебя за твой подарок милый...») — Н. М. Языков. Стихотворения. Сказки. Поэмы. Драматические сцены... Гослитиздат, М.—Л., 1959, стр. 262). Своим стихотворным посланием Языков ответил молодому поэту, приславшему ему в подарок «Гаммы». Возможно, что именно это стихотворение Языкова, которое, по словам Гоголя, он «прочел с удовольствием» (XII, 482), и вызвало его просьбу прислать ему сборник стихов Полонского.

<sup>15</sup> В. И. Шенрок. Материалы для биографии Гоголя, т. III. М., 1895, стр. 351; ср.: Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 19.

<sup>16</sup> О взаимоотношениях Гоголя с Языковым см.: В. И. Шенрок. Николай Михайлович Языков. «Вестник Европы», 1897, № 12, стр. 630—636.

<sup>17</sup> См.: Указатель писем по адресатам в XI, XII, XIII томах Полного собрания сочинений Н. В. Гоголя.

<sup>18</sup> «Русская старина», 1896, № 12, стр. 617—647.

и восстановления сил» (XII, 453, 457—458). В марте 1845 года Гоголь возвратился к Жуковскому.

В конце весны писатель снова почувствовал тяжелое недомогание; болезнь со временем настолько усилилась, что Гоголь начинает серьезно думать о приближении смерти. Но несмотря на болезнь, духовный и творческий кризис, мучительно переживаемый писателем, он и в это время продолжает постоянно интересоваться литературно-общественной жизнью России. В его письмах в Москву и Петербург часто встречаются просьбы о присылке ему новых журналов, книг, сборников, критических статей о его произведениях. С этими просьбами Гоголь неоднократно обращался и к Языкову.

В мае и июне 1845 года Гоголь лечится на водах в Гомбурге, близ Франкфурта. Но лечение не приносит ему никакого облегчения. 1 мая 1845 года Гоголь писал Языкову: «Не хандра, но болезнь, производящая хандру, меня одолевает. Борюсь и с болезнью, и с хандрой и, наконец, выбился совершенно из сил в бесплодном борении... С приходом весны здоровье мое не лучше нимало, и недуги увеличались» (XII, 480—481). В этом же письме он приглашал больного поэта приехать в Гастейн, где они лечились вместе три года тому назад.

О своем желании поехать в Гастейн Гоголь сообщал также в своих письмах и А. О. Россету, А. О. Смирновой, Л. К. Вельгорской (XII, 479—480, 485—487, 487—488). 5 июня 1845 года Гоголь писал Языкову: «Бог весть, как я еще доберусь до Гастейна... болезнь моя сурьезна, только одно чудо божие может спасти. Силы исчерпаны» (XII, 492). В письмах к А. О. Смирновой и А. А. Иванову от 18 июня 1845 года Гоголь сообщал о своем окончательном решении направиться в Гастейн. «Ваше письмо (от мая 23) получил, находясь на выезде в Гастейн», — писал он Смирновой и просил ее ответить ему по адресу: «Гастейн, poste restante» (XII, 495—496). Но в Гастейн Гоголь не поехал. По совету А. П. Толстого, он меняет свое решение и вместе с ним едет в Берлин для консультации с доктором Шенлейном. По пути в Берлин он заезжает в Веймар, а затем в Галле, где советуется по поводу своей болезни с доктором Крукенбергом. Не застав в Берлине Шенлейна, Гоголь едет в Дрезден, к доктору Карусу, который посылает его в Карлсбад на лечение (XII, 23).

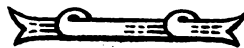
Публикуемое письмо Гоголя помечено 24 июня. Но в нем еще содержится упоминание о Гастейне как о месте будущей поездки: «...чувствую, что нужно куда-нибудь двинуться и не достаёт сил, ибо страшусь, что останусь один... в Гастейне». Следовательно, 24 июня Гоголь находился еще во Франкфурте или Гомбурге, откуда он и послал публикуемое нами письмо к Языкову. Принимая во внимание вышеперечисленные факты, следует датировать это письмо 24 июня 1845 года и поместить его между письмами Гоголя к А. О. Смирновой от 18 июня и 5 июля 1845 года (XII, 495—498).

Установление точной даты письма Гоголя дает возможность определить и время написания ответного письма Языкова, которое Шенрок относил к 1846 году и говорил о нем как о последнем письме поэта к Гоголю.<sup>19</sup>

Тот факт, что именно упомянутое письмо является ответом Языкова на публикуемое письмо, неоспоримо подтверждается следующими строчками из него: «Я давно уже не получал от тебя ни строчки: полагаю, что это время твоего ко мне неписания — время переезда твоего из Франкфурта в Гаштейн. Я надеюсь, что Гаштейн поправит твои нервы и освежит все твоё бременное тело... Я прочел роман Кулиша: „Михайло Чарнышенко"... Не знаю о каких отрывках его говоришь ты; где ты читал их?.. Вышли одною книжкою пятый и шестой №№ „Москвитянина“ (№№ 5—6, май—июнь 1845 года, — А. С.). Напрасно восклицал Погодин, что журнал его воскрес: книжка тощая, слабая, еле дышит и говорит много вздору!»<sup>20</sup>

Ответное письмо Языкова к Гоголю можно с полным основанием датировать первой половиной июля 1845 года и поместить его между письмами Языкова к Гоголю от 15 июня и 25 ноября 1845 года.<sup>21</sup>

Публикуемое письмо Гоголя к Языкову, кроме данных о поэте, как видим, содержит также интересные оценки и других писателей — современников Гоголя. В этом отношении гоголевские критические отзывы, содержащиеся в письме, следует рассматривать в непосредственной связи с его статьей 1846 года «О „Современнике“», где Гоголь в более расширенном виде в основном повторил свои суждения о творчестве В. А. Соллогуба, В. И. Даля и П. А. Кулиша (VIII, 424—425).



<sup>19</sup> «Русская старина», 1896, № 12, стр. 647.

<sup>20</sup> Там же, стр. 646.

<sup>21</sup> Там же, стр. 638.

## К БИОГРАФИИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

В Центральном государственном историческом архиве СССР в Ленинграде обнаружено дело «О предоставлении отпуска учителю Саратовской гимназии Н. Г. Чернышевскому для сдачи магистерских экзаменов в Петербургском университете и о переводе его учителем во 2-й кадетский корпус».<sup>1</sup> Документы, которые содержатся в этом деле, относятся к 1853, 1854 и 1856 годам. Большая часть их касается вопроса о продлении Чернышевскому отпуска для подготовки к магистерским экзаменам.

Известно, что весной 1853 года Чернышевский решил держать экзамены на степень магистра славянских наречий. Для этой цели ему был предоставлен отпуск сроком на 28 дней, начиная с 10 мая. В этот же день он выехал из Саратова в Петербург. Срок отпуска был явно недостаточен, и, приехав в столицу, Чернышевский обратился с просьбой к попечителю Петербургского учебного округа отсрочить магистерские экзамены.<sup>2</sup> В середине июня он сообщил родным, что получил разрешение Министерства народного просвещения продлить отпуск до 1 августа.<sup>3</sup> Из формулярного списка Чернышевского известно, что отпуск был вторично продлен до 10 сентября.<sup>4</sup>

Документы, хранящиеся в деле, дополняют сведения, касающиеся данного вопроса, и дают возможность уточнить хронологию этого периода по сравнению с «Летописью жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского».

В представлении попечителя Петербургского учебного округа М. Н. Мусина-Пушкина от 22 мая 1853 года на имя министра народного просвещения сообщается, что Чернышевский обратился к попечителю с просьбой о предоставлении ему шестимесячного отпуска для подготовки к экзаменам. Характеризуя Чернышевского в бытность его студентом университета «как одного из отличнейших молодых людей и по приобретенным им познаниям, и по нравственным качествам», попечитель ходатайствует «о дозволении ему остаться в Петербурге по делам службы, для выдержания испытаний в здешнем университете на степень магистра славянских наречий, сроком на шесть месяцев, считая с окончания данного ему с 10 сего мая 28 дневного отпуска».

В прошении в Департамент народного просвещения от 5 июня 1853 года Чернышевский просит об отсрочке отпуска уже не на 6 месяцев, а только до 1 августа, т. е. «до конца каникулярного времени в Саратовской гимназии». К прошению приложен увольнительный вид, выданный Чернышевскому 10 мая директором училищ Саратовской губернии А. Майером.

Эта просьба, как мы уже знаем из письма Чернышевского родным, была удовлетворена, и он получил свидетельство о продлении отпуска до 1 августа<sup>5</sup> (в деле хранится его расписка в получении этого свидетельства).<sup>6</sup>

10 июня товарищ министра народного просвещения А. С. Норов поставил в известность об этом Мусина-Пушкина (в ответ на его отношение от 22 мая). О дальнейшем продлении отпуска Норов предложил запросить попечителя Казанского учебного округа, «от которого и будет зависеть войти в Министерство с представлением по настоящему предмету».<sup>7</sup>

<sup>1</sup> ЦГИАЛ, ф. 733, Департамент народного просвещения, оп. 46, 1853, д. 110857, лл. 1—21.

<sup>2</sup> Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. XIV, Гослитиздат, М., 1949, стр. 227—228.

<sup>3</sup> Там же, стр. 230.

<sup>4</sup> Н. М. Чернышевская. Летопись жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского. Гослитиздат, М., 1953, стр. 83.

<sup>5</sup> ЦГИАЛ, ф. 733, оп. 46, 1853, д. 110857, лл. 7—8.

<sup>6</sup> Там же, л. 9.

<sup>7</sup> Там же, л. 10. Запрос на имя попечителя Казанского учебного округа о продлении Чернышевскому отпуска был отправлен Министерством просвещения около 15 июня (Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. XIV, стр. 230).

30 июля 1853 года Чернышевский вновь обратился в Департамент народного просвещения с прошением об отсрочке отпуска, теперь уже до 10 сентября. На прошение — резолюция директора Департамента П. И. Гаевского: «Согласен».

8 августа Департамент народного просвещения сообщил попечителю Казанского учебного округа, что управляющий Министерством народного просвещения продлил Чернышевскому отпуск на 4 месяца, т. е. до 10 сентября, в чем ему было выдано свидетельство (расписка Чернышевского в получении свидетельства приложена к делу).<sup>8</sup>

В этом же деле содержится переписка между министром народного просвещения и Военным министерством по поводу перевода Чернышевского на службу из Саратовской гимназии в Петербург, во 2-й кадетский корпус. В дополнение к известным уже фактам<sup>9</sup> из этой переписки выясняются некоторые подробности, касающиеся затянувшегося оформления перевода Чернышевского.

24 декабря 1853 года, т. е. почти через 4 месяца после того, как Чернышевский фактически начал служить в Кадетском корпусе, военный министр В. А. Долгоруков запросил министра народного просвещения о согласии его на перевод Чернышевского из Саратова. 6 января 1854 года товарищ министра народного просвещения А. С. Норов ответил на этот запрос согласием.<sup>10</sup> 18 февраля Долгоруков сообщил Норову о том, что высочайшим приказом от 24 января 1854 года Чернышевский переведен во 2-й кадетский корпус на должность учителя 3-го рода.<sup>11</sup> 3 марта Министерство народного просвещения уведомило об этом попечителя Казанского учебного округа.<sup>12</sup>

Наиболее существен последний из хранящихся в деле документов — секретный запрос об образе мыслей Чернышевского, сделанный министром народного просвещения начальнику Главного штаба по военно-учебным заведениям 30 мая 1856 года. В письме не указано, чем именно было вызвано такое внимание к Чернышевскому в этот момент. Вполне возможно, что причиной этому явилась напечатанная в апрельском номере «Современника» четвертая статья «Очерков гоголевского периода русской литературы», в которой Чернышевский заявлял о себе как о продолжателе революционно-демократических традиций «критики гоголевского периода». Документ этот интересен как первое проявление того беспокойства, которое вызвала среди правящих кругов деятельность Чернышевского. Сдача Чернышевским магистерских экзаменов и защита им магистерской диссертации освещены в публикации Н. Бельчикова «Новые материалы о диссертации Н. Г. Чернышевского».<sup>13</sup> Публикуемые ниже документы дополняют эту работу и дают возможность осветить более полно один из важных моментов в жизни великого революционного демократа.

#### «Представление попечителя Петербургского учебного округа министру народного просвещения, 22 мая 1853 года»<sup>14</sup>

Окончивший курс в 1850 г. в С.-Петербургском университете со степенью кандидата историко-филологического факультета по разряду общей словесности Николай Чернышевский, по неимению в вверенном мне Округе вакансии, был определен старшим учителем русской словесности в Саратовскую гимназию.

Ныне, желая держать в здешнем университете экзамен на степень магистра славянских наречий и получив отпуск сроком с 10 сего мая на 28 дней, он прибыл в С.-Петербург и вошел ко мне с прошением, в котором, изъявляя свое желание подвергнуться означенному испытанию, просит об исходатайствовании ему шестимесячной отсрочки данного ему отпуска, чтобы иметь время окончить это испытание.

По сведениям за все время близости Чернышевского студентом университета, зная его как одного из отличнейших молодых людей и по приобретенным им познаниям, и по нравственным качествам, а потому вполне заслуживающего внимания, я считаю долгом покорнейше просить ваше превосходительство о дозволении остаться ему в С.-Петербурге по делам службы, для выдержания испытания в здешнем университете на степень магистра славянских наречий, сроком на шесть месяцев, считая с окончания данного ему с 10 сего мая 28-дневного отпуска.

Попечитель С.-Петербургского учебного округа  
Мусин-Пушкин

<sup>8</sup> ЦГИАЛ, ф. 733, оп. 46, 1853, д. 110857, лл. 13—15.

<sup>9</sup> Н. М. Чернышевская. Летопись жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского, стр. 84, 87, 90, 92, 93.

<sup>10</sup> ЦГИАЛ, ф. 733, оп. 46, 1853, д. 110857, л. 17.

<sup>11</sup> Там же, л. 18.

<sup>12</sup> Там же, л. 19.

<sup>13</sup> Н. Бельчиков. Новые материалы о диссертации Н. Г. Чернышевского. «Красный архив», 1938, № 6 (91), стр. 276—281.

<sup>14</sup> ЦГИАЛ, ф. 733, оп. 46, 1853, д. 110857, лл. 1—2.

«Прошение Н. Г. Чернышевского в Департамент народного просвещения,  
5 июня 1853 года»<sup>15</sup>

Кандидата С.-Петербургского университета, учителя словесности при Саратовской гимназии Николая Чернышевского

П р о ш е н и е

Намереваясь держать в текущем году в С.-Петербургском университете экзамен на степень магистра славянских наречий, покорнейше прошу Департамент об исходатайствовании моему 28-дневному отпуску из Саратова в С.-Петербург отсрочки до 1 августа текущего года, то есть до конца каникулярного времени в Саратовской гимназии. При сем имею честь приложить мой увольнительный вид.

С.-Петербург. 5 июня 1853 г.

Кандидат С.-Петербургского университета, учитель словесности при Саратовской гимназии  
Николай Чернышевский

Жительство имею в Большой Офицерской улице, в доме Дубецкого.

У в о л ь н и т е л ь н ы й   в и д <sup>16</sup>

Предъявитель сего старший учитель русской словесности Саратовской гимназии, состоящий в IX классе, Николай Чернышевский на основании предписания г. попечителя Казанского учебного округа от 11 ноября 1852 года за № 4128 и § 172 Устава учебных заведений 8 декабря 1828 года уволен (с женою)<sup>17</sup> по собственным надобностям в С.-Петербург сроком с 10 мая 1853 года на двадцать восемь дней.

В удовлетворение чего и для свободного проезда дан сей вид г. Чернышевскому из Саратовской дирекции училищ за надлежащею подписью и приложением казенной печати.

Саратов. Мая 10 дня, 1853 года.

Директор училищ Саратовской губернии  
А. Майер

«Прошение Н. Г. Чернышевского в Департамент народного просвещения,  
30 июля 1853 года»<sup>18</sup>

Старшего учителя Саратовской гимназии кандидата С.-Петербургского университета Николая Чернышевского

П р о ш е н и е

Прилагаю при сем отсрочку моего отпуска в С.-Петербурге, данную мне из Департамента, которой срок оканчивается 1 августа текущего года, имею честь покорнейше просить Департамент народного просвещения о продолжении отсрочки моему отпуску еще на один месяц по 10 число сентября текущего года.

Старший учитель Саратовской гимназии  
Николай Чернышевский

Жительство имею Петербургской части I квартала в доме Бородиной под № 2-м.

30 июня 1853 года

«Отношение военного министра В. А. Долгорукова министру народного просвещения П. А. Ширинскому-Шихматову, 24 декабря 1853 года»<sup>19</sup>

Его императорское высочество государь наследник цесаревич, главный начальник военно-учебных заведений изволит ходатайствовать о переводе во 2-й кадетский корпус, в должность учителя 3 рода, старшего учителя Саратовской гимназии Чернышевского.

<sup>15</sup> Там же, л. 5.

<sup>16</sup> Там же, л. 6.

<sup>17</sup> Слово «с женою» написано позднее карандашом.

<sup>18</sup> ЦГИАЛ, ф. 733, оп. 46, 1853, д. 110857, л. 11.

<sup>19</sup> Там же, л. 16.

При сем его высочество изволил доставить отзыв попечителя Казанского учебного округа, из которого видно, что на таковой перевод Чернышевского препятствия не имеется.

Сообщая об этом вашему превосходительству, имею честь покорнейше просить почтить меня уведомлением, не изволите ли находить с своей стороны какого-либо препятствия к переводу учителя Чернышевского во 2-й кадетский корпус.

Военный министр генерал-адъютант князь  
Долгоруков

**«Письмо министра народного просвещения А. С. Норова<sup>20</sup> начальнику  
Главного штаба по военно-учебным заведениям Я. И. Ростовцеву,  
30 мая 1856 года»<sup>21</sup>**

Конфиденциально

Милостивый государь Иаков Иванович!

Для некоторых соображений находя нужным иметь точнейшие сведения об учителе 2 кадетского корпуса Николае Чернышевском, который состоял прежде старшим учителем Саратовской гимназии, я обращаюсь к вашему превосходительству с покорнейшею просьбою почтить меня уведомлением, с какой стороны Чернышевский известен ныне начальству своему по образу мыслей, педагогическим способностям и по нравственным свойствам его.

Примите милостивый государь уверение в истинном почтении и совершенной преданности.

А. Норов



<sup>20</sup> А. С. Норов с 11 апреля 1854 года — министр народного просвещения.

<sup>21</sup> ЦГИАЛ, ф. 733, д. 110857, л. 21.

## ТРИ НЕОКОНЧЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В. М. ГАРШИНА

Рукописное наследие В. М. Гаршина изучено еще недостаточно. Из оставшихся после смерти писателя неизданных произведений в дореволюционный период увидела свет самая незначительная часть — шесть стихотворений, ученическое сочинение «Смерть», отрывки из неоконченной драмы (без заглавия), над которой Гаршин работал с Н. А. Демчинским, и девяносто шесть писем. При этом все они были изуродованы цензурой. Только в советское время началось изучение рукописей Гаршина. Был создан личный фонд писателя, основой которого послужили автографы и другие материалы, переданные в 1921 году Пушкинскому дому Надеждой Михайловной Гаршиной. В 1922 году В. М. Энгельгардт опубликовал с небольшим комментарием беллетристический этюд Гаршина «Я увидел Сергея Львовича Сипского...»<sup>1</sup> Первым серьезно занялся исследованием рукописного наследия писателя Ю. Г. Оксман. Под его редакцией в 1928 году вышло первое прокомментированное издание сочинений Гаршина. В 1934 году Ю. Г. Оксманом было подготовлено полное собрание сочинений Гаршина в трех томах, из которых увидел свет только третий том,<sup>2</sup> включивший эпистолярное наследие писателя. В нем впервые были опубликованы 412 писем Гаршина. Издание тома писем, снабженного подробными комментариями, явилось крупной работой по исследованию гаршинских рукописей, давшей возможность углубленного изучения творчества и жизни писателя. Значительный труд в этой области был проделан также Г. А. Бялым. В издании сочинений Гаршина, вышедшем в 1951 году, им были восстановлены цензурные купюры и впервые напечатаны отрывки из ранних редакций рассказов «Художники» и «Денщик и офицер». Надо отметить, кроме того, публикацию Л. П. Ключковой семи стихотворений Гаршина<sup>3</sup> и выпущенное Институтом русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР подробное описание его рукописей и эпистолярного наследия.<sup>4</sup>

Однако далеко не все рукописи Гаршина изучены. Некоторые наброски, представляющие интерес, не известны не только широкому читателю, но и литературной критике. Кроме вариантов изданных произведений, переводов с французского, немецкого и английского языков, а также неоконченных критических статей, в рукописном фонде Гаршина находится около двадцати пяти беллетристических отрывков, требующих изучения.

Наличие такого количества неоконченных произведений Гаршина объясняется не только высокой требовательностью писателя к своему литературному труду, но и своеобразием его натуры. Сильной впечатлительности Гаршина противостояла его неспособность к долгой, систематической работе над своими художественными замыслами, в результате чего многие из них остались в виде неоконченных рассказов, повестей и очерков.

Особый интерес, на наш взгляд, представляют три наброска, не имеющие заглавий. Мы назовем их условно по начальным фразам: «Так начались мои несчастья...»<sup>5</sup> «Умер Иван Петрович Пономарев...»<sup>6</sup> и «Завтра экзамен...»<sup>7</sup>

Об этих замыслах в большинстве случаев в литературе о Гаршине нигде не упоминается. Они остались вне поля зрения исследователей, издателей и комментаторов писателя. Тем не менее эти рукописи представляют известную ценность. Они дают материал для более тщательного изучения творческой эволюции Гаршина.

Отрывок «Так начались мои несчастья...», подобно известному рассказу «Четыре дня», был создан Гаршиным на материале русско-турецкой войны, в которой

<sup>1</sup> «Радуга». Альманах Пушкинского дома, Пб., 1922, стр. 276—286.

<sup>2</sup> В. М. Гаршин, Полное собрание сочинений в трех томах, т. III, «Academia», М.—Л., 1934.

<sup>3</sup> «Русская литература», 1958, № 2, стр. 141—146.

<sup>4</sup> Бюллетень рукописного отдела Пушкинского дома, т. VIII, 1959, стр. 45—114.

<sup>5</sup> Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, ф. 70, № 30.

<sup>6</sup> Там же, № 10.

<sup>7</sup> Там же, № 36.

писатель участвовал добровольцем. Военные впечатления сыграли большую роль в формировании общественно-политических взглядов и художественного таланта писателя. В письмах из армии Гаршин неоднократно упоминал, что военный поход является для него целой жизненной школой и источником его будущих художественных замыслов. Именно в это время в писателе полностью окрепла уверенность в своих творческих силах.

Вскоре после появления в печати рассказа «Четыре дня» (1877) Гаршин, очевидно, принялся за написание следующего — «Так начались мои несчастья...». На автографе стоит дата: «11 янв. 1877 г.» Она, хотя и сделана рукой самого Гаршина, однако не точна. Вероятно, писатель допустил ошибку, датируя в начале нового года рукопись как бы по инерции старым годом: вместо 1878 он машинально поставил 1877 год. Все содержание рассказа опровергает указанную датировку. Так подробно и с таким знанием дела о военном походе Гаршин не мог бы написать в январе 1877 года, ибо он поступил в действующую армию только в мае этого года. Итак, датой наброска, на наш взгляд, нужно считать 11 января 1878 года.

Несмотря на свою незаконченность, отрывок дает возможность глубже понять идейную позицию Гаршина во время русско-турецкой кампании и его творческие искания той поры. Главным объектом изображения здесь является солдатская масса. Как известно, герой «Четырех дней» тоже солдат, но солдат извольноопределяющихся, «барин Иванов», находящийся в привилегированном положении. В рассматриваемом же отрывке Гаршин впервые в своем творчестве описывает без всяких прикрас положение обыкновенного русского солдата на войне.

И. Павловский, автор воспоминаний «Дебюты В. М. Гаршина», упоминает о состоявшемся в феврале 1878 года разговоре с писателем, который, как нам кажется, имеет определенное отношение к наброску «Так начались мои несчастья...» «Я пишу мой военные впечатления, — ответил тогда Гаршин на вопрос, над чем он работает, — мне бы хотелось представить военный поход с точки зрения солдатской шкуры. Но это очень трудно, не по моим силам».<sup>8</sup> И. Павловский высказывает мысль, что речь шла о повести Гаршина «Из воспоминаний рядового Иванова». Это, однако, на наш взгляд, не соответствует действительным фактам, так как последнюю повесть Гаршин писал летом и осенью 1882 года в усадьбе Спасском-Лутовинове, где гостил по приглашению И. С. Тургенева. Вполне реально поэтому будет предположить, что в беседе И. Павловского с писателем, состоявшейся зимой 1878 года, речь шла о наброске «Так начались мои несчастья...», создававшемся именно в это время.

Почему же, однако, этот рассказ так и остался незаконченным? По всей вероятности, считая, что полное осуществление намеченного замысла «не по его силам», Гаршин отказался от работы над рассказом вскоре после того, как был сделан первый набросок. В письме 1878 года к В. Н. Афанасьеву Гаршин сообщал о том, что он много работает над художественным воплощением своих замыслов, но по некоторым причинам не хочет печататься. «Литературные мои дела, — пишет он, — находятся в блестящем положении, если брать „потенциал“. Только пиши, а брать везде буду». И далее: «Пишу, правда, я довольно много, но все это для меня этюды и этюды; выставлять же их я не желаю, хотя уверен, что они шли бы не без успеха».<sup>9</sup>

Одним из таких «этюдов» и является неоконченный рассказ «Так начались мои несчастья...» Материал, положенный в его основу, особенно описание тяжести военного похода, действительно очень близок к упомянутой выше повести «Из воспоминаний рядового Иванова», вышедшей в 1883 году. Некоторые мотивы и образы рассказа «Так начались мои несчастья...» впоследствии вошли в повесть, получив окончательную литературную обработку. Несмотря на то, что рассказ «Так начались мои несчастья...» остался непечатанным, Гаршин, как видим, не отказался от дальнейшей разработки темы войны с точки зрения много пострадавшего простого солдата. Он вернулся к ней через четыре года в «Воспоминаниях рядового Иванова». Можно даже предполагать, что при написании этой повести Гаршин использовал рукопись «Так начались мои несчастья...» Об этом, в частности, говорят некоторые текстуальные совпадения.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Красный цветок. Литературный сборник в память Всеволода Михайловича Гаршина. СПб., 1889; стр. 23—24.

<sup>9</sup> В. М. Гаршин, Полное собрание сочинений в трех томах, т. III, стр. 150—151.

<sup>10</sup> Так, например, ряд характерных стилистических оборотов из рассказа «Так начались мои несчастья...» почти в неизменном виде перешли в «Воспоминаниях рядового Иванова», где читаем: «...после страшной давки и толкотни у колодцев, доставалась глинистая жидкость, скорее грязь, чем вода», «...отклоняясь от штыка упавшего солдата, чуть не попавшего ему острием в глаз»; «турка представлялся бунтовщиком, зачинщиком, которого надо усмирить и покорить»; «бесконечная глинистая дорога поднималась на холм и опускалась в овраг чуть ли не на каждой версте. Идти было тяжело. На ногах комья грязи, серое небо низко повисло,



Тем не менее по своей идейной направленности рассматриваемый набросок значительно ближе к рассказу «Четыре дня», хотя уступает ему в художественном отношении.

Гаршина продолжают волновать страдания народа во время войны, уносящей тысячи человеческих жизней. В наброске «Так начались мои несчастья...», так же как и в «Четырех днях» основной задачей является развенчание войны. Здесь наглядно дана эволюция взглядов на войну лучшей части демократической интеллигенции от первоначального увлечения идеей «освобождения славян» до осознания бессмысленности войны.

Набросок «Так начались мои несчастья...» оригинален по своеобразному способу воплощения авторского замысла. Это первое произведение Гаршина, в котором виден будущий мастер аллегорий. Переживания собаки Арапки, сопровождавшей войска в походе, от лица которой ведется повествование, описаны с позиции человеческого эмоционального восприятия и морально-этических норм, свойственных человеку. Все тяготы военного похода, выпавшие на долю солдат, переданы посредством «воспоминаний» и «размышлений» наблюдателя описываемых событий. Существо, не заинтересованное в человеческих делах, с точки зрения автора, способно более глубоко постигать их объективный смысл. Эта особенность рассказа усиливает его художественную выразительность, эмоциональное воздействие и обличительную силу.

Собака с красным ошейником, под кличкой «Арапка», идет вместе с войсками во время похода против турок. Она видит, как трудно приходится людям. Страшно измученные длинными переходами, жаждой и грубым отношением со стороны офицеров, солдаты угрюмо идут по грязной, «исковерканной дождем и обозами дороге». Многие из них совсем выбиваются из сил. Даже Арапка устает от бесконечных гор и горок, «на которые надо подниматься, чтобы снова спуститься». «Для меня, впрочем, — вспоминает он, — все лишения и ограничивались этим. Но люди не были так счастливы, как я, и, что очень меня смущало, отлично понимали это». Арапке становится совестно за свое «привилегированное» положение, за свое безделье, за свой красный ошейник. Глубокая боль за изнуренных солдат и лошадей переполняет его, но ему совершенно невозможно хоть чем-нибудь помочь им. Здесь, как видим, передано то чувство боли за чужие страдания, то ощущение собственного бессилия предотвратить их, которые были характерны для всего творчества Гаршина.

Автор мастерски рисует картину военного похода именно «с точки зрения солдатской шкуры», как он сам выразился. Этой основной задаче и подчинены все сюжетные детали рассказа. Большое значение для раскрытия ведущей темы имеет созданный в рассказе мрачный пейзаж.

Изображение изнанки войны уже заключает в себе идею ее отрицания. Здесь Гаршин, безоговорочно осуждая войну (в отличие от более поздних его военных рассказов, а в некоторой мере и от «Четырех дней»), проявляет полную последовательность в ее развенчании.

Исходным моментом в достижении этой цели является художественное воплощение мысли о непопулярности войны среди народа. Автор убедительно показал, что солдаты знали только то, что их послали воевать, но против кого и за что — это им было неизвестно. Арапка сначала совсем «не представлял себе, что вся эта масса идет убивать турку». «Кто такой турка, я все-таки не сообразил. Зверь ли то такой очень страшный, или человек совсем особенный...» После того, как он услышал разговор солдат о том, что «на турку много сил нужно», что «он двуязычный», что «ему паташак и брюхо не пропорешь», Арапка начинает предвзвешивать себе «турку» каким-то огромным чудовищем, притесняющим людей. «Если так, — думает он, — то можно идти и помочь людям». И далее: «Быть может, и мне удастся помочь одолеть его».

Но это состояние «неизвестности» длилось недолго, до тех пор, пока войска не приблизились к месту, где незадолго перед этим произошло сражение. Добровольный участник похода, Арапка, переживший в первое время некоторое воодушевление, вызванное сознанием служения полезному делу, решительно меняет свой взгляд, как только перед ним открывается поле, усыпанное человеческими трупами. Эта картина потрясает его. Неизвестные враги, олицетворением которых для Арапки был «турка», этот «страшный зверь», на которого шла такая огромная масса народа, оказались самыми обыкновенными людьми, пригнанными сюда против их желания и погибающими как жалкие животные. Только в этот момент для «героя» наступает окончательное «прозрение». «Тогда я понял, — вспоминает Арапка. — Пойми я раньше, я бросил бы свой дорогой полк, чтобы не видеть того, что я видел».

Этой фразой Гаршин доводит до логического конца идею отрицания войны, которая в «Четырех днях» не получила своего окончательного завершения. Герой «Четырех дней» Иванов всем своим существом протестует против войны, «и тем

и беспрерывно сеет па нас мелкий дождь» и т. д. (В. М. Гаршин, Сочинения, Гослитиздат, М.—Л., 1960, стр. 160, 161, 175, 152). Эту же обороты находим и в отрывке «Так начались мои несчастья...». Ср. стр. 180, 181, 182.

не менее, как это верно заметил Г. Бялый, знай... заранее, что ему предстоит пережить, он все равно пошел бы воевать».<sup>11</sup> В рассказе же «Так начались мои несчастья...» протест Гарпина против войны лишен какой бы то ни было двусмысленности (хотя решение проблемы войны здесь, как и в других его произведениях батального жанра, имеет пацифистский характер). Писатель в этом вопросе смыкается с левыми кругами народничества, для которых было ясно, что за лозунгами царизма об освобождении славян скрывались экспансионистские цели. Война для Гарпина была ужасным, непонятным общественным злом, против которого он резко протестовал.

Кроме темы войны, в рассказе «Так начинались мои несчастья...» Гарпин впервые, хотя и бегло, касается положения русского солдата в так называемое мирное время.<sup>12</sup> В нем автор показал социальные противоречия между солдатской массой и офицерством. Картины довоенного прошлого, встающие в воспоминаниях «героя», также безрадостны; солдаты и тогда подвергались унижениям и избиению, как и во время войны.

Случай расправы с солдатами передан с такой потрясающей силой, что оставляет неизгладимое впечатление о нестерпимо тяжелом положении солдат и в мирной обстановке, когда, казалось бы, отношение к рядовому солдату со стороны начальства могло бы быть более гуманным. Здесь автор настойчиво внушает читателю мысль, что причины бедственного положения народа вызваны не требованиями войны, а неисцелимыми пороками общественного организма, несправедливым устройством жизни.

Вместе с тем нельзя не отметить, что хотя в рассказе «Так начались мои несчастья...» и обнажены глубокие социальные конфликты, он проникнут скорее духом стихийного протеста, чем осознанного разоблачения существующей общественно-политической системы, как это мы наблюдаем в творчестве писателей — революционных демократов.

Окружающая действительность (как во время войны, так и в мирное время) казалась Гарпину «странной» и «непонятной» (очень характерно в этом смысле описание избиения солдата офицером, в котором автор применяет слова неопределенного значения: «чего-то», «кто-то», «куда-то», «странный», «непонятный»). Писатель не пытается осмыслить причины ужасных несправедливостей жизни, не делает выводов, словом, «не берется судить» («Трус»). Он передает лишь свои непосредственные чувства, свое возмущение неустроенностью общества и глубокую боль за человека. Но эти свои душевные переживания, кажущиеся совершенно субъективными, Гарпин так умеет передать читателю, что неизбежно заставляет его задуматься над вопросом: можно ли продолжать так жить? В наброске «Так начались мои несчастья...» автор и достигает большого идейно-художественного эффекта не столько частными описаниями (мы уже не говорим об изображении широких картин объективной действительности), сколько тем, что обычно не сколькими штрихами создает целостное настроение и будит мысль читателя.

Рассматриваемый рассказ, кроме того, страдает недостатками и в художественном отношении.

По способу выражения авторской идеи он напоминает рассказы «Холстомер» Л. Н. Толстого и «Каштанка» А. П. Чехова, появившиеся в печати позже. В этих рассказах, как известно, представители животного мира наделены, так же как и гарпинский Арапка, качествами, свойственными человеку. И тем не менее, разница между «Холстомером», «Каштанкой» и рассказом Гарпина очень значительна. У Толстого и Чехова животные не только переживают и предаются размышлениям, но, самое главное, действуют, т. е. описаны во взаимосвязи с окружающей их средой. Нас не покидает ощущение реальности изображенных «героев». Читая же рассказ Гарпина, мы не получаем такого ясного представления о внешнем и внутреннем облике Арапки, этот образ не запечатлевается в сознании читателя.

Каштанка и Холстомер взаимодействуют с таким кругом явлений, о которых они как бы могут иметь более или менее ясное представление. В иное положение поставлен Арапка. Согласно замыслу Гарпина, собака должна «высказывать» свои суждения о таких сложных событиях и явлениях общественной жизни, которые просто недоступны ее «пониманию». В частности, автор наделил своего «героя» сложной и высокой ролью поборника пацифистских идей. Это обстоятельство и сделало образ Арапки бесцветным, схематическим, лишенным жизненной полноты и физической осязаемости.

Второй набросок — «Умер Иван Петрович Пономарев...» — находится на первых страницах рабочей тетради (лл. 6 об.—10, 13—16) с авторскими датами 16 октября 1878 года и 20 августа 1884 года. На лл. 7 об., 11 об. и 16 имеются авторские пометки 7 июня, 8 июня и 10 июля, что дает право отнести написание текста в основном к июню 1879 года.

<sup>11</sup> См.: В. М. Гаршин, Сочинения, стр. X.

<sup>12</sup> Этот вопрос получает дальнейшее развитие в рассказе «Денщик и офицер», вышедшем в 1880 году.

Содержание этого отрывка уместно сопоставить с очерком Гаршина «Подлинная история Энского земского собрания» (1876). Как известно, в нем автор изобразил в сатирических тонах уездное земство. Это был первый из задуманного Гаршиным цикла художественных очерков. Об этом замысле он сообщал матери и Р. Александровой в 1875 и 1886 годах.<sup>13</sup>

Но и в данном случае замысел писателя остался неосуществленным. Однако набросок «Умер Иван Петрович Пономарев...» свидетельствует о том, что Гаршина и впоследствии продолжала занимать мысль об изображении уездной жизни в жанре очерка.

Нельзя точно сказать, в каком плане было задумано это произведение. Л. П. Ключкова считает его «почти законченной повестью». Но это, пожалуй, преувеличение. Отрывок очень напоминает очерк наподобие уже указанной «Подлинной истории Энского земского собрания».

В наброске «Умер Иван Петрович Пономарев...» сделана попытка раскрыть уездную жизнь в образах, наиболее ярко воплотивших в себе сущность экономических процессов пореформенной эпохи, особенности формирования капиталистических отношений в глухой российской провинции.

Очерк (подобно рассказу «Медведи») явно был написан под влиянием лично наблюдаемого и пережитого автором в Старобельске. На это нацелено название изображенного в очерке города — Бельск. Черты провинциального быта праздного, бесцельного существования наиболее живо воплотились в образе Ивана Петровича Пономарева.

Гаршин своим художественным чутьем уловил, что рядом с уходящим крепостническим бытом зарождаются и интенсивно развиваются новые экономические отношения, когда «всякий норовит набить себе в карман „капитул“».<sup>14</sup> Подобно Глебу Успенскому и М. Е. Салтыкову-Щедрину, он увидел новых «столпов» пореформенной эпохи. Характерные черты такого типа людей Гаршин воплотил в образе купца Федосия Петровича Криничного, кулака-мироеда с «объемистым животом» и «трехэтажным подбородком». Гаршинский купец резко отличается от купца дореформенной поры. Тот «все больше норовил недодесить и недомерить», купец же капиталист все превращает в «красенькие, синие, зелененькие и желтые бумажки», которые тотчас вновь идут в дело. Недаром автор в обрисовке Криничного не скупится на сатирические краски.

Таким образом, незаконченный очерк «Умер Иван Петрович Пономарев...» представляет собой ценный материал для более глубокой характеристики литературно-общественной позиции Гаршина в пореформенную эпоху.

Третий отрывок, извлеченный нами из архива Гаршина, начинается словами: «Завтра экзамен...» Л. П. Ключкова высказала предположение, что он связан с замыслом Гаршина написать повесть, где центральной фигурой должна была явиться пародия, сельская учительница Радонежская, которая вследствие служебных столкновений и тяжелых личных неприятностей, явившихся результатом чрезмерно повышенной нервной чувствительности, покончила с собой, бросившись в колодезь.

Действительно, Радонежская долго занимала внимание Гаршина, и он хотел написать о ней повесть. И тем не менее, нам кажется, что набросок не имеет ничего общего с историей Радонежской. Это два совершенно разных замысла.

Героиня наброска Анна П. — одинокая женщина, нежная, горячо любящая своего маленького сына. На ней лежит тяжелая забота о содержании семьи, и она вынуждена с утра до вечера заниматься переводами. Несмотря на все горести, эта женщина сохранила много человеческой теплоты и душевной чистоты.

Набросок несомненно имеет автобиографический характер. Скорее всего, что в нем Гаршин изобразил свою мать, Екатерину Степановну Гаршину, которую он нежно любил и глубоко уважал.

Как известно, Екатерина Степановна в январе 1860 года ушла от мужа с П. В. Завадским, воспитателем старших братьев Всеволода, одним из активных деятелей харьковского революционного кружка. Но вследствие постоянных полицейских преследований, которым подвергался Завадский, Гаршина так и не приобрела семейного счастья. Это в результате и привело к трудностям, описанным в наброске.

Как и в известных читателям произведениях Гаршина, в наброске «Завтра экзамен...» характеры героев раскрыты не в действии, а посредством описания их душевных переживаний и рассуждений по поводу гнетущих их жизненных проблем. В центре внимания читателя — снова тема добра и зла, пронизывающая все творчество писателя. Не впервые Гаршин связывает ее с темой «ума». Маленький Вася с привычной детям душевной простотой и наивностью спрашивает мать: «А разве бывают умные и недобрые? Я думаю, мама, что это нельзя». Словами

<sup>13</sup> См. письма Гаршина от 19 и 30 октября 1875 года, а также от 5 марта 1876 года (В. М. Гаршин, Полное собрание сочинений в трех томах, т. III, стр. 47, 51, 70—71).

<sup>14</sup> В. М. Гаршин, Полное собрание сочинений в трех томах, т. III, стр. 232.

героини Гаршин тут же отвечает на заданный вопрос: «Если бы все умные были добрые, Вася, хорошо бы жилось на свете».

Широкий охват социальных явлений никогда не удавался Гаршину, но через мысли и переживания его героев ясно проступали острые противоречия жизни и авторский протест против них. В наброске же «Завтра экзамен...» элемент социального протеста полностью отсутствует. Выдвинутая глубоко социальная проблема добра и зла решается Гаршиным в чисто морально-психологическом плане. Неудачно сложившуюся жизнь героини он не обуславливает общественными условиями: Ассна> П., по Гаршину, просто не умела устроить свою судьбу, найти такую «привязанность, на которую она в трудную минуту жизни могла бы сама опереться. Потому что она сама, если не былинка, то и не могучий дуб, который стоит одиноко, возвышаясь вершиной над лесом и не боится ни бури, едва шевелящей его толстыми ветвями, ни молнии, способной пронзить его глубокой трещиной, но не разнести его ствола вдребезги».

Отмеченные особенности наброска «Завтра экзамен...» дают основание предположить, что он написан около 1883 года. Именно тогда Гаршин начинает отходить от изображения острых социальных противоречий. В его произведениях все сильнее проступают моралистические тенденции — сочувствие к слабым, беззащитным существам и связанная с этим идея всеобщей любви и личного самопожертвования.

Можно предположить также, что рассматриваемый отрывок написан не позже конца 1886 года. К этому времени отношения Гаршина с матерью ухудшаются, а весной 1888 года между ними происходит окончательный разрыв. Если же допустить, что Гаршин все еще испытывал к матери прежние чувства, то во всяком случае его болезненность не позволила бы ему с такой сыновней теплотой писать о ней, как это сделано в наброске «Завтра экзамен...»

Публикуемые наброски расширяют наше представление о творческом наследии Гаршина, позволяют точнее определить тематический диапазон, устойчивость основных интересов писателя тем и проливают дополнительный свет на известные произведения писателя.

## 1

«Как начались мои несчастья. Что я говорю мои! Разве только мои? Людям доставалось гораздо больше, чем мне».

Арапка<sup>15</sup> лег на диван в грустной задумчивости. Я предложил ему молоко, но он отказался.

«Ваше молоко пригодилось бы мне, — продолжает он,<sup>16</sup> — в летние жары, когда мы умирали от зноя, когда у каждой лужицы солдаты толпились, бравясь и толкаясь, желая достать хоть капелючку воды, хоть грязной и вонючей, все равно. Офицеры не позволяли им пить такой воды, ругались, иногда били по плечам сабельными ножнами, но люди не слушались и все лезли и лезли к (ней), потому что когда мучает жажда, нет ни офицеров, ни солдат, ни людей, ни собак, а есть только бедные животные, которым очень хочется пить. Да, мы тогда все были уравнены.<sup>17</sup>»

Но<sup>18</sup> все это будет еще впереди. Мы приехали в большой город,<sup>19</sup> о котором солдаты говорили, что это последний наш город, что за ним пойдет уже чужая земля. Город<sup>20</sup> мало походил на<sup>21</sup> те города, которые мне уже случалось видеть:<sup>22</sup> на улицах все попадались смуглые, темные лица с бакенбардами, веда<sup>23</sup> был слышен<sup>24</sup> не русский говор. Мы простояли в городе дня три. Как скучно, тяжело прошло это время! Солдат разместили по квартирам по три-четыре человека, и я не находил уже своих знакомых,<sup>25</sup> собранными в казарме, а должен был бегать, высунув язык, по городу,<sup>26</sup> чтобы повидаться с приятелями.<sup>27</sup>

Дня<sup>28</sup> выхода я ждал, не дождался. В воздухе было холодно, небо было пасмурно. Моросил мелкий дождь. Было еще очень рано. Непроспавшиеся роты<sup>29</sup>

<sup>15</sup> Далее зачеркнуто: попросил

<sup>16</sup> Далее зачеркнуто: а) когда б) тогда

<sup>17</sup> Далее зачеркнуто: сравнялись

<sup>18</sup> Перед ним зачеркнуто: Как же

<sup>19</sup> Далее зачеркнуто: название которого я не могу вам выразить: для этого нужны ваши звуки, а у меня их нет. Кишинев? Да

<sup>20</sup> Далее зачеркнуто: вовсе не

<sup>21</sup> Далее зачеркнуто: напи

<sup>22</sup> Далее зачеркнуто: население его все было не то

<sup>23</sup> Далее зачеркнуто: лепет чужого языка

<sup>24</sup> Далее зачеркнуто: чужой голо(с)

<sup>25</sup> Далее зачеркнуто: в одном месте

<sup>26</sup> Далее зачеркнуто: а) Собаки были злы б) Собаки в) Глухие соб(а)ки

<sup>27</sup> Далее зачеркнуто: а) И кроме б) Все это было бы ничего

<sup>28</sup> Перед ним зачеркнуто: Наконец вот

<sup>29</sup> Далее зачеркнуто: солдат

собрались перед квартирой<sup>30</sup> полковника. Все были в шинелях и ранцах. Помню обычный гром музыки, когда вынесли знамена, команду! Батальоны<sup>31</sup> всколыхнулись один за другим и стали вытягиваться по городским улицам.

По городу я шел, конечно, впереди музыкантов. Точно будто бы ведешь весь полк! Какое странное и смешное чувство, добрый хозяин,<sup>32</sup> не правда ли? Но я заметил его и не в одном себе. И вы, люди, поставленные вперед, в середину, наверх, часто думаете, что это вы ведете всех, что вы сами по себе выше всех. Что если бы вас не было, то некому было бы и вести, некому и главенствовать. Вы,<sup>33</sup> господа, похожи вон на ту ложечку, вон там в вашем стакане».

— Как на ложечку?

— Да. Эта ложечка, конечно, воображает,<sup>34</sup> что она занимает место в этом стакане и думает: как же это, однако? Что, если меня вынут? Что тогда будет занимать это место: как бы не осталось дырки! Какая я, однако, умная! Без меня бы наверно была дырка. И ее вынимают, она в ужасе, но дырки нет, потому что жидкость сомкнулась.

Я плохо понимал Арапку, и, вероятно, это непонимание выразилось в моем взоре, потому что Арапка<sup>35</sup> поспешно заболтал хвостом.

«Ну, не будем<sup>36</sup> рассуждать так хитро. Буду рассказывать дальше. Я шел, как уже сказал, впереди полка, но когда мы вышли из города, я полубошкетствовал пробежаться по всей растянувшейся колонне.<sup>37</sup> Все почти шли молча, упорно шагая по<sup>38</sup> исковерканной дождем и обозами дороге. Дождь понемножку перестал, выглянуло солнышко. Когда в одном месте мы начали подниматься в гору, я лег отдохнуть на склоне и дождался обоза. Десятки телег тащились по грязи одна за другой. Лошади выбивались из сил. Ах, как мне жалко было этих сытенных лошадей! Ведь до похода они делали так мало! Стоять в конюшне и есть овес и сено, вероятно, не было так трудно, как тянуть патроны и сухари с горы на гору по ужаснейшей дороге. И через три дня похода это сказалось на лошадях: ребра обнаружались, шеи похудели <рзб.>; лошади ложились на землю, чего прежде не делали.

„Трудно“, — спросил я у одного бурого знакомого мерина, шедшего на пристяжной. „Отстань, собачонка, — ответил он. — Тебе хорошо разговаривать, когда на тебе нет ничего, кроме<sup>39</sup> ошейничка из сукна; а мне не до разговоров. Видишь вон опять подъем. Ну, чувствую, сейчас бить будет; хоть бы он кнут потерял, проклятый“. Но кнут не был потерян, и мерин, в разговоре со мной<sup>40</sup> немного ослабивший построжки, получил несколько ударов, рванулся так, что построжки натянулись, как струны, и начал усердно шагать, с каждым шагом мерно качая головою и шеей> сверху вниз.

Мне стало совестно и за свой форменный красненький ошейник (наш полк носил красные воротники и погонны, поэтому и мне нацепили кусочек красного сукна), и за свое безделье. Я отбежал прочь.<sup>41</sup>

Дорога шла с горы на гору: лишь только мы<sup>42</sup> копчались, как нам казалось, последний подъем, как являлась лощина, а за ней новый подъем,<sup>43</sup> еще выше прежнего. Солдаты шли молча, согнувшись от ранцев, сумок, шинели и ружья.

„Что, если бы и меня запрягли как того мерина или навьючили как солдат“, — думал я. И так было тяжело<sup>44</sup> бежать по липкой грязи; моя густая шерсть намочилась от моросившего дождя, грязь облепила лапы. А хуже всего было томительное чувство неизвестности. Что-то говорило мне, что нам грозит что-то дурное: и лица солдат, и усталые лошади, тащившие полно нагруженные повозки, и офицеры,<sup>45</sup> сердито кричавшие на отсталых,<sup>46</sup> которые по временам садились отдохнуть у дороги. Я вспоминал свое прежнее беззаботное житье, теплую и сухую

<sup>30</sup> Далее зачеркнуто: полкового командира

<sup>31</sup> Далее зачеркнуто: заколебались

<sup>32</sup> Далее зачеркнуто: но я за

<sup>33</sup> Первоначально было: Они

<sup>34</sup> Далее зачеркнуто: думает

<sup>35</sup> Далее зачеркнуто: заговор<ил>

<sup>36</sup> Далее зачеркнуто: философствовать

<sup>37</sup> Далее зачеркнуто: брига<да>

<sup>38</sup> Далее зачеркнуто: ужасной

<sup>39</sup> Далее зачеркнуто: твоего формен<ого>

<sup>40</sup> Далее зачеркнуто: вытянув

<sup>41</sup> Далее зачеркнуто: Мы шли три дня подряд. Нас мочил дождь, сушил ветер, пекло солнце. Переходы были не очень велики, и я не утомился, но с грустью я вспоминал прежние походы

<sup>42</sup> Далее зачеркнуто: поднимались

<sup>43</sup> Далее зачеркнуто: гора

<sup>44</sup> Далее зачеркнуто: идти

<sup>45</sup> Далее зачеркнуто: угрю<мо>

<sup>46</sup> Далее зачеркнуто: отставали часто, должно быть не привыкли

казарму, шутки моих хозяев со мною, сон когда хочешь. Потом это непонятное торжество<sup>47</sup>), нашу поездку по железной дороге, солдата, ударившего женщину.

Он шел недалеко от меня,<sup>47</sup> угрюмо шагая и не отвечая на шутки товарища, шедшего рядом. Товарищ тот,<sup>48</sup> очень рыжий солдат, известный весельчак первой роты,<sup>49</sup> все болтал без умолку, падающая своим соседям и с правой и с левой стороны, шутя над грязью, над ранцем, который звал телятипой, над женщиной, которую побили там в воксале. „Как ты ее приголубил, дяденька! Примазал! Ты бы<sup>50</sup> на турку<sup>51</sup> кулачищи-то поберег“.

Дяденька<sup>52</sup> молчал, только лицо его еще больше потемнело.

„Ведь на турку-то сил много нужно. Ему ведь паточка и брюхо не пропорежь, — продолжал рыжий. — Он двуязыльный собачий сын“.

Я уже привык к<sup>53</sup> подобным оскорблениям своей породы и не обратил на слова „собачий сын“ никакого внимания, но предполагаемое пропоротие турецкого брюха вдруг ясно осветило мой мозг. И как я, глупая собаченка, до тех пор ничего не понимал, решительно не<sup>54</sup> постигаю. И раньше, мой дорогой хозяин, мне случалось слышать разговор о турке, силен ли он, что надо его усмирить, побить и еще что-то, что я не совсем ясно понял, но до этих слов рыжего я не представлял еще себе, что вся эта масса идет убивать турку. Кто такой турка, я все-таки не сообразил. Зверь ли то такой<sup>55</sup> очень страшный, или человек совсем особенный, я не знал до той самой достопамятной минуты, когда я увидел в первый раз сотни трунов. Тогда я понял.<sup>56</sup> Пойми я раньше, я бросил бы свой дорогой полк, чтобы не видеть того, что я увидел, но тогда уже было поздно. Ну, значит мы идем убивать турку, он очень страшный, и поэтому послали так много народу. Быть может, и мне удастся помочь<sup>57</sup> одолеть его. Я ухвачу его за лапу, или за хвост, или за что-нибудь, что у него есть; вероятно, он совсем не похож на тех животных, которых я до сих пор видел, думалось мне. И мне стало легче. Все-таки турка должен был быть большой гадостью: ведь иначе и не послали бы на него такой массы народа. Должно быть он сделал или и до сих пор делает что-нибудь нехорошее. Если так, то нужно идти и помочь людям, сделавшим притом столько добра. И, кроме того, я буду им доставлять удовольствие: ведь меня все любят, и все улыбаются, когда я ласкаюсь. И я от радости, что избавился от тяжелых дум, принялся громко лаять и, несмотря на грязь и дождь, прыгать<sup>58</sup> и, сломя голову, бежать взад и вперед.<sup>59</sup> Увидев это непонятное зрелище, солдаты развеселились: „Арапка-то наш, глядите! Чего обрадовался!<sup>60</sup> Арапушка, на, ну, цаца!“ Я летел, как сумасшедший, к звавшему меня, и вдруг в двух шагах от него<sup>61</sup> моментально делал крутой поворот и скакал в обратную сторону. Веселье заразительно. Солдаты начали посмеиваться. Да к тому же и остановка была близко: с последнего холма, на который мы взобрались, вдруг открылся вид на деревню с белыми хатами. Я покакал туда, но встретив целую стаю здоровенных лохматых собак, которые погнались за мною с явным намерением порвать мою шкуру, я счел за лучшее забраться в промежуток между музыкантами и батальоном, шедшим со знаменами. На этот раз никто не прогнал меня от знамен. Музыка заиграла, люди пошли в ногу, и я гордо шел перед знаменами, с презрением глядя на собак, струсивших музыки, массы людей и оружия и глухо ворчавших из-за плетней и избушек.

11 января 18<77> г<ода>

Я не буду рассказывать вам, добрый хозяин, о каждом дне нашего похода. Каждый день страшная усталость, даже и для меня, не обремененного никакой тяжестью или работою; каждый день все новые и новые горы и горки, удивительно похожие друг на друга, на которые надо влезать, чтобы спуститься с них. Для меня, впрочем, все лишения и ограничивались этим. Но люди не были так счастли-

<sup>47</sup> Далее зачеркнуто: весело, бодро

<sup>48</sup> Далее зачеркнуто: Лалкин

<sup>49</sup> Далее зачеркнуто: а) Слушай, Михеич. Забудь, говорил рыжий. Михеич молчал. Так молча б) Забыл? Ну так ладно. Да ты время не забыл. Как ты ее смазал-то ловко

<sup>50</sup> Далее зачеркнуто: вот

<sup>51</sup> Далее зачеркнуто: себя

<sup>52</sup> Далее зачеркнуто: шел рядом молча

<sup>53</sup> Далее зачеркнуто: таким

<sup>54</sup> Далее зачеркнуто: повимаю

<sup>55</sup> Далее зачеркнуто: или человек

<sup>56</sup> Далее зачеркнуто: Тогда было уже поздно ворочаться

<sup>57</sup> Далее зачеркнуто: ухватить

<sup>58</sup> Далее зачеркнуто: бегать взад и вперед, круто поворачивая

<sup>59</sup> Далее зачеркнуто: а) причем каждый поворот делал вдруг моментально. Громко и радостно б) и все, увидев это неожиданное

<sup>60</sup> Далее зачеркнуто: Эй, ты

<sup>61</sup> Далее зачеркнуто: с громким лаем

ливы, как я, и, что очень меня смущало, отлично понимали это. Зачастую происходили такие разговоры.

„Арапка, Арапушка! <sup>62</sup> Куда лупишь? Ишь, братны, жарит: видно, у него лапы-то не купленные. Что не купленные, не казенные! вот что! Ну, он и не жалеет. А и в правду, на своих-то бы дальше ушел. Скажу я тебе, ходили мы в Киев на богомолье, идешь себе с котомочкой сторонкой, палочкой подпираться, никому не мешаешь, — верст по сорока в день ухаживали; и ничего ведь; а здесь вот со всем <sup>63</sup> с этим выюком-то не больно расходишься. Да еще в порядке чтобы! Шли бы да шли попросту, как кто, еще скорее бы под турку подошли“. Дорога узкая, грязная, колес с засохшей грязью. Только <sup>64</sup> три ряда помещаются на дороге, а остальные солдаты идут по сторонам, конечно, мешаясь и перепутывая ряды и даже роты. Когда <sup>65</sup> солдат нагоняет в колясочке генерал, который уже выпался в деревне, где стояли на ночлеге, сзади раздаются возгласы: „в порядке! в порядке!“ Все солдаты ворча разыскивают свои места и идут в ногу. Генерал здравуется из коляски, <sup>66</sup> на что ему все кричат что-то такое, чего я, <sup>67</sup> несмотря на свое знакомство с человеческой речью, по крайней мере с русской, <sup>68</sup> и за двенадцатилетнюю жизнь среди солдат, до сих пор не разобрал. Оп, генерал, очень доволен этим и едет дальше. Странный случай я вспоминаю по этому поводу. Лет восемь тому назад (я был тогда еще молод) четвертая рота не закричала этого чего-то своему офицеру. И ведь что вышло! Говорили много такого непонятного (я тогда гораздо хуже понимал вашу речь), странного, <sup>69</sup> всю роту наказали. Потом куда-то послали несколько человек и с ними одного солдата, очень <sup>70</sup> дорогого мне человека. А одного из таких, что можно сечь, — ведь есть такие солдаты, — даже секли и очень больно. Тогда и мне досталось: он кричал, а я выл, и какой-то офицер ударил меня за это саблею по спине плашмя, но все-таки так сильно, что сорвал шкуру. Посмотрите: у меня на этом месте до сих пор шерсть не растет».

И Арапка подошел к моему креслу, подставляя спинну. Я действительно ощущал пальцем <sup>71</sup> голое место между шелковистой и густою шерстью.

«Знаете ли, — продолжал Арапка, снова взобравшись на диван, — это было первым огорчением моей жизни, если не считать того, что я <sup>72</sup> щенком, как обыкновенно делается с нами, собаками, был брошен в <sup>73</sup> помойную яму, откуда меня вытащил тот самый солдат, которого послали неизвестно куда. Он обмыл меня и <sup>74</sup> принес в казарму. Я тогда еще мог только ползать на брюхе, расставив все четыре лапы в стороны, но хорошо помню это. Как ласково меня приняли, как назвали Акрапкой, как ухаживали за мною, как кормили. И после четырех-то лет общей любви вдруг вот бьют саблей плашмя по спине, сдирают шкуру так, что она уже никогда не покрывается шерстью.

Я хотел и <sup>75</sup> даже мог бы забыть это, ведь я не злопамятен, но когда зимою <sup>76</sup> выбегаю на воздух, лысое пятно невольно напоминает мне об обиде, потому что зябнет. Впрочем, все это неинтересно; я расскажу вам лучше про одну ночь, когда мы переходили через границу. Вот еще новое слово, которое я узнал и понял.

Какое было тогда скверное, холодное, мокрое утро, я вам и сказать не могу. Хорошо было тогда, что ночь перед (тем) мне можно было спать в избе вместе с двадцатью <sup>77</sup> солдатами, поместившимися на ночлег. Хозяева избы: отец, мать, трое маленьких детей да еще старуха — все вышли из хаты и спали на воздухе, под навесом. Они зябли целую ночь, нам было тепло, но зато страшно душно; с одним молоденьким солдатиком случилось что-то странное: он стал совсем как мертвый, и его долго терли и обливали голову водой, так что утром и идти не мог, а поехал в лазаретной фуре.

Утро, я сказал, было скверное и мокрое. И мне долго не хотелось вылезать из теплой хаты; я все валялся, пока весь полк не вытянулся по дороге и осталась только одна рота, назначенная идти с обозом. Я пробирался к ней. Солдаты уже успели промокнуть под проливным дождем, <sup>78</sup> а еще и не выходили из деревни;

<sup>62</sup> Далее зачеркнуто: Черт!

<sup>63</sup> Далее зачеркнуто: вот с этим

<sup>64</sup> Далее зачеркнуто: два

<sup>65</sup> Далее зачеркнуто: едет сзади

<sup>66</sup> Далее зачеркнуто: и обгоняет

<sup>67</sup> Далее зачеркнуто: а) понимание б) то что понимаю

<sup>68</sup> Далее зачеркнуто: как вы хорошо знаете

<sup>69</sup> Далее зачеркнуто: всех

<sup>70</sup> Далее зачеркнуто: мне близкого

<sup>71</sup> Далее зачеркнуто: лысинку и плешинку на его

<sup>72</sup> Далее зачеркнуто: был

<sup>73</sup> Далее зачеркнуто: прорубь

<sup>74</sup> Далее зачеркнуто: притащил

<sup>75</sup> Далее зачеркнуто: а) мог даже б) мог бы

<sup>76</sup> Далее зачеркнуто: выбегаю

<sup>77</sup> Далее зачеркнуто: или тридцатью

<sup>78</sup> Далее зачеркнуто: стояли все-таки ●

нужно было ждать волов. Часа два ждали их, наконец, их пригнали и запрягли. Мы пошли.

Мне с моим легким телом и когтями на лапах нетрудно было влезть по мокрому, скользкому подъему, идти по косогору, но люди постоянно скользили, падали, роняя в грязь ружья. Один чуть не попал своим штыком другому в глаз.

Волы тоже мучились. . .»

## 2

Умер Иван Петрович Пономарев. Умер он как жил, а жил почти целый век пьяным. Он служил в Бельском полицейском управлении, дни проводил за большим столом, покрытым <sup>79</sup> клеенкою, <sup>80</sup> черная краска которой была сплошь покрыта чернильными выпуклыми пятнами; против Ивана Петровича сидел его друг и приятель, писец Лукин, сбоку молоденький переписчик Савва Егорович Ремезов.<sup>81</sup> За этим столом в душной промозглой атмосфере писцы сидели часов с <sup>82</sup> восьми утра до двух дня; потом приходили еще раз вечером. Трудно сказать, что они здесь делали: Бельский уезд — местность тихая и представляющая весьма мало удобств для обнаружения <sup>83</sup> неутомимости исправников. И теперь ближайшая станция железной дороги находится в 60 верстах от города, а несколько лет тому назад, когда умер Иван Петрович, до железного пути нужно было ехать <sup>84</sup> неделю, а на санях или долгих и целый месяц. Вследствие такой отдаленности от мира бельские жители никогда не занимались политикой, и ловить среди них было некого. Те же, которым судьба предназначала быть переданными в руки власти за <sup>85</sup> дурной образ мысли, обыкновенно ездили для исполнения такого решения судьбы в губернский город или в Петербург. Итак, целого отдела запятый, обыкновенно составляющего значительную часть всех дел полицейских правлений, в управлении бельского исправника не было.<sup>86</sup> С другой стороны, так как уезд славился по всем портам Черного моря своею пшеницею, под именем Рохлянки,<sup>87</sup> сбываемой за границу, преимущественно в Италию для приготовления макарон (так, по крайней мере, уверял Жуков), и в те времена, когда умер <sup>88</sup> Иван Петрович, не было ни кузьки, ни саранчи, а третье сословие не успело еще дать столь пышного цвета, как в наши дни,<sup>89</sup> то недоимок было мало, следовательно и с этой стороны бельскому исправнику было делать почти нечего.<sup>90</sup> Тем не менее канцелярские чиновники <sup>91</sup> целые дни сидели над политою черпилами и закапанною сюргучем клеенкою и все писали <sup>92</sup> отношения, рапорта и предписания на самой старой и скверной бумаге.<sup>93</sup>

На соборной колокольне пробило <sup>94</sup> два часа. Дрожавший звук большого колокола не успел замереть в воздухе над сонным городом, все ставни домов которого были плотно затворены от жары, как звонарь дернул сразу пять или шесть маленьких колоколов. Шедший по улице полицейский солдат,<sup>95</sup> кроме торговок, сидевших на базаре, единственно не спавший в городе человек, снял шапку и перекрестился; за нестройным аккордом маленьких колоколов раздался один удар колокола побольше; потом через долгий промежуток — еще аккорд и снова удар уже большого колокола; в городе умер человек.

Родился,<sup>96</sup> бегал по улице, бегал в уездное училище, поступил на службу в <Полицейское> управление, женился и умер — вот краткая и довольно полная биография Ивана Петровича. Если прибавить к этому, что с двадцатилетнего возраста он начал пить, сначала понемногу, потом больше и, наконец, запоем, то внешняя сторона его жизни будет вполне исчерпана.<sup>97</sup>

<sup>79</sup> Далее зачеркнуто: грязною черною

<sup>80</sup> Далее зачеркнуто: и переписывал

<sup>81</sup> Далее зачеркнуто: Лукин

<sup>82</sup> Далее зачеркнуто: восьми-девяти

<sup>83</sup> Далее зачеркнуто: неутомимости правителей

<sup>84</sup> Далее зачеркнуто: целую

<sup>85</sup> Далее зачеркнуто: нехорошие

<sup>86</sup> Далее зачеркнуто: Недоимки хотя и были

<sup>87</sup> Далее зачеркнуто: отправляемой

<sup>88</sup> Далее зачеркнуто: Петр

<sup>89</sup> Далее зачеркнуто: то мужики

<sup>90</sup> Далее зачеркнуто: Остались конокрады, дознания по уголовным делам и тому подобные нерентабельные дела

<sup>91</sup> Далее зачеркнуто: сидели над бумагами

<sup>92</sup> Далее зачеркнуто: какие-то бумаги

<sup>93</sup> Далее зачеркнуто: Иван Петрович им бы по

<sup>94</sup> На всей России звонят по каждому покойнике. Утром 8 сент<ября> в июне 186... года

<sup>95</sup> Далее зачеркнуто: услышал этот странный погребальный аккорд

<sup>96</sup> Далее зачеркнуто: бегал в уезд

<sup>97</sup> Далее зачеркнуто: Он умер. Накануне смерти он был трезв. В маленьком домике, домике, унаследованном от отца



Он лежал как умер, на своей постели, одетый в старый видмундир;<sup>98</sup> вдова не успела еще созвать соседок, чтобы обмыть и одеть покойника.<sup>99</sup>

Смерть была неожиданна: еще накануне И(ван) П(етрови)ч был на службе и пришел домой трезвый; несмотря на уговаривание Лукина, явившегося за ним вечером, он не пошел с ним, а остался дома, мрачно набивая папиросы в гильзы с изображением кн. Бярятинского и Шамиля.<sup>100</sup> В десять часов лег спать; утром оделся, чтобы идти на службу, но вместо этого лег на постель и заснул. Когда М(арья) П(етровна)<sup>101</sup> подошла к нему, чтобы разбудить, то увидела бледное как полотно лицо,<sup>102</sup> рот с выступившей слегка пеной и застывшие полуоткрытые глаза... Мухи жужжали около мертвого лица. Она упала перед телом на колени. Громкий вопль огласил комнату;<sup>103</sup> из соседней комнаты выбежала девочка лет тринадцати и молча остановилась на пороге,<sup>104</sup> с широко раскрытыми от страха глазами.

— О, боже ж мой, боже ж мой, — голосила Марья Петровна, — о боже ж мой, боже ж мой!<sup>105</sup> Позови Матрену, Соня!<sup>106</sup> На кого ж ты меня покинул!.. Пусть бежит до отца Аполлона, чтобы в колокол ударили. О-о...

Соня не двигалась с места...

— Папочка, — прошептала она...

— Беги, идолова дочка, пивидче! Чего стоишь. О, наказание мое... Беги.

Она встала на ноги и, повернув ее спиной к себе, тихонько толкнула рукой. Девочка пошла, а вдова продолжала голосить по мертвом.

Ударили в колокол, через полчаса весь город уже знал, что не стало Ивана Петровича. Пришел пономарь со складным аналоем и псалтырем; ожидая,<sup>107</sup> пока покойника обмоют и положат на стол, он уселся на завалинке в тени и, чтобы окончательно проснуться, усердно нюхал табак, чихал и утирался красным платком. Между тем женщины мыли в корыте оконечившее тело. Вдова сидела в углу, обливаясь слезами и голоса; две старухи, первыми прибежавшие<sup>108</sup> из богадельни, держали ее под руки. В соседней комнате, в уголке, на низенькой<sup>109</sup> скамеечке, приютилась Соня. Она прислушивалась,<sup>110</sup> опустив голову в колени, и горько плакала, утираясь передником.

— Папочка, папочка, — говорила она.

Скоро все пришло в порядок: покойник, убранный, лежал на столе в чистом белье и новом видмундире. Перевязанное белым платком лицо приняло добродушный вид; глаза были уже закрыты; белый «врзб.» венчик<sup>111</sup> с цветными образками святых и позолоченною надписью лег на пожелтевший лоб,<sup>112</sup> в руки покойнику вложили восковой крест. Пономарь Савелий<sup>113</sup> бегло и заунывно читал псалтырь,<sup>114</sup> изредка заглядывая в<sup>115</sup> почерневшую, засаленную книгу.<sup>116</sup>

Откуда-то набрались старухи в черных платках и темных ситцевых платьях; сочувственно склонив голову на<sup>117</sup> одну руку, а<sup>118</sup> другою поддерживая ее под локоть, они говорили друг другу ненужные слова, которые<sup>119</sup> всегда говорят в таких случаях.<sup>120</sup>

Пришел и Ремезов. Постояв минутку перед покойником, он прошел в соседнюю

<sup>98</sup> Далее зачеркнуто: небритое лицо его... вдова убивалась вдова

<sup>99</sup> Далее зачеркнуто: Она

<sup>100</sup> Далее зачеркнуто: Вина было гра

<sup>101</sup> Далее зачеркнуто: начала будить

<sup>102</sup> Далее зачеркнуто: полуоткрытый

<sup>103</sup> Далее зачеркнуто: Из кухни вы

<sup>104</sup> Далее зачеркнуто: раскрытыми

<sup>105</sup> Далее зачеркнуто: Соня

<sup>106</sup> Далее зачеркнуто: Боже ж мой

<sup>107</sup> Далее зачеркнуто: в ожидании

<sup>108</sup> Далее зачеркнуто: старухи

<sup>109</sup> Далее зачеркнуто: табуретке

<sup>110</sup> Далее зачеркнуто: к шуму уже

<sup>111</sup> Далее зачеркнуто: с изображением святых

<sup>112</sup> Далее зачеркнуто: в руках покойнику

<sup>113</sup> Далее зачеркнуто: уже читал

<sup>114</sup> Далее зачеркнуто: читая псалмы, большей частью, не смотря в книгу,

потому что

<sup>115</sup> Далее зачеркнуто: книгу

<sup>116</sup> Далее зачеркнуто: а) Соня вышла из «врзб.» вошла в комнату. Человек десять «врзб.» пришли из б) Толпа женщин стояла вокруг стола, все в черных платках

<sup>117</sup> Далее зачеркнуто: правую

<sup>118</sup> Далее зачеркнуто: левою

<sup>119</sup> Далее зачеркнуто: говорили что

<sup>120</sup> Далее зачеркнуто: а) о том что покойник пил, о том б) Пил-то как, очень крепко или в) И умер без г) И помер без «врзб.» что М. П. убивается «врзб.»

комнату, где сидела Соя.<sup>121</sup> Она подняла голову и, увидев его, снова залилась слезами.<sup>122</sup>

— Когда это, Сонечка? — спросил он, жалобно моргая подслеповатыми, усталыми от переписки глазами.

Девочка ничего не ответила. Она дала волю своему горю и безутешно рыдала. Она любила своего пьяного и слабого старика-отца.<sup>123</sup>

Город проснулся. Кое-где открылись ставни, на лавочках у ворот появились заспаные фигуры.<sup>124</sup> «Четыре» дома на<sup>125</sup> перекрестке, где стоял домишко вдовы Пономарева, растворили свои ворота: <sup>126</sup> около них появились *шибаи*. Эти четыре дома принадлежали четверем купцам, занимавшимся сбытом хлеба; чистенькие дома с зелеными жестяными крышами, окаймленными хитрым кружевом из листового железа, с водосточными трубами,<sup>127</sup> чашки которых были вырезаны узорчатыми решетками, а устья были сделаны в виде зубастых драконов с крыльями на голове и копыеносным жалом. Ярко выкрашенные деревенские заборы с щетками гвоздей <sup>128</sup> от воров, большие ворота с оковкою, амбары, сделанные из хорошего леса, редкого в той местности, — все указывало, что владельцы четырех домов люди состоятельные.

Перекресток ежедневно был местом действия ожесточенной борьбы. Как только показывался тяжелый воз, нагруженный хлебом, купеческие молодцы, столпившиеся у четырех ворот, стремительно кидались к нему, стаскивали с него хозяина-мужика, брали волов за рога и тащили каждый к себе. Случалось, что хозяина уводили молодцы купца Рогачева, а воз отправлялся в широкий двор Криничного, и только после долгой перебранки, толчков, а иногда драки и хозяин и воз его оказывались во власти которого-нибудь из четырех противников. Тогда ворота запирались, и начинался торг.

У открытого окна своего «кабинета», как сам владелец называл его, сидел Федосий Петрович Криничный, изображая на своем лице незыблемое спокойствие.<sup>129</sup> На нем была расстегнутая <sup>130</sup> на две пуговицы розовая ситцевая рубашка; шпорок <sup>131</sup> серые нанковые панталоны едва вмещали в себя объемистый живот <sup>132</sup> и доходили почти до груди, высоко подтянутые вышитыми шелком подтяжками.

Ему было лет шестьдесят или около того, но на вид гораздо меньше. Могучая шея поддерживала большую голову с целым лесом начинавших серебриться курчавых волос; как большинство бельских купцов, он брил себе и усы и трехэтажный подбородок.

— Ану-ка, хлопцы,<sup>133</sup> дайте-ка сюда, — произнес он, когда подвода с <sup>134</sup> хлебом остановилась около амбара. Мешок уже был развязан; <sup>135</sup> тощий молодец в длинном сортуке подбежал к хозяину и протянул ему в окно совок с пшеницей.

Федосий Петрович взял горсть, посмотрел, выбрал зерно, раскусил его пополам своими крепкими зубами, посмотрел на излом и отрывисто произнес: «Рубь пятнадцать».

Мужик, мотнув головой, начал завязывать мешок. . .

— Да ты постой, постой, — закричал <sup>136</sup> старый приказчик, — что просишь?

— Та ж и не буде діла.

— Да <sup>137</sup> почему просишь?

Он в это время успел взвалить мешок на воз и закричал волам: «Цоб-цобе».

Но вырваться из двора Криничного раз попавшему туда возу с хлебом было невозможно. Через полчаса ожесточенного крика, изредка прерываемого возгласами хозяина,<sup>138</sup> по-прежнему сидевшего у окна и прихлебывавшего с блюдечка прине-

<sup>121</sup> Далее следовало: увидев его.

<sup>122</sup> Далее зачеркнуто: — Соничка, какое, Соничка, несчастие! Молодой человек присел около нее на корточки и начал утешать и начал

— Когда это, Соничка, — спросил он

<sup>123</sup> Далее зачеркнуто: а) Сем б) Федосий Петрович мир в) На углу двух средних улиц Бельского

<sup>124</sup> Далее следовало: Три

<sup>125</sup> Далее зачеркнуто: на углу двух главных улиц города

<sup>126</sup> Далее зачеркнуто: у каждой

<sup>127</sup> Далее зачеркнуто: устья

<sup>128</sup> Далее зачеркнуто: наверху, чтобы не

<sup>129</sup> Далее зачеркнуто: а) Ему б) Он только что встал с постели, выпил несколько стаканов, выпил ковш воды. Расстегнутая на две пуговицы розовая ситцевая рубашка

<sup>130</sup> Далее зачеркнуто: розовая ситцевая

<sup>131</sup> Далее зачеркнуто: панталоны какие-то

<sup>132</sup> Далее зачеркнуто: и если бы не это

<sup>133</sup> Далее зачеркнуто: подвели

<sup>134</sup> Далее зачеркнуто: возом

<sup>135</sup> Далее зачеркнуто: один из

<sup>136</sup> Далее зачеркнуто: молодой

<sup>137</sup> Далее зачеркнуто: сколько

<sup>138</sup> Далее зачеркнуто: неподвижно

сенный ему дочерью чай,<sup>139</sup> мешки были сняты с воза.<sup>140</sup> Федосий Петрович закрыл окно<sup>141</sup> и отомкнул<sup>142</sup> свой железный сундучек.<sup>143</sup>

— Жена, — закричал он, — утюг с доской!

В соседней комнате<sup>144</sup> брякнула посуда, и с шумом отодвинулся стул: кто-то стремительно бросился с места. Федосий Петрович вынимал из сундука пачку за пачкой и бережно укладывал их на стол<sup>145</sup> — красненькие,<sup>146</sup> синие, зелененькие и желтые бумажки, каждую в отдельный ряд, затем вынул из сундука лист чистой бумаги, положил его на стол и уселся на кресло, сложил на животе толстые руки и<sup>147</sup> шумно вдохнул, глядя на разноцветные ряды. Некоторое время он ждал, перебирая большими пальцами толстых рук; на одном из них было серебряное обручальное кольцо (когда Федосий женился, он<sup>148</sup> был еще беден и не мог купить себе золотого), но скоро закричал громче первого раза:

— Жена!<sup>149</sup> Елена Кузьминична! Поворачивайся.

Торопливые шаги приблизились к двери. С несвойственной толщине его живостью Федосий вскопчил с кресла и, взяв одной рукой за ручку, приотворил ее.

— Давай, давай сюда.

— Не опалите, Федосий Петрович, горячий. — В щель приотворенной двери за утюгом просунулась гладильная, обитая войлоком доска,<sup>150</sup> приняв эти предметы, Федосий Петрович поставил горячий утюг на медный лист около печки и положил доску на спинку двух стульев. Потом он еще раз тяжело вдохнул и взял со стола пачку рублевых бумажек. Сосчитав их,<sup>151</sup> он<sup>152</sup> передвинул<sup>153</sup> жирным пальцем костяшки на счетах и принялся медленно, аккуратно разглаживать горячим утюгом на чистом листе бумаги одну бумажку за другою, внимательно рассматривая каждую до<sup>154</sup> операции и после нее. Зловоние, наполнившее комнату,<sup>155</sup> нисколько не беспокоило Федосия Петровича; он прилежно трудился до тех пор, пока легкий стук в окно не известил его, что хлеб ссыпан. Не отдергивая занавески, он открыл окно и взял из рук приказчика «прзб.» книжку. Там на последней странице значилось: 9 июля<sup>156</sup> две чет(верти) 5 мекшков).

С тяжелым вздохом Федосий Петрович отсчитал двадцать пять еще не выглаженных бумажек, прибавил к ним добытый из кармана шаровар двугривенный и молча передал их приказчику.

11 июня

А в соседней комнате у жены Федосия Петровича, Елены Кузьминичны, сидела гостья, одетая в черное шерстяное платье, с черным платочком на голове. Вдова Пономарева сидела<sup>157</sup> перед<sup>158</sup> опрокинутой чайной чашкой, сжав руками мокрый от слез носовой платок и в десятый раз рассказывала историю смерти мужа.

— Только я к нему — будить хотела,<sup>159</sup> и вижу — мухи-то около головки летают. Тут меня<sup>160</sup> будто в сердце ударило; упала я, закричала, себя не помню, „Беги, — говорю, — Сонька, пускай в соборе по покойнику звонят“. А он, голубка, лежит себе на боку, глаза открытые. Горькая я, горькая.<sup>161</sup>

И слезы текли по красному лицу вдовы; она отирала их скомканным в комочек платочком. Купчиха сочувственно покачивала головой, не забывая попить чай из блюдечка.

<sup>139</sup> Далее обведено чернилами:

— Рубь шестнадцать семнадцать.

— Рубь двадцать.

<sup>140</sup> Далее зачеркнуто: а) и началось обмеривание б) и началось

<sup>141</sup> Далее зачеркнуто: задернул занавеску и начал доставать открыл

<sup>142</sup> Далее следовало: огромный

<sup>143</sup> Далее зачеркнуто: Маша, утюг, — закричал он

<sup>144</sup> Далее зачеркнуто: кто-то отод(винул)

<sup>145</sup> Далее зачеркнуто: в одном ряду пятирублевые, в другом

<sup>146</sup> Далее зачеркнуто: в одном ряду синие

<sup>147</sup> Далее зачеркнуто: глубоко вдохнул, глядя

<sup>148</sup> Далее зачеркнуто: был беден

<sup>149</sup> Далее зачеркнуто: а) Пра б) Ольга

<sup>150</sup> Далее зачеркнуто: уложив ее на двух стульях

<sup>151</sup> Далее зачеркнуто: и положив их на больших счетах

<sup>152</sup> Далее зачеркнуто: отсчитал

<sup>153</sup> Далее зачеркнуто: толстым

<sup>154</sup> Далее зачеркнуто: и после

<sup>155</sup> Далее зачеркнуто: не смущало

<sup>156</sup> Далее зачеркнуто: 2 чет(верти) 5 мекшков

<sup>157</sup> Далее зачеркнуто: на стуле

<sup>158</sup> Далее зачеркнуто: а мухи мухи

<sup>159</sup> Далее зачеркнуто: а мухи мухи

<sup>160</sup> Далее зачеркнуто: словно

<sup>161</sup> Далее зачеркнуто: И платок приходил в действие

— Кушайте, кушайте чай, я вам еще чашечку налью, — говорила она.

— Ох, горе мне горькой, — продолжала вдова. — Дал исправник десять рублей, что на них сделаешь?

И она начала высчитывать необходимые при погребении расходы.<sup>162</sup> Сосчитала плату попу, деньги за покров, чтепу, поминальную закуску, кутью, за носилки и снова залилась горячими слезами.<sup>163</sup>

Вечером на бельских улицах совершается настоящее гулянье.

## 3

Завтра экзамен.<sup>164</sup> А <нна> П.<sup>165</sup> сидит, низко наклонив свою голову над письменным столом,<sup>166</sup> покрытым иностранными газетами, кое-где отмеченными красным карандашом. Ее правая рука с пером быстро бегаёт, левою она иногда следит по тексту.<sup>167</sup> Политический горизонт затемняется, и по этой причине у А <нны> П. сегодня работы больше обыкновенного. Ей самой иногда приходится в голову сравнить себя с гробовщиком. Чем больше смертей, тем больше работы и больше денег.

Она переводит почти бессознательно, часто не замечая слов газетных известий.<sup>168</sup> Вase не видно ее спокойного, бледного лица; видит он только голову с белокурою косою, закрученною на темени, белый затылок, освещаемый лампой, висящей над круглым столом, где они всегда обедают и пьют чай и где теперь на покрывающей его клеенке перед ним лежат «Начатки Христианского учения». На сердце у него и страшно и немного весело: страшно потому, что все ему кажется, что он не совсем хорошо выучил свои начатки, а весело потому, что он почти уверен, что выдержит: мать экзаменовала его и сказала своим спокойным голосом, что он, наверно, выдержит.

— А еще учить нужно?

— Поучи еще, если хочешь. Я поработаю, мне еще осталось кое-что, а когда кончу, спрошу тебя.

Она пригладила ему волосы, взяла за обе щеки и, притянув, поцеловала с маленьким вздохом.

— Что ты, мама?

— Так, Вася, мне пришло в голову, что волосенки твои надо будет остричь для гимназии.

И она снова села и наклонила голову над работою. Много бумаги исписала она за этот год. Если бы сложить все красные черточки, отмечавшие ее переводы в газету «Трезвон», вышли бы хорошие полверсты. Ей приходило в голову и это.

— На полверсты ближе к смерти. Много ли их всех-то осталось? — думала она и непроизвольно обертывалась взглянуть на Васю, встречала его черные глаза, серьезно смотревшие на нее, в то время как его губы<sup>169</sup> бормотали слова<sup>170</sup> учебника <нрзб.> «Писания».<sup>171</sup>

— Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпение и любовь даруй мне, рабу твоему.

— Мама, что значит целомудрие и смиренномудрие?<sup>172</sup>

— Целомудрие<sup>173</sup> — чистота душевная, Вася. А быть смиренномудрым, значит быть умным и добрым.

— А разве бывают умные и недобрые? Я думаю, мама, что это нельзя.

— Если бы все умные были добрые, Вася, хорошо бы жилось на свете. Ну, давай книжку, я спрошу тебя.<sup>174</sup>

Она села на низенький клеенчатый диван, на котором Вася<sup>175</sup> должен был стоять на коленях, чтобы,<sup>176</sup> положив локти на стол, читать книжку.

Он прижался к ней, закрыл глаза и начал.

— В начале сотворил бог небо и землю.

<sup>162</sup> Далее зачеркнуто: Сосчитала плату попу

<sup>163</sup> Далее зачеркнуто: Елена Кузьминична прослезилась. Грех так убиваться, М. П.

Вечером бельские улицы представляли

<sup>164</sup> Далее зачеркнуто: Марья

<sup>165</sup> Далее зачеркнуто: согнувшись

<sup>166</sup> Далее зачеркнуто: пишет и пишет

<sup>167</sup> Далее зачеркнуто: завтра

<sup>168</sup> Далее зачеркнуто: Лицо ее спокойно, красивое, белокурая коса закручена на затылке и

<sup>169</sup> Далее зачеркнуто: шептали

<sup>170</sup> Далее зачеркнуто: Добро дело чисто, прекрасно и безвредно

<sup>171</sup> Далее следует: И иногда

<sup>172</sup> Далее зачеркнуто: Душевная чистота

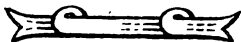
<sup>173</sup> Далее зачеркнуто: душевная

<sup>174</sup> Далее зачеркнуто: Она потянула

<sup>175</sup> Далее зачеркнуто: стоял на коленях, облокотившись

<sup>176</sup> Далее зачеркнуто: облокотившись на стол

И когда <sup>177</sup> договорил до того места, где бог сотворяет Адаму <?> жену, <sup>178</sup> Анна П. <sup>179</sup> вспомнила мужа, и сердце заняло у нее. И заняло не тоскою по покойном, а <sup>180</sup> заняло от полного одиночества и <sup>181</sup> жажды привязанности, не такой, какую она чувствовала к Васе, былинке, обвивавшейся вокруг нее, а привязанности, на которую она в трудную минуту жизни могла бы сама опереться. Потому что она <sup>182</sup> сама, если не былинка, то и не могучий дуб, который <sup>183</sup> стоит одиноко, возвышаясь вершиной над голым лесом и не боится ни бури, едва шевелящей его толстыми ветвями, <sup>184</sup> ни молнии, способной <sup>185</sup> пронзить его глубокой трещиной, но не разнести его ствола в дребезги.



- 
- <sup>177</sup> Далее зачеркнуто: дочитал  
<sup>178</sup> Далее зачеркнуто: ей стало  
<sup>179</sup> Далее зачеркнуто: стала  
<sup>180</sup> Далее зачеркнуто: потому заняло, что  
<sup>181</sup> Далее зачеркнуто: без  
<sup>182</sup> Далее зачеркнуто: была  
<sup>183</sup> Далее зачеркнуто: одиноко  
<sup>184</sup> Далее зачеркнуто: ни грозы далекой  
<sup>185</sup> Далее зачеркнуто: провести в нем

## ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ ЧЕХОВА

Антон Павлович Чехов умер 2 июля 1904 года. Похороны его состоялись 9 июля. Последний путь писателя от смертного одра до могилы длился неделю. Какими событиями отмечены эти семь дней, как откликнулись на смерть писателя различные классы русского общества, официальные круги? Можно задать немало подобных вопросов, ответов на которые или нет совсем, или же они существуют в самой общей форме. Здесь нет ничего удивительного. Ведь если, например, обстоятельства смерти и похорон Пушкина и Грибоедова, Лермонтова и Некрасова, Тургенева и Л. Толстого известны во всех подробностях, то о последнем пути Чехова в биографической литературе говорится очень мало. Отрывочные сообщения периодической печати, свидетельства очевидцев не систематизированы и не обобщены. Некоторые материалы, находящиеся в архивах, до сих пор не опубликованы.

Эта работа является попыткой восстановить картину последнего пути Чехова от небольшого немецкого курортного городка Баденвейлера до Новодевичьего кладбища в Москве.

### 1

В Баденвейлер, как известно, Чехов с женой прибыли 8 июня. Сначала он чувствовал себя неплохо, собирался даже возвратиться в Ялту морем, через Италию. Но к концу месяца состояние его здоровья резко ухудшилось. А в час ночи с первого на второе июля Антон Павлович сам впервые в жизни попросил послать за врачом. Вскоре пришел доктор Шверер — заведующий баденвейлерским курортом. Писатель умирал — это ему стало ясно сразу же. В три часа ночи Чехов склонился на левый бок и тихо, без вздоха, уснул навсегда.

Ольга Леонардовна до утра оставалась у тела покойного. Еще ночью она телеграфировала о несчастье родным в Ялту и берлинскому корреспонденту «Русских ведомостей» Григорию Борисовичу Иоллосу. Дело в том, что за несколько дней до смерти Чехов послал Иоллосу чек на получение денег в банке и просил, чтобы они были переведены на имя жены. Когда она спросила, зачем это нужно, Антон Павлович ответил: «Да, знаешь, на всякий случай». Теперь деньги понадобились для перевозки его тела на родину.

Утром о смерти Чехова знал уже весь город. Не только отдохавшие здесь русские — все, кто был знаком с его именем, до позднего вечера шли в отель «Зоммер», чтобы выразить соболезнование вдове, попрощаться с великим писателем.

Первым пришел Иоллос, срочно прибывший из Берлина. Потрясенная смертью мужа, Ольга Леонардовна вряд ли могла бы справиться с тысячами появившихся забот, если бы не помощь Иоллоса и братьев Рабенек, студентов Московского университета, живших в том же отеле «Зоммер». Весь день 2 июля они посвятили сообщениям в Россию и переговорам с местными властями о перевозке тела до ближайшей железнодорожной станции Мюльгейм. Телеграммы с текстом: «Антон Павлович внезапно скончался от слабости сердца 2 июля в три часа ночи. Ольга Чехова»<sup>1</sup> — были посланы в Москву редактору «Русских ведомостей» В. М. Соболевскому и редактору «Русской мысли» В. А. Гольцеву, в Петербург редактору «Нового времени» А. С. Суворину и Александру Чехову, в Екатеринославскую губернию отдохавшему в своем имении Вл. И. Немировичу-Данченко и в Дрезден брату Ольги Леонардовны Владимиру Книпперу.

Хозяин отеля «Зоммер» Отто Бирингер, ссылаясь на соответствующие правила, попросил вдову освободить номер. Это не было для нее неожиданностью: владелец пансионата «Фредерик», в котором Чеховы остановились сразу же после приезда в Баденвейлер, узнав о тяжелом состоянии писателя, настоял на немедленном их переселении в другое место. Когда Иоллос разъяснил Бирингеру, кто такой Чехов, было разрешено «из уважения к вдове знаменитого русского писателя», «в виде особой лобезности» оставить тело в гостинице на один день. А ночью ассистент Шверера доктор Вингер руководил переносом тела через задний коридор в находившуюся рядом с домом часовню.

<sup>1</sup> Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, ф. 331, п. 33/166. В дальнейшем при ссылках на этот фонд указываются только номера папок.

## 2

Родные не ждали такой скорой трагической развязки. Они надеялись, что пребывание на одном из лучших европейских курортов для легочных больных благоприятно скажется на здоровье Антона Павловича, и потому развлекались на лето без особых опасений. В Ялте оставалась только мать писателя Евгения Яковлевна. Иван Павлович и Мария Павловна находились на Кавказе, в Боржоме, а Михаил Павлович должен был приехать в Ялту 2 июля вечером. Евгений Яковлевне не решились вручить телеграммы о несчастье, хотя первая из них, адресованная Ивану Павловичу, пришла еще утром: «Антон внезапно скончался 15 ночи от слабости сердца тело везу Москву ответ (где) решите хоронить умер без страданий тихо побережнее скажите матери Маше. Ольга» (п. 3.2/22а).

Михаилу Павловичу телеграмму вручили, когда он сходил с парохода в Ялте. Тяжесть утраты усугубилась для него сложностью создавшейся дома ситуации, ибо мать так пока и не знала о смерти сына и нужно было делать вид, что ничего ровным счетом не произошло.

Первое известие из Петербурга от Александра Павловича поступило к концу дня: «Смерть Антоши оплакивают все позаботьтесь как можно лучше сохранить его бумаги в столе и пачки писем в пакетах на полке чтобы не попали в чужие руки еду в Ялту курьерским. Саша» (п. 3.2/21б).

Утром 3 июля снова сообщение от Ольги Леонардовны: «4 июля везу тело Москву телеграфируйте Маше Ивану приезжайте похороны» (п. 3.2/21б). Михаил Павлович тут же ответил ей: «Хороните Антона Москве Новодевичьем монастыре Иван и Маша на Кавказе при матери Михаил. Михаил» (п. 66.123). Днем телеграмма от Александра уже из Москвы: «Приеду понедельник немедленно телеграфируйте Харьков станция востребования застану ли вас дома. Саша» (п. 3.2/21а). Ответ Михаил Павлович послал на следующую после Харькова крупную станцию — Лозовую: «Поезд» 9 пассажиру Чехову Иван Маша на Кавказе мать со мной Ольга Леонардовна выехала с телом из Баденвейлера четвертого ждем телеграмм от нее и Маши съедемся все Москве к приезду тела возвратитесь Москву купи рядом с отцом место для Антона это воля покойного о состоявшейся покупке телеграфируйте мне сюда куда телеграфировать тебе» (п. 3.2/23е).

## 3

Весть о смерти Чехова распространилась в Германии быстро. Большинство немецких газет опубликовало в связи с этим статьи, в которых чувствовалось понимание той огромной утраты, которую понесла мировая литература. «Berliner Tageblatt» писала: «Вместе с Россией безвременную кончину Чехова будет оплакивать и вся культурная Европа». «Forverts»: «Каждый читатель, вздумавшийся в чеховские новеллы и в особенности в его драматургические произведения, не замедлит отвести только что скончавшемуся художнику принадлежащее ему по праву место — первого после Л. Н. Толстого русского писателя». Венская «Neue Freie Presse»: «Россия должна облечиться в траур, потому что Чехов, наряду с Горьким, был украшением ее молодой литературной гвардии».

В России днем 2 июля о случившемся знали только те немногие, кто получил телеграммы от Книппер-Чеховой и Иоллоса. И лишь вечером в редакциях почти всех русских газет начали готовить первые материалы: краткие некрологи, воспоминания, подробности последних минут жизни писателя. На следующее утро все газеты напечатали сообщение Российского агентства: «В ночь на 2 июля, в 3 часа, скончался от паралича сердца на руках у жены известный писатель Антон Павлович Чехов, в Германии, в Баденвейлере».

В последующие дни в десятках городов, в сотнях гимназий, университетов, библиотек, обществ, кружков, редакций, театров стали организовываться траурные комитеты. Они готовили и проводили траурные собрания, устраивали концерты из произведений Чехова, посылали родным и для опубликования в прессе телеграммы и письма с выражением соболезнования, собирали деньги на венки, выбирали депутации для возложения этих венков на могилу. Посулали многочисленные предложения о том, как увековечить память писателя (присвоить его имя нескольким школам и больницам, учредить чеховские стипендии, издать сборники памяти писателя и т. д.).

Было ясно, что смерть Чехова воспринята всей культурной Россией как общее национальное горе. Обращало на себя внимание молчание в первые дни официальных печатных органов.

## 4

Телеграммы с выражением соболезнования начали приходить к Ольге Леонардовне еще днем 2 июля. А начиная с 3 июля их число увеличилось. Они были от русских студентов из Лейпцига и Парижа, от незнакомых людей из Вологды и Москвы, Петербурга и Ялты, Калуги и Варшавы, Железноводска и Гельсингфорса... Писали отдельные лица и группы по 50—100 человек.

Телеграммы друзей были проникнуты горячим сочувствием: «Несите с твердым духом горе ваше и всего русского народа Станиславский извещен сообщите когда и куда вы хотите привезти тело если нужны деньги телеграфируйте. Вишневский» (п. 66.108). «Получили потрясающее известие бог да поможет вам если нужны деньги телеграфируйте театр Лужскому обнимаем. Алексеев Суллержипкий Лужский» (п. 66.80). «Глубоко взволнован кончиной бессмертного друга примите выражение горячего живого сочувствия. Россолимо» (п. 66.105). Телеграмму с трогательным содержанием прислала В. Ф. Комиссаржевская (п. 66.94).

Забальзамировать тело в Баденвейлере было невозможно, и его положили в металлический оцинкованный гроб, припаяв к нему крышку. Иоллос и приехавший к нему сын добились, чтобы вагон с гробом прицепили не к товарному, а к пассажирскому поезду. Условились о маршруте: Берлин—Дармштадт—Вержболово—Вильно—Петербург—Москва. Хотели сообщить в Москву точный день прибытия, но это сделать не удалось, так как неизвестно было, к каким поездам—товарным, пассажирским, скорым—будут в дальнейшем прицеплять вагон. В ночь с 4 на 5 июля тело Чехова было перевезено на станцию Мюльгейм. В понедельник 5 июля, в 6 ч. 30 м. утра пассажирский поезд с товарным вагоном, в котором стоял гроб, отошел из Мюльгейма в Берлин.

## 5

Начиная с 4 июля все русские газеты были полны сообщениями о последних днях и смерти Чехова, о пути следования гроба, печатались последние письма писателя и воспоминания о нем, посвященные ему стихи и некрологи. Смерть Чехова заслонила собой все остальные события и интересы. Наступление генерала Кураки на Мукден, путешествие членов царской фамилии, международные новости и внутренние дела—все это потеснилось на газетных страницах, уступив место Чехову.

Газеты начали публикацию телеграмм с выражением соболезнования, текстов надписей на венках, которые будут возложены на могилу. Количество телеграмм было огромно. Их направляли в основном в четыре адреса: в редакцию «Русской мысли», редакцию «Русских ведомостей», О. Л. Книппер-Чеховой (на домашний адрес и в Художественный театр) и, наконец, в Ялту.

Центром по организации похорон стала редакция «Русской мысли».<sup>2</sup> После того как стало известно, что родные решили хоронить Чехова в Москве, на Новодевичьем кладбище, редакция «Русской мысли» приняла похороны на свой счет. Утром 5 июля Гольцев поехал на кладбище Новодевичьего монастыря и заплатил там за место. После этого он пошел выбирать его. Остановился у могилы поэта А. Н. Плещеева—друга А. П. Чехова и решил похоронить Антопа Павловича рядом.

Уже уходя, он встретил Александра Чехова, возвратившегося после телеграммы брата Михаила в Москву, и Гиляровского. Они тоже приехали для выбора места. Суворин разрешил сделать это за счет газеты «Новое время». Встретившись с Гольцевым и узнав, что за место уже уплачено, они все вместе пошли посмотреть его. Александр Павлович сообщил, что брат завещал похоронить его рядом с отцом. Подошли к скромному памятнику с надписью «Павел Георгиевич Чехов. 1824—1898» (недалеко от могилы Плещеева, в юго-западной части кладбища, к западу от трапезной Успенского собора). Здесь, под густой развесистой липой, и решили вырыть могилу.

## 6

В 16 часов 39 минут 5 июля пассажирский поезд с траурным вагоном подошел к платформе Силезского вокзала Берлина. Сопровождавшие гроб были ошеломлены, не увидев на платформе почти ни одного встречающего. Между тем на другом вокзале—Ангальтском—стояло в это время более двухсот человек—представители русской колонии в Берлине. Молодежь пришла сюда в начале пятого, незадолго перед прибытием поезда. Ждали более часа, но так и не дождались. И лишь позже выяснилось, что в Потсдаме вагон с гробом и пассажирский вагон, в котором ехали вдова и ее спутники, отцепили и направили на Силезский вокзал. Когда это стало, наконец, известно, туда постепенно начали собираться люди. Несколько десятков человек принесли большой пальмовый венок с надписью «Чехову русские студенты в Берлине».

В Берлине, в гостинице «Савой», где на несколько часов остановилась О. Л. Книппер-Чехова, она получила еще несколько телеграмм. Михаил Павлович сообщил: «Пятницу все будем Москве» (п. 66.102). Хлопоты по отправке вагона из Берлина взяли на себя Иоллос с сыном, ибо русское посольство не приняло в этом участия. Удалось договориться о том, чтобы вагон прицепили к скорому поезду.

<sup>2</sup> С одним из редакторов «Русской мысли»—Гольцевым—Чехова связывала личная дружба. Кроме того, Антон Павлович был членом редакции и ведал отделом беллетристики.



В 23 ч. 18 м. он тронулся. Несколько десятков человек на перроне обнажили головы.

Трогательны были встречи с русскими на маленьких немецких и польских станциях. На каждой из них вдова подходила к траурному вагону, и почти везде ее встречали депутации с цветами, а в Дармштадте студенты возложили на гроб большой венок.

Задолго до прибытия поезда на пограничную станцию Вержболово Михаил Павлович прислал сюда телеграмму: «Ответ уплачен. Телеграфируйте Ялта Чехову когда проследует тело умершего писателя Чехова» (п. 3.2/23в), — адресовав ее начальнику станции и жандармскому управлению, а также начальнику следующей станции Александрово и жандармскому управлению на ней. Ответить никто из них так и не удосужился.

В Вержболове гроб перенесли в другой товарный вагон, теперь уже русской железной дороги. Отсюда же Ольга Леонардовна снова, как и из Берлина, телеграфировала Гольцеву, в Ялту и знакомым в Петербург, а также на петербургские вокзалы о том, что в столице вагон будет 8-го, а в Москве 9 июля.

Первым большим русским городом, через который проследовало тело Чехова, был Вильно. Ранним утром 7 июля редактор «Виленского вестника» В. А. Чумиков (переводчик и распространитель в Германии произведений Чехова) в сопровождении 10—15 человек возложил первый в России венок на гроб Чехова. В Двинске студенты, стоявшие на платформе, осыпали вагон живыми цветами.

## 7

6, 7 и 8 июля московские газеты продолжали подробно информировать читателей о приготовлениях к похоронам.

6 июля собрались врачи — товарищи Чехова по университетскому выпуску. Они договорились возложить венок и объявить подписку для увековечения памяти покойного. Многие организации и общества объявили о том, что заказывают не дорогие серебряные венки, а обычные, из живых цветов, чтобы оставшую сумму употребить на увековечение памяти Чехова. Для этого видели два основных пути — открыть школу его имени и воздвигнуть ему памятник. Средства стекались в «Русскую мысль». Десятки провинциальных театров, обществ, газет, не сумевших послать депутации для возложения венков в Москву, просили сделать это от их имени редакции московских газет и журналов. Больше всего таких просьб получила «Русская мысль».

Друзья Чехова, находившиеся в день получения телеграммы о его смерти в отъезде, начали съезжаться в Москву. Вернулся с подмосковной дачи В. В. Лужский, с Рижского взморья Г. С. Бурджалов, из Воронежской губернии приехал А. И. Сумбатов-Южин, а из своего имения в Екатеринославской губернии — Вл. И. Немирович-Данченко. 8 июля прибыли в Москву Горький, проводивший летний сезон на старорусских минеральных водах. А вечером стало известно о странной и малолюдной встрече тела Чехова в Петербурге.

## 8

Что же произошло в столице России? Десятки научных и культурных организаций, театров, газет, журналов, учебных заведений избрали депутации для возложения венков. Все было готово для встречи, но никто не знал дня и времени прибытия поезда. Дело в том, что в среду, 7 июля, газета «Русь» сообщила, что вагон, вероятно, прибывает в пятницу. Это совпало с телеграммой Йоллоса в «Русские ведомости», посланной из Мюльгейма. А отправленные Ольгой Леонардовной из Берлина и Вержболова телеграммы, в которых она уточняла время прибытия, остались нераспечатанными, так как большинство из тех, кому она писала, находилась в отъезде.

Лишь немногие специально посвятили 6 и 7 июля выяснению точного времени прихода поезда с траурным вагоном. В их числе был и исполняющий обязанности председателя Литфонда С. А. Венгеров.<sup>3</sup> Только в два часа ночи с 7 на 8 июля стало известно, что вагон прибывает в Петербург на Варшавский вокзал в 8 часов 45 минут утра.

Когда Книппер-Чехова вышла на платформу, ее встретило всего 15—20 человек, в основном неизвестных ей репортеров петербургских газет и энтузиастов. Она растерянно оглянулась: ни одного знакомого лица.

Вот как описывает эту встречу журналист А. Ростовцев: «На вокзале собралось всего несколько человек: профессор С. А. Венгеров и хроникеры нескольких газет. Железнодорожные служащие давали нам нехотя, и вместе с тем как-то насторожившись, справки, справки, в которых сразу чувствовалось, что тут не обошлось без предостережений начальства. Видно, боялись каких-то демонстраций.

<sup>3</sup> Председателем Литфонда был П. И. Вейнберг. Он проводил это лето в Цюрихе, и телеграмма Ольги Леонардовны ему также не была никем прочтена.

— Чехов! Да, кажется есть такой покойник... в поезде два покойника. Впрочем, не знаем... — говорили нам в различных железнодорожных „службах“.<sup>4</sup>

А ведь железнодорожная администрация заранее получила телеграмму с извещением о времени прибытия траурного вагона, но так и не удосужилась опубликовать ее.<sup>5</sup>

С. А. Венгеров писал впоследствии: «Вышедшая на перрон, сопровождавшая гроб писателя, вдова его, артистка Художественного театра О. Л. Книппер, была, очевидно, поражена отсутствием встречающих тело А. П. Чехова, и я, очень смущенный, должен был ей объяснить, что „никого теперь в Петербурге нет“, что „гроб с телом прибыл очень рано“, что никто не был в достаточной степени осведомлен о времени прибытия тела и т. п. . . .»

Направились мы все к печальному вагону с останками любимого писателя и прямо были ошеломлены. Всем бросилась в глаза, ставшая с того времени знаменитой, надпись на вагоне, в котором стоял гроб с телом А. П. Чехова: вагон для устриц.

Да, и умереть надо вовремя... А какой рассказ на эту тему мог бы написать почивший великий писатель?<sup>6</sup>

Панихида началась только в половине одиннадцатого. К этому времени стали приходить те немногие, кто узнал о прибытии вагона. Принесли венки от Литфонда, от Союза драматических писателей, от А. Ф. Маркса. К часу дня пришли А. С. Суворин, писатели В. А. Тихонов и В. В. Розанов, несколько сотрудников газет. Вагон открыли, возложили венки и отслужили вторую панихиду, после которой опять закрыли его.

Он находился на втором, запасном, пути. А на первый путь был поставлен другой, куда более комфортабельный, траурный вагон, у которого светилось блестящее общество: генералы, министры, представители высшей аристократии и двора. В нем лежало тело умершего во Франции начальника генерального штаба Н. Н. Обручева. Ввод гвардейцев, высланный для его встречи, по ошибке выстроился у вагона с телом Чехова, и они долго не могли понять, что нужно идти на другую платформу. Но это была единственная неувязка. Во всем остальном в отличие от похорон Чехова проводы Обручева были организованы властями образцово и проведены в строгом соответствии с ритуалом: генерал занимал высокий пост, а писатель Чехов был всего лишь земским врачом.

Некоторые петербургские газеты, захлебываясь от восторга, писали о том, что к чеховскому вагону «на панихиду прибыл министр путей сообщения князь М. И. Хилков». «Биржевые ведомости» сообщали, например: «На Варшавский вокзал, во время богослужения, прибыл поклониться праху покойного писателя министр путей сообщения князь М. И. Хилков».<sup>7</sup>

В действительности же все это выглядело иначе. Начальник Варшавского вокзала хотел перенести гроб в другой вагон, еще более старый и грязный. Тогда одному из присутствующих пришлось обратиться к стоявшему у генеральского поезда министру путей сообщения Хилкову и просить его распорядиться об оставлении тела в прежнем вагоне. Хилков осмотрел его и разрешил, после чего остался на панихиду.

В 13 ч. 45 м. вагон с прахом Чехова отправили по передаточной ветке на Николаевский вокзал, куда он прибыл ровно через час. Оттуда в Москву шли два поезда: скорый в 8 ч. 45 м. вечера и почтовый в 3 ч. дня. В Москву они прибывали почти одновременно. Все думало, что вагон прицепят к скорому, но неожиданно пришло распоряжение отправить его просто с товарным составом. Еле-еле удалось добиться, чтобы его прицепили к почтовому, до отхода которого оставалось 15 минут.<sup>8</sup> Ровно в 15 часов поезд тронулся. А на Николаевский вокзал все приходили люди с венками и без венков, спрашивая, где стоит вагон с телом Чехова. . .

В общем Петербург холодно встретил и проводил писателя. Конечно, путаница со временем прибытия поезда во многом помешала. Но несомненно, что на характер встречи отложила свой отпечаток и близость царя и правительства, с неодобрением следивших за приготовлениями к проводам писателя. По той же причине петербургские газеты уделяли этому событию во много раз меньше внимания, чем московские.

## 9

Ранним утром 9 июля с разных концов города потянулись к Николаевскому вокзалу на Каланчевскую площадь люди. Уже к половине седьмого дебаркадеры,

<sup>4</sup> «Обозрение театров», 1914, № 2484.

<sup>5</sup> «Биржевые ведомости», 1904, № 354, 13 июля.

<sup>6</sup> С. А. Венгеров. Вагон для устриц. «Солнце России», 1914, № 288/25.

<sup>7</sup> «Биржевые ведомости», 1904, № 347, 9 июля. См. также: «Петербургский дневник театрал», 1904, № 28.

<sup>8</sup> Журналист А. Ростовцев вспоминал: «На Николаевскую железную дорогу мы прибыли лишь за несколько минут до отхода московского поезда (все было рассчитано предусмотрительным начальством)». «Обозрение театров», 1914, № 2484.

двор пассажирской станции, вся огромная площадь перед вокзалом были запружены народом.

«Москва выслала сюда своих лучших представителей, — писал «Московский листок», — и все они пришли не ради простого любопытства, не потому, что предстало интересное зрелище, а пришли поклониться праху любимого писателя».<sup>9</sup>

Платформа Николаевского вокзала превратилась в оранжерею. От обилия букетов, венков в воздухе стоял густой аромат. Платформа и двор были, кроме того, заставлены корзинами с цветами, этими цветами должны были усыпать дорогу перед гробом.

На площади стояли наготове траурная колесница, запряженная шестью белыми лошадьми в пополах, и четыре конные повозки для венков. До половины восьмого все прибывал и прибывал народ. У вокзала собрались представители почти всех кругов московской интеллигенции. Очень много было учащейся молодежи.

«Московские ведомости» писали на следующий день: «Оглянитесь вокруг. Это все та же самая серенькая, будничная публика — чиновники, офицеры, врачи, студенты, барышни, литераторы и профессора, которых так мастерски, так неподражаемо правдиво описывал в своих рассказах Чехов. Они все здесь!»<sup>10</sup> Среди рабочих, в большом количестве пришедших на вокзал, преобладали наборщики и печатники, многие из которых набирали в разное время произведения Чехова.

Свидетель событий, участник телешовских «сред» писатель Борис Зайцев заметил, что не было только «генералов и полицеймейстеров, промышленников и банкиров», а были «те, кто просто, сердцем любили его».<sup>11</sup>

Незадолго до прибытия вагона пришел дачный поезд, который доставил почти в полном составе студентов московского сельскохозяйственного института из Петровского-Разумовского. Петровцы, как их называли, привезли еще несколько корзин с живыми цветами и венок с лентой, надпись на которой гласила: «Он жил в сумерках, а думал о том времени, быть может, уже близком, когда жизнь будет такою же светлой и радостной, как тихое весеннее утро».<sup>12</sup>

Этот венок поставили рядом с десятками уже стоявших на платформе. «Моему доброму гению, незабвенному А. П. Чехову», — написал на ленте издатель И. Д. Сытин. «Любимого писателя оплакивает драматическая труппа Мейерхольда». «Антону Павловичу Чехову от крестьян Сергуховского уезда». Выделялись своими огромными размерами венок из роз, орхидей и лилий: «С великой скорбью Шляпин — дорогому, незабвенному Антону Павловичу Чехову». Ленты с надписями от М. Ф. Андреевой, от семьи Алексеевых, от В. М. Васнецова, от В. В. Лужского. На платформе, у того места, куда должен был прибыть траурный вагон, находились В. А. Гольцев и В. М. Лавров, Вл. И. Немирович-Данченко, А. М. Горький, В. А. Гиляровский, Е. П. Гославский, В. М. Дорошевич, Н. Н. Златовратский, В. Н. Ладженский, П. М. Невежин, Н. Д. Телешов, И. Д. Сытин и В. М. Соболевский, К. А. Коровин и В. М. Васнецов, Ф. И. Шаляпин, М. Ф. Андреева, В. И. Качалов, В. В. Лужский, И. М. Москвин, Н. А. Никулина, М. П. Садовский, А. И. Южин, Д. В. Гарин-Виндинг, С. Т. Морозов с членами дирекции Художественного театра, антрепренеры Ф. А. Корш и М. В. Лентовский, критик И. Д. Кашкин, друг Чехова профессор-невропатолог Г. И. Россолимо, представитель адвокатской корпорации С. А. Муромцев и многие другие.

В 7 ч. 30 м. утра почтовый поезд Петербург—Москва остановился у платформы. Началось томительное ожидание. Сначала выпустили из поезда пассажиров, потом очистили багажный вагон. После этого состав угнали на запасный путь. Минут десять продолжались маневры и, наконец, маневровый паровозик притащил вагон на боковой путь около выхода во двор вокзала.

Теперь и москвичи увидели эту печально знаменитую надпись «отделение для перевозки свежих устриц», ниже которой стоял номер вагона «Д 1743».

Вагон открыли. Депутации стали вносить венки, которых и так уже было немало в вагоне (последний из них был возложен на подмосковной станции Клин), после чего их все положили на повозки. Когда церемония возложения венков окончилась, в вагон, украшенный кленовыми ветвями, вошли студенты-петровцы. Они подняли гроб на полотенцах и вынесли его на стоявшую рядом погребальную колесницу.

К этому времени подошел и скорый из Петербурга, вышедший оттуда в 8 часов вечера. Многие приехали в нем специально на похороны. Среди них были А. И. Куприн, В. А. Тихонов, В. В. Розанов, директор императорских театров В. А. Теляковский, редактор журнала «Мир искусства» С. П. Дягилев, режиссер Александринского театра А. А. Санин, представители газет...

Во дворе Николаевского вокзала отслужили первую литию. Большинство стоявших там начало подтигивать голосам певчих, и когда двадцать пять минут девятого петровцы снова подняли гроб на руки и понесли его, шествие преврати-

<sup>9</sup> «Московский листок», 1904, № 191, 10 июля.

<sup>10</sup> «Московские ведомости», 1904, № 188, 10 июля.

<sup>11</sup> Борис Зайцев. Смерть Чехова. «Речь», 1914, № 177, 2 июля.

<sup>12</sup> «Одесские новости», 1904, № 6363, 13 июля. В этой надписи использована в измененном виде последняя фраза рассказа Чехова «Случай из практики».

лось в движущийся многотысячный хор. Молодежь так и не дала поставить гроб на катафалк и, поочередно сменяясь, несли его через всю Москву на руках. Несколько раз под дубовое полированное днище подставляли свои щечки Горький и Шалапин, и заметно становилось, как гроб поднимался выше над толпой.

Вдоль всего пути самими провожающими соблюдался образцовый порядок, несмотря на то, что шли не менее трех-пяти тысяч человек. «Несметные толпы народа, — писал М. П. Чехов, — сопровождали гроб, причем на тех улицах, по которым его несли, было прекращено движение трамваев и экипажей, и вливавшиеся в них другие улицы и переулки были перетянуты канатами».<sup>13</sup> Молодежь принадлежала главная заслуга в организации порядка.

Сразу за гробом шли О. Л. Книппер-Чехова, Вл. И. Немирович-Данченко и В. А. Гольцев. Их окружало кольцо взявшихся за руки студентов. Вдоль всех улиц, по которым двигалась процессия, стоял на тротуаре народ. Из домов, магазинов и контор при ее приближении выходили все, кто там находился. Балконы, окна квартир — все было буквально облеплено людьми.

На Домниковской улице, вспоминал Б. Зайцев, мастеровой, выпешший из дома, спросил, какого генерала хоронят. Узнав, что писателя, очень удивился. Действительно, до сих пор в Москве не было еще таких похорон писателя.

Процессия остановилась у Спасских казарм, на углу Домниковки и Садовой, потом у Тургеневской читальни, между Уланским переулком и Мясницкой. В половине одиннадцатого подошли к зданию Московского Художественного театра. Здесь еще с 9 часов стояли люди, заполнившие весь Камергерский переулок. У подъезда гроб поставили на катафалк. Здание театра было в трауре, а у дверей возвышался временный помост, затянутый черной материей.<sup>14</sup>

Среди наступившей тишины полились звуки шопеновской мелодии — это вышли из подъезда бельэтажа оркестранты театра. Над головами поднялся укрепленный на древке макет чайки. Из театра вышли В. В. Лужский и В. И. Качалов и вынесли голубой венок из незабудок и большой венок из лилий и чайных роз, перевитых крепом с надписью: «Нежной скорбной памяти вдохновенного учителя и друга Московский Художественный театр в беспредельном горе». Затем рабочие сцены возложили громадный золотистый венок из ржаных колосьев, полевой ромашки и колокольчиков, целиком сплетенный их собственными руками.

На Большой Никитской, которую пересекала процессия, толпа была по-прежнему такой, что пробиться сквозь нее к гробу оказалось невозможным. Но вдруг раздался голос: «Расступитесь, дайте дорогу матери и сестре».

Первыми подошли оба брата, потом сестра и, наконец, мать.<sup>15</sup>

Через несколько минут процессия остановилась у здания «Русской мысли». Гроб взяли на руки писатели. Их сменили на Большой Царицынской улице, напротив клиники, в которой Чехов когда-то лечился. Здесь, у памятника Пирогову, была сделана последняя остановка перед кладбищем.

«Так, — вспоминал М. П. Чехов, — мы дошли до самого монастыря под охраной молодежи, которая заботливо оберегала нас от толпы. Когда же процессия стала входить в узкие монастырские ворота, началась такая давка, что я пришел в настоящий ужас. Каждому поскорее хотелось пробраться внутрь, и получился такой затор, что если бы не та же распорядительная молодежь, то дело не обошлось бы без катастрофы. Еле пронесли сквозь ворота гроб, еле вдавились в них мы с депутатами и близкими к покойному людьми, а народ все напирал и напирал. Слышались возгласы и стоны. Наконец ввалилась на кладбище вся толпа — и стали трещать кресты, рушиться решетки и затаптываться цветы».<sup>16</sup>

Было уже начало первого. На кладбище стояли сотни людей, пришедшие сразу сюда, чтобы проститься с писателем. Удар в большой монастырский колокол возвестил о прибытии процессии с гробом. Товарищи-врачи, учившиеся с Чеховым, во главе с профессорами Г. И. Россолимо, И. К. Спижарским и Н. Н. Баженовым

<sup>13</sup> М. П. Чехов. Вокруг Чехова. Встречи и впечатления. Изд. «Московский рабочий», 1959, стр. 279.

<sup>14</sup> Вл. И. Немирович-Данченко, который взял на себя сношения с полицейскими властями от обществуности, испросил на это специальное разрешение.

<sup>15</sup> Евгении Яковлевне Чеховой о смерти ее сына Антона сказали только утром 7 июля, когда нужно было уже собираться на вокзал, чтобы погасть на курьерский поезд в Москву. Поехали четвером: мать, сестра и два брата — Михаил Павлович и Иван Павлович. Когда курьерский поезд № 2 остановился на последней перед Москвой большой станции — в Туле — им подали телеграмму: «Отпевание Новодевичьем вас встретят. Гольцев» (п. 3,2/6). Поезд пришел на Курский вокзал в 9 ч. 24 м. утра. Где проходила в это время процессия, представить себе было очень трудно, и встречавший их редактор «Ежемесячного журнала для всех» В. С. Мирлобов решил отвезти их в Ваганьковский переулок к зданию журнала «Русская мысль», где решено было отслужить литию. Но там еще ничего не было, и родные, будучи не в силах ждать, пешком направились навстречу.

<sup>16</sup> М. П. Чехов. Вокруг Чехова. Встречи и впечатления, стр. 279—280.

внесли гроб в Успенскую церковь монастыря. По правую сторону стали родные, по левую — близкие друзья. Началась заупокойная литургия.

В 13 часов 30 минут, после отпевания, гроб подвняли на руки, чтобы понести его к могиле. Но это оказалось невозможным сделать, так плотно окружила ее толпа, и гроб передавали с рук на руки. Родным и друзьям с трудом удалось протиснуться к убранной чьими-то заботливыми руками могиле. Дно ее покрывали хвоя и лавровые ветки, а стены — живые цветы. На могиле отслужили последнюю панихиду. Многотысячная толпа в полный голос пела с монастырским хором «Вечную память». Гроб медленно опустили в могилу. Родные и те, кто стоял близко от нее, бросили по прощальной горсти земли. Установили деревянный крест с надписью: «Антон Павлович Чехов». Через несколько минут его закрыл целый холм из живых цветов и венков с лентами. Погребальный обряд закончился.

— Речей не будет, — сказал кто-то.

Толпа начала расходиться. В начале третьего на кладбище уже почти никого не осталось.

## 10

На кладбище не произносили речей. Горький писал Е. П. Пешковой через два дня: «Над могилой ждали речей. Их почти не было. Публика начала строитивно требовать, чтобы говорил Горький... хотелось какого-то красивого, искреннего, грустного слова, и никто не сказал его».<sup>17</sup>

Одни «говорили, что покойным выражено желание, чтобы над его могилой не было речей»,<sup>18</sup> другие добавляли, что он даже «усердно просил при жизни, чтобы на его могиле не произносили никаких речей».<sup>19</sup> Выразалось мнение, что минута была такова, когда речи казались излишними, что «среди давки из-за гула толпы все равно никто бы ничего не услышал».<sup>20</sup> «Одесские новости» приводили свое объяснение этому факту: «Речей официальных не было отчасти потому, что нельзя было протиснуться до могилы, а частью потому, что некоторые видели в одном из рассказов Чехова осуждение всяким вообще надгробным речам».<sup>21</sup>

Впрочем, более провинительных все эти объяснения не устраивали. «Если похороны Чехова общественное явление, — писали «Санкт-Петербургские ведомости», — то над его могилой необходимо было говорить... Все это ответы, не выдерживающие критики».<sup>22</sup>

Современники не могли знать о том, что московский обер-полицмейстер, направляя Вл. И. Немировичу-Данченко утвержденный им маршрут следования гроба по Москве, запретил произнесение речей на похоронах Чехова. Это письмо № 6464 от 8 июля 1904 года гласило: «Московский обер-полицеймейстер, свидетельствуя свое почтение, имеет честь уведомить Вас, милостивый государь, что при следовании похоронной процессии с телом покойного писателя А. П. Чехова мимо Художественного театра и мимо редакции „Русской мысли“ разрешается отслужить литию, но при условии не произносить при этом никаких речей или надгробных слов, посвященных памяти покойного».<sup>23</sup>

В полицейском деле о похоронах Чехова сохранился черновик этого письма, подготовленного охранкой для обер-полицмейстера, который собственноручно выправил его. Он зачеркнул «Его высокоородию В. И. Немировичу-Данченко» и написал взамен более официально: «Господину директору Московского Художественного театра Владимиру Ивановичу Немирович-Данченко». Вычеркнул обращение в начале письма «Милостивый государь Владимир Иванович» и концовку «Примити, милостивый государь, уверение в совершенном почтении и искренней преданности». И, что самое главное, после слов «не произносить при этом никаких речей или надгробных слов, посвященных памяти покойного», зачеркнул конец фразы: «каковые могут быть допущены лишь на самой могиле усопшего».

Интересно, что обер-полицмейстер, сделав все эти исправления, написал на черновике: «Сообщить объявлением в третьем лице», т. е. довести до сведения других устроителей похорон о запрещении речей, не говоря о том, откуда именно исходит это запрещение. Но кое-что газеты заметили. «Всюду по пути был огромный наряд полиции», — писал «Таганрогский вестник»,<sup>24</sup> а «Русское слово» добавляло: «...но ее помощь оказалась ненужной».<sup>25</sup>

<sup>17</sup> М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 28, Гослитиздат, М., 1954, стр. 311.

<sup>18</sup> А. Измайлов, Чехов, М., 1916, стр. 531.

<sup>19</sup> «Таганрогский вестник», 1904, № 186, 17 июля.

<sup>20</sup> «Русское слово», 1904, № 192, 13 июля.

<sup>21</sup> «Одесские новости», 1904, № 6363, 13 июля.

<sup>22</sup> «С.-Петербургские ведомости», 1904, № 190, 14 июля.

<sup>23</sup> ЦГИАМ, ф. 63, д. 612, 1896 г. Из этого же дела взяты все полицейские документы, приводимые ниже.

<sup>24</sup> «Таганрогский вестник», 1904, № 182, 13 июля.

<sup>25</sup> «Русское слово», 1904, № 190, 10 июля.

Газеты писали только о том, что видели все. А ведь не менее интенсивной была и скрытая от глаз деятельность полиции. Ведь к похоронам Чехова готовились не только общественные организации, но и власти, в первую очередь полиция, которую это событие волновало далеко не только с точки зрения организации шествия, движения транспорта и т. д. Гораздо больше беспокоило другое: как бы эти похороны не вылились в демонстрацию против самодержавного строя, не послужили поводом к выступлениям против государственного режима.

Для «поддержания порядка», кроме специальных нарядов полиции, были мобилизованы жандармы, часть которых переодели в гражданское платье. Московская охранка не предпринимала ни одного шага в связи с похоронами Чехова без специального доклада московскому обер-полицмейстеру, который лично руководил охранкой во всем, что касалось похорон.

Специальный чиновник московского охранного отделения в течение всего времени похорон принимал телефонные донесения полицейских надзирателей о движении процессии.

Некоторые из них представляют интерес. Например, донесение: «7—50. Околоточный фабричной полиции передал, что рабочие у Густава Листа вышли все своевременно на работу, каковую и продолжают», — свидетельствует о том, что полиция беспокоилась, не окажутся ли похороны Чехова поводом для выступления рабочих.

Вот еще три донесения. «8—45. Чудотворов передал с Николаевского вокзала, что процессия направилась по Садовой, провожает около 2000 человек, тут и Максим Горький,<sup>26</sup> много на повозках венков». «10—15. Прудниченко — у Художественного театра лития окончилась, публички около 3000 человек, процессия направилась дальше». «4—00. Прудниченко. Тело Чехова предано земле, говорили много речей, публички очень много».

В последнем донесении сообщается, что на могиле «говорили много речей». Здесь нет противоречия. Когда все разошлись, у могилы собралась молодежь и долго оставалась там: читали стихи, произносили речи, спорили. До позднего вечера приходили и уходили люди.

## 11

Чехова хоронили в разгар летнего сезона. Многих из близких его друзей не было в это время в Москве, а некоторых и в России. На каникулах до августа была труппа Московского Художественного театра, в отпуске находились артисты Малого и других театров. Когда траурный поезд с телом Чехова пересекал Польшу, то в обратном направлении, целыми днями простаивая у окна, ехал Станиславский: ему казалось, что он непременно встретит вагон с прахом писателя. Остаться в Москве на похороны он не мог, так как срочно должен был везти на немецкий курорт больную мать. 10 июля он дал Ольге Леонардовне телеграмму: «Мысленно присутствуем при печальном обряде погребения нашего дорогого Антона Павловича молямы за него и да облегчит бог ваши страдания и да поддержит силы матери сестры братьев и друзей. Елизавета и Константин Алексеевы» (п. 66.79).

Путешествовала за границей Т. Л. Щепкина-Куперник, во Владивостоке находился Б. А. Лазаревский, в Вологде А. В. Амфитеатов, в Пензе В. Н. Ладьяженский, в Новой Вишере лечился А. А. Потехин, в Боржоме С. А. Найденев, в Бадене-Бадене П. Д. Боборыкин и М. М. Ковалевский, в Ляояне — Н. М. Гарин-Михайловский. Большинство из тех, кого не было в Москве, прислали свои соболезнования. Л. Н. Андреев, С. И. Гусев-Оренбургский, С. Я. Елпатьевский и С. Г. Скиталец отправили из Ялты 6 июля коллективную телеграмму в «Русскую мысль»: «Глубоко потрясенные безвременной кончиной Антона Павловича Чехова отдавшего силу своего таланта и скорь сердца на изображение тусклых сумерек и бесплодной тоски русской жизни просим передать семье покойного наше искреннее сочувствие».

«Искренно огорчаюсь смертью милого Антона Павловича Чехова и незаменимой в русской литературе утратой»,<sup>27</sup> — телеграфировал Толстой из Ясной Поляны. Корреспондент газеты «Русь» специально посетил Толстого, чтобы записать несколько слов о смерти Чехова. Лев Николаевич сказал ему: «Чехов, видите ли, это был несравненный художник... Да, да... Именно несравненный... Художник жизни... И достоинство его творчества то, что оно понятно и сродно не только всякому русскому, но и всякому человеку вообще... А это главное... Он был искренним, а это великое достоинство, он писал о том, что видел и как видел... И благодаря искренности его он создал новые, совершенно новые, по-моему, для всего мира формы письма, подобных которым я не встречал нигде! Его язык — это необычный язык. Я помню, когда я его в первый раз начал читать, он мне показался таким странным, „нескладным“, но как только я вчитался, так этот язык захватил меня... Да, именно благодаря этой „нескладности“ или, не знаю, как это назвать, он захватывает необычайно и, точно без всякой воли вашей, вкладывает вам в душу прекрасные художественные образы... Я повторяю, что

<sup>26</sup> Фамилия Горького в телефонном донесении жирно подчеркнута.

<sup>27</sup> «Русское слово», 1904, № 192, 12 июля.

новые формы создал Чехов, и, отбрасывая всякую ложную скромность, утверждаю, что по технике он, Чехов, гораздо выше меня!.. Это единственный в своем роде писатель... Я хочу вам сказать еще, что в Чехове есть еще большой признак: он один из тех редких писателей, которых, как Диккенса и Пушкина и многих подобных, можно много раз перечитывать, — я это знаю по собственному опыту... Одно могу сказать вам — смерть Чехова это большая потеря для нас, тем более, что, кроме несравненного художника, мы лишились в нем прелестного, искреннего и честного человека... Это был обаятельный человек, скромный, милый».<sup>28</sup>

«Глубоко потрясенный известием о смерти достойного Антона Павловича прошу передать родным выражение искреннего сочувствия их горю»,<sup>29</sup> — телеграфировал В. Г. Короленко из Геленджика. В эти же дни Короленко писал А. Г. Горнфельду: «Ужасно поразила меня смерть Чехова. Я его очень любил, но выходило так, что в последние годы встречались мы мало. Получив (несколько запоздало) известие об его смерти, — я отложил все работы и написал статью (в печ. лист) „Памяти А. П. Чехова“. Не знаю наверное попадет ли в июль, так как почта от нас едет на черепахах (да и то выезжает не ежедневно!). Послал 12-го, но боюсь, что попадет 18 или 19 в редакцию».<sup>30</sup>

Из Бабарыкино телеграфировал Бунин: «Дорогая Ольга Леонардовна не нахожу слов для выражения моей скорби и всем моим сердцем разделяю с вами и со всем вашим семейством ваше великое горе» (п. 66.14).

Много телеграмм пришло от артистов, бывших в отъезде. Л. М. Леонидов телеграфировал из Боярки под Киевом: «Горько оплакиваю кончину Антона Павловича» (п. 66.28). «Ваше горе дорогая Ольга Леонардовна, — писала Г. Н. Федотова, — общее всенародное горе утешение тому не найдешь да хранит вас бог» (п. 66.70). Две телеграммы из Чаадаевки прислал Мейерхольд. Марии Павловне: «Скорблю вместе с вами об утрате Антона Павловича дай бог матушке вашей мужественно перенести это страшное горе» (п. 3.2/11) и Ольге Леонардовне: «Скорблю с вами болею за вас душой какое ужасное горе постигло вас и тех кто знал-прекрасную душу Антона Павловича» (п. 66.30).

«Примите мое искреннее соболезнование по поводу тяжелой утраты так глубоко чувствуемой всеми, кому дорого родное искусство», — писал А. Т. Гречанинов (п. 66.21).

## 12

Вся культурная Россия мысленно была в эти дни на похоронах писателя. Политическая ситуация, сложившаяся к тому времени в стране — назревание революции, непопулярность русско-японской войны — в значительной степени определила отношение различных слоев общества к смерти Чехова. Все, кто был недоволен режимом и политикой царя — от либерально настроенных помещиков до первых социал-демократических рабочих организаций — считали, что потеряли не только великого художника, но и писателя, осуждавшего этот режим и призывавшего к созданию других условий жизни. Социал-демократический литературно-художественный журнал «Правда», называя Чехова «врачом русской жизни», писал: «... в сердцах чеховских героев... выдвигалась на первый план человеческая личность, искавшая простора, свободы и кипучей деятельности, столь необходимых при вновь сложившихся общественных условиях. Эти герои были, таким образом, предтечами поколения, их сменяющего... надо признать, таким образом, за литературной деятельностью Чехова не только выдающееся художественное значение, но и крупный общественный смысл».<sup>31</sup>

Именно по этой причине никак не выразили своего отношения к смерти Чехова официальные представители государственной власти. А крайне правые, черносотенно настроенные элементы в эти дни всенародного горя открыто глумились над памятью великого писателя. Вот, например, какое отражение получила смерть Чехова на страницах еженедельной газеты «Родная речь». 4 июля, когда все газеты были полны первыми некрологами и телеграммами из Баденвейлера, она написала, что «изучение этих самых позднейших „писателей“ (Чехова, Горького, Андреева. — М. Д., С. Ч.) ничего, кроме наглости и путаницы, не разовьет в головах».<sup>32</sup> Некролог газета поместила 11 июля. В тридцати строчках, набранных ноншарельно на четвертой полосе, она изо всех сил старалась опорочить художественную, литературную деятельность Чехова, «сверх меры превознесенного либеральной „прессой“», автора «довольно слабой» «одноактной пьютки „Медведь“» и «довольно скучного, тенденциозного произведения „Вишневый сад“».<sup>33</sup>

<sup>28</sup> «Русь», 1904, № 212, 15 июля. В полное (юбилейное) собрание сочинений Л. Н. Толстого не входит.

<sup>29</sup> «Русское слово», 1904, № 194, 14 июля.

<sup>30</sup> Письмо от 13 июля 1904 года. ЦГАЛИ, ф. 155, оп. 1, ед. хр. 342. Статья была напечатана в июльской книжке журнала «Русское богатство».

<sup>31</sup> «Правда», 1904, № 7, стр. 227; № 8, стр. 241.

<sup>32</sup> «Родная речь», 1904, № 25, 4 июля.

<sup>33</sup> Там же, № 26, 11 июля.

В следующем номере редактор «Родной речи» Ф. Н. Берг писал: «Каким характерным признаком давления гипноза уличных газет является это беснование у гроба Чехова... Автор самых средних писательских способностей возвеличен как гений, прославлен на всю Россию только потому, что он... из круга „буревестников“».<sup>34</sup>

Наконец, в номере от 1 августа «Родная речь» объявила, что Чехов «был борцом за дело разрушения, за дело отрицания России и народа, выставлял офицеров в пьесах и рассказах в самом пошлом виде».<sup>35</sup>

Позже, рассказывая о похоронах, журнал «Русский вестник» писал в редакционной заметке: «Пользуясь безлюдьем, друзья Чехова хотели придать грандиозный характер его похоронам. Думали, что выйдет нечто вроде похорон Некрасова, Достоевского, Тургенева. Ничего подобного не вышло».<sup>36</sup>

## 13

Чехова похоронили. В этот же день вечером В. А. Гольцев прислал с нарочным письмо его родным: «Дорогая Ольга Леонардовна, Мария Павловна, дорогой Иван Павлович. Завтра в 4 часа в Новодевичьем монастыре на могиле в небольшом обществе мы отслужим панихиду. Не придет ли?» (п. 41/13).

10 июля в Новодевичьем монастыре отслужили две панихиды: в 10 часов утра и в 4 часа дня. Первую заказали артисты Художественного театра, вторую — литераторы и врачи — друзья писателя.

Около 10 часов утра больше двухсот человек собралось в Успенской церкви монастыря. После службы все прошли к могиле, уже убранной дерном. Больше 130 венков закрывало ее. Из родных на утренней панихиде не было только Александра Павловича, уехавшего уже в Петербург. На вечернюю панихиду не смогла прийти мать Чехова — это было тяжело в ее возрасте. Там были Немирович-Данченко, Телешов, Санин, Горький, Куприян, Шалапин, Вишневский, Качалов, Москвин, Пятницкий, Литовцева, товарищи-врачи. Вишневский приехал в Москву только в этот день и возложил венок: «Другу детства, земляку и однокашнику от крепко любящего Вишневского».

После второй панихиды Гольцев по поручению вдовы и родных сказал несколько слов. Затем выступил таганрогский литератор В. М. Михеев. В своей речи он отметил огромную дружескую помощь, которую оказывал Чехов провинциальным писателям.

Известный врач-психиатр Н. Н. Баженов сказал: «На той же странице истории мысли и художественного творчества, на которой в числе других славных имен значатся имена переводчика Гиппократ и Галена, профессора в Монпелье Франсуа Рабле и полкового лекаря Фридриха Шиллера, — отныне будет записано имя земского русского врача Антона Павловича Чехова».<sup>37</sup>

Баженов закончил свою речь словами о том, что он передает Чехову поклон «от имени всех русских врачей».

В конце панихиды юрист и писатель, сотрудник «Русской мысли» М. П. Свободин прочитал большое стихотворение «Памяти Чехова».

Газеты еще долго публиковали материалы, посвященные Чехову и его провам. Ф. Д. Батюшков заметил по этому поводу: «Ни об одном русском писателе еще не появлялось в короткий срок одного года после его кончины такого количества воспоминаний о нем, рассказов о встречах с ним... при общем благоговейно-любовном отношении к его личности и какой-то особой сердечной симпатии к его духовному облику, как об Антоне Павловиче Чехове».<sup>38</sup>

И после похорон почти каждый день продолжалось паломничество на его могилу: приходили студенты, друзья, которых не было в день похорон в Москве, почитатели его таланта. Особенно много народа собиралось у могилы в дни поминаний. 10 августа, в сороковой день смерти, там заказали панихиду артисты МХТ. На нее пришли многие из тех, кто не был в Москве 9 июля, в том числе А. А. Бакрушин, все артисты театра Корша, Художественного театра во главе со Станиславским и Немировичем-Данченко. В 4 часа в этот же день служили панихиду, заказанную «Русской мыслью». Присутствовали В. А. Гольцев, В. М. Соболевский, историк В. О. Ключевский, брат писателя Иван Павлович и другие.

## 14

Не оставляла вниманием могилу Чехова и полиция. 31 декабря 1904 года исполняющий обязанности пристава 1 участка Хамовнической части написал в охранное отделение письмо № 15599: «2 января в 10½ часов, в Новодевичьем

<sup>34</sup> Там же, № 27, 18 июля.

<sup>35</sup> Там же, № 29, 1 августа.

<sup>36</sup> «Русский вестник», 1914, № 8, стр. 940.

<sup>37</sup> «Русский листок», 1904, № 190, 11 июля.

<sup>38</sup> На памятьник Чехову. Стихи и проза. СПб., 1906, стр. 3.



монастыре, имеет быть литургия, а затем панихида по случаю истекшей полугодины со дня смерти писателя Чехова. О чем в охранное отделение сообщается». А вот еще несколько полицейских документов:

«В Московское охранное отделение.

Полицейского надзирателя 1 участка Хамовнической части

#### Д о н е с е н и е

Имею честь донести охранному отделению, что 2 июля 1905 года в годовую день по кончине А. П. Чехова на могиле его в Новодевичьем монастыре будет отслужена панихида после заупокойной литургии, которая начнется в 9 часов утра. Полицейский надзиратель Туляков. 1905 года июня 30 дня».

«Июля 2 дня 905 г.

#### С в е д е н и е

На могиле Чехова в Девичьем монастыре после панихиды начал первую речь неизвестный мужчина, который был проведен Соломенная сторожка, Ивановский проход, по установке оказался доктором медицины по носовым, горловым болезням А. С. Померанцевым, проживающим на собственной даче Петровско-Разумовского участка. Полицейский надзиратель Кондратьев».

В этот же день московскому охранному отделению был представлен секретный доклад № 173:

«Сего числа на кладбище Новодевичьего монастыря по случаю годовщины смерти писателя собралось до 300 человек преимущественно учащаяся молодежь обоюга пола. По отслужении в два часа дня панихиды было произнесено несколько речей, в общем очень умеренного содержания, несколько же тенденциозным направлением отличались две последние речи, произнесенные помощником присяжного поверенного Дмитрием Никитиным Михайловым и неизвестным лицом, к установке коего приняты меры.

Кроме того, в числе ораторов были некий Яблонский<sup>39</sup> и „Александр Иванович“,<sup>40</sup> приехавший сегодня из С.-Петербурга и остановившийся в гостинице „Боярский двор“ (также подлежит установке).

Около 4 часов дня присутствующие разошлись, ничем не нарушая порядка».

Картина смерти и проводов Антона Павловича Чехова, впервые полностью восстановленная в статье, дает возможность не только подробно проследить фактический ход событий, но и осмыслить их общественное значение, помогает яснее представить отношение современников — официальных кругов, писательской и артистической среды, друзей, а также широких слоев читателей — к личности и творчеству писателя.



<sup>39</sup> Журналист С. В. Яблоновский.

<sup>40</sup> Возможно А. И. Куприн.

## НЕИЗВЕСТНЫЕ ОЧЕРКИ КУПРИНА

Очерк занимает значительное место в творчестве Куприна. Особенно часто обращался писатель к нему в первые годы своей литературной деятельности. Помимо цикла «Киевские типы», входившего во все собрание сочинений Куприна, известны такие его очерки 90-х годов, как «Киевское училище для слепых», «Киевский Бедлам», «Рельсопрокатный завод», «Юзовский завод», «В главной шахте», «В огне». Все эти очерки подробно обследованы и изучены И. Питляр, Ф. Кулешовым, К. Павловской,<sup>1</sup> зарегистрированы в капитальной библиографии писателя, составленной Э. Ротштейном, хранящейся в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина. Однако за пределами внимания всех названных авторов остался ряд очерков Куприна, написанных в 1900 году и тогда же напечатанных в газете «Киевлянин». А между тем эти очерки — «В бактериологическом институте», «Бактериологический институт», «Путевые картинки» и «Новороссийский элеватор» — представляют интерес для исследователей, помогая уточнить наши представления о первом десятилетии литературной деятельности Куприна.

Очерк «В бактериологическом институте»<sup>2</sup> рядом внешних черт близок к появившимся за пять лет до него первым очеркам писателя — «Киевское училище для слепых» и «Киевский Бедлам», но по общему тону значительно отличается от них. На место безрадостного и даже мрачного настроения, господствовавшего в очерке «Киевский Бедлам», приходит настроение бодрое и жизнерадостное. Это настроение ярко выражено уже в начале очерка: «Расплатившись с извозчиком, мы вошли в самое здание, и нас сразу охватило бодрое, приятное, почти веселое впечатление. Просторный и высокий вестибюль буквально весь залит светом, обильно падающим с потолка через огромное стеклянное окно». Далее следует подробный рассказ о работе института, причем автор сначала знакомит читателя с заведующим прививочным отделением профессором В. К. Высоковичем, а затем как бы ведет его в самую прививочную. От описания прививок Куприн переходит к рассказу о подготовке к прививкам, об опытах Луи Пастера, приведших к открытию средства против бешенства, широко используя при этом работу известного биолога доктора В. И. Недригайлова «О бешенстве у людей и животных». Верой в науку, в ее безграничные возможности проникнут весь очерк. «Вероятно, недалеко уже то время, — пишет в заключение Куприн, — когда в деревнях и селах отойдет в область преданий лечение бешенства чесноком, молочаем, нечуй-ветром, куриными очами, собачником, шелудивником и приточником, когда „деды“ и „бабы“ перестанут прокалывать заболевшим какие-то пузырьки под языком, шептать на воду или делать раскаленным ключом кабадистические метки на лбах своих несчастных пациентов, когда истинная наука сделает в косной, недоверчивой народной массе новое прочное завоевание...» И, как бы предвидя такое время, Куприн показывает в живо нарисованной сценке полное доверие к представителям науки — врачам их пациента — простого крестьянина-украинца.

Продолжением этого очерка служит напечатанный через месяц с небольшим, 13 октября 1900 года, в том же «Киевлянине» под римской цифрой два второй очерк (имеющий сугубо «научно-медицинский» подзаголовок «Антидифтеритная сыворотка») <sup>3</sup> об антидифтеритном отделении Киевского бактериологического института, возглавляемого профессором А. Д. Павловским. Вся первая половина очерка занята точно и подробно переданным рассказом врача В. Ю. Любинского о приготовлении антидифтеритной сыворотки. Затем врач ведет автора в конюшню, где содержатся используемые для получения сыворотки лошади, и здесь вступает в свои права

<sup>1</sup> И. П и т л я р. «Молох» («Производственная» повесть А. И. Куприна). «Ученые записки Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена», кафедра русской литературы, 1947, т. 43, стр. 134—154; Ф. К у л е ш о в. Куприн-очеркист. «Ученые записки Белорусского университета», 1954, вып. 18, стр. 117—133; К. П а в л о в с к а я. Очерки Куприна «Киевские типы». «Ученые записки Саратовского университета», 1957, т. 56, стр. 445—455.

<sup>2</sup> А. К у п р и н. В бактериологическом институте. I. Прививки против бешенства. «Киевлянин», 1900, № 247, 6 сентября.

<sup>3</sup> А. К. Бактериологический институт. II. Антидифтеритная сыворотка. «Киевлянин», 1900, № 284, 13 октября.

Куприн-художник, рисующий, по его собственному определению, «милую жанровую сцену» — дюжий конюх, скрывающий «под маской традиционной кучерской суровости» свою любовь к лошадям, «поливает из водопроводной кишки сытого, круглого, как огурчик, бойкого серого конька».

Заканчивается очерк в той же деловой манере, в которой начат — рассказом о хранении полученной сыворотки, о пользовании ею, о ее целебном действии.

Таковы научно-познавательные очерки Куприна, в которых он выступает в неизвестной до сих пор исследователям его творчества роли пропагандиста и популяризатора достижений науки.

Проходит менее месяца со времени опубликования второго очерка, и на страницах «Киевлянина» появляются «Путевые картинки» Куприна. Под таким названием печатаются очерки, первый из которых имеет подзаголовок «От Киева до Ростова-на-Дону», второй — «От Ростова до Новороссийска».<sup>4</sup>

Первый очерк построен на противопоставлении путевых впечатлений от пробегающих за окном поезда «уютных и грациозных уголков благоустроенной Украины» и сменяющей их области «железных руд и каменноугольных залежей». «Мазаные, беленькие хатенки, окруженные плетнем и тонущие в зелени „садов“, традиционная „криница“ дорюриковской архитектуры и возле нее традиционная дивчина в запаске и плахте, с коромыслом на левом плече и с правой рукой, художественно упирающейся в бок», «узкая, извилистая речонка, вся такая чистенькая и кокетливая в зеленых, свежих, опрятных берегах», сменяются совершенно иным пейзажем: «Опаленная до корней трава отливает на низинах зловещим красноватым цветом, между крутобокими холмами и склонами врзались глубокие, узкие балки, мелкая густая пыль висит в воздухе, врываясь в вагон и забираясь в книгу, в подушку, в чай и в рот». А при виде «знаменитого Криворожья», напоминающего декорацию из «Роберта-Дьявола», «так и кажется, что подземные силы в страшной демонической ярости всколебали здесь почву и, разворотив ее, нагромоздили на поверхности гигантские кучи известковых и железных масс».

Однако, и это очень характерно для позиции Куприна на рубеже нового века, суровый и мрачный индустриальный пейзаж не вызывает у него теперь безоговорочно отрицательного отношения. «Все это, взятое вместе, — завершает он свой рассказ о Криворожье, — производит дикое, хаотическое, но не лишнее сурового величия впечатление». А рассказывая о том, как выглядит другой промышленный гигант — Екатеринослав, Куприн замечает: «... то и дело проходят мимо нас в своем ужасном великолепии колоссальные металлургические заводы».

Смешанное «не то жуткое, не то гордое» чувство, с которым Куприн созерцает крупный индустриальный центр, не мешает ему видеть, кто является подлинным хозяином этих мест. «Мы вступаем... — пишет он, — в страну бельгийских анонимных предприятий, чудовищных appetitов и бешеного заводского delirium tremens'a». «То и дело на станциях входят в наш вагон и выходят из него бельгийские мастера. В этом крае они, по-видимому, чувствуют себя, как во втором отечестве; с непригнутой простотой разваливаются на диванах, кладут ноги вам на колени и курят из трубок отвратительный табак».

Во втором очерке «От Ростова до Новороссийска», более обширном и пестром по содержанию, представляющем собой образец «дорожных заметок» с описанием случайных спутников и бесед по самым различным вопросам, нет такого единства темы, как в предшествующих очерках, но с ними роднит его «единство настроения» писателя-демократа. Не случайно в конце очерка, описывая панораму, открывающуюся перед пассажирами поезда при подходе его к Новороссийску, Куприн вспоминает о людях, которым недоступно созерцание этих красот. «Налево от... площадки двери вокзала, а направо большой паранет, легко повиснувший в воздухе. С паранета открывается чудный вид на бухту и на Дообский маяк, а на столбе, поддерживающем его крышу, красуется надпись: „пассажирам III класса вход на террасу строго воспрещается“. Очевидно, новороссийские инженеры боятся, что серая публика испачкает им этот очаровательный ландшафт, один из самых живописных в России».

Пятый и последний из рассматриваемых нами очерков целиком посвящен рассказу о новороссийском элеваторе.<sup>5</sup>

Указав в начале очерка, что на вопрос, чем замечателен его город, новороссийский житель «наверно ответит вам: во-первых, норд-остом, а во-вторых, хлебным элеватором», Куприн дает сжатое и выразительное описание опустошительных разрушений, приносимых норд-остом, указывая, что «это чудовище в значительной мере обесценивает высокие качества новороссийской бухты, а вместе с тем тормозит, задерживает биение ее главного пульса — элеватора». Вся последующая часть очерка посвящена рассказу об этом сооружении.

<sup>4</sup> А. К. Путевые картинки. I. От Киева до Ростова-на-Дону. «Киевлянин», 1900, № 311, 9 ноября.

А. К. Путевые картинки. II. От Ростова до Новороссийска. Легенда о черкесах. Тоннели. «Киевлянин», 1900, № 313, 11 ноября.

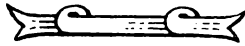
<sup>5</sup> А. К у п р и н. Новороссийский элеватор (очерк). «Киевлянин», 1900, № 324, 22 ноября.

Важно подчеркнуть, что предельная точность повествования не мешает проявлению ни на минуту не покидающего рассказчика бодрого, радостного чувства. И если автор пишет, что «зерно льется в подвал веселым потоком, шумя и брызгаясь, точно вода, бегущая после весеннего ливня из водосточной трубы», то в этом сравнении находит свое выражение то настроение, которое пронизывает весь очерк.

Очерк завершается пейзажной зарисовкой. На роль таких зарисовок в ранних очерках Куприна было указано Ф. Кулешовым, который подчеркнул, что пейзажные обрамления служат обычно своеобразным контрастом описанию тяжелого труда в шахте и рельсопрокатном заводе.<sup>6</sup> В данном случае пейзаж не контрастирует с настроением автора, а лишь сильнее оттеняет, утверждает его. «Круглая бухта, светлоголубая, точно полинявший старинный шелк, радостно нежится под яркими лучами осеннего солнца. Окружившие ее сплошным зубчатым кольцом далекие горы тихо дремлют, одевшись в легкую фиолетовую дымку и купают в воде свои длинные, похожие на растопыренные пальцы отроги... И эта страшная высь и эта огромная панорама сообщают душе и телу ощущение такой легкости и такой свободы, что кажется, вот-вот ты почувствуешь за своей спиной пару сильных крыльев и полетишь, полетишь над тихим смеющимся ласковым морем».

В «Новороссийском элеваторе» Куприн, в отличие от своих более ранних очерков, совсем почти не рассказывает о труде рабочих. Объясняется это прежде всего тем, что человеческий труд применялся здесь в значительно меньшем объеме, чем на тех предприятиях, где за пять лет до этого побывал писатель,<sup>7</sup> однако следует учитывать также и то, что очерк писался по заданию сверхблагонамеренного «Киевлянина», для которого всякое упоминание об эксплуатации рабочих было неприемлемо (не исключена возможность, что очерк подвергся с этой точки зрения некоторой «обработке» в редакции). И однако Куприн не был бы писателем-демократом, если бы не сказал хотя бы бегло о труде тех, кому обязан своим существованием гигант-элеватор. Говоря о слаженной работе машины, писатель отмечает как бы между делом, что она мчит зерно «к самому морю и там выливает золотой рекой наше драгоценное, русским потом вспоенное зерно в бездонный трюм английского или германского судна».

Пять неизвестных до сих пор газетных очерков Куприна интересны во многих отношениях. Они не только увеличивают на несколько единиц список выявленных ранних произведений писателя, но помогают проследить его идейную эволюцию на рубеже XIX и XX веков. От безоговорочного отрицания техники, наиболее полно выраженного в «Молохе», Куприн приходит в начале 900-х годов к признанию ее прогрессивности, что особенно ярко запечатлено в очерке «Новороссийский элеватор».



<sup>6</sup> См.: Ф. Кулешов. Куприн-очеркист. «Ученые записки» Белорусского университета», 1954, вып. 18, стр. 126.

<sup>7</sup> «Ссыпка хлеба из вагонов — единственный вид ручного труда на элеваторе, — отмечает Куприн. — Все остальное делает машина».

## НОВОЕ ОБ А. И. КУПРИНЕ

Письма А. Куприна к Людмиле Ивановне Елпатьевской (июнь 1901—начало 1903 года)<sup>1</sup> имеют особый интерес. Они показывают Куприна в начале нового периода жизни и творчества, когда молодой писатель получает общероссийскую известность и признание как талантливый реалист и демократ. В 1902 году Куприн публикует рассказы «В цирке», «На покое», высоко оцененные Л. Н. Толстым и А. П. Чеховым, его книга рассказов принята М. Горьким к изданию в «Знании». Тогда же начата работа над «Поединком» — произведением исключительного общественного резонанса, принесшим Куприну мировую славу.

Как известно, Куприн, до того живший в провинции, печатавшийся преимущественно в провинциальных газетах, в ноябре 1901 года переезжает в Петербург. Вначале он работает редактором отдела беллетристики миролюбивского «Журнала для всех», затем — с февраля 1902 года — «Мира божьего». Отныне Куприн находится в центре литературных и общественных событий столицы, эпизодическое общение с виднейшими писателями и литераторами Петербурга и Москвы становится постоянным и тесным.

Глухая русская провинция, переезды из одного города в другой, частая смена профессий — Куприн служит офицером в Проскурове, управляет имением на Волыни, работает актером в Сумах, газетным корреспондентом в Киеве и Донбассе, грузчиком, землемером-таксатором и т. д. — вот та богатая школа жизни, какую прошел писатель до приезда в Петербург. Но мы мало знаем об умонастроении Куприна в эти годы, о направлении его интересов, о которых можно судить лишь по его произведениям тех лет. Отмеченный пробел в какой-то мере восполняют письма Куприна к Елпатьевской.

С семьей писателя-народника С. Я. Елпатьевского Куприн близко сошелся летом 1900 года, во второй приезд в Ялту. Жена С. Я. Елпатьевского Людмила Ивановна, с которой у Куприна вскоре завязалась оживленная переписка, была человеком незаурядным, насколько можно судить о ней по отрывочным сведениям, имеющимся в литературе. В 1878—1880 годах она учительствовала в гимназии г. Скопинска Рязанской губернии, где врачом работал ее муж. Елпатьевская помогала ему в революционных делах, хранила нелегальную литературу, по ее паспорту одно время проживала Вера Фигнер, скрывавшаяся от царского правительства после неудачного взрыва в Зимнем дворце. Вместе с мужем, осужденным на поселение, Елпатьевская добровольно пошла в ссылку, проделав трудный путь по этапу от Уфы до Восточной Сибири.

Елпатьевская принимала близкое участие в судьбе молодого Куприна, поддерживала его творчески и материально. На положительную роль Елпатьевской в его творческой биографии указывает и сам писатель. Сообщая, например, об отзыве Л. Н. Толстого о рассказе «В цирке», полученном через А. П. Чехова, он писал ей: «Спасибо Вам, милый, верный друг, за все, а больше всего, что Вы заставили меня написать „В цирке“» (ед. хр. 472, л. 2).

Куприна с Елпатьевской связывали не только литературные дела. В одном из писем 1902 года находим любопытные строки: «Дорогая Людмила Ивановна, бывший у меня с Вашим поручением Ваш крымский знакомый сообщил мне о возможной присылке денег на мое имя для передачи К.(?) Ю. По-видимому, это не состоится? Я так думаю, что по слухам самое дело исчерпано, если я только верно догадываюсь» (ед. хр. 476, л. 1). О каком «деле» и каких «слухах» идет речь, сказать пока трудно. Боясь перлюстрации, Куприн не назвал их, как скрыл под инициалами и лицо, которому предназначались деньги: предосторожность не лишняя — недавно вернувшиеся из ссылки Елпатьевские были у полиции на подозрении.

Три письма Куприна к Елпатьевской (ед. хр. 469—471) относятся к августу—ноябрю 1901 года, ко времени пребывания писателя в Зарайском уезде Рязанской губернии у лесничего Станислава Генриховича Нат — мужа младшей сестры Куприна Зинаиды. Куприн предстает в них как человек широких интересов и пытливого ума, зорко наблюдающий жизнь рязанских крестьян, коллекционирующий «рязан-

<sup>1</sup> В рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР хранится 11 писем Куприна к Елпатьевской (Р III, оп. 2, ед. хр. 469—479; в дальнейшем ссылки в тексте).

ские идиотизмы», «соленые русские слова», обучающий грамоте крестьянских детей по собственной системе. Заслуживают внимания и далекие от идеализации суждения Куприна о крестьянах, и его умение одновременно подметить острую, меткую народную речь — свидетельство таланта русского мужика.

Вспоминная в эмиграции о своих поездках в Рязанскую губернию, Куприн писал: «Там я впитал в себя самые мощные, самые благородные, самые широкие, самые плодотворные впечатления. Да там же я учился и русскому пейзажу».<sup>2</sup>

Пребывание в Рязанской губернии, в том числе в Зарайском уезде, где Куприн впервые был в 1898 году, как известно, неоднократно использовалось им в его дореволюционных и послереволюционных произведениях («Болото», 1902; «Черная молния», 1912; «Фердинад», 1930; «Ночь в лесу», 1931; отчасти «Бредень», 1933). Правда, зарайские впечатления Куприна отразились в них частично или же опосредствованно, как в «Черной молнии», где действие перенесено из Рязанской губернии в Новгородскую.

Однако у Куприна есть одно произведение, в котором полностью используются материалы его работы землемером-таксатором в Зарайском уезде. Это «Теодолит. Рассказ из воспоминаний пегого человека», фрагмент которого хранится в рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР. Он тесно примыкает к письмам к Елпатьевской и как бы дополняет их.

Судя по почерку с набегающими друг на друга буквами, пропусками их, «Теодолит» — одно из последних произведений Куприна. Создан он, вероятно, в 1936—1937 годах, или в Париже, или после возвращения на родину. Окончание «Теодолита» утеряно. Тем не менее и из оставшейся части видно, насколько рассказ художественно самобытен. На склоне лет Куприн, вопреки бытующему в эмигрантских кругах мнению, обнаруживает себя писателем, рассказывающим о далеком прошлом свежо, реалистически остро и точно, с воссозданием мельчайших деталей и обстоятельств.

В «Теодолите» содержатся наблюдения над жизнью крестьян в дореволюционной России. В нем показано скептическое отношение крестьян к правительственным учреждениям вроде лесоохранительного комитета, к интеллигенции. Интересно сравнить «Теодолит» с задуманным в 1913 году рассказом «Елань», где Куприн намеревался рисовать образы крестьян, «живущих полной и здоровой жизнью, близкой к звериной», и интеллигента, вносящего в народ «нездоровое, лживое начало».<sup>3</sup> Ложная идея противопоставления природы и цивилизации, разделявшаяся Куприным в 10-е годы, теперь отброшена, восторжествовало реалистическое видение мира. В «Теодолите» Куприн вернулся к умонастроению и идеям, какими, как показывают его письма к Елпатьевской, он вдохновлялся, живя в 1901 году в Зарайском уезде.

Оставшиеся 8 писем к Елпатьевской (они относятся ко времени пребывания Куприна в Саратовской губернии (ныне Пензенской обл.) летом 1901 года и к первым годам его жизни в Петербурге, когда он работал в «Журнале для всех» и «Мире божьем») интересны главным образом в биографическом плане. Из них мы узнаем о взаимоотношениях Куприна с Марией Карловной Давыдовой, вскоре ставшей женой писателя, об их свадьбе, об обстановке в редакции «Мира божьего», болезни и смерти издательницы журнала Анны Аркадьевны Давыдовой, условиях ее завещания; тут же оцениваются некоторые литературные факты, в частности рассказ «Служащий» и статья о Глебе Успенском С. Я. Елпатьевского.<sup>4</sup>

В письме от начала февраля 1902 года Куприн пишет о знакомстве с рабочими — социал-демократами: «Сняли две комнаты у каких-то „столяров по Марксу“ (синие блузы, бледные интеллигентные лица, волосы ежиком и добрые, честные мозолистые руки)» (ед. хр. 473, л. 1). Правда, знакомство это было кратковременным. Через два месяца в связи с переездом редакции «Мира божьего» в другое помещение Куприны поменяли квартиру.

В письме от июня 1901 года заслуживает внимания характеристика пензенских знакомых, с которыми Куприн общался, проживая в деревне Пановка Сердобского уезда в имении П. П. Арапова. «Люди, у которых я живу, — писал он Елпатьевской, — хорошие люди, славные и простые, хлебосольные и набожные. Веруют в И. Кронштадтского, перед обедом крестятся и убеждены, что тараканы к счастью.

<sup>2</sup> А. И. Куприн, Собрание сочинений в шести томах, т. 6, Гослитиздат, М., 1958, стр. 797.

<sup>3</sup> См.: И. Новые работы А. И. Куприна. «Русское слово», 1913, № 50, 1 (14) марта, стр. 6.

<sup>4</sup> О «Служащем» Куприн писал дважды. В письме от 19 января 1902 года он сообщал, что рассказ печатается в «Русском богатстве» и «уже теперь возбуждает разговор» (ед. хр. 472, л. 2 об.). И после прочтения рассказа в марте того же года: «„Служащие“ — к моему великому удивлению — производит сенсацию» (ед. хр. 474, л. 2 об.). Оценка статьи о Глебе Успенском более положительна. «Какую великолепную статью, — писал Куприн, — он (С. Я. Елпатьевский, — П. Ш.) написал в „Русских вестомостях“ об Успенском. Передайте ему, что, очевидно, под моим влиянием он стал выписываться» (ед. хр. 476, л. 1).

Видел кое-кого из здешних помещиков. Народ все бородатый, крепкого сложения, столбовые либералы умеренного пошиба и страстные охотники. И попа одного видел. Хороший поп: из бедных и бессеребренников. Ряса под мышками заплата, очевидно попадней, и пользуется любовью и, что особенно редко, уважением крестьян. Я с ним «грэб» сейчас же разговорился на счет духовных предметов и вовлек его в приятное изумление. Конечно, больше всего о графе Льве Николаевиче господине Толстом.

Едят здесь удивительно много и вкусно и пьют смородинную водичку. Невольно вспоминается Пушкин:

Боюсь, брусничная вода  
Мне не наделала б вреда» (ед. хр. 478, лл. 1—2).

Особо примечательны строки о попе «из бедных и бессеребренников», рассуждающем о Льве Толстом. Не исключено, что и его также вспоминал Куприн, создавая позднее рассказ «Анафема», запрещенный цензурой. Тем более, что знакомство с пензенским попом произошло вскоре после опубликования Определения святейшего Синода от 20—22 февраля 1901 года № 557, отлучающего Л. Толстого от церкви. Конечно, беседа Куприна с попом «из бедных» не могла не коснуться этого позорного акта, всколыхнувшего всю Россию.

Ниже мы публикуем три письма Куприна и фрагмент рассказа «Теодолит».

Милая, дорогая Людмила Ивановна!

Что со мною сделалось? Я сам не могу ответить на этот вопрос, но то, что прежде я откровенно называл ленью и распущенностью, я готов теперь, пожалуй, назвать какой-то странной психической болезнью, вроде паралича воли (если такая есть в медицине). Дело в том, что я охотно трачу энергию, изобретательность и остроумие по пустякам. Сижу, например, и придумываю магические квадраты:

Можно читать и в вертикальном и в горизонтальном направлениях.	локон	казак	буря
	опара	атака	указ
	кабак	закут	рано
	орава	акула	язон
	накат	катар	и т. д.

И этим я занимаюсь с большим терпением по целым часам. Или, вздумав учить грамоте Ваньку-пастуха и дочку лесника Параньку, составляю новую азбуку по своей системе и со своими рисунками. Навел меня на эту мысль попавшийся мне под руку букварь какого-то идиота, скрывшегося под литерами И. К.—ъ.<sup>5</sup> Букварь этот, предназначенный для народн(ых) школ и, конечно, одобренный Ученным комитетом,<sup>6</sup> приводит следующие примеры на буквы: Ж — жирафф, Г — горилла, Б — бизон, Д — дикая кошка и серна (почему серна?), Х — хамелеон, О — олень, Я — ягуар и т. п. И тут же рисунки — расплывчатые, размазанные, безобразные. Никакой натуралист не разберет, что здесь нарисовано, — горилла, стрекоза или вид с Воробьевых гор. И выходит что же? Выходит, что 1) ребенок должен поверить, что это пятно изображает животное, называемое жираффом, 2) учитель должен удовлетворить любопытство учащегося, к(ото)рый, конечно, заинтересуется подробностями о нравах и обычаях этих самых жираффов, горилл и ягуаров. Здесь, наверно, не только учитель из «неокончивших», но и мы с Вами наплетем с три короба, и 3) ученик должен запомнить эти новые и странно звучащие для него слова и не смешать гориллу с Гаврилой, а жираффа с журавлем (что и случается, как я убедился). Бесплезная, головомолная работа.

Тотчас же после ягуаров начинаются слоги: гжля, брмлю, ткрю, същю и т. д. Вслед за этим идут слова односложные: Бог, Власть, Гром, Крест, Царь, Труд, Честь, Ест, Пост. (Ведь нарочно не придумаешь такого подборца слов). Затем двухсложные: жертва, закон, буря, покров, слава, творец, храбрость, церковь, монарх и т. д. И в конце концов многосложные: богопочтение, градоначальник, единоподушие, животворяющий, самоотвержение, паредворец, христианство, щедролюбие (прости ему господи, такого слова и вовсе нет на русском языке) и т. п. Потом идет чтение. Молитвы, Символ Веры, статьи «Духовная радость», «Бог — отец сирот», «Бог делает

<sup>5</sup> К сожалению, букваря, о котором пишет Куприн, нет в книгохранилищах Ленинграда. Отсутствуют сведения о нем и в библиографических справочниках. Возможно, что он был издан одним из провинциальных издательств и большого распространения не получил.

<sup>6</sup> Ученый комитет с Особым отделом Комитета по рассмотрению книг, издаваемых для народного чтения, находился при Министерстве народного просвещения.

все к лучшему» и т. п. И вдруг ни с того ни с сего опять: стихотворения, приличные для детского возраста. Поздравительные стихи.

### ОТЦУ И МАТЕРИ

Христос воскрес! Мой милый папа  
И миленькая мама!  
Уже повеяло весной  
И с первой майской порою  
Уж выставится рама.  
И пойду с тобою гулять  
В душистый свежий сад  
И буду бога прославлять  
И сердцем буду рад  
Прошла зима, прощай мороз!  
Теплее дни, воскрес Христос!

Ей богу, это я не придумал, а списал слово в слово.

Хорошо? И это я взял наугад, первое попавшееся. Много есть в этом букваре и других редкостей. Но у меня мало места. Словом, я решил составить свою азбуку. За основание взял две буквы — А и О (нарисовал арбуз, аиста, овец, обод и раскрасил их), на другой день к ним пристегнул Мышь, Шапку и Соху и немедленно перешел к чтению: со-ха, Са-ша, сом, Маша, сама. На третий день дал остальные гласные, а также *x* и *p*, и уже стали читать: моя рама у сарая, хороша соха у Сысося, хорошая сухая дорога.

И эту систему прекрасно усваивают, как оказалось, не только дети, но и неграмотные взрослые. Разницу между моим букварем и печатным они постигли со второго же урока и похвалили меня, чем я очень горд.

Кроме этого, я предался коллекционированию рязанских идиотизмов. Так как Вы любите соленое русское слово, то вот несколько:

«Иван у нас бывает каждый день, а *братка* Петр — с *Покрова однова*».

Слово «матерь» не изменяется. «Ужотко пойду попрошу *матерь* притти».

Зарко, зарчей (быстрее), *просянице*, *гречанище* (поля, засеянные просом, гречей), бычки: *летошний* и *зеленятник* (прошлой весны и этой). Корёчек — группа кустов.

«Уж она меня так ругала, так *кобелила*». Болото — *болонье*, «тетерева стали строги»,

«— А еще что? Еще ничего. — Ишь ты, вихорный!»

«— Все-таки взяли муку-то?»

— А то!»

«Ах, ты *грутень безмедовый!*»

«Пристал ко мне *без короткого*». «Ведро конское». «Я сроду смеяться здорова».

«Уж степные пильщики больно лопать здоровы... Такие-то ёмки» (ну, что за прелесть выражение!)

«В *анька* - пастух (под окном, шутя). Подайте милостыньку, христа ради».

Егор (сурово, но тоже шутя). — *Проходи. Таким лобаньям не бывает пдабья*» (лобань — здоровый, крепкий) и т. д.

Вот видите, дорогой друг мой, чем я сам себя развлекаю. Мне также доставляет большое удовольствие чтение евангелия и постепенное расширение плана моего романа (заглавие его будет или «Дачники», или «У синего моря»).<sup>7</sup> Мне необыкновенно приятно ходить по лесу и вынашивать в голове отдельные сцены, художественные подробности, лица, речи, обстановку. Приходят на ум и темы для небольших рассказов, и я их с наслаждением обдумываю. Но сесть к столу и начать писать как следует для меня невозможно, ну просто физически, до тошноты, до скуки, до одурения невозможно.

Иной раз встаю я утром и говорю себе (а встаю я всегда вялый, равнодушный, апатичный): «ну сегодня во что бы то ни стало начну работать!» И я сажусь, кладу перед собой бумагу, открываю чернильницу, беру перо... Но тут-то со мной и случается то, что в древности объясняли искушением нечистого. Мной овладевает непобедимое отвращение, и я, обманывая сам себя, ухватываюсь за первое попавшееся развлечение. Я говорю себе: «ведь к обеду у нас сегодня нет ничего, кроме картофеля, пойду-ка я пострелять дроздей» (так говорит Егор). Или иду кормить своих ручных уток, или занимаюсь азбукой и анаграммами, или уверяю себя, что вечером будет в доме тише, и я при свече буду писать охотнее, или делаю патроны, и т. д. Так до обеда. После обеда заниматься тяжело, надо сделать 3—4 версты. Иду и прихожу уставший. Надо отдохнуть. Читаю евангелие. Темнеет. Чай; ну вот, думаю, после чая непременно. После чая говорю долго с Егором об охоте, учу детей, записываю выражения. Вдруг спохватываюсь: писать! писать! Прихожу в свою ком-

<sup>7</sup> Роман Куприным не был написан.



нату, сижу бессмысленно над бумагой и чувствую, как меня тянет в кровать. Опять обманываю себя: лягу и буду лежа обдумывать роман или рассказ. Ложусь и засыпаю — тяжело, грузно, постоянно просыпаясь и видя тысячи снов. Но перед сном думаю: завтра непременно, непременно... И я до того уверен, что завтра овладею собой, что даже как будто бы вижу себя — здоровым, деятельным, пишущим, как это бывало во дни оны, с жадностью, без перерыва, по многу часов, точно в лихорадке! Так, вот, было и вчера. Облюбовал я одну темку; вот она в сжатом виде: профессиональный атлет, борец, русский, даже полуинтеллигент, должен состязаться вечером в цирке с американцем Джоном Ребером. Отказаться нельзя, он уже внес 100 р. на пари и афиши выпущены. Но он чувствует с утра озноб и лень во всем теле. Видит на репетиции утром своего противника (тот тренируется) и чувствует страх. Вечером он борется, побеждает и умирает у себя в уборной, не успев снять трико, от разрыва сердца. Тема сама по себе не больно сложная, но какой простор для меня: цирк днем во время репетиций и вечером во время представления, жаргон, обычаи, костюмы, описание борьбы, напряженность мускулов и красивых поз, волнение толпы и т. д.<sup>8</sup>

Когда я вчера придумал это, то у меня от радости даже руки похолодели. Я танцевал по комнате и пел: пишу, пишу, пишу! И вот сегодня я опять сижу бесплодно за столом, а тема кажется мне бледной, неинтересной, вылинявшей... Голубчик, что же это со мной! Неужели я впадаю в идиотство?

Я знаю, что Вы скажете. Вы скажете, что мне надо заниматься гимнастикой. Но у меня под рукой охота. Обливание холодной водой я делаю ежедневно. Вы скажете еще, что мне надо освежить впечатления городом. Но мне город противен. Я был на днях в Коломне и не выжил там двух дней, соскучился, побранился с сестрой и уехал. Я знаю, что никакие капли мне не помогут, знаю также, что мое длинное и нелепое письмо произведет на Вас удручающее впечатление, но во мне нет мужества чем-нибудь страдать и не взвалить на Вас часть этого бремени. Мне бы сейчас хотелось прижаться лицом к Вашим коленям и не поднимать головы минут пять. И мне кажется, что встал бы я здоровым. Целую Ваши руки. Не пишете мне грустных слов. Что касается до Вашего предложения,<sup>9</sup> то я знаю, что у Вас оно идет от чистого, дружеского сердца, но меня ставит в жалкое и смешное положение какого-то расслабленного при Силоамской купели.<sup>10</sup>

Весь Ваш А. Куприн

Луховицы (Московский-Рязанской), Куприну, на Троицком кордоне.  
 <Сентябрь 1901 года><sup>11</sup>

Я потому Вам так долго не писал, многоуважаемая Людмила Ивановна, что с утра раннего до глубокой ночи занят делом, не дающим мне ни одной — буквально ни одной минуты свободной. Дело это заключается в том, что я взял нечто вроде подряда — обмерить около 600 десятин крестьянского леса в Зарайском уезде и составить планы лесного хозяйства в деревнях Григорьевском, Тюнине, Лучконцах, Козловке, Филиповичах, Городище, Клип-Бильдине и Костенковой. Время теперь позднее (сегодня 18-е октября и в первый раз выпал снег), и меня с работой прямо гонят в шею, ибо это — смешная и наивная ложь, будто — зима, крестьянин торжествуя и т. д. — крестьянин зиму ненавидит и боится ее больше всего на свете. Итак, я с утра, когда еще темно, бегу с рабочими в лес и, не присаживаясь ни на минуту, хожу до тех пор, пока волоски в визирной трубе моего теодолита еще можно различить глазом. А весь вечер я сижу, не разгибаясь, и заночу все снятое днем на план — отложить этой работы никак нельзя, потому что многое, что я хорошо помню и представляю себе из пройденных нынче урочищ, на завтра забудется и затеряется. Случается, что к ночи я, сидя, засыпаю над планами или испытываю странное раздвоение ума: когда одной его половиной я слежу за кропотливой и очень точной работой, а другой дремлю и даже вижу сны.

Конечно, я мог бы вырвать минутку и написать что-нибудь на скорую руку, вроде того хотя бы письма, к которому я от Вас получил полтора месяца тому на-

<sup>8</sup> Речь идет о рассказе «В цирке», опубликованном в журнале «Мир божий» (1902, № 1).

<sup>9</sup> По-видимому, Л. И. Елпатьевская предложила материальную помощь Куприну, тогда нуждавшемуся. См. в третьем письме его сообщение: «Деньги я получил».

<sup>10</sup> Упоминаемый в евангелии источник в юго-восточном районе Иерусалима, которому приписывались целебные свойства.

<sup>11</sup> Датируется по содержанию. Куприн приезжал в Коломну к сестре Зинаиде Ивановне в сентябре 1901 года (см.: Э. Ротштейн. Материалы к биографии А. И. Куприна. В кн.: А. И. Куприн. Забытые и несобранные произведения. Пенза, 1959, стр. 182).

зад. Оно было любезное, милое, доброжелательное, но в то же время не оставляло никакого сомнения, что Вам сказать мне положительно нечего и что Вы пишете только потому, что знаете, что Ваша каждая строчка доставит мне огромное удовольствие.

Скоро я, однако, работу окончу, и если мой beau frère<sup>12</sup> меня не обсчитает (наше условие таково: моя вся работа и  $\frac{1}{3}$  суммы, его — подпись на плане и остальное), я буду там, где Вы. Это мое единственное желание в настоящее время и единственная мечта в будущем, к<sup>к</sup>оторая заставляет меня нести этот дьявольский, омерзительный труд, кричать на мужиков, поить водкой старост и т. д. (о физическом труде я не говорю, он, кроме пользы, ничего мне не приносит).

Если удосужитесь, напишите мне что-нибудь по старому адресу (Луховицы). Когда я там буду, я еще сам не знаю, но не позже, чем через 2 недели. А сюда ко мне писать невозможно: я день здесь, завтра в другой деревне, а Ваши письма слишком для меня дороги, чтобы поручать их доставку бестолковым и чаще всего пьяным людям.

Как бы Вы теперь ко мне ни относились, — говорю это смело, хотя и могу показаться смешным, — знайте, что нет не только дня, но даже утра и вечера, в которые я о Вас не думал бы, и думаю с нежностью, с признательностью, почти с умилением.

Ваш А. Куприн.

На другой день: Я только что встал. Изба темна, горят свечи. На дворе мороз и еще светит луна. Целую много раз Ваши руки.

<18—19 октября 1901 года>

28 окт<ября 1901 года>

с. Клин-Бильдино

Mu dearling!<sup>13</sup> Моей работы осталось всего на 3—4 дня. Считаю еще 3—4—5 дней на приведение планов в порядок и вот, к первым числам ноября, я устремлю все свои помышления и расчеты таким образом, чтобы где-нибудь и как-нибудь увидеться с Вами. Поэтому напишите мне, где и когда Вы будете. Хотите — мы встретимся в Ваш проезд через Москву? Мож<sup>ет</sup> быть, Вы доставите мне удовольствие, позволив сопроводить Вас в Петербург.<sup>14</sup> Или как еще? Одним словом, «от финских хладных скал до пламенной Колхиды», назовите мне только город и число (все-таки сообразуясь с датой, выставленной в начале письма) по возможности повернее.

Сообщите лучше всего телеграммой по адресу: Коломна, лесничему Нат, Куприну. А если Вы это письмо получите до ноября, то лучше письмом.

Деньги я получил. Ни благодарить, ни упрекать Вас я не стану — в первом Вы не нуждаетесь, а для второго Вы слишком близки моему сердцу. Но только, бога ради, не делайте этого больше. Не хорошо.

Теперь 6 $\frac{1}{2}$  часов утра. Снегу за ночь навалило видимо-невидимо. Ветер. Но вот теперь, когда я это пишу, у меня на душе радостно и ясно. Это оттого, что я знаю, что скоро увижу Вас. Я так об этом часто думал в последнее время, что на меня даже находит суеверный страх: а вдруг не удастся!

Пришли рабочие. Прощайте. Целую Ваши милые руки.

Весь, весь Ваш  
А. Куприн

## ТЕОДОЛИТ. РАССКАЗ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПЕГОГО ЧЕЛОВЕКА

А то вот довелось мне однажды исходить, вдоль и поперек, весь огромный Зарайский уезд Рязанской губернии, жителей которой в просторечии называют языкатая Россия косопузыми. А вышло это вот каким образом: гостил я тогда

<sup>12</sup> Зять, шурин, деверь (фр.). Имеется в виду муж сестры Куприна — лесничий Станислав Генрихович Нат.

<sup>13</sup> Надо: Mu darling — моя дорогая (англ.).

<sup>14</sup> В ноябре 1901 года Е. Я. Елпатьевский жил в Петербурге. К нему через Москву и должна была ехать с детьми Л. И. Елпатьевская. Куприн находился в Москве в ноябре 1901 года. Здесь он посетил писательский кружок «Среды» и познакомился с Ф. И. Шаляпиным и Л. Н. Андреевым. 10 и 11 ноября 1901 года Куприн смотрел в Москве в Художественном театре «Чайку» и в конце ноября вместе с И. А. Бунинным приехал в Петербург (см.: Э. Ротштейн. Материалы к биографии А. И. Куприна. В кн.: А. И. Куприн. Забытые и несобранные произведения, стр. 283).

у своего шурина, у мужа моей сестры, таксатора и лесника казенных лесов, в славном городе Рязани на даровых хлебах и, должно быть, я в конце концов основательно перегостился.

Однажды Станислав Андреевич мне и говорит ласково: Слушай-ка, Шура, ты бы, чем болты болтать и словов водить, занялся бы настоящим и нетрудным делом, на котором в течение месяца свободно заработаешь сто, а то и полтораста рублей и на них с триумфом въедешь в свою возлюбленную Москву. Дело, я тебе говорю, легкое и — по твоему бродяческому вкусу. Ведь ты в кадетском корпусе и потом, в военном училище, занимался съемками? Хотя бы и самыми примитивными, компасными?

— Как же, — говорю я, — кипрегель-дальномер, астролябия.<sup>15</sup>

— Э, брат мой, — говорит Стась, — никакой здесь топографии не требуется. Дело ясное, как мармелад. Несколько рязанских сел, деревень и даже волостей, входящих больше в Зарайский уезд, гуртом собрались делать большие порубки в принадлежащих им лесных площадях. А этого делать нельзя без разрешения строгого лесоохранительного комитета, который неустанно следит за тем, чтобы не вырубались деревья моложе двадцати лет, а также деревья строевые и мачтовые, необходимые для высших государственных целей.

Вот этому-то суровому и берущему крутые взятки комитету и преподносятся планы предполагаемых вырубок с количеством леса, с его сортом и качеством и с его примерным возрастом и все это за подписью специалиста-лесоведа, имеющего необходимый диплом. Повторяю, говорил Станислав Андреевич, вычертить такой план — нет никакой трудности, любой пригостишка-гимназист сделает. Я тебе заранее дам список мужиков, хлопочащих о рубке. Ты к ним приезжаешь: Какие такие у вас места и площади назначены на порубку? — Такие-то. — Веди туда. Приводят они тебя. Если пустыakovое местечко, брось его, а корёчек побольше, вроде, скажем, рощицы или жидкого лесишка, так в пятьдесят квадратных сажень — не стоит и обмерять. Записывай на глаз и иди дальше. А уже такой лес, которому в поперечнике будет не менее трех верст, на глазомер нельзя, уже надо промерять шагами, а то послать мужиков с цепью. Да смотри за ними зорко, во все глаза, чтобы верный и ровный шаг держали, а то ведь мужик-каналья рад вдесятеро, во сто раз прибавить. Жаден он до леса, и нет для него слаще занятия и свой и чужой, соседский лес поджигать. А уж когда в истинный, в настоящий лес попадешь, то, обмеривая его, без инструмента не обойдешься. Я тебе дам землемерные цепи, дам и для дальних дистанций мой теодолит. Ты его, пожалуйста, береги; он сработан в Австрии, а объектив у него пейсовский с замечательной дальностью и с чудесной четкостью. Я бы охотно дал тебе вместо него хороший компас, но, черт бы побрал эту сонную Рязань: здесь и детского лядащего компасика нигде не отыщешь.

Поезжай же завтра по утру. До Климанова на моем Мальчике поедешь, а там сдашь его объездчику Нелидкину, а потом уж тебя от этапа до этапа будут повсюду мужики провожать. Ты только говори: От господина леснищина по делу с лесом.

Тут тебе сестра Зина мешок со всякой съестной хурдой-мурдой приготовила, но ты, когда провизия твоя истощится, смело кормись у мужиков. Это им за честь и счастье будет. Еще бы — господин леснищин! Это куда громче звучит, чем господин агроном, исправник, учитель и доктор с фершалом. Леснищин это хозяин леса и, пожалуй, что-то родственное с лучшим.

На другой день я выехал, снабженный последними наставлениями шурина и со списком моих будущих клиентов.

Были тогда конец июля, рассчитывал вернуться назад к концу августа, но обстоятельства сложились так, что мне пришлось проработать до самого конца ноября месяца, да еще с небольшим хвостом.

Давно известно людям наблюдательным, что в тесной среде солдат, матросов и крестьян действуют какие-то невидимые беспроволочные телеграфы, необычайно быстро осведомляющие о вещах, явлениях и событиях первостепенной важности.

По такому-то сверхземному и сверхчувственному телеграфу почти вся Рязань с соседними уездами узнали про рязанского леснищего и про лесоохранительные комитеты, которые мужиками назывались лесохоронительными, то лесосохранительными и даже лесоограбительными; узнали и про усердного и скоропомощного господина леснищина и даже про дорогу, по какой к нему надо ехать. И вот по всей широченной округе пронеслось, как поветрие, всеобщее неукротимое стремление: во что бы то ни стало рубить немедленно свои леса, начиная с древних заповедников и кончая оголенными пустырями, на которых, как полове мотлы, жалобно торчали вверх редкие ветлы и грустная осина.

Я еще не окончил и первой съемки в деревне Бугаи, как ко мне от мозго шурина прискакал босоногий вестник — рыжий деревенский мальчишка с экстренным письмом: Торопись со съемками. Надвигается пропасть собственников, требующих обмерки лесных площадей. Приеду к тебе на помощь не скоро, потому что

<sup>15</sup> Кипрегель — топографический инструмент, применяемый при съемках местности. Астролябия — угломерный инструмент, употреблявшийся для астрономических и геодезических наблюдений, предшественник теодолита.

занят свыше головы таксацией огромных хлудовских лесов. Тебе за скорость и за усердие в работе — двойной гонорар.

Вот таким-то образом я и влипнул в чертовски трудную, весьма ответственную и непрерывную работу. Утром вставал рано, еще до зари, и шел на обмерку площадей и занимался этим делом до сумерек, когда уже начинал выкатываться месяц. На помощь мне крестьянский мир присылал двух или трех человек. Обязанность их заключалась в том, чтобы таскать на себе тяжелый теодолит со всеми его приспособлениями и обмерительные цепи. Они же расставляли по моим указаниям показательные вешки. Просто беда бывала, когда присылали мне на работу старых мужиков. Те только ерепенялись, галдели и валяли круглых дураков и в каждом моем движении подозревали намерение их околпачить, да и вообще во всех пожилых крестьянах я встречал глубокое, твердое как камень недоверие ко всем господам и ко всем людям со штанами на выпуск. Зато я не мог достаточно нахвалиться и налюбоваться молодыми помощниками, лет так от 14-ти до тридцати. Однако созревающая молодежь почти всегда бывала занята деревенскими работами или уходила на отхожие промысла. Поневоле мне приходилось иметь дело с дуботолом.

Придя в отведенную мне пзбу, я еще долго разбирался в своих начерченных днем быстрых крзюки, переноса их на черновые планы. Все мои тогдашние сношения заключались в том, что я ходил, мерял, расставлял вешки, чертил и перечерчивал. Больше — ничего. Только в этой тяжелой, непрерывной работе я стал понимать, как велико, обильно и разнообразно это удивительное государство — Рязанская губерния и как оно безмерно. Разные уезды, волости и деревни говорили на разных языках. Зарайский, например, уезд отличался безукоризненной, правильной, чистой и красивой речью, какой еще говорит незначительная часть Твери...



## ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Н. Г. ГАРИНА-МИХАЙЛОВСКОГО

Вышедшее в 1957—1958 годах собрание сочинений Гарина-Михайловского, куда наряду с известными по предшествовавшим, «знаньевским» и А. Ф. Маркса, изданиям вошли и новые, опубликованные и оставшиеся в рукописях произведения писателя, свидетельствует о богатстве и разнообразии его творчества. Однако и это издание не исчерпывает всего написанного Гариним. В него не вошли некоторые прозаические и стихотворные произведения, публицистические статьи, главным образом по вопросам железнодорожного строительства; не вошла и довольно обширная переписка с женой, Н. В. Михайловской, и другими лицами, а также наброски ряда незавершенных работ.

Не опубликован и предлагаемый вниманию читателей набросок, не озаглавленный автором и условно названный «Казнь».

Об этом наброске мы уже упоминали как в последнем собрании сочинений Гарина (в примечаниях к драматическому этюду «Подростки»),<sup>1</sup> так и в статье о рукописном наследии писателя,<sup>2</sup> где приведена небольшая выдержка из текста.

В примечаниях к «Подросткам» указывалось, что набросок «Казнь» по идейному содержанию и по времени написания близко примыкает к этой одноактной пьесе, отразившей время спада революционной волны и разгула черносотенной реакции.

Пьеса, как известно, заканчивается сценой обыска, после которого полицейские арестовывают и увозят в тюрьму подростка Горю за то, что он согласился спрятать у себя бомбу и отказался выдать товарища, давшего ему эту бомбу.

В наброске «Казнь» изображается тюрьма, где заключен политический осужденный, двадцатилетний юноша; рассказывается о его последнем дне перед казнью и о самой казни.

Набросок представляет собой черновую рукопись, написанную карандашом на шести листках большого формата, на одной их стороне. Содержит исправления и вычеркивания, сделанные рукой автора.

В слабом рассвете стали неясно вырисовываться предметы: большой, вымощенный тюремный двор, эшафот, виселица.

На эшафоте горел фонарь, и палач что-то не торопясь прилаживал там.

Взвод солдат прошел и скрылся в темном коридоре тюрьмы. Из глубины его где-то далеко светился огонек фонаря, и в блеске его рельефно вырисовывались белая гладкая стена и небольшая тяжелая дверь в ней. За этой дверью спал своим последним сном приговоренный.

Тяжелые и звучные шаги солдат, чей-то голос: «пора» разбудили его, и остатками воли он заставил себя сделать усилие, застыть перед <?> мыслью, что уж не долго и все равно конец всему, и спокойно-равнодушно встретить пытливый и робкий взгляд входившего с крестом в руках священника.

— Примите ваше последнее покаяние.

— В чем, — сухим треском раздался голос осужденного.

Он протянул свои худые, тонкие руки.

— На этих руках нет следов крови, а вы прольете ее и сегодня, как проливаете каждый день: кайтесь сами, если можете.

— Как человек я, быть может, грешнее вас, — ответил духовник, — но я пришел к вам как представитель бога на земле.

— Вы представитель? Если б я и верил в вашего бога, то не поверю вам как представителю его...

Молодой человек нетерпеливо подошел к духовнику.

— Оставим же комедию. Кого мы морочим? Имейте уважение хоть к смерти... Не суйте же мне ваш крест! Вы представитель своей партии, небольшой партии, ко-

<sup>1</sup> Н. Г. Гарин-Михайловский, Собрание сочинений в пяти томах, т. 5, Гослитиздат, М., 1958, стр. 708.

<sup>2</sup> «Русская литература», 1961, № 2, стр. 185—186.

торая грабит, убивает и благословляет вот этим крестом... Я не хочу в эту минуту лично вам сказать что-нибудь дурное, но идите отсюда...

— Я... — начал было духовник.  
— Но это же назойливо! Идите!

Согнувшись и вздыхая священник молча вышел. А осужденный торопливо опять отошел к окну.

Дверь снова отворилась, и вошел доктор.

— Здравствуйте, доктор.

Доктор растерянно, как эхо, повторил:

— Здравствуйте — и тем же голосом спросил:

— Как вы себя чувствуете?

— А вы как? — бледно улыбнулся молодой человек.

— Отвратительно, — с нескрываемым ужасом ответил доктор. — Может быть, вам дать что-нибудь.

— Нет... только поскорее...

— Все готово...

— Так идем...

В сумраке туманного осеннего утра шел высокий, худой арестант, окруженный солдатами, шел и думал, пытливо вглядываясь в высокую виселицу: «Да, вот здесь отнимут мою жизнь... Отнимут!.. Как легко отнять, но ценой всего мира не вернуть ее...» Он тяжело вздохнул по ступенькам подмостка, к нему подошел было священник, но он только раздраженно махнул ему рукой. Палачу осужденный, сделав последнее усилие, когда тот опраивал его воротник, сказал или спросил:

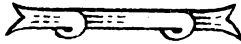
— Ведь скоро?

В его памяти остался плоский взгляд двух теплых, черных глаз палача и едва заметный кивок его головы.

И уже в мешке, с петлей на шее, в томительной тишине он все еще ощущал живительную силу какой-то ласки — участие этого взгляда, кивка...

И вдруг сразу что-то сорвалось, сразу он перешел от сна к бодрствованию, и сразу его охватил весь ужас переживаемого мгновения. Что-то невыразимо тяжелое точно навалилось, парализовало руки, ноги, все тело, и только голова с ясным до ужаса сознанием напряженно работала. Может быть, и не работала: впечатления, обломки мыслей проносились, то нагромождаясь беспорядочной кучей, то отдаваясь цельно и стройно одному какому-нибудь впечатлению, какой-нибудь мелочи жизни. Точно брызнуло вдруг огнями и осветило летний день, дорожку, прохладу и негу <?> сада, тихое, беззаботное и неторопливое посвистывание какой-то птички... Когда это было, где? Было, и так прекрасна была жизнь... Была! Жизнь и теперь, когда ему всего двадцать лет, прекрасна...<sup>3</sup>

Замерло, сперло совсем дыхание. Какой-то яркий свет блеснул и потянул за собой в стремительную бездну, сознание какого-то падения, смертной тоски опять почувствовать ногами опору... Тело медленно, сделав два-три круга, пришло в равновесие, палач надавил за ноги, и вечный мрак охватил.



<sup>3</sup> Далее следует фраза, по смыслу выпадающая из текста: «Стук отпираемой двери заставил его вскопичить и подойти к окну. Там во мраке холодной ночи было так неуютно жестко». По-видимому, это вариант одной из фраз начала рассказа, не зачеркнутый автором.

## НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ПИСЬМА АЛЕКСАНДРА БЛОКА

Публикуемые ниже два письма Блока близки хронологически: одно написано в начале 1911 года, другое — в середине 1912. Оба они адресованы читательницам Блока, людям, которые, по словам поэта, «молоды и мало пережили». И Н. С. Архиповой, и М. М. Михайловой, и А. И. Романовой было в ту пору около двадцати лет. Письма их к Блоку — это обычные письма восторженных поклонниц и почитательниц его поэзии. Он же ответил им потому, что остро сознавал свою высокую ответственность перед читателем. Для Блока — и в особенности для Блока предреволюционных лет — было вовсе не безразлично, как понимает молодежь его стихи. Создатель неповторимых образцов символистской поэзии и драматургии, автор «Стихов о Прекрасной Даме», Блок в этих письмах выступает как разрушитель канонов и самих устоев символизма.

Известно, что после революции 1905 года Блок постепенно, но решительно отходил от декадентства. «... Нас разделил не только 1917 год, но даже 1905-ый, когда я еще мало видел и мало сознавал в жизни», — писал он Зинаиде Гиппиус после Октябрьской революции.<sup>1</sup> Он все глубже, все пристальнее вглядывается в мир. На главный вопрос — принять или не принять жизнь такой, какая она есть, поэт не колеблясь отвечает отрицательно. «Европ. жизнь так же мерзка, как и русская. . . — замечал Блок в 1909 году, в письме к матери из Милана, — ничего из жизни современной я до смерти не приму и ничему не покорюсь. Ее позорный строй внушает мне только отвращение».<sup>2</sup>

В годы реакции, когда со всей очевидностью проявилась антинародная сущность символизма, Блок в своем творчестве исходит из идей гражданского долга и жизненной правды. «В сознании долга, великой ответственности и связи с народом и обществом, которое произвело его, художник находит силу ритмически идти единственно необходимым путем», — утверждает поэт в статье «Три вопроса», написанной в 1908 году.<sup>3</sup> Здоровое положительное начало, источник духовных сил, по мнению Блока, — в народе, которому поэт противопоставляет интеллигенцию — почитательницу буржуазной культуры. Во многих статьях и выступлениях 1907—1908 годов («Три вопроса», «Народ и интеллигенция», «Вопросы, вопросы и вопросы», «Стихия и культура»), в драме «Песнь судьбы», в цикле стихотворений «На поле Куликовом» Блок говорит о роли русской интеллигенции. Его тревожит существующая «пропасть», «недоступная черта», отделяющая буржуазную интеллигенцию от народа.

Блок решительно отмежевывается от бывших своих соратников-декадентов. Более того, он ведет с ними решительную борьбу: когда в годы реакции буржуазные писатели, в том числе и символисты — Мережковский, Айхенвальд и др., организовали травлю Горького, Блок выступил убежденным его защитником.

Резко меняются оценки Блока не только современных ему писателей и поэтов, но и классиков русской литературы. Народность писателя становится для Блока основным критерием. «Помогает и светит», считает поэт, только тот художник, чье творчество народно. «... Понимаю чистоту Горького и очень ценю ее, — пишет он в одном из писем 1908 года. — Очень хочу перечитывать Толстого и Тургенева...» В письме 1909 года встречаем: «Я давно уже читаю Войну и Мир и перечитал почти всю прозу Пушкина. Это существует».<sup>4</sup>

К тому времени, к которому относятся публикуемые письма, Блок окончательно понял ущербность декадентства и преодолел ее. Об этом он пишет матери 21 февраля 1916 года: «Я чувствую, что у меня, наконец, на 31-ом году (т. е. именно в 1911 году, — Н. П.) определился очень важный перелом, что сказывается и на поэме («Возмездие», — Н. П.), и на моем чувстве мира. Я думаю, что последняя тень „декадентства“ отошла. Я определенно хочу жить и вижу впереди много

<sup>1</sup> Дневник Ал. Блока. 1917—1921. Под ред. П. Н. Медведева. «Издательство писателей в Ленинграде», 1928, стр. 118.

<sup>2</sup> Письма Александра Блока к родным, т. I. «Academia», Л., 1927, стр. 266—267.

<sup>3</sup> Александр Блок, Собрание сочинений, т. IX, «Советский писатель», 1936, стр. 62.

<sup>4</sup> Письма Александра Блока к родным, т. I, стр. 223, 268.

простых, хороших и увлекательных возможностей — притом в том, в чем прежде их не видел».<sup>5</sup>

Человек, по мнению поэта, должен думать о будущем: «... нет будущего. Значит, нет человека».<sup>6</sup> Стремлением размежеваться с декадентским прошлым, отрицанием беспредметной тоски и «любви к безликому» пронизаны публикуемые письма Блока. Не читайте «Аполлон», «там... слишком много мертвого, вырожденного декадентства», «вспоминайте Толстого, возвращайтесь к его книгам» — советует Блок Н. С. Архиповой. «Я прошел через декадентство давно, прошел только потому, что человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Художник должен активно вмешиваться в жизнь — вот внутренний пафос писем Блока. Не декадентство с его «всемирной тоской» и «хаосом в душе», а реалистическое творчество Льва Толстого — истинное искусство.

Первое из публикуемых писем<sup>7</sup> адресовано Надежде Сергеевне Архиповой (1888—1949). Вместе с письмом Блок послал ей автограф стихотворения «К Мадонне». Это письмо Блока прислал в дар Пушкинскому дому муж Н. С. Архиповой — А. М. Гурвич.

Второе письмо<sup>8</sup> было послано слушательницам Бестужевских курсов Софье Михайловне Михайловой (в замужестве Марр) и Анне Илларионовне Романовой. С поэзией Блока юные бестужевки-«филологички» познакомились по трехтомному «Собранию стихотворений» поэта, вышедшему в 1911—1912 годах в издательстве «Мусагет». Очарованные музыкальностью стихов, увлеченные влюбленностью поэта в жизнь, они решили написать ему о том, как много радости доставили им эти стихи. Девушкам очень хотелось взглянуть на прославленного поэта.

Этими сведениями сопроводила письмо А. А. Блока С. М. Марр, принеся его в дар Пушкинскому дому. «Блок ответил очень скоро. Это было неожиданно и прекрасно», — вспоминает Софья Михайловна.

Петербург, 11 января 1911  
М. Монетная 9, кв. 23

Благодарю Вас за Ваши письма. Хочу ответить Вам то, что Вы, вероятно, слышите от своих близких: Вы молоды и мало пережили. «Хаос в душе», беспредметная тоска и «любовь к безликому» должны пройти. Все это — только цветы, цветение юности, и рядом с ее радостями, которых Вы, может быть, не замечаете и не цените, — неизбежно. Если с этой тоской Вы справитесь, — то вспомните ее с благодарностью. Тогда — слава богу, что Вы тоскуете. Все это очень просто для тех, кто пережил что-нибудь в жизни (простое и трудное). Вы, может быть, пока этого не поймете, пишу Вам это только потому, что почувствовал в Вашем письме возможность это понять, хотя бы позже. — Вспоминайте Толстого. Возвращайтесь иногда к его книгам, даже если это будет Вам иногда скучно и трудно. Толстой всем нам теперь помогает и светит. «Декадентство» любите поменьше. Если любите мои стихи, хочу Вам сказать, что я прошел через декадентство давно, прошел только потому, что человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Это я Вам пишу потому, что Вы адресуете письма в «Аполлон» и, вероятно, читаете его; там, рядом с хорошим, — слишком много мертвого, вырожденного декадентства. — Берегите себя, Вы самой себе будете нужны.

Александр Блок

Совсем не надо Вам меня видеть. Мне радостно, что Вы в моих стихах читаете радость; это и есть лучшее, что я могу дать. Будьте счастливы, смотрите, наступает весна; если будете сильны и чисты, жизнь Вам откроется, Вы в нее войдете и поймете, что *несмотря на все*, что было, что есть и что будет, она исполнена чудес и прекрасна.

Александр Блок



<sup>5</sup> Там же, т. II, стр. 124.

<sup>6</sup> А. Блок. Незданные стихи. История одного письма. Тифлис, 1927, стр. 56.

<sup>7</sup> Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, Р 1, оп. 3, № 107.

<sup>8</sup> Там же, № 106.



# ЗАМЕТКИ, УТОЧНЕНИЯ

## О ПАРОДИИ И. А. КРЫЛОВА «ВЕТЕР ВЕТРА ВЕТРОМ ГОНИТ»

В ранней комедии Крылова «Сочинитель в прихожей» (1786)<sup>1</sup> выведен бездарный стихотворец Рифмохват, поэт-драматург, пресмыкающийся перед знатными сарамы. Он добивается покровительства графа Дубового и с помощью графского любимца, егеря Андрея, проникает к любовнице своего предполагаемого мецената, к госпоже Новомодовой, надеясь через нее попасть в милость к молодому щеголю. Чтобы списать расположение Новомодовой, Рифмохват пишет ей стихи, которые приведены в начале третьего действия:

Ветер ветра ветром гонит,  
Все идет наоборот;  
Время все к премене клонит,  
Окромя твоих красот.

Хоть еще сто лет на свете  
Ты, прекрасна, проживешь —  
Все в таком же будешь цвете,  
Как и ныне ты слывешь.

Ты, ах! солнце негасимо  
И блестящая луна,  
И уму невообразимо  
Ты колико... ах! умна.

Приведенное стихотворение давно уже ощущалось литературоведами как несомненная пародия, но их смущало то, что среди произведений поэтов 1780-х годов не удавалось найти непосредственный объект пародирования. Поэтому в первых антологиях русской пародии, вышедших в начале 30-х годов нашего века, стихотворение Крылова приведено в разделе пародий не на какого-либо определенного поэта, а на «жанр и стиль» и именно как пародия на песню и романс.<sup>2</sup>

В недавно изданной антологии русской пародии А. А. Морозов мог прибавить только, что это — «пародия на любовную лирику».<sup>3</sup>

Однако дело обстоит сложнее.

В конце 1786 года, т. е. незадолго до появления в печати комедии «Сочинитель в прихожей», Крылов оставил службу в Казенной палате,<sup>4</sup> в которую поступил сразу же по приезде в Петербург. Не исключена возможность, что причиной ухода поэта со службы были преследования со стороны одного из его непосредственных начальников, Н. И. Перепечина.<sup>5</sup>

Н. И. Перепечин (1749—1799), воспитанник Московского университета, многим обязанный И. И. Шувалову (об этом он говорит в посвящении одного своего произведения этому меценату), долгие годы служил в Казенной палате. Он дослужился до чина надворного советника, т. е. был уже не мелким, а, по словам Л. Н. Майкова, «значительным» чиновником. В конце 1770-х годов вышли из печати две его оды, более чем посредственного характера, а в 1780 году он издал оперу в 5 дей-

<sup>1</sup> Эту дату указал сам Крылов; ср.: И. А. Крылов, Полное собрание сочинений, т. III, Гослитиздат, М., 1946, стр. 334.

<sup>2</sup> Б. Бегак, Н. Кравцов, А. Морозов. Русская литературная пародия. ГИЗ, М.—Л., 1930, стр. 127; Мнимая поэзия. Под ред. Ю. Тынянова. «Academia», М.—Л., 1931, стр. 64—65.

<sup>3</sup> Русская стихотворная пародия. «Советский писатель», Л., 1960, стр. 691.

<sup>4</sup> Материалы для биографии Крылова, доставленные М. И. Семевским. Сборник статей, читанных в Отделении русского языка и словесности имп. Академии наук, т. VI, 1869, стр. 348—350.

<sup>5</sup> О том, что Н. И. Перепечин служил в Казенной палате одновременно с Крыловым, сообщает Л. Н. Майков в статье «Первые шаги И. А. Крылова на литературном поприще» (см.: Л. Майков. Историко-литературные очерки. СПб., 1895, стр. 7).

ствиях «Торжество добронравия над красотою», написанную, вопреки принятому обычаю, не александрийским стихом, а смешанными, преимущественно четырехстопными хорейскими стихами. Позднее опера Перепечина была переиздана в 26-й части «Российского феатра».<sup>6</sup>

«Торжество добронравия над красотою» — на редкость бездарная пьеса. Излагать ее содержание не имеет смысла, и для целей настоящего сообщения это и не нужно. Достаточно познакомиться только с двумя отрывками из «Торжества добронравия над красотою», чтобы получить представление о тексте оперы и ее ремарках.

Вот хотя бы начало этой пьесы. Прелет, один из персонажей «Торжества добронравия над красотою», «сидя в креслах задумавшись, зачинает, — как указывает ремарка, — петь с видами досады и жалобы.

Все на свете переменилось,  
 Все идет наоборот,  
 Сердце в людях развратилось,  
 Повредился смертных род.  
 Стары годы пробежали,  
 Коловратно все пошло,  
 Все, что прежде обожали,  
 Нынь в посмешище пошло.  
 (*Опять задумывается*).<sup>7</sup>

Или вот конец того же первого действия. Нраволоуб, вернувшийся только что из армии, вместе со своим приятелем Нечаянновым, приехал к своему дяде и опекуну Гордону. Первое действие кончается сценой, в которой Гордон обращается, как гласит ремарка, «к Нечаяннову с гордым, насмешливым и гневным видом.

Вот как молодость мятется  
 От кипения страстей;  
 Всюду дерзостно несется  
 В безрассудности своей.

Ветер ветра ветром гонит,  
 В сильную бурю восстает,  
 Мысли так в молодых страсть клонит,  
 К безызвестности влечет.

Нраволоуб теперь дерзает  
 Мою волю преступить?  
 Пользы он своей не знает,  
 Его должно научить.

О!.. Гордон ему докажет,  
 Как чтить дядю своего.  
 Должен делать, что прикажет,  
 Увещай поди его.

(*С горючостью уходит, сердясь на Нраволоуба, а Нечаяннов, передразнивая его и в зад ему смеясь, идет за ним, принаравливаясь к его походке. Уходит*).<sup>8</sup>

Хотя и по данным отрывкам можно судить о литературной бездарности Перепечина, нужно отметить еще одну особенность оперы «Торжество добронравия над красотою»: очень часто отдельные стихи в этой пьесе начинаются междометием «ах!»: «Ах! как трудно в свете жить» (стр. 16), «Ах, где она, Гордон, друг мой!» (стр. 19), «Но, ах! надежда обольстила» (стр. 20), «Ах, когда б как прежде» (стр. 23), «Ах, возвращайся» (стр. 25), «Ах, чего желают мне!» (стр. 29) и т. д.

Приведенные отрывки из оперы Перепечина не оставляют ни малейшего сомнения в том, что пародия Крылова была направлена против «Торжества добронравия над красотою»: первый стих песни Рифмохвата «Ветер ветра ветром гонит» полностью соответствует пятой строке монолога Гордона; второй стих пародии Крылова повторяет второй стих начального монолога Прелета; в третьем стихе пародии «Время все к премене клонит» можно видеть перифраз первого стиха монолога Прелета «Все на свете переменилось»; при этом в первом и третьем стихах Крылов сохранил рифму Перепечина («гонит — клонит»). Следующие два куплета крыловской пародии не представляют непосредственной обработки перепечинского

<sup>6</sup> Перепечин Николай Иванович. Русский биографический словарь («Павел—Петр»), СПб., 1902, стр. 516—517.

<sup>7</sup> Торжество добронравия над красотою. Опера в пяти действиях. Сочинена Н. П. М., 1780, стр. 9.

<sup>8</sup> Там же, стр. 20—21.

текста, но манера этого бездарного стихотворца уловлена была Крыловым очень точно и близко; так, имитацией «стиля» Перепечина является двукратное повторение междометия «ах!» в последнем куплете.

В XVIII веке пародия не должна была полностью совпадать с пародируемым объектом. Для достижения поставленной литературной цели достаточно было первым стихом или первыми двумя стихами указать на пародируемый образец, и в дальнейшем не было уже необходимости точно придерживаться, так сказать, «оригинала». «Вздорные оды» Сумарокова, например, шли в этом отношении еще далее, сохраняя иногда только одно-два необычных слова или выражения из пародируемого источника.

Таким образом, «Сочинитель в прихожей» не является пародией в общепринятом сейчас смысле, но вполне соответствует понятиям о пародии, господствовавшим в XVIII веке. Возможно, что, рисуя образ сочинителя Рифмохвата, Крылов, помимо пародийных стихов «Ветер ветра ветром гонит», придал своему литературному герою черты реального Перепечина. Так, по-видимому, вполне можно связать стихотворное посвящение оперы И. И. Шувалову с пресмыкательством Сочинителя перед графом Дубовым; возможно, что слова Рифмохвата: «Да не угодно ли прочесть вашему сиятельству, у меня есть также стишки для успокоения страстей» (д. III, явл. 9) — являются намеком на «моральный» характер «Торжества добродравия над красотою», и т. д.

«Сочинитель в прихожей» не пользовался симпатиями старых литературоведов, писавших о Крылове. Эту пьесу, как и непонятую пародийную «Бешеную семью», считали падением литературного таланта Крылова. Вскользь говоря о ней и советские литературоведы и театроведы.<sup>9</sup> Между тем «Сочинитель в прихожей» представляет любопытный материал для суждений о литературно-общественных позициях молодого Крылова. Это прежде всего комедия «обличительная», а не «развлекательная»: в ней едко осмеивается безмозглый петиметр граф Дубовой, опутанный долгами, и распутная госпожа Новошодова (характерно, что Крылов вторично использует это «говорящее» имя; впервые — в «Кофейнице»), представляющая как бы отрицательную иллюстрацию к постоянным фразам Екатерины о том, что при ней выросла «новая порода» людей. В комедии Крылова бичуются репительные писакки вроде Рифмохвата, которые в поисках милостивцев способны мервнуть в прихожих, низкопоклонничать перед лакеями и горничными, унижать и себя, и высокое искусство поэзии.

Таким образом, эта комедия Крылова никак не может быть признана свидетельством падения его литературного дарования. Для всей ранней драматургии Крылова характерны две основные черты, особенно отразившиеся в «Сочинителе в прихожей»: близость к реальной жизни и в то же самое время почти гротескное, пародийное изображение этой жизни. Ошибка исследователей творчества Крылова состояла в том, что они судили пьесы, написанные как пародии и памфлеты («Бешеная семья», «Сочинитель в прихожей», «Проказники»), по принципам реалистической комедии — «Горя от ума», «Ревизора» и даже комедий Островского.

Установление источника пародии «Ветер ветра ветром гонит» дает, как нам кажется, основания для более осторожного отношения к большому отделу пародий, которые принято обозначать пародиями на «жанр и стиль». Чем лучше будем мы знать литературный материал, чем дальше за пределы общеизвестного будем мы заглядывать, тем больше неожиданных, интересных открытий может ожидать нас, тем меньше может остаться пародий на «жанр и стиль».

П. БЕРКОВ

## ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СМЕРТИ А. А. БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО

А. А. Бестужев погиб 7 июня 1837 года на Кавказе, в сражении с горцами при высадке десанта на мысе Адлер. Тела его найти не удалось, и в русском обществе долгое время ходила легенда о том, что автор «Аммалат-Бека» жив и скрывается в горах Кавказа.<sup>1</sup> Легенды слагались не только о спасении Бестужева; легендами обростали и обстоятельства его смерти. М. И. Семевский, изучавший биографию Бестужева, опубликовал в 1860 году рассказ о его смерти отставковом капитана, «долго служившего на Кавказе и лично знавшего Бестужева»; этот капитан скрылся под криптонимом Ф.Д.К.

«7-го июня 1837-го года, — рассказывал Ф.Д.К., — эскадра с отрядом барона Розена бросила якорь против мыса Адлера. При первом вызове охотников (т. е.

<sup>9</sup> Правильнее всех рассматривает эти комедии А. В. Западов в статье «И. А. Крылов» (см.: Русские драматурги. XVIII век. Т. I. Изд. «Искусство», Л.—М., 1959, стр. 409—411).

<sup>1</sup> См.: М. П. Алексеев. Этюды о Марлинском. Иркутск, 1928, стр. 3—34; П. В. Б е р к о в. Силуэты далекого прошлого. М.—Л., 1930, стр. 28—34.

добровольцев, — Ю. Л.) для занятия опушки леса, начинавшегося шагах в ста от моря, прапорщик Бестужев немедленно вышел. Как на праздник, полетел наш герой в опасную схватку. Бестужев прямо стал проситься в цепь.

„Что вы делаете, Александр Александрович! сказал ему генерал: отличиться или умереть вы всегда и везде успеете, чего же вы теперь-то лезете на явную смерть? Ваша жизнь дорога для России; вы должны, ваш долг беречь ее!“

Тщетно убеждал генерал. Бестужев слишком много страдал, много перенес горя и упал уже духом.

„Нет, найдутся люди, что и порадуются моей смерти“, отвечал Бестужев на доводы начальника и товарищей». И далее Ф.Д.К. повествовал о том, как Бестужев был ранен, передавая продвинувшемуся вперед отряду приказ генерала Вальховского об отступлении, как он просил солдат, неспших его назад, бросить его, и как, наконец, он был зарублен горцами, которые впоследствии сожалели об этом, узнав, кто был убитый ими офицер.<sup>2</sup>

Эта эффектная романтическая история в стиле Марлинского получила распространение и в советском литературоведении,<sup>3</sup> несмотря на содержащееся в ней очевидное противоречие: с одной стороны, Бестужев «полетел» в опасную схватку «как на праздник»; с другой — он «упал уже духом», искал смерти.

Между тем рассказ Ф.Д.К. вызвал возражения сразу же после опубликования. Уже в начале 1861 года участник боя на Адлере, «отставной за ранами подпоручик» К. А. Давыдов опубликовал в «Московских ведомостях» заметку «Несколько слов о смерти А. А. Бестужева (Марлинского)»,<sup>4</sup> в которой как очевидец опровергал версию Ф.Д.К.

М. И. Семевский в статье «Александр Бестужев на Кавказе. 1829—1837» перепечатал сведения, сообщенные Давыдовым,<sup>5</sup> которые иначе бы затерялись на газетных страницах. Однако Семевский опустил прямые опровержения рассказа Ф. Д. К., содержащиеся в заметке Давыдова; более того, он подверг эти опровержения сомнению.

Давыдов прежде всего опровергал сообщение о том, что Бестужев сам вызвался идти в цепь в числе охотников. «Охотники вызывались, — писал отставной подпоручик, — только из нижних чинов 4-го батальона Мингрельского егерского полка... а офицеры были прямо назначаемы командиром батальона, майором Грекуловым без всякого вызова, да и вызывать было никого, ибо офицеров было весьма мало... Распоряжения эти делались на фрегате *Агаголе*, где помещался означенный батальон. С этого фрегата нас, охотников, или стрелков, назовите как хотите, посадили на плюшки... Шлюпки поплыли к берегу... Марлинский же был вроде адъютанта или бесменного ординарца при генерале Вальховском и высаждался, вероятно, вместе с ним несколько позже, когда черкесы уже были выбиты из вырытой ими вдоль берега канавы... Словом, Бестужев не высаживался вместе с охотниками; просился ли он после в цепь — это, конечно, может знать только один генерал Вальховский, а не кто другой...»<sup>6</sup>

Семевский заявлял по поводу этого опровержения Давыдова (которое он не перепечатал, а только упомянул): «...уверения эти по меньшей мере бездоказательны», — и указывал в поддержку версии Ф. Д. К.: «...необходимость, волею-неволею, отличиться, чтобы получить наконец право вырваться из оков трудовой службы, очень могли побудить Бестужева проситься у Вальховского идти в цепь, а тот с своей стороны, как человек умный и образованный, не мог не беречь жизни даровитого писателя, и нет ничего мудреного, что пытался его удержать, о чем потом и рассказывал своим сослуживцам...»<sup>7</sup>

Конечно, Давыдов мог знать далеко не все, в частности он не знал (и сам писал об этом), что происходило между Бестужевым и Вальховским. Но сведения о том, что Бестужев будто бы сам просил отправить его в цепь, отсутствуют и в самом первом в русской печати рассказе о его смерти — заметке «Последние

<sup>2</sup> М. И. Семевский. Александр Александрович Бестужев (Марлинский). 1797—1837. «Отечественные записки», 1860, т. СXXXI, № 7, стр. 99—100.

<sup>3</sup> См., например: В. Васильев. 1) Бестужев-Марлинский на Кавказе. Краснодар, 1939, стр. 37—38; 2) А. А. Бестужев-Марлинский в Пятигорске. Сборник научных трудов Пятигорского государственного педагогического института, вып. IV, Кафедры общественных наук, Пятигорск, 1949, стр. 225; К. Черныш. Бестужев-Марлинский (писатели-декабристы на Кавказе). «Ставропольский альманах», 2, 1947, стр. 206. Разумеется, эта версия нашла место в беллетризованном очерке из серии «Жизнь замечательных людей»: Сергей Голубов. Бестужев-Марлинский. Изд. «Молодая гвардия», М., 1960, стр. 357—359.

<sup>4</sup> «Московские ведомости», 1861, № 24, 29 января, стр. 191—192.

<sup>5</sup> «Русский вестник», 1870, т. LXXXVIII, июль, стр. 78—83. Из этой статьи Семевского сведения Давыдова были заимствованы последующими биографами Бестужева (см.: В. Васильев. Бестужев-Марлинский на Кавказе, стр. 38—39; Сергей Голубов. Бестужев-Марлинский, стр. 358—359).

<sup>6</sup> «Московские ведомости», 1861, № 24, 29 января, стр. 191.

<sup>7</sup> «Русский вестник», 1870, т. LXXXVIII, июль, стр. 81.

минуты Марлинского», напечатанной в «Иллюстрации» 1848 года.<sup>8</sup> Эта заметка, как указывалось в примечании к ней, была переведена из виленского журнала «Athenaeum». Автор не был назван, но из статьи явствовало, что он был сослуживцем и другом Бестужева и находился с ним вместе в день его смерти.

Как выяснилось, подлинная статья была написана по-польски и опубликована в 1845 году; под ней имеется подпись автора: Войцех Потоцкий.<sup>9</sup> По-видимому, его следует отождествить с лейб-гвардии уланского полка штабс-ротмистром Потоцким, который служил во второй половине 30-х годов XIX века при Отдельном кавказском корпусе<sup>10</sup> и был награжден в 1838 году орденом Станислава III степени.<sup>11</sup> О том, что Потоцкий был близок с Бестужевым, свидетельствует завещание последнего, в котором он, перечисляя свое имущество, заключал: «Прочие вещи в квартире Потоцкого в Тифлисе».<sup>12</sup>

Трудно представить, чтобы Потоцкий, находившийся в роковой день 7 июня 1837 года рядом с Бестужевым, мог не знать о том, что тот сам просился в цепь, или, зная об этом, не упомянуть в своей заметке.

Наконец, нам удалось найти еще одно свидетельство современника, которое утверждает нечто обратное тому, что рассказывал Ф. Д. К.

М. П. Вронченко (1802—1855), военный геодезист и географ, известный в свое время переводчик Шекспира, Байрона и Гете, был назначен в 1837 году членом комиссии по административному устройству Закавказского края и прибыл в Тифлис в начале июля, т. е. примерно через месяц после трагической смерти А. А. Бестужева. 26 июля он писал А. В. Никитенко: «Что делает наша литература? Плачет ли над безвестной могилой Марлинского? *Он насильно пошел в охотники, и прах его тлеет где-нибудь в глубине ущелия или расклеван орлами: найти не могли ничего*».<sup>13</sup>

Вронченко не был очевидцем смерти Бестужева, однако, если учесть занимаемое им в то время положение, следует признать, что он был человеком, хорошо осведомленным о боевых действиях на Кавказе. К тому же письмо его писалось под свежим впечатлением события, а не через более или менее отдаленный срок. Правда, указание Вронченко «насильно пошел в охотники» довольно неопределенно и может, думается, означать не только прямое насильственное действие, но и приказание, противное желанию Бестужева, или что-нибудь в этом роде. Но в любом случае оно противоречит версии о том, что Бестужев сам вызвался идти в цепь. То, что сведения Вронченко не находят подтверждения в упомянутых выше известиях о смерти писателя, не должно нас удивлять, поскольку здесь мы имеем частное письмо, а там — сообщение в подцензурной печати.

Свидетельство Вронченко бросает тень на генерала Вальховского (или Вольховского), в подчинении которого находился Бестужев. В. Д. Вальховский (1798—1841) — в прошлом лицейский товарищ Пушкина и член Союза Благоденствия — с 1831 года был начальником штаба Кавказского корпуса.<sup>14</sup> Известно, что он оказывал помощь разжалованным декабристам. Однако слухи о том, что он виновен в смерти А. А. Бестужева, получили, видимо, довольно широкое распространение.

Сестра писателя Елена Александровна писала об этом: «Вальховский был у меня в СПб., я, как бы не зная, что его глупому приказу итти с приказом об отступлении я обязана лишением брата, стала печально поносить его распоряжение. Он обомлел и глупо оправдывался. У меня сердце кипело от горечи и негодования».<sup>15</sup>

<sup>8</sup> «Иллюстрация», 1848, т. VI, № 24 (156), 26 июня, стр. 376—378.

<sup>9</sup> Wojciech P o t o c k i. Ostatnie chwile Marlińskiego. «Athenaeum» (Wilno), 1845, т. 1, стр. 121—134. Сличение оригинала и перевода, которое любезно произвела по нашей просьбе Л. И. Ровнякова, показало, что перевод, сделанный в целом довольно точно, содержит некоторые сокращения цензурного характера. Так, например, были взяты слова, намекавшие на декабристское прошлое Бестужева («который заблуждения молодости испунил долгим терпением и рыцарской смертью»), эпитет «благородный» (szlachetny) применительно к Марлинскому и т. п.

<sup>10</sup> См.: М. Ф. Федоров. Походные записки на Кавказе с 1835 по 1842 год. «Кавказский сборник», т. III, Тифлис, 1879, стр. 6.

<sup>11</sup> «С.-Петербургские ведомости», 1838, № 29, 5 февраля, стр. 121.

<sup>12</sup> «Отечественные записки», 1860, т. СXXXI, № 7, стр. 79.

<sup>13</sup> Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, 18.473/СХХII, б. 1, письмо 1 (курсив мой, — Ю. Л.). Отметим, что Никитенко к тому времени уже знал о смерти Бестужева. 5 июля 1837 года он записал в дневнике: «Новая потеря для нашей литературы: Александр Бестужев убит. Да и к чему в России литература!» (А. В. Никитенко. Дневник, т. 1. 1826—1857. Гослитиздат, 1955, стр. 201).

<sup>14</sup> Подробный очерк о нем см.: Н. Гастфрейнд. Товарищи Пушкина по имп. Царскосельскому лицей. Материалы для словаря лицейстов первого курса 1811—1817 г., т. I, СПб., 1912, стр. 1—286.

<sup>15</sup> Воспоминания Бестужевых. Изд. АН СССР, М.—Л., 1951, стр. 408. Точное время этой встречи неизвестно, но она должна была произойти до 1841 года, года

М. К. Азадовский, издавая «Воспоминания Бестужевых», замечал, что «оценка его (Вальховского, — Ю. Л.) поведения, данная Е. А. Бестужевой, явно несправедлива».<sup>16</sup> Однако о том, что Бестужев погиб именно тогда, когда был послан Вальховским с приказом об отступлении, свидетельствуют и Потоцкий и Давыдов, который писал: «Действительно, после этого дела, все говорили, что Бестужев был послан генералом Вальховским узнать, где наша цепь...» Давыдов также замечал, что не имело смысла «посылать в цепь, без надобности, лишних офицеров».<sup>17</sup>

Семевский, подвергая сомнению сведения Давыдова и говоря о поведении Вальховского 7 июня 1837 года, ссылаясь, как мы видели выше, на рассказы *самого же генерала* своим сослуживцам. Возникает вопрос: не является ли легендарная версия Ф. Д. К. о смерти Бестужева продолжением этих рассказов Вальховского, имевшим целью снять пятно с памяти в то время уже покойного генерала? Заметим, что когда впоследствии эта версия о смерти Бестужева вновь появлялась в печати, она исходила от лиц, связанных с Вальховским. Так, ее повторил в своих записках декабрист А. Е. Розен,<sup>18</sup> который был близок с Вальховским в 30-е годы на Кавказе и несомненно слышал эту историю от самого генерала. Затем она упоминалась в статье, написанной на основании воспоминаний жены генерала М. В. Вальховской ее внуком.<sup>19</sup>

Ю. ЛЕВИН

### ОБ ИСТОЧНИКАХ ДВУХ ПЕРЕВОДОВ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

Редактор «Журнала для воспитания» А. А. Чумиков составил по просьбе Н. Г. Чернышевского список статей Добролюбова, опубликованных в этом издании. Чумиковым были обозначены как переводные две заметки Добролюбова из № 6 «Журнала для воспитания» за 1857 год: «О приучении детей» и «Учитель должен служить идеалом для учеников»<sup>1</sup> (опубликованы без подписи). На переводный характер работ указывали также примечания в конце каждой из них: первая — «Из: Die Zucht in der Volksschule, v. R. Hermanuz»,<sup>2</sup> вторая — «Из: Die Pädagogik der Volksschule».<sup>3</sup> Однако ввиду того, что первая книга отсутствует в крупнейших библиотеках СССР, а источник второй статьи указан без имени автора, до сих пор никто не проверял, насколько справедливо считать обе заметки переводом: может быть, перед нами компиляция? вольный реферат? В первое советское «Полное собрание сочинений» Добролюбова обе статьи были включены в основной корпус.<sup>4</sup>

Лишь после обнаружения второй книги и присылки из ГДР труда Р. Германа удалось установить, что обе статьи являются точным переводом соответствующих отрывков из двух немецких книг и не могут включаться в собрание оригинальных сочинений Н. А. Добролюбова.

Статья «О приучении детей» переведена из книги: Raimund Hermanuz. Die Zucht in der Volksschule. Karlsruhe und Freiburg, 1843. Статья соответствует разделу «В» второй главы книги (стр. 28—31).

Статья «Учитель должен служить идеалом для учеников» переведена из книги: Lorenz Kellner. Die Pädagogik der Volksschule und des Hauses in Aphorismen. Essen, 1850. Добролюбов пользовался, очевидно, этим или следующими изданиями (2-е — 1854; 3-е — 1852; 4-е — 1854; 5-е — 1857). В СССР удалось найти лишь 7-е издание книги (1865), в котором статье точно соответствуют §§ 14—15 (стр. 12—13).

Б. ЕГОРОВ

### БЫЛА ЛИ У ЧЕХОВА КОМЕДИЯ «ГЕНЕРАЛ КОКЕТ?»

В 1907 году в широко распространенном сборнике историко-литературных статей «Антон Павлович Чехов. Его жизнь и сочинения» появилось неожиданное известие о чеховской пьесе «Генерал Кокет», связанной с сахалинскими наблюде-

смерти Вальховского, т. е. тогда, когда еще не было никаких печатных свидетельств о смерти Бестужева.

<sup>16</sup> Воспоминания Бестужевых, стр. 845.

<sup>17</sup> «Московские ведомости», 1861, № 24, 29 января, стр. 191.

<sup>18</sup> Записки декабриста. Лейпциг, 1870, стр. 366—367.

<sup>19</sup> Из семейного архива «Каменки». «Харьковские губ. ведомости», 1891, № 93, 10 апреля, стр. 2.

<sup>1</sup> См.: Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений под ред. Е. В. Аничкова, т. I, СПб., 1911, стр. 20.

<sup>2</sup> «Журнал для воспитания», 1857, № 6, отд. VII, стр. 8.

<sup>3</sup> Там же, стр. 10.

<sup>4</sup> Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений в шести томах, под общей редакцией П. И. Лебедева-Полянского, т. III, Гослитиздат, М., 1936, стр. 431—433, 433—434.

ниями великого писателя. «Впечатления, произведенные сахалинской жизнью, — писал Звенигородцев (В. Покровский) в статье «Антон Павлович Чехов», — и испытанные им ощущения он воплотил сначала в задуманной им пьесе: „Генерал Кокет“. Читанная им в небольшом кругу лиц, с выведенными на сцену известными деятелями, при живом и верном изображении действительности, она произвела сильное впечатление на слушателей».<sup>1</sup> Никаких ссылок на источники, откуда были почерпнуты эти сведения, в сборнике не давалось.

Несколько лет спустя известный дореволюционный критик А. Измайлов дважды (сначала в газете «Русское слово», а затем в своей книге «Литературный Олимп») снова повторил «слух о «Генерале Кокете», причем он считал, что эта пьеса входит в число «определенного, достоверного, что задумывал и написал Чехов, но чего мы не знаем».<sup>2</sup>

Правда, А. Измайлов ссылается на источник сведений о неизвестном творении Чехова: «Один из бывших чинов сахалинской администрации, живущий в Херсоне, в год смерти А. П. сообщал в „Одесских Новостях“, что Чехов во время своего пребывания на Сахалине в 1890 году задумал и написал пьесу из местной жизни под названием „Генерал Кокет“, в которой выведены были некоторые деятели Сахалина. „Пьеса эта в чтении самого автора производила сильное впечатление живым и точным изображением действующих лиц. В 1892 году пьеса эта, как видно из письма А. П., была готова к печати, но не вышла в свет по неизвестным причинам“».<sup>3</sup>

Действительно, в газете «Одесские новости» от 7 июля 1904 года (№ 6357) была опубликована заметка, почти полностью процитированная в вышеприведенном отрывке из книги А. Измайлова. Однако, как выяснилось в результате разысканий Н. И. Гитович, заметка в одесской газете явилась лишь сокращенным вариантом более полной публикации, появившейся в 1904 году на страницах херсонской газеты «Юг».

Собственно говоря, в газете «Юг» по интересующему нас вопросу появилось две статьи. В первой из них, опубликованной 7 июля 1904 года (№ 1811) в связи с кончиной А. П. Чехова, говорилось, между прочим, следующее:

«Почитателям усопшего писателя, вероятно, не безразлично будет узнать, что после Чехова осталось много очерков, рассказов и даже одна трехактная комедия, не появившаяся в печати „по независимым обстоятельствам“».

Эти очерки, рассказы и комедия написаны Чеховым в бытность его на Сахалине и рисуют исключительно сахалинские нравы.

Так, например, в комедии, озаглавленной „Генерал Кокет“, выведено одно видное, служившее некогда на Сахалине лицо, нарисованное с присущим Чехову мастерством и юмором.

Чехов читал эту пьесу некоторым своим сахалинским знакомым, и, судя по их отзывам, комедия написана очень колоритно и интересно.

В 1892 году Чехов писал одному из своих добрых друзей, что пьеса совершенно готова к печати, но издание ее сопряжено с некоторыми трудностями...»

Было не совсем ясно, откуда автор статьи в газете «Юг» (псевдоним его — де-Линь — раскрыть не удалось) мог получить эти сведения. Источник был раскрыт в следующей его статье — «Чехов на Сахалине», которая начиналась следующими словами: «Один из чинов сахалинской администрации, ныне проживающий в Херсоне, поделился со мной своими воспоминаниями о Чехове».<sup>4</sup>

Нетрудно догадаться, чьи воспоминания были воспроизведены в статье «Чехов на Сахалине». «Один из чинов сахалинской администрации» — это Алексей Степанович Фельдман, бывший сахалинский чиновник, вышедший в 1892 году в отставку и поселившийся в Херсоне.

Разумеется, сведения о комедии «Генерал Кокет» исходят от него же. Об этом прямо свидетельствует заметка в газете «Одесские новости», на которую в свое время ссылался еще А. Измайлов.

Воспоминания А. С. Фельдмана «Чехов на Сахалине» теперь широко известны: в 1960 году они были перепечатаны Н. И. Гитович в томе «Литературного наследства», посвященном Чехову.<sup>5</sup>

Однако надо сказать, что достоверность этих воспоминаний весьма сомнительна. По существу, они в значительной части восходят к книге самого Чехова «Остров Сахалин». Игра сахалинских детей «в бродяги», наказание каторжного — все это достаточно подробно описано в «Острове Сахалине», и поэтому вызывают удивление слова о том, что сахалинские очерки Чехова, где описаны игры детей и сцена наказания, не изданы по «независимым обстоятельствам».<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Антон Павлович Чехов. Его жизнь и сочинения. Составил В. Покровский. М., 1907, стр. 14.

<sup>2</sup> А. Измайлов. Литературный Олимп. М., 1911, стр. 116.

<sup>3</sup> Там же, стр. 118.

<sup>4</sup> Де-Линь. Чехов на Сахалине. «Юг», 1904, № 1817, 14 июля.

<sup>5</sup> «Литературное наследство», т. 68, 1960, стр. 594—596.

<sup>6</sup> Там же, стр. 596.

Вызывают сомнения и сведения о вечерах, где собравшимся сахалинским служащим и их семьям Чехов, когда бывал «в ударе», читал юморески из жизни... этих же самых чиновников.<sup>7</sup>

Сомнения в достоверности значительной части этих воспоминаний возникают еще и потому, что А. С. Фельдман по каким-то причинам с Чеховым на Сахалине вообще не встречался.<sup>8</sup>

Как же были написаны воспоминания, появившиеся в херсонской газете? Очевидно, в дни, когда вся Россия была потрясена известием о смерти Чехова, А. С. Фельдман счел нужным похвастать своим знакомством с покойным писателем, что ему было крайне необходимо (в чем мы убедимся ниже). Кое-что он помнил по рассказам сослуживцев, кое-что, может быть, придумал. Все это сотрудник газеты «Юг» обработал, прибавив сведения из книги Чехова «Остров Сахалин», и в результате получились воспоминания «одного из чинов сахалинской администрации».

Таким образом, эти воспоминания не могут быть признаны достоверными. Об этом следует сказать со всей определенностью потому, что статья из херсонской газеты привлекает в последнее время внимание некоторых исследователей, характеризующих ее как «интересную запись А. С. Фельдмана, встречавшегося с Антоном Павловичем на Сахалине».<sup>9</sup>

Но если вызывает сомнение достоверность воспоминаний Фельдмана «Чехов на Сахалине», то, естественно, подобное же сомнение должно вызвать и его указание на комедию Чехова «Генерал Кокет».

Между тем в «Летописи жизни и творчества А. П. Чехова» содержится безоговорочное утверждение, что в августе—начале сентября 1890 года Чехов «написал трехактную комедию, озаглавленную „Генерал Кокет“, в которой были выведены члены сахалинской администрации. Читал эту пьесу некоторым из своих сахалинских знакомых».<sup>10</sup>

Известно, насколько напряженной была сахалинская поездка Чехова. Вряд ли у него оставалось время для того, чтобы написать там целую комедию в трех актах. Кроме того, среди писем, заметок, рукописей Чехова нет ни одного даже отдаленного намека, свидетельствующего о том, что писатель когда-то работал над комедией «Генерал Кокет».

Автор этих строк несколько лет назад обратился к Марии Павловне Чеховой с вопросом — не знает ли она что-либо об этой комедии. М. П. Чехова в письме от 14 июля 1956 года сообщила: «Насчет пьесы Антона Павловича „Генерал Кокет“ ровно ничего не знаю. В разговорах со мной он никогда не упоминал о такой пьесе».

Н. И. Гитович ссылается на то, что слухи о какой-то «сибирской» пьесе Чехова проникли в свое время в печать. Действительно, в одной из московских газет летом 1893 года появилась следующая заметка: «Известный беллетрист Антон Чехов только что окончил новую комедию, героем которой является один из сосланных в Сибирь известных петербургских дельцов». Легко заметить однако, что краткое содержание предполагаемой чеховской комедии в этой заметке ничего общего не имеет с содержанием «Генерала Кокета», о котором писал Фельдман.

Редактор журнала «Северный вестник» Л. Я. Гуревич, заинтересованная в сотрудничестве Чехова, отправив ему вырезку из газеты с процитированной

<sup>7</sup> Там же.

<sup>8</sup> В книге А. П. Чехова «Остров Сахалин» нет ни одного намека на знакомство писателя с А. С. Фельдманом. Незадолго до приезда Чехова на остров А. С. Фельдман был назначен смотрителем Дуйской тюрьмы (Центральный государственный архив РСФСР Дальнего Востока (г. Томск), ф. 1133, оп. 1, д. 319), однако в этой должности Чехов застал совсем другое лицо. Во время переписи сахалинского населения Чехов завел карточку на «канцелярского служащего Станислава Осиповича Казарского, смотрителя Дуйской тюрьмы» (ЦГАЛИ, ф. 549, оп. 1, ед. хр. 20, № 215). Путешествуя по югу Сахалина, писатель познакомился с сыном А. С. Фельдмана — С. А. Фельдманом, который через несколько лет писал Чехову: «Отец... жалеет, что у него нет таких же приятных воспоминаний, как у меня» (Антон Павлович Чехов. Сборник статей. Южно-Сахалинск, 1959, стр. 218).

Разумеется, может возникнуть предположение, не является ли автором интересующих нас воспоминаний Фельдман-младший, так как он действительно и встречался с Чеховым на Сахалине, и затем переписывался с ним? Однако это предположение следует решительно отвергнуть. В воспоминаниях речь идет о пребывании Чехова в северном — Александровском — округе Сахалина, а С. А. Фельдман сопровождал писателя в его поездках по южному — Корсаковскому — округу. Кроме того, в 1904 году С. А. Фельдмана в Херсоне не было.

<sup>9</sup> См., например, статью Л. Ницулина «Художник жизни» («Октябрь», 1959, № 6, стр. 223).

<sup>10</sup> Н. И. Гитович. Летопись жизни и творчества А. П. Чехова. Гослитиздат, М., 1955, стр. 277.



выше заметкой, спрашивала: «Многоуважаемый Антон Павлович, правда ли это, и если правда, то не подойдет ли это для нас?»<sup>11</sup>

Чехов, отвечая 28 июня 1893 года Л. Я. Гуревич, решительно отверг газетное сообщение: «...газетная заметка насчет пьесы из сибирской жизни — чистойшей выдумка. Я давно уже не писал пьес и не думаю писать их».<sup>12</sup>

Через месяц, отвечая на аналогичный вопрос П. И. Вейнберга, Чехов писал: «Пьесы из сибирской жизни я не писал. Это диффамация. Вообще никаких пьес я не пишу теперь».<sup>13</sup>

Но в тот же самый день, 28 июля 1893 года, в письме к А. С. Суворину, имея в виду ту же заметку в газете, писатель сообщал: «Пьесы из сибирской жизни я не писал и забыл о ней...»<sup>14</sup>

В данном случае Чехов высказывается не столь решительно, как в письмах к Гуревич и Вейнбергу: если он никогда не думал о создании «сибирской» пьесы, то как же он мог «забыть» о ней? Стало быть, хотя бы мысль о пьесе существовала. Но где уверенность, что это была мысль именно о «Генерале Кокете»?

Действительно, в 1892 году А. П. Чехов работал над каким-то не дошедшим до нас драматическим произведением. Об этом свидетельствует его письмо Суворину от 4 июня 1892 года. «Есть у меня интересный сюжет для комедии, — писал Чехов, — но не придумал еще конца. Кто изобретет новые концы для пьесы, тот откроет новую эру. Не даются подлые концы! Герой или женится, или застрелился, другого выхода нет. Называется моя будущая комедия так: „Портсигар“. Не стану писать ее, пока не придумаю конца такого же заковыристого, как начало. А придумаю конец, напишу ее в две недели».<sup>15</sup>

Может быть, именно этот свой замысел имел в виду Чехов, когда сообщал Суворину уже в 1893 году, что пьесы из сибирской жизни он не писал и забыл о ней. Но почему мы должны думать, что «Портсигар» и «Генерал Кокет» — названия одного и того же замысла?<sup>16</sup>

Нельзя забывать, что, кроме сообщения А. С. Фельдмана о «Генерале Кокете», в нашем распоряжении нет никаких других материалов, подтверждающих работу Чехова над этой комедией. Воспоминания же Фельдмана, который, как уже было сказано выше, с Чеховым никогда не встречался, не обладают должной достоверностью.

Но для чего же Фельдману нужно было придумывать версию о несуществующей чеховской комедии? Это было сделано им с явным корыстным расчетом.

Дело в том, что «Кокет» на Сахалине действительно существовал. Это было прозвище начальника острова генерала Кононовича.<sup>17</sup> Отношение к нему и отца и сына Фельдманов было крайне неприязненным. Судя по всему, они были вынуждены покинуть Сахалин вследствие «недовольства Кононовича».<sup>18</sup>

Кроме того, в архиве А. П. Чехова сохранилась следующая повестка на имя писателя: «Судебный следователь по Ялтинскому уезду... призывает Вас 17 октября 1898 г. в 1 час дня в камеру свою для допроса в качестве свидетеля по делу судебного следствия 3 участка г. Одессы о Кононовиче и Фельдмане (Сахалинские порядки)».<sup>19</sup>

В чем сущность этого дела — установить не удалось, да это в данном случае и не так важно. Важно то, что было какое-то судебное дело между Кононовичем и Фельдманом, и это еще раз свидетельствует о крайне напряженных отношениях между ними.

Примерно в это же время происходило другое судебное дело, также связанное с А. С. Фельдманом. Последний обвинил в клевете известного дореволюционного журналиста В. М. Дорошевича, побывавшего после Чехова на Сахалине и крайне резко отзывавшегося о тамошних «подвигах» Фельдмана.

В ходе предварительного следствия в качестве свидетеля выступал генерал Кононович, показания которого были неблагоприятны для Фельдмана. В. М. Дорошевич попытался привлечь в качестве свидетеля и А. П. Чехова. Чехов принять

<sup>11</sup> Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, ф. 331, к. 41, ед. хр. 39.

<sup>12</sup> А. П. Чехов, Полное собрание сочинений и писем, т. XVI, Гослитиздат, М., 1949, стр. 69.

<sup>13</sup> Там же, стр. 74.

<sup>14</sup> Там же, стр. 72 (курсив наш, — М. Т.).

<sup>15</sup> Там же, т. XV, стр. 388.

<sup>16</sup> Предположение А. Измайлова, что с комедией «Генерал Кокет» «должна быть отождествлена одноактная шутка „Сила гипнотизма“, о которой сообщил Н. Я. Щеглов» («Литературный Олимп», стр. 118), не имеет никаких оснований. Содержание «Силы гипнотизма», передаваемое Щегловым, никак не связано с сахалинскими впечатлениями писателя.

<sup>17</sup> См. об этом: Антон Павлович Чехов. Сборник статей, стр. 200.

<sup>18</sup> Там же, стр. 215.

<sup>19</sup> Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, ф. 331, к. 64, ед. хр. 59.

участия в процессе не смог, но прислал Дорошевичу телеграмму, которая настолько не понравилась Фельдману, что он даже возражал против ее оглашения в судебном заседании. «Приехать не могу, — телеграфировал Чехов Дорошевичу. — Рассчитывайте на оправдательный приговор. Он будет и должен быть».<sup>20</sup>

Теперь понятно, почему Фельдман выступил после смерти Чехова с воспоминаниями о нем, почему приписал Чехову комедию «Генерал Кокет». Его процесс с Дорошевичем к тому времени еще не окончился, и ему во что бы то ни стало необходимо было печатно рассказать о своих добрых отношениях с Чеховым, набросить тень на Кононовича, который якобы был высмеян в комедии Чехова «Генерал Кокет».

Всего этого, как нам кажется, достаточно для того, чтобы усомниться в достоверности воспоминаний А. С. Фельдмана «Чехов на Сахалине» и его сообщения о неизданной пьесе «Генерал Кокет».

Поэтому на вопрос: «Была ли у Чехова комедия „Генерал Кокет“?» — следует ответить отрицательно.<sup>21</sup>

М. ТЕПЛИНСКИЙ

## ПОВЕСТЬ XV ВЕКА И ФИЛЬМЫ XX ВЕКА

История князя-вампира Дракулы популярна в западной «кинематографии ужа-сов». Еще в 1922 году роман второстепенного английского писателя конца XIX—начала XX века Б. Стокера «Дракула» привлек внимание немецкого кинорежиссера Мурнау, поставившего по этому роману фильм «Носферату». С 30-х годов этот сюжет начинает разрабатываться американскими и английскими кинематографистами: появляются фильмы «Дракула», «Ужасы Дракулы», «Кровь Дракулы» и множество других вариаций на ту же тему.

Функция этих кинематографических «Дракул» несложна: по выражению одного американского автора, она сводится к тому, чтобы вызвать у зрителя «ощущение дрожи, не лишенное некоторой уютности».<sup>1</sup> Интереснее история сюжета, получившего столь неожиданную популярность в западной кинематографии. Едва ли режиссеры, вновь и вновь возвращающиеся к этой теме, знают, что избранный ими персонаж был героем повести, сложившейся почти пять веков назад в Московской Руси Ивана III.

Древнерусская «Повесть о Дракуле» была написана в 80-х годах XV века. Главное действующее лицо этой повести — «мутянский (валашский) воевода» Дракула — не менее мрачная фигура, чем его кинематографический двойник; но он не вставший из гроба покойник, а реальное лицо: прототипом его был князь Влад IV, правивший в Валахии в 50—70-х годах XV века и получивший прозвища Цепеша (т. е. сажателя на кол) и Дракулы. В отличие от своих кинематографических преемников древнерусский автор (возможно, дьяк Федор Курицын, известный дипломат и «еретик») вовсе не стремился просто напугать или позабавить свою аудиторию: в основе его рассказа лежала очень серьезная идея. Нарисованный им Дракула был не просто жестоким тираном-извергом, он был вместе с тем «зломудр» и искоренял зло в своем государстве: «Если кто совершит злое дело, воровство или разбой или какую-нибудь неправду, то не быть ему живу: будь это боярин, или священник, или инок, или простой человек, будь у него хоть какое богатство, — от смерти не откупится ничем. Так грозен был воевода».<sup>2</sup>

Образ жестокого государя, искоренявшего «зло» в своей стране, не мог не интересовать русского читателя XV—XVII веков: он несомненно ассоциировался у него с хорошо знакомыми ему политическими деятелями (Иваном III, а впоследствии и с его внуком Иваном Грозным). В румынской письменности, в отличие от русской, не сохранилось рассказов о Цепеше-Дракуле, но устные сказания о нем несомненно бытовали на его родине — именно к этим сказаниям восходят рассказы о Дракуле в русской повести, венгерской хронике Бонфини и немецких памятниках XV века. В румынском фольклоре продолжал и дальше жить образ Дракулы-злодея, «черта» («драку») и означает черт по-румынски) и образ Дракулы — жестокого, но справедливого государя. К образу Цепеша-Дракулы обращался и классик румынской литературы М. Эминеску. Несмотря на многие отрицательные черты Дракулы, Эминеску видел в нем одного из исторических героев румынского народа и противопоставлял героические традиции прошлого ничтожеству буржуазии своего времени:

<sup>20</sup> Дело В. М. Дорошевича. «Русь», 1904, № 341, 21 ноября (4 декабря).

<sup>21</sup> Надо отметить, что в книге М. Теплинского и Б. Бурятова «Чехов на Сахалине» (Южно-Сахалинск, 1956) воспоминания А. С. Фельдмана и его указание о комедии «Генерал Кокет» использованы безоговорочно, что, конечно, является ошибкой.

<sup>1</sup> В. Kirtley. Dracula, the Monastic Chronicles and Slavic Folklore. «Midwest Folklore», 1956, VI, 3, p. 133.

<sup>2</sup> Русские повести XV—XVI веков. Гослитиздат, М.—Л., 1958, стр. 260 (перевод Б. А. Ларяна).

Гений — сущее несчастье! Совесть — вредная химера!  
Только золото и праздность — ваши боги, ваша вера!  
Так оставьте же хоть мертвых, пусть они лежат спокойно  
Вы не только славы предков, их презренья не достойны.

Вспоминая одно из самых мрачных деяний Цепеша-Дракулы, когда тот созвал к себе на пир всех нищих страны, запер их и сжег, Эминеску призывал его поступить так же с недостойными потомками:

О приди, могучий Цепеш, и тяжелый сон развевь,  
Раздели их на две шайки, — на безумцев и злодеев.  
В две огромные темницы заточи их без раздумья  
И сожги огнем священным и тюрьму и дом безумья!<sup>3</sup>

Но «безумцы и злодеи», против которых были направлены сатиры Эминеску, вопреки призыву поэта не дали мертвому Дракуле «лежать спокойно», буквально вытащив его из гроба и сделав героем коммерческой литературы и кинематографии.

Английский романист Брем Стокер перенес Дракулу в новое время. Это тот же самый «воевода Дракула, который завоевал свою славу в борьбе с турками», но умерший и восставший из могилы.<sup>4</sup> К известиям о Дракуле, сохранившимся в русской повести и других источниках, Стокер присоединил еще фольклорные мотивы, собранные в восточноевропейских (возможно, славянских) областях — в частности популярные здесь истории о вурдалаках (ср. «Марко Якубовича» и шуточного «Вурдалака» в пушкинских «Песнях западных славян».)<sup>5</sup> Так деятель XV века стал героем банального «романа ужасов», переживавшего мотивы уже совершенно устаревших к тому времени «готических романов» А. Рэдклифф и др.

Столь же банальной и художественно неплодотворной оказалась разработка этого образа и в западной кинематографии. Из всех кинематографических воплощений «Дракулы» художественное значение имеет только фильм Мурнау: выдающийся немецкий режиссер смутно почувствовал исторический характер сюжета, изобразив, правда, не Валахию XV века, а Германию XVIII века, где любили говорить о вампирах-вурдалаках и даже сочиняли ученые диссертации «О том, как грызут и чавкают мертвецы». Все остальные кинематографические «Дракулы» — это второсортные «фильмы ужасов». Князь XV века не подходил под «мушкетерский» стандарт исторического фильма; удобнее было рассматривать его как вампира.

Кинематографические воплощения «Дракулы»<sup>6</sup> отличаются от своего литературного прототипа XV века не тем, что они изображают валашского князя более ужасным, чем это делала древняя повесть. Напротив, Дракула русской повести, пирующий и принимающий гостей под колыями, на которых разлагаются трупы, страшнее бутфорского вампира с фосфоресцирующими глазами. И если тот же Дракула в повести оказывается еще и «зломудрым», если он подшучивает и задает своим жертвам загадки, казняя тех, кто ответил неверно, то от этого его фигура становится не более привлекательной, а более объемной, более выразительной. Эта особенность древнерусской повести тем более заслуживает нашего внимания, что она в значительной степени выделяет ее из числа других памятников литературы того времени. Характерной чертой большинства произведений древнерусской литературы, как это неоднократно отмечалось исследователями, был прямолинейный «воинствующий дидактизм», «черно-белое», однолинейное изображение всех персонажей. Создав образ «зломудрого» Дракулы, безжалостного тирана и нелюбимого судьбы, русский писатель XV века приблизился к решению задачи, которая во всей полноте стала перед русской литературой лишь в XVII веке — задачей изображения сложного человеческого характера.<sup>7</sup>

<sup>3</sup> М. Эминеску. Стихи. М., 1958, стр. 210 (перевод И. Миримского).

<sup>4</sup> Bram Stoker. Dracula. Westminster, 1904, p. 246; русский перевод: Брем Стокер. Вампир (Граф Дракула), т. II. Библиотека «Синего журнала». СПб., 1913, стр. 253. Любопытно отметить, что несмотря на весьма сомнительные достоинства романа Стокера, он произвел в свое время сильное впечатление на А. А. Блока, «независимо от литературности» (Письма Ал. Блока к Е. П. Иванову. Ред. и пред. Ц. Вольпе. М.—Л., 1936, стр. 66).

<sup>5</sup> Американский исследователь Б. Кёртли (B. Kirtley. Dracula, the Monastic Chronicles and Slavic Folklore, p. 136) предполагает, что из русской повести Стокер заимствовал рассказ о том, как Дракула, сидя в заключении (в романе Стокера этот мотив перенесен на другого человека — безумца Ренфилда), ловил птиц и живьем ощипывал их; по мнению Б. Кёртли, сведения о Дракуле Б. Стокер мог получить от известного венгерского ученого Арминия Вамбери.

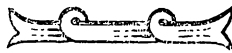
<sup>6</sup> Пользуюсь случаем выразить благодарность сотрудникам Государственного фильмофонда СССР за возможность ознакомиться с фильмами о Дракуле.

<sup>7</sup> Ср.: Д. С. Лихачев. Человек в литературе древней Руси. Изд. АН СССР, М.—Л., 1958, стр. 7—26.

Именно эта особенность «Повести о Дракуле» делает сопоставление столь «далековатых» явлений, как древняя повесть и фильмы XX века, небесполезным для постановки некоторых вопросов современного искусства. Перед советским искусством не раз вставала и еще будет вставать задача воплощения исторических и литературных персонажей древности. Конечно, едва ли кто-либо из советских художников заинтересуется образом Цепеша-Дракулы — этот образ мог бы скорее привлечь их румынских коллег. Но фигуры русского исторического прошлого, и в первую очередь двойник Дракулы — царь Иван Васильевич Грозный, неоднократно привлекали внимание мастеров советского искусства. И тут обнаруживается странное явление. Современное искусство, обладающее многочисленными средствами контрастного и сложного изображения людей, при воплощении исторических персонажей далекого прошлого как бы возвращается к литературным приемам этого прошлого, тем приемам однолинейного изображения, которые успешно преодолевал уже русский автор «Дракулы». От этой опасности не уберечься даже самое молодое из искусств — кино. В «Хождениях за три моря» действует сугубо добродетельный оперно-сусальный Афанасий Никитин и черный португальский злодей Мишка. И даже у такого замечательного художника, как С. М. Эйзенштейн, при изображении Александра Невского и Ивана Грозного преобладает «житийный» метод. В период культа личности Сталина фильм Эйзенштейна осуждался за недостаточно сильное прославление Ивана Грозного; ныне мы предъявляем этому фильму совсем иные претензии. Было бы нелепо сравнивать крупнейшего мастера мирового кино с халтурщиками, выпускающими «Дракул», обращаясь к образу Ивана IV, Эйзенштейн очень серьезно занимался Россеей XVI века. Но по-настоящему почувствовал и в какой-то степени передал он только древнерусскую живопись (и то скорее через Врубеля, чем непосредственно); исторический и литературный материал древней Руси оказался от него очень далек. Отсюда и такие ляпсусы, как именование Ивана IV первым государем, объединившим русские княжества в единое государство (хотя, если уже приписывать эту заслугу какому-то определенному лицу, то следовало бы скорее назвать Ивана III), и превращение Малюты Скуратова в «человека из народа» и участника восстания 1547 года или такая «развесистая клюква», как роман Андрея Курбского с Анастасией Романовой. Но главное — это, конечно, однолинейность изображения Ивана Грозного (особенно в первой серии фильма), превращение его в положительного героя, близкого к тем «идеальным героям», которые культивировались во многих произведениях беллетристики тех лет. Нужно ли изображать Ивана IV «рыкающим зверем», как это делалось в старых немых фильмах? Вероятно, это было бы столь же художественно и исторически непродуктивно, как и идеализация Грозного. Конечно, передать средствами искусства сложное понятие «исторически прогрессивной феодально-самодержавной власти» очень трудно, но едва ли невозможно. Действует же у Пушкина в «Борисе Годунове» Борис — детоубийца и мудрый государь и Самозванец — «хоть вор, а молодец». В некоторых же сценических воплощениях Самозванец, к сожалению, остается только вором и даже мелким ворышкой.

Проблема изображения людей далекого прошлого в художественных произведениях нашего времени заслуживает серьезного внимания. Исторические и литературные герои древней Руси могут и должны воплощаться современным искусством — и, конечно, не в виде кинематографических «Дракул».

Я. ЛУРЬЕ



# ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Г. ДИК  
(ГДР)

## ЧЕХОВ В ГЕРМАНИИ

Антон Чехов, наряду с Львом Толстым, Достоевским и Тургеневым, принадлежит к числу наиболее популярных в Германии представителей русской классической литературы. Он стал известен здесь в начале 90-х годов, т. е. как раз в то время, когда в литературе появилось направление немецкого натурализма. Это направление вызвало у немецких читателей снова большой интерес к русской литературе, оказавшей немалое влияние на развитие немецкого натурализма, — достаточно только напомнить, что на Гергарта Гауптмана сильно повлияла социальная тематика пьес Льва Толстого, в первую очередь его драма «Власть тьмы».

Однако, несмотря на широкое распространение произведений А. П. Чехова, его в Германии долго недооценивали. В связи с этим показательны отзывы знаменитых современных немецких писателей, утверждавших почти без исключения, что с Чеховым как писателем они познакомились очень поздно, но зато тем больше научились его ценить. Так, например, Герман Гессе называет Чехова своей «поздней любовью» и говорит, что Чехов стал одним из его любимых писателей, после того как он познакомился с его произведениями. Томас Манн только на старости лет понял и оценил Чехова, посвятив ему незадолго до своей смерти сердечный очерк. Правда, несколько десятилетий тому назад драмы Чехова произвели сильное впечатление на некоторых немецких писателей, в том числе на Гауптмана, литературные отношения которого к Чехову являются интересной главой в истории немецко-русских взаимоотношений. Р. М. Рильке перевел на немецкий язык «Чайку», о чем он сообщает в письме, написанном в 1900 году; к сожалению, рукопись перевода до сих пор не найдена. Недавно умерший Лион Фейхтвангер сочинил в 1920 году драму «Американец», которая, по его собственным словам, была написана под сильным влиянием «Вишневого сада». Все эти факты стали известны лишь в последнее время.

Популярность Чехова и интерес к русской литературе вообще не были в Германии всегда одинаковы. Можно наметить три периода, когда произведения Чехова пользовались здесь особенным вниманием: конец 90-х годов, первые десять лет по окончании первой мировой войны и период после разгрома фашизма, продолжающийся до наших дней.

В 1890 году в Лейпциге под заглавием «Русские люди» вышел в свет первый сборник рассказов и повестей Чехова, в котором были напечатаны, в частности, рассказы «Несчастье», «Ванька» и «Тоска». В следующем году тот же переводчик Иоханнес Трейман издал маленький томик «В сумерках», в который вошли восемь рассказов Чехова. Эти первые сборники нашли отклик уже в 1892 году в берлинском журнале «Die Gegenwart», где литературовед Карл Буссе опубликовал статью «Новый русский писатель». С замечательной проникновенностью автор высоко оценил талант Чехова и поставил его на один уровень с Тургеневым, Толстым и Достоевским. Но на эту статью не обратили большого внимания, и прошли годы, пока широкий круг читателей познакомился с талантом Чехова.

В 1896 году орган социал-демократической партии Германии журнал «Neue Welt» напечатал впервые повесть Чехова «Враги». В том же году в Мюнхене начал издаваться позднее знаменитый сатирический журнал «Simplicissimus», который уже на втором году существования опубликовал несколько маленьких рассказов Чехова.<sup>1</sup> Главный редактор этого журнала, превосходный переводчик Корфиц Гольм, издал одновременно первый немецкий перевод повести «Дуэль». Кроме того, в 1897 году вышли из печати еще два тома рассказов и повестей Чехова. Таким образом, Чехов стал известен широкой публике. Интерес немецких читателей и переводчиков к Чехову был таким большим, что они просили его не раз опубликовать новые произведения одновременно на русском и на немецком языках. Венский еженедельник «Die Zeit» в 1902 году обратился к Чехову с просьбой написать для журнала рассказ, предложив ему за это самый высокий гонорар, который тогда получали немецкие писатели.

С 1902 по 1905 год в Германии вышли в свет не менее 42 изданий произведений Чехова, в том числе и драмы (в 1902 году вышли из печати, например, три различных перевода «Чайки»). К этому времени относится и издание первого

<sup>1</sup> См.: «Simplicissimus», 1897, №№ 1, 6, 12.

собрания сочинений Чехова, выпущенное в пяти томах издательством Дидерихс в Лейпциге.<sup>2</sup>

Теперь и литературная критика начала уделять внимание новому русскому писателю. Однако, несмотря на ряд метких наблюдений, творчество Чехова в общем было освещено односторонне и неверно.<sup>3</sup> На писателя смотрели как на заурядного юмориста или как на безысходного пессимиста.

Первой чеховской пьесой, показанной на немецкой сцене, была «шутка в одном действии» «Медведь», впервые представленная в октябре 1900 года в Берлине. Первой из больших драм — «Чайка», премьера которой состоялась в 1902 году в городе Бреслау. Однако эти спектакли не имели успеха; здесь случилось то же самое, что на родине Чехова, где его драмы имели успех только в гениальных постановках Московского Художественного театра. Весной 1906 года театр Станиславского и Немировича-Данченко посетил во время своей первой заграничной поездки Берлин, где показал, между прочим, «Дядю Ваню» и «Три сестры» в московской постановке. Спектакли произвели сильное впечатление; немецкие газеты отзывались с похвалой о Чехове-драматурге и о великолепной игре московской группы. Среди восторженных зрителей был Гергарт Гауптман.

Однако после революции 1905 года и следовавшего за ней периода реакции интерес немецкой публики к русской литературе заметно понизился. Десятилетие со дня смерти великого писателя в июле 1914 года не вызвало отклика в немецкой печати — это понятно, если принять во внимание, что Германия в то время стояла на пороге первой мировой войны. Только «Die neue Zeit», еженедельный журнал социал-демократической партии, опубликовал тогда статью, умно оценивающую произведения Чехова, прежде всего его драмы; автор назвал Чехова «оптимистическим писателем первого разряда».<sup>4</sup>

Во время первой мировой войны в Германии перестали интересоваться русской и иностранной литературой вообще: в эти годы были изданы только три немецких сборника произведений Чехова. Тем более удивительно, что как раз во время войны был впервые поставлен на немецком языке в Вене (в октябре 1916 года) «Вишневый сад». Перевод этой комедии появился еще в 1912 году в Мюнхене, в нем принимал участие Лион Фейхтвангер. Этот писатель очень ценил последнюю пьесу Чехова и дал о ней положительный отзыв в известном политическом журнале «Die Schaubühne».<sup>5</sup> Несколько лет спустя Фейхтвангер написал пьесу «Американец, или Заколдованный город», на которую немало повлиял, как указано выше, чеховский «Вишневый сад». В октябре 1918 года, как раз перед началом революции в Германии, «Вишневый сад» был наконец поставлен в Берлине. Спектакль в Народном театре (Volkstheater) имел исключительный успех. Причиной этого успеха была не только прекрасная постановка режиссера Ф. Кайслера и выдающаяся игра актеров, но и условия того времени, благоприятные для восприятия пьесы, в которой символически был показан конец прежних дворянских гнезд. Это является интересной параллелью к реакции на спектакль «Вишневый сад» в Московском Художественном театре в октябре 1917 года, когда, по воспоминаниям Станиславского, пьеса, вопреки всем ожиданиям, была с восторгом встречена новой публикой в дни революции.

По окончании войны в Германии вновь пробудился интерес к иностранной литературе. В связи со всемирно-историческим переворотом в России интерес к русской литературе естественно сильно вырос. Наряду с Львом Толстым и Достоевским, у которых испуганная политическими событиями немецкая буржуазия надеялась найти утешение, и с Максимом Горьким, которым особенно интересовались левые, новое возрождение в Германии пережил также Чехов. С 1918 по 1920 год вышло не менее десяти изданий Чехова, в том числе и новое пятитомное собрание сочинений. Хотя в этом собрании широко были представлены серьезные произведения писателя, юмористические рассказы количественно все же преобладали, так что для немецкой публики Чехов оставался в первую очередь писателем-юмористом. В 1926 году вышел сборник серьезных повестей Чехова, изданный известным переводчиком и литературоведом Артуром Лютером. В этом томике было много блестящих повестей, в том числе такие шедевры, как «Палата № 6», «Человек в футляре» и «Невеста», впервые переведенные на немецкий язык. Тот же переводчик А. Лютер — автор «Истории русской литературы».<sup>6</sup> Здесь Лютер, так же как и другие литературоведы, оценивал Чехова как пессимиста, но не умалял к мягкому, приветливому характере писателя, об его «искренней и робкой любви к людям и жизни». Лютер не касался социальных вопросов, выдвинутых Чеховым, и хотя автор не мог отрицать того, что у писателя во многих произведениях сквозит вера

<sup>2</sup> Anton Tschschoff, Gesammelte Werke, Bd. I—V, Verlag Eugen Diederichs, Leipzig—Jena, 1901—1904.

<sup>3</sup> См., например: Dorn. Neues aus der Weltliteratur. «Frankfurter Zeitung», 1903, 10 I; H. Benzmann. Russische Dichter. «Hannoverscher Courier», 1903, 1 VI.

<sup>4</sup> I. Axelrod. Anton Tschschoff. «Die neue Zeit», 1914, № 15.

<sup>5</sup> L. Feuchtwanger. Der Kirschgarten. «Die Schaubühne», 1916, № 33.

<sup>6</sup> A. Luthers. Geschichte der russischen Literatur. Leipzig, 1924.

в лучшее будущее, он все же убежден, что Чехов только «находил утешение в мечтах своих героев». Подобные ошибки в истолковании творчества писателя были характерны не только для ряда историко-литературных работ, но и для статей, появившихся в связи с двадцатипятилетием со дня смерти писателя в июле 1929 года в некоторых немецких газетах и журналах. Лишь в «Истории всемирной литературы» 1931 года<sup>7</sup> Чехов был охарактеризован как зрелый, объективный наблюдатель окружающей жизни. По мнению автора, Чехов хотя и описывал серый и безрадостный мир, он все-таки не оставлял надежды на светлое будущее. Сильнейшим оружием писателя является его юмор, его разоблачительная сатира. О пьесах Чехова в книге говорится, что в них отражается европейский кризис конца XIX века, так же как в «Одиноких» Гауптмана или в импрессионистических пьесах Шницлера.

После окончания первой мировой войны чеховские драмы снова появились на немецкой сцене. Кроме одноактных пьес, играли главным образом «Чайку» и «Дядю Ваню». Странно, что «Вишневый сад» после блестящей постановки в 1918 году целых 20 лет не видел больше немецкой сцены. «Три сестры» были поставлены на немецком языке лишь в 1926 году в берлинском Шиллеровском театре. Странным является также тот факт, что знаменитый режиссер Макс Рейнгардт, большой поклонник Станиславского, поставил за все время своей деятельности в Берлине только одну пьесу Чехова и не из числа лучших — он выбрал «Иванова», который был показан осенью 1919 года. Это была единственная постановка «Иванова» на немецком языке. Кроме «Иванова», была еще другая малоизвестная пьеса Чехова, увидевшая свет на немецких подмостках: это четырехактная пьеса без заглавия, которая была написана около 1880 года, но не окончена автором. Пьеса была переведена на немецкий язык писателем Р. Фюлеп-Миллером, переработана и издана в 1928 году в Мюнхене под названием «Литиний человек Платонов». В том же году она была поставлена в театре города Гера, в Тюрингии. (В 1959 году эта пьеса была снова переведена, переработана и поставлена в Штутгарте).

Этот интерес к русской литературе в целом и к творчеству Чехова в частности в Германии проявлялся примерно в течение десяти лет после окончания первой мировой войны. В 1929 году этот период закончился. Начинаясь экономический кризис и в связи с этим рост реакционных сил были тому причиной. Во время фашизма прекратились все культурные и литературные связи с Советским Союзом. Лишь с 1938 до 1941 года вышли из печати пять изданий произведений Чехова, в том числе и первый перевод повести «Степь». В то же самое время на немецкой сцене появились, кроме одноактных пьес, и драмы «Чайка», «Три сестры» и в первый раз после 1918 года «Вишневый сад». С началом войны издания произведений Чехова и постановки его пьес в театрах, естественно, прекратились.

После 1945 года зарубежная литература хлынула в Германию в еще большем объеме, чем после первой мировой войны. Большую часть составляла классическая русская и современная советская литература, с которой широкие круги немецкого народа познакомилась только теперь. Для молодого поколения русская литература была чем-то совсем новым — это касалось также Антона Чехова.

В 1947 году знаменитый славист Р. Траутман издал первый том с блестящими повестями и рассказами Чехова; среди них были впервые опубликованные на немецком языке «Случай из практики» и «Рассказ старшего садовника». В предисловии к этому изданию Траутман писал: «Литературный портрет Чехова, созданный несколько лет тому назад в Германии, сегодня потускнел и поблек. Его место должен занять новый, правдивый портрет, отвечающий действительности, который со всей ясностью показывает глубокое значение этого великого писателя».<sup>8</sup> Траутман пытался сам указать ряд черт в новом чеховском портрете.<sup>9</sup> При этом он рассматривал писателя на фоне исторических и литературных событий его времени. В работе Траутмана есть недостатки, но все же его зарисовки по сравнению с теми, которые до сих пор печатались на немецком языке, были несомненно шагом вперед. Положительным являлось у Траутмана также то, что он часто цитировал Максима Горького, ценные замечания которого о Чехове намеренно игнорировались немецкой критикой.

Траутман показал на ряде примеров, как Чехов раскрывал в своих рассказах противоречия и несправедливость общественной жизни России того времени. Если Чехов и не давал рецепта против зла — он как художник не видел в этом своей задачи, то он все же с детства верил в победу прогресса. В последний период своей жизни он пришел к твердому убеждению, что жизнь как-то должна измениться. Траутман приводит слова Станиславского, который говорил, что Чехов был самый большой оптимист, которого он только видел. Вопрос же о том, был ли Чехов как писатель оптимистом или пессимистом, Траутман считает второстепенным. Эти черты нового чеховского портрета были впоследствии в Германской Демократиче-

<sup>7</sup> Weltliteratur der Gegenwart. Hrsg. v. Wilhelm Schuster, Max Wieser. Bd. 1, 2, Berlin, Sieben-Stäbe-Verlag, 1931.

<sup>8</sup> A. P. Tschschow. Meistererzählungen. Leipzig, 1947, S. VII.

<sup>9</sup> Особенно в очерке «Tschechow als Novellist» (Turgenjew und Tschschow. Leipzig, 1948).

ской Республике уточнены монографией Ермилова, переведенной на немецкий язык в 1951 году. В 1954 году — юбилейном году Чехова — книгу Ермилова много цитировали и почти все придерживались его интерпретации.

В Западной Германии дело обстоит иначе. Если в первое время после второй мировой войны там вышли различные издания Чехова, которые могли удовлетворить даже высокие требования (например, сборник «В полумраке жизни», перевод русского издания 1945 года «Избранные рассказы»), то начиная с 1950 года картина меняется. В то время как до 1949 года в обеих частях страны издавалось почти одинаковое количество книг Чехова, в период от 1950 до 1960 года на 26 книг, изданных в ГДР, приходится только 13 в Западной Германии.

Различное отношение к творчеству Чехова в ГДР и Западной Германии характеризуется не только количеством изданных книг. В ГДР все больше проявляется интерес к общественно-критическому изображению жизни у Чехова, в Западной Германии этой стороной творчества писателя интересуются все меньше. Наибольшее внимание там привлекают рассказы, в которых ищут подтверждения религиозности Чехова, как например «Студент», «Святой ночью», «Свирель» или «Архиерей». Много раз издана западногерманскими издательствами повесть «Дуэль», в которой социально-критические вопросы тоже не стоят на первом плане. Только в 1958 году в Мюнхене вышел томик с произведениями Чехова, в который вошли повести «Мужики», «В овраге», «Палата № 6» и «Степь», а также пьесы «Иванов», «Дядя Ваня» и «Три сестры».

Многотомного издания произведений Чехова в Западной Германии до сих пор еще нет; в ГДР же берлинское издательство Рютен и Ленинг выпустило собрание сочинений в 8 томах, где впервые на немецком языке напечатаны письма писателя и перевод почти неизвестного в Германии «Острова Сахалина». В Западной Германии все еще пытаются согласовать якобы пессимистическое мировоззрение писателя с его пророчеством лучшего будущего. В различных историях русской литературы, вышедших в ФРГ, как и в предисловиях к чеховским сборникам, оценки творчества писателя напоминают оценки, существовавшие в 20—30-е годы. Так, например, мы читаем у Леттенбауера: «Госка, безысходная скорбь чувствуются во многих образах Чехова»; «Во многих позднейших повестях юмор своеобразно соединяется с глубоким пессимизмом».<sup>10</sup> В предисловии к вышеупомянутому сборнику «В полумраке жизни» переводчик Г. Кайсер не нашел ничего лучшего, как высказать мнение, что «пессимистическая и разрушительная тенденциозность половины п конца XIX века» нашла в Чехове яркого представителя. Датский славист А. Стендер-Петерсен, «История русской литературы» которого вышла из печати на немецком языке в западногерманском издательстве,<sup>11</sup> отождествляет писателя с героями его произведений: «Чехов как художник был певцом усталого, безнадежного поколения и ярким представителем пессимистической интеллигенции». В широко распространенном «Словаре мировой литературы» Г. Понгса<sup>12</sup> мы также встречаемся с полным непониманием как творчества, так и характера Чехова: «Презрение к человеку и какой-то злорадный юмор стоят на одном уровне».

Однако нельзя не заметить, что эта традиционная оценка Чехова вызывает порой сомнение. Например, в западногерманской энциклопедии Брокгауза мы читаем следующее: «[Чехов] рассматривается как представитель разочарованного, пессимистического мировоззрения; этому противоречит, однако, его высоко развитое чувство юмора, так часто им высказанная вера в лучшее будущее человечества».<sup>13</sup> Может быть, эта характеристика Чехова обязана своим появлением прекрасному очерку Томаса Манна, написанному незадолго до его смерти и посвященному памяти русского писателя, которого он высоко ценил.<sup>14</sup> Для Манна, считавшего творчество Чехова-новелиста «равноценным лучшим произведениям европейской литературы», основной чертой Чехова является преклонение перед трудом, что между прочим особенно отмечал Максим Горький. Томас Манн также понял, что Чехов не был сторонником безропотного смирения и безразличного отношения ко всему происходящему. Чехов представлял картину идеального социального строя, где истина и красота будут соединены восдино с трудом. Для великого немецкого писателя знаменательной для Чехова последних лет является фраза из повести «Невеста»: «Главное — перевернуть жизнь, а все остальное не нужно». Очерк Томаса Манна является заметным достижением в изучении Чехова.

Что касается научных работ, посвященных различным проблемам творчества Чехова, а также его восприятию на Западе, то можно упомянуть написанные в последние годы следующие диссертации: А. Магазанк. Влияние и рецепция Чехова в Англии (1948); Г. Ауцингер. Остроумие Чехова (1956); Ф. Базлер. Гоголь и Чехов (1956); Г. Дик. Чехов в Германии (1956).

<sup>10</sup> W. Lettenbauer. Kleine russische Literaturgeschichte. München, 1952.

<sup>11</sup> A. Stender-Petersen. Geschichte der russischen Literatur. München, 1957.

<sup>12</sup> H. Pongs. Das kleine Lexikon der Weltliteratur. 2. Auflage, Stuttgart, 1956.

<sup>13</sup> Der Große Brockhaus, 16. Auflage, Bd. 11, Wiesbaden, 1957, S. 663.

<sup>14</sup> См.: «Sinn und Form», 1954, № 5—6; «Новый мир», 1955, № 1.



В связи с юбилеем Чехова в 1960 году интерес к его творчеству, особенно в Германской Демократической Республике, вновь усилился. Тут готовились к этому юбилею, организаторами которого были Общество германо-советской дружбы и Немецкий союз культуры. Большую помощь оказали при этом институты славяноведения при университетах и педвузах, члены которых выступили на заводах, в клубах и школах. В немецких газетах и журналах были в это время опубликованы многочисленные статьи, оценивающие подробно творчество Чехова. В книжных магазинах появились новые издания чеховских повестей; впервые вышел из печати перевод «Острова Сахалина», хорошо принятый немецкими читателями. Появилась новая монография о Чехове.<sup>15</sup>

В Западной Германии в юбилейные дни также в некоторых газетах были напечатаны статьи памяти Чехова, но широких форм празднование этого юбилея не приняло. Только театры в обоих германских государствах стремились дать возможно хорошие постановки чеховских пьес. Уже в 1959 году театр во Франкфурте-на-Майне поставил «Вишневый сад», а в Штутгарте была показана пьеса без названия, о которой уже говорилось, под заглавием «Этот Платонов». Театр в Ольденбурге поставил год назад впервые в Германии комедию «Леший», представляющую интерес только как первый вариант «Дяди Вани»; этому примеру последовал в 1960 году театр в Лейпциге.

В Берлине в так называемом «Шлосспарк-театре» с 1959 года играли «Дядю Ваню», 50-я постановка которого состоялась в день столетия со дня рождения Чехова. В 1960 году в театре впервые были показаны «Три сестры», а в следующем году «Вишневый сад». Этот же театр устроил в день юбилея чеховский утренник, подобно Немецкому театру в восточной части Берлина. Следует еще отметить хорошие постановки «Вишневого сада» в Веймаре и в Потсдаме, а также удачный спектакль «Чайка» в Ростоке.

Говоря о постановках чеховских пьес на немецкой сцене в целом, следует отметить, что из больших драм Чехова «Чайка» все еще является самой популярной пьесой в Германии. Правда, «Чайке» почти не уступает «Вишневый сад», который скорее перегонит «Чайку» по количеству постановок. Небезынтересно, что одноактная пьеса «Предложение» была положена на музыку немецким композитором Г. Реттгером и удачно поставлена в Магдебурге. Этот спектакль передавали также по телевизору. Много других произведений Чехова можно было в последнее время видеть и слышать на экране и по радио.

Юбилей Чехова в 1960 году способствовал усилению интереса к творчеству этого великого русского писателя в Германии и прежде всего в ГДР.

**Н. ПРУЦКОВ, М. МАЛЬЦЕВ**

## АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭСТЕТИКИ В. Г. БЕЛИНСКОГО\*

В последние годы проблемы эстетики широко и плодотворно разрабатывались в советской науке. Естественно, что в условиях крутого подъема научно-эстетической мысли в нашей стране повысился интерес и к конкретным эстетическим учениям выдающихся деятелей русской литературы и критики, философии и общественной мысли. Среди них одно из первых мест принадлежит В. Г. Белинскому, основоположнику научной эстетики, одухотворенной идеями философского материализма и идеалами русской революционной демократии. Эстетическая система великого новатора теории искусства в высшей степени сложное и развивающееся явление, охватывающее не только историческое, но и глубоко современное значение. Анализ этой системы можно и нужно вести разными способами и в различных аспектах. При этом крайне необходимы объединенные усилия литературоведов, представителей эстетической науки и философии. Таким комплексным исследованием в настоящее время уже положено солидное основание.

В 1959 году вышла книга А. Лаврецкого «Эстетика Белинского».<sup>1</sup> Она явилась результатом многолетнего вдумчивого и упорного труда. Автор проделал значительную работу по выявлению, систематизации и комментированию эстетических идей, «разбросанных» в различных статьях гениального русского критика и исследователя-мыслителя. Опираясь на этот тщательно собранный материал, исследователь поставил перед собою задачу — сконструировать целостную эстетическую систему В. Белинского, восполнить отсутствующие в ней звенья, установить связь между этими звеньями, домыслить возможный ход теоретической мысли критика и т. п. В результате такой работы возник труд, который можно назвать

<sup>15</sup> W. Düwel. Anton Tschschow, Dichter der Morgendämmerung. Halle, 1961.

\* Н. А. Гуляев. В. Г. Белинский и зарубежная эстетика его времени. Изд. Казанского университета, 1961.

<sup>1</sup> А. Лаврецкий. Эстетика Белинского. Изд. АН СССР, М., 1959.

путеводителем или энциклопедией по эстетическим высказываниям Белинского. Бесспорная ценность подобного рода книги очевидна. Она вводит в обширный, оригинальный и увлекательный мир эстетических идей великого мыслителя. Но книга А. Лаврецкого при всех достоинствах разочаровывает читателя. Прежде всего глубоко не удовлетворяет использованный автором метод логического анализа и конструирования (за Белинского!) его эстетической системы. Рассмотрев, к примеру, главные критерии художественности у Белинского, А. Лаврецкий далее говорит: «...мы на основе этих критериев можем перейти к построению (!) его (Белинского, — М. М., Н. П.) эстетического идеала».<sup>2</sup> Исследователь считает возможным при анализе литературно-эстетического наследия использовать приемы конструирования, восстановления и угадывания недостающего. Здесь автор пользуется методом исследователя материальной культуры или мертвых языков.

А. Лаврецкий, конечно, имеет субъективные основания идти именно таким путем. В результате сосредоточенного аналитического изучения текстов Белинского он не только в совершенстве овладел его идеями, но и логикой его мысли, разгадал характер и формы его мышления и как бы полностью «переселился» в эстетический мир критика. Ясно, что такой исследователь чувствует себя вправе воспроизвести и проанализировать эстетическую теорию Белинского способом ее конструирования и логического разбора. Содействовали этому и индивидуальные особенности исследователя, присущая ему выдающаяся способность проникновения в логику чужих отвлеченных идей. Но даже и эти благоприятные предпосылки не спасли труд А. Лаврецкого от серьезных недостатков. Книга получилась у него, конечно, оригинальная и в своем роде неповторимая, но — и так в истории науки бывает — выраженная в ней сила логического мышления обернулась против автора. Он впал в односторонность, увлекся излишней регламентацией и конструированием эстетических суждений Белинского, отступил от конкретно-исторического принципа исследования. Живая, развивающаяся в противоречиях и многогранная эстетика Белинского, проникнутая пафосом неутомимых и мучительных исканий и революционной борьбы, слившаяся со всем нравственным миром гениального критика, почти «пропала» в книге Лаврецкого, явилась в ней в приглаженном виде, строго «разложенной» по полочкам категорий и законов.

А. Лаврецкий справедливо говорит о необходимости соблюдения принципа единства логического и исторического в научном исследовании. Однако в ходе конкретного анализа автор решительно забывает об этом руководящем правиле и увлекается логикой, описанием и толкованием идей. Его мысль неизменно движется от одной цитаты к другой, и он впадает в иллюстративность. Такой способ исследования и научного повествования (назовем его «идеографией») широко распространялся в работах о русских революционных демократах. А. Лаврецкий — давний и самый талантливый представитель подобного метода. Конкретно-исторический и социологический анализ эстетических идей самое слабое звено в цепи научной аргументации автора.

В 1961 году появилось другое исследование, посвященное эстетике В. Г. Белинского. Мы имеем в виду книгу Н. А. Гуляева «В. Г. Белинский и зарубежная эстетика его времени». Написана она не столь талантливо, как книга А. Лаврецкого. Но несомненны объективные научные достоинства книги Н. Гуляева. Заключение они прежде всего в использованном им методе исследования. Конкретно-исторический и социологический анализ является душой этого метода. Могут заметить, что у Н. Гуляева были иные, чем у Лаврецкого, предмет и аспекты исследования. Действительно, полного совпадения здесь нет. Задача А. Лаврецкого заключалась в том, чтобы воссоздать эстетическую систему Белинского в ее основных проблемах и категориях. Н. Гуляев же преследует иную цель. Он рассматривает движение зарубежной эстетической мысли, предшествующей Белинскому и ему современной, всесторонне раскрывает соотношение проблем и категорий эстетики Белинского со всем кругом идей, выработанных мировой эстетической наукой, философией и художественной практикой. Но «сердцевинной» книги Н. Гуляева остается все же литературно-эстетическая система Белинского в ее общих теоретических основах и конкретном развитии. И к своему основному предмету исследования автор подошел, повторяем, исторически и социологически. На этом пути он достиг весьма плодотворных результатов.

Н. Гуляев впервые в истории науки создал фундаментальную книгу об эстетике Белинского в ее соотношениях с зарубежными эстетическими учениями. Автор очень убедительно, наглядно показал, какой вклад внес русский мыслитель-революционер в мировую эстетическую теорию своего времени. Существенно и то, что Н. Гуляев стремится показать, в силу каких социально-исторических причин Белинский оказался способным возвыситься над современной ему буржуазной эстетической мыслью и в отдельных случаях приблизиться к идеям основоположников научного социализма. Это объяснялось не только гениальностью критика, исключительно развитым в нем эстетическим чувством, поэтичностью его природы, слившейся с темпераментом и социальной зоркостью революционера. Накал рус-

<sup>2</sup> Там же, стр. 139—140.

ской революционно-освободительной борьбы 40-х годов, бурное развитие философской мысли России по пути материализма и диалектики, интенсивное формирование критического реализма в отечественной литературе, всестороннее освоение и переработка опыта зарубежных революций, социальных учений и философско-эстетической мысли — все эти процессы, совершавшиеся в русской национальной жизни, определили формирование взглядов великого критика.

Естественно, что Н. Гуляев обратил особое внимание на то, как эстетические идеи Белинского органически сливались с его революционно-демократической позицией, «питались» ею и служили ей. «Исторической заслугой Белинского, — подчеркивает автор, — было то, что он первый связал вопрос о глубине и правдивости изображения действительности с революционно-освободительным движением» (стр. 70). Напряженная борьба Белинского за критический реализм в литературе, разработка им теории критического реализма имели глубочайший революционный и социалистический смысл, служили задачам пробуждения и воспитания общественного самосознания народа и интеллигенции, возбуждения в передовом обществе революционной энергии. Из книги Н. Гуляева становится ясно, почему русские революционеры всегда уделяли столь большое внимание казалось бы отвлеченным проблемам эстетики. Самая сущность искусства, его коренные цели, присущие ему идеалы имеют революционизирующий и гуманизующий смысл. Белинский разгадал этот смысл и создал такую теорию искусства, которая звала художников к сознательному вторжению в жизнь, к беспощадной борьбе за ее социальное преобразование, к служению великому делу воспитания нового человека. Искусство и эстетика, революция и социалистический идеал слились в одно нерасторжимое целое во всей позиции Белинского.

С этой точки зрения Н. Гуляев и подходит к основной своей задаче — к историко-сравнительному анализу эстетических идей Белинского. Автор совершенно прав, когда упрекает А. Лаврецкого за то, что он в своих работах о Белинском не дал соответствующих историко-литературных сопоставлений эстетических суждений русского критика с зарубежной эстетической мыслью во всем богатстве ее разнообразных направлений. Сопоставления у А. Лаврецкого, конечно, есть, но они, как правило, касаются лишь учений западноевропейских философов-эстетиков, стоящих на идеалистических позициях (братья Шлегели, Сент-Бев, Шеллинг, Гегель). Устраняя этот существеннейший недостаток книги А. Лаврецкого, Н. Гуляев конкретно сопоставил эстетическое учение Белинского с основными зарубежными направлениями в эстетике и художественной практике того времени. В исследовании Н. Гуляева эстетика Белинского сопоставляется со взглядами Дидро, Лессинга, Шиллера, Гете, Гегеля, Гейне, Стендаля, Бальзака, французских социалистов-утопистов, Фейербаха и др. В этой области автор рассматриваемой книги имел предшественников, которые в свое время осветили некоторые отдельные стороны взятой им большой темы. Но Н. Гуляев, не забывая уже достигнутых результатов в предшествующем изучении проблемы, уточняет и пересматривает, обобщает и развивает их далее, а главное — он, руководствуясь принципом единства исторического и логического анализа, воссоздает целостную картину многосторонних соотношений эстетики Белинского с зарубежными эстетическими учениями.

К каким же итогам пришел Н. Гуляев в исследовании впервые им поставленной во всем объеме проблемы? Автор считает, что в западноевропейской эстетике XVIII и XIX веков отчетливо определились два основных направления. Представители одного из них (Гегель, Гете) настойчиво подчеркивали объективность искусства. Другие же (Дидро, Шиллер, романтики, Гейне) обращали особое внимание на субъективную природу поэзии. Самоотверженные искания Белинского привели его к глубокому осознанию ограниченности и субъективно-идеалистической, и объективно-идеалистической социологии. Он преодолевает фиктеанство с его культом гения и недооценкой объективного хода истории. Вместе с тем русский критик, материалист и диалектик, не принимает и гегельянского преклонения перед логикой объективного исторического процесса. Такое в высшей степени иллотворное движение мысли, улавливающее истинное соотношение объективной и субъективной сторон в историческом процессе, открывало перед Белинским возможность поставить перед искусством совершенно новые задачи. И он это сделал. «Создание, — пишет Н. Гуляев, — научно обоснованной теории реализма, сочетающего глубокое исследование социально-исторических процессов с революционной патетикой и устремленностью в будущее, является крупным вкладом Белинского в историю мировой эстетической мысли» (стр. 142).

Белинский разработал такую теорию реализма, которая не только учитывала опыт мирового литературно-эстетического развития, но прежде всего опиралась на достижения национальной русской литературы того времени. Очень существенно, что Н. Гуляев, рассматривая Белинского в соотношениях с зарубежной эстетикой и литературой, счел необходимым обратиться и к вопросу о том, какое значение для Белинского имела практика русских писателей. Именно в творениях Пушкина, Лермонтова и Гоголя вполне выразилась та тенденция, которая была столь дорога Белинскому и всем последующим выдающимся деятелям русской культуры, общественной мысли и революционно-освободительного движения. *Револю-*

ционно-романтическая одухотворенность строго реалистического искусства, критически воспроизводящего социальную действительность — такова эта тенденция, отражающая одну из коренных национальных особенностей русской литературы. На нее в свое время указывал М. Горький.

Из этого следует, что анализ теории реализма у Белинского требует специального рассмотрения вопроса о его отношении к романтизму, о понимании им роли «романтического начала» в реалистической системе. А. Лаврецкий в своей книге миновал этот актуальный для нашего времени вопрос эстетики Белинского. И другие исследователи наследия критика обычно игнорируют или односторонне рассматривают проблему романтизма в его эстетике. Н. Гуляев восполняет этот крупный пробел, он посвящает названной проблеме специальную обширную и весьма содержательную главу. Автор сосредоточил свое главное внимание на трактовке Белинским романтизма как типологического явления. Данная проблема представляет особый интерес, она волнует современных историков и теоретиков литературы и искусства. Б. Г. Рейзов в статье «О литературных направлениях»<sup>3</sup> выступил поборником рассмотрения литературных явлений лишь в их национальном и конкретно-историческом своеобразии. С его точки зрения, типологический подход к произведениям литературы невозможен, он бесплоден. Несостоятельно, по мнению Б. Рейзова, и стремление установить «общие начала» в романтизме в целом.

Н. Гуляев не отвергает существования «специфических примет» в романтическом движении того или другого народа, он видит принципиальные разногласия между революционными и реакционными романтиками. Однако, в противоположность Б. Рейзову, он справедливо указывает и на «безусловно общие признаки» романтического метода в искусстве (стр. 172). Н. Гуляев специфику романтического творчества объясняет, исходя из особенностей художественного познания. Тем самым он ставит решение проблемы на прочные научные основания. Известно, что в своей сущности художественное познание противоречиво. «Будучи отражением реальной жизни, — говорит автор, — искусство включает в себя также тенденцию „отлета“, „отхода“ от действительности» (стр. 172). Романтики делают акцент на субъективной природе искусства, отстаивают право «гения» на свободное обращение с материалом, на нарушение пропорций, на изменение действительности в соответствии со своими идеалами. Установка эта свойственна всем романтическим писателям независимо от их национальной принадлежности и идеологической позиции, она в разной степени и в различных формах проявилась у Новалиса и у раннего Гейне, у Шатобриана и у Гюго, у Кольриджа и у Байрона.

Своеобразие романтизма Белинский видел именно в преобладании пафоса «субъективности». Такой плодотворный подход к романтизму был впервые установлен в науке русским критиком-революционером. Показывая ограниченность субъективизма романтиков, Белинский вместе с тем признал в романтизме и то исторически прогрессивное, без того писатели-реалисты не оказались бы подготовленными к осуществлению своих задач. «Романтизм, — заключает Н. Гуляев, — для Белинского — исторически необходимый этап, через который должна была пройти русская литература на своем пути к объективному, по не равнодушному, а романтически взволнованному изображению жизни» (стр. 173). Н. Гуляев приходит к обоснованному выводу о том, что Белинский «глубоко научно поставил вопрос о синтезе реализма с романтизмом». Это единство реалистических и романтических начал в поэзии критик мыслил как союз «объективности» и «субъективности» (стр. 272). Борьба Белинского за «романтический» реализм органически «выводится» из философских и социологических воззрений критика 40-х годов.

В книге Н. Гуляева рассмотрено не только учение Белинского о реализме и романтизме. Существенное место в ней занимают и главы, в которых освещена трактовка Белинским основных законов искусства, а также проблем эпоса и драмы. Белинский, обладающий гениальным эстетическим чутьем, был величайшим знатоком законов искусства. Его литературно-критическое наследие — целая энциклопедия таких законов. Великий критик вывел их из опыта мировой литературы, в особенности же из опыта русской литературы, дал им теоретическое обоснование и во многих случаях классическую формулировку. В его трудах они впервые приобрели силу подлинно объективных истин.

Н. Гуляев прослеживает, как мировая прогрессивная эстетическая мысль открывала законы искусства, обобщающие и опыт творчества, и опыт жизни. Каждый из открытых ею законов — ступень в длительной истории научного и эстетического освоения действительности и искусства. Вот одна из многочисленных возможных иллюстраций этой мысли. Известно, что западноевропейские просветители XVIII века не сумели до конца раскрыть тайну художественного тиша, что объяснялось их абстрактным представлением о человеке и морально-назидательными взглядами на задачи художественного творчества. Поучительны в этом отношении те непреодолимые затруднения, перед которыми оказался Лессинг в своем стремлении найти разгадку типического, оставаясь на позициях правдоучительного искусства. Борясь с натурализмом чувствительной «мещанской драмы»,

<sup>3</sup> См.: «Вопросы литературы», 1957, № 1.

Лессинг говорит о необходимости создания ярких, «обобщенных характеров», в которых были бы собраны воедино все черты, замеченные у нескольких или у всех индивидуумов. Предметом такого обобщения в просветительской литературе были не общественные, а моральные качества человека. Подобный способ типизации неизбежно вел к схематизму. «Очищая», к примеру, реальных глупцов от несущественных наслоений, затемняющих их сущность, драматург получает в результате глупость в «чистом виде» и тем самым теряет конкретные свойства живых людей, превращает своих героев в «иллюстрацию» порока. Лессинг вполне осознал недостатки подобного способа обобщения, метко сказав о том, что «насыщенный характер скорее олицетворенная идея... чем охарактеризованная личность». И он буквально бился над решением вопроса о возможности совмещения в типе «сгущенности» и «обыкновенности». Но Лессинг так и не нашел ответа на этот вопрос: «Каким образом может он (тип, — М. М., Н. П.) вместе быть и насыщенным и обыкновенным?» «Вот в чем затруднение!»<sup>4</sup>

В. Г. Белинский устраняет это непреодолимое для Лессинга затруднение. И это он осуществил, исходя из совершенно другого понимания природы человека и задач искусства. Они заключаются не в прославлении добра и не в развенчании зла, а в правдивом воспроизведении действительности как возможности. С этой точки зрения «сгущение» в искусстве понимается Белинским не как концентрация в одном лице порока или добродетели, а как нахождение (и усиление с помощью фантазии) в конкретном человеке черт, характерных для людей его социального круга. Герой, сохраняя свою индивидуальность, вбирает в себя чувства и мысли целого класса, приобретает типическое значение.

Рассмотренные здесь положения из книги Н. Гуляева показывают метод его исследования. Он стремится выяснить именно поступательное движение мировой эстетической мысли и в овладении тем или другим законом искусства, и в проникновении в сущность той или другой стороны действительности. Такой путь исследования очень труден. Но только он может предохранить от произвольного и поверхностного сопоставления различных эстетических систем, от соблазна высказать одну из них за счет другой. Вместо этого исследуется объективный процесс развития мировой эстетической мысли в ее единстве и многообразии. И только на этой основе закономерно вырастает (как бы само собою) гигантское мировое значение эстетического учения Белинского.

Сумел ли Н. Гуляев во всех случаях быть на высоте избранного им подхода к исследованию соотношения эстетики Белинского и зарубежной эстетики в трактовке конкретных законов искусства? Некоторого упрощения автор, конечно, не мог избежать, если принять во внимание и обширность исследуемого материала, и сложность метода его анализа. Наиболее заметно это сказалось в трактовке автором эстетики Гегеля в ее взаимодействии с эстетикой Белинского. Данная проблема не далась даже А. Лаврецкому. И это объясняется прежде всего не вполне научным чтением трудов Гегеля, а также все еще не изжитой до конца традицией несколько пренебрежительного отношения к немецкому классическому идеализму. Последнее противоречит ленинским указаниям и является следствием в свое время широко распространенных и обязательных для всех односторонних суждений Сталина. «Философские тетради» В. И. Ленина, неограниченное значение которых произвольно приписывалось Сталиным, в руках современного исследователя философско-эстетических проблем являются настоящей книгой в том смысле, что они прежде всего учат методу и искусству научного (ленинского) чтения трудов классиков философии. Только такой метод может предохранить от догматического и формально-логического представления о взаимоотношениях различных философско-эстетических систем, научить диалектическому пониманию этих взаимоотношений, искусству «перевода» многих идей объективного идеализма Гегеля на материалистический язык.

В некоторых трудах о Белинском делается попытка «спасти» его от идеализма и доказать, что с самого начала своего духовного развития критик стоял на позициях стихийного материализма. «Взрывая» идеалистическую оболочку своего мышления, он затем пришел к сознательному материализму. Нет необходимости в данном случае входить в анализ вопроса о соответствии такой «стройной», но крайне облегченной схемы тому, как конкретно-исторически совершалось философско-эстетическое развитие критика. Нас сейчас интересует лишь теоретическая предпосылка данного решения вопроса. Такой предпосылкой является мысль о том, что объективный идеализм не мог открыть Белинскому путь к сознательному материализму, а поэтому с самого начала позицию критика характеризуют в качестве стихийно-материалистической и противопоставляют ее (во всех случаях) объективному идеализму. Именно такова логика рассуждений А. Лаврецкого в книге «Эстетика Белинского».<sup>5</sup> Но В. И. Ленин показал, что объективный идеализм Гегеля вел в некоторых случаях к материализму (и даже к диалектическому материализму!), давал иногда основания к материалистическим выводам. Известно

<sup>4</sup> Г. Э. Лессинг. Гамбургская драматургия. М.—Л., 1936, стр. 344.

<sup>5</sup> А. Лаврецкий. Эстетика Белинского, стр. 105.

также (хотя бы из тезисов Маркса о Фейербахе), что материализм (предшествующий марксистскому материализму) не всегда стоит выше классического (особенно объективного) идеализма. Если все это учесть, то окажется, что распространенная «схема» философского развития Белинского (стихийный материалист взрывает идеалистическую оболочку своего мышления и идет к сознательному материализму) не возвышает критика (как бы хотелось представителям этой теории), а в некоторых случаях снижает уровень его мировоззрения.

В книге А. Лаврецкого все идеалисты, включая и Гегеля, повернуты к Белинскому своими слабыми сторонами. И поворот этот сделан поверхностно. А. Лаврецкий цитирует из «Лекций по эстетике» Гегеля: «Красота в искусстве стоит выше красоты в природе».<sup>6</sup> Это одно из основных положений Гегеля автор не анализирует в его сущности, в сильных и слабых сторонах, а «с порога» отвергает его, заявляя, что с этим утверждением немецкого философа-идеалиста никогда не соглашалась творцы русской материалистической эстетики, так как в нем выражено типично идеалистическое противопоставление искусства действительности. Но мысль о том, что красота в искусстве выше красот в природе может иметь и идеалистический, и материалистический смысл. Красота в искусстве потому выше красоты в природе, что она проникнута и запечатлена человеческим содержанием, является сознательным, целенаправленным его творением, одухотворена человеческими стремлениями и идеалами, его активным отношением к жизни, его желанием утвердить себя в объективном мире. Таково материалистическое содержание названной выше идеи. И с таким содержанием она входит в эстетику социалистического реализма. Об этом А. Лаврецкий почему-то забывает и поэтому упрощает всю сложность поставленной им проблемы. «Голая» апелляция к русским материалистам не может быть абсолютной аргументацией против любого положения Гегеля, так как не всегда и не во всем представители материалистической (домарксистской) эстетики были правы и глубоки в своей критике Гегеля.

В книге Н. Гуляева нет подобных «просчетов» в трактовке отношений философско-эстетических идей Белинского к наследию классического немецкого идеализма, он тоньше, диалектичнее подходит к этим отношениям. Но и он не избежал некоторых односторонних суждений. Известно, как глубока, поучительна трактовка Гегелем художественной формы. Однако Н. Гуляев с помощью нескольких слов «разделяется» с Гегелем по этому вопросу и не раскрывает значения его учения о форме для Белинского (см. стр. 120). Досадно и то, что Н. Гуляев не вник в содержательные суждения Гегеля о юморе и смехе. Он пишет: «Гегель отрицает также юмор, и в нем он видит покушение на объективность, игру субъективных благоприятных действительности и выводит юмористические сочинения за пределы художественного творчества» (стр. 356). Однако здесь явное огрубление суждений великого философа. Да, Гегель считал, что юмор свидетельствует об отходе от истинного искусства, ибо в нем художник впадает в полнейшую субъективную случайность, «в извращение и смещение всякой предметности и реальности при помощи остроумия и игры субъективного взгляда на мир». В юморе, следовательно, по утверждению Гегеля, нет объективного раскрытия предмета. Художник «врывается в материал» и уничтожает самостоятельность объективного содержания. В юмористическом изображении дава «игра с предметами», что часто выражается в плоской болтовне и пустом остроумии.<sup>7</sup> Но Гегель допускал и такой случай, когда юмор в рамках своего субъективного отражения захватывает также и объект и его оформление, тогда получается «некое вхождение в внутреннюю жизнь в предмет, некий как бы объективный юмор».<sup>8</sup> При этом надо иметь в виду, что в анализе юмора Гегель опирался на современную ему западноевропейскую литературу (Гофман, Жан-Поль и др.), в которой он не находил образов подлинного юмора (большой и глубокий юмор он видел в творениях Шекспира). Н. Гуляев, справедливо раскрывая ограниченность гегельянской концепции, зачастую не указывает на связь этой концепции с той художественно-творческой практикой, на которую опирался немецкий философ. Характеристика же последним истинного (объективного) юмора, созданная им прежде всего на основе анализа опыта Шекспира, очень глубока и невольно заставляет вспомнить соответствующие высказывания Белинского и произведения Гоголя. Эту «переключку» Н. Гуляев не замечает. Гегель признавал, что для подлинного юмора «требуется много глубины и богатство духа. Только они могут подчеркнуть как действительно то, что кажется лишь субъективным, и заставить выступать субстанциальное из самой его случайности, из чистых причуд».<sup>9</sup> Как известно, Белинский тоже указывал на единство «мелочей» и «субстанциального» в юморе Гоголя, на важность и действительность всего того, что казалось будто произвольной, субъективной игрой художника.

Однако Белинский, в отличие от Гегеля, не ограничивается установлением лишь формального принципа подлинно юмористического повествования (единство

<sup>6</sup> Там же, стр. 39.

<sup>7</sup> Г. В. Ф. Гегель, Сочинения, т. XIII, Соцэкгиз, М.—Л., 1940, стр. 161.

<sup>8</sup> Там же, стр. 169.

<sup>9</sup> Там же, стр. 162.

мелочей и субстанциального). Он раскрывает социальное содержание этого принципа, его революционный смысл. О юморе Белинский говорит как о «могущественнейшем орудии духа отрицания, разрушающего старое и приготавливающего новое». И это понятно, так как гоголевский юмор состоит в противоположности созерцания истинной жизни, идеала жизни — с действительностью жизни. Революционный смысл юмора не был доступен Гегелю. Поэтому и его трактовка художественного смеха, «комического одушевления» в изображении «мелочей» ограничена. Гегелю принадлежат формулы («улыбка в плаче», «улыбка сквозь слезы»), которые займут существенное место в эстетических суждениях Белинского и в художественной системе Гоголя. Но Гегель считал, что подобный смех приводит к внутреннему успокоению, к примирению. Белинский же (как и Герцен) в смехе видел революционную, разрушительную силу, направленную против того, что отжило, но еще держится.

Из приведенных примеров видно, что сравнительный анализ различных трактовок юмора и смеха у Белинского и Гегеля необходимо вести тоньше, конкретнее, всесторонне, с учетом всей сложной диалектики отношений. Книга Н. Гуляева с этой точки зрения еще не может быть примером.

В целом же, на наш взгляд, новые работы А. Лаврецкого и Н. Гуляева об эстетике В. Г. Белинского, столь различные по материалу, методу исследования и индивидуальным склонностям исследователей, хорошо дополняют друг друга и в своей совокупности являются значительным вкладом в науку о русской и зарубежной философско-эстетической мысли и литературном движении XVIII—XIX веков.

## Ф. ПРИИМА

### К СПОРАМ О ПОЭТИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ Н. А. НЕКРАСОВА \*

Вышедшее в начале прошлого года исследование В. А. Архипова о творчестве Н. А. Некрасова вызвало уже немало самых разноречивых и даже диаметрально противоположных отзывов на страницах нашей печати. Поднятую вокруг новой книги о великом поэте дискуссию следовало бы, разумеется, только приветствовать, если бы ее течение не отклонялось в сторону от основной темы и не разрасталось предметами, которые способствуют скорее затемнению, чем выяснению сути дела.

Нам кажется, что чрезмерно напряженный характер названной дискуссии был предопределен не столько полемическим характером самой книги В. А. Архипова, сколько первым откликом на нее — письмом группы писателей и литературоведов, адресованным в редакцию «Литературной газеты» и напечатанным там под заглавием «Недопустимые приемы».<sup>1</sup> Авторы письма выразили в нем свое недовольство грубыми и совершенно несправедливыми, на их взгляд, отзывами автора книги «Поэзия труда и борьбы» о К. И. Чуковском и других советских ученых-литературоведах. Мы полагаем, что к оценке тона и полемических приемов В. А. Архипова можно было подойти и без той повышенной взыскательности, которую проявили составители этого письма. Дело в том, что большинство литературоведов, с которыми полемизирует автор новой книги о Некрасове, являются его оппонентами по состоявшемуся в 1958—1960 годах спору вокруг романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». А полемический тон статей, вызванных этим спором и направленных против В. А. Архипова, как известно, особой деликатностью не отличался. Так, например, кличка «Герострат», брошенная в адрес В. А. Архипова А. Г. Деметьевым по своему этическому уровню решительно не соответствовала атмосфере и тону самых горячих научных дискуссий нашего времени. А определения, которыми награждал В. А. Архипова Г. А. Бромман («воинствующий рыцарь вульгарного социологизма» и т. д.) характеризовали их автора как человека, который с понятием «этика» знаком разве только понаслышке. Обо всех этих выпадах, может быть, не стоило бы и вспоминать, если бы авторы письма в редакцию «Литературной газеты» не взяли их под свою защиту. Но, разумеется, к В. А. Архипову можно и должно подойти с соблюдением самых строгих требований, без учета каких-то ни было оправдывающих его обстоятельств. И в этой связи следует со всей определенностью заявить, что сделанные В. А. Архиповым на стр. 33 его книги замечание о том, что «концепция русского историко-литературного процесса, разработанная Б. И. Бурсыным, Е. И. Покусевым, К. И. Чуковским и некоторыми другими исследователями», якобы приводит «к прямому поношению рево-

\* В. А. Архипов. Поэзия труда и борьбы. Очерки творчества Н. А. Некрасова. Ярославское книжное издательство, 1961.

<sup>1</sup> «Литературная газета», 1961, № 97, 15 августа.

люционных демократов», следует признать и необоснованным и бестактным. В отношении К. И. Чуковского В. А. Архипов не соблюдает объективности и в других местах своей книги. С одной стороны, он называет его «блестящим знатоком 60-х годов» и положительно отзываясь о достоинствах отдельных его работ по Некрасову (см. стр. 193, 227, 228, 287, 377 и др.), а с другой, — воздерживается от итоговой оценки того огромного и общепризнанного вклада, который внесен нашим старейшим некрасоведом в изучение великого поэта. В отдельных случаях похвалы В. А. Архипова приобретает двусмысленный или даже иронический характер (см. стр. 4, 6 и др.). Не приходится говорить также и о том, что выдвинутое автором новой книги о Некрасове обвинение К. И. Чуковского в «формализме, причем самой дурной манеры» (стр. 40) покоится на припоминаниях старых ошибок ученого, а не на объективной оценке его работ, созданных в последнюю четверть века.

Отмеченными пунктами, к сожалению, и ограничивается наша солидарность с содержанием заметки «Недопустимые приемы». В частности, никак нельзя согласиться ни с заявлением авторов заметки о том, что В. А. Архипов предпринял будто бы попытку «начисто зачеркнуть труд всей жизни ученого», ни с их намерением поставить под сомнение научные достоинства книги «Поэзия труда и борьбы».

«Мы не касаемся здесь содержания книги Архипова по существу», — торжественно провозгласили авторы заметки «Недопустимые приемы». И нарушая это обещание, тут же продолжали: «Но нельзя не отметить дух вульгарного социологизма, который сквозит во многих рассуждениях автора, часто бездоказательных или вовсе ошибочных... Но все эти вопросы, — соглашались авторы этой заметки-письма, — требуют специального и развернутого разговора. Здесь мы хотели лишь выступить в защиту доброго имени уважаемого писателя и ученого...»<sup>2</sup>

В этих трех не вяжущихся друг с другом фразах, за которыми следовало брошенное Ярославскому издательству обвинение в том, что оно оказало читателю «очень плохую услугу», как нельзя лучше отразился весь незатейливый замысел письма: скомпрометировать научную репутацию книги до завершения «следствия» над нею способом простого прикрепления к ней позорного клейма. Прием, вряд ли заслуживающий быть рекомендованным для применения в научных спорах!

Но если авторы «Недопустимых приемов» все же отдавали себе отчет в том, что «все эти вопросы (т. е. обвинение автора новой книги о Некрасове в грехах вульгарного социологизма, — Ф. П.) требуют специального и развернутого разговора», то некоторыми критиками этот обещанный разговор воспринимался уже как нечто обременительное и ненужное, а прикрепленная к В. А. Архипову кличка «вульгарный социолог» — заслуживающей дальнейшего распространения. Подобного рода функцию превосходно выполняет статейка А. Г. Дементьева «Вместо рецензии».<sup>3</sup> Уже одно название ее говорит само за себя. Рецензент как бы заранее отказывается от задачи дать всестороннюю научную оценку книги В. А. Архипова. И действительно, ни одной серьезной проблемы, из поднятых в книге «Поэзия труда и борьбы», А. Г. Дементьев не затронул. Полностью солидаризовавшись с авторами заметки «Недопустимые приемы», критик решил довести до сведения читателей «Нового мира», почему книга В. А. Архипова не удостоилась в журнале подробного разбора. «Мне уже приходилось с ним полемизировать, — признается А. Г. Дементьев, — и удовольствия от этого я не испытал». Критику и недоумок, что, помимо его собственного удовольствия, существуют еще интересы и запросы читателей, но его откровенное признание все же ценно: признавая силу своего оппонента и не желая спорить с ним по существу, А. Г. Дементьев избирает «боковые тропинки». Какие? Вот, например, когда-то была написана Архиповым статья об «Отцах и детях» Тургенева. «Эта статья была единодушно (!?) оценена во многих журналах и газетах как рецидив вульгарного социологизма». А. Г. Дементьев забывает при этом сказать, что, во-первых, «осуждение» статьи В. А. Архипова об «Отцах и детях» было далеко не «единодушным» и, во-вторых, что выступавшими в то время против названной статьи авторами было высказано немало тенденциозных, глубоко ошибочных и путаных суждений.<sup>4</sup>

Проблема изучения поэтического наследия Некрасова мало волнует А. Г. Дементьева, и поэтому он подменяет ее в своей рецензии «проблемой» Дементьев — Архипов. Значительную часть заметки критик посвящает задаче от-

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> «Новый мир», 1961, № 11.

<sup>4</sup> Об этом см.: В. Архипов. Против теории «единого потока». «Русская литература», 1959, № 2; Г. Фридлиндер. К спорам об «Отцах и детях». «Русская литература», 1959, № 2; П. Николаев. О народности литературы и «едином потоке». «Нева», 1961, № 8; В. В. Чубинский и М. А. Антонович. Л., 1961, стр. 107. Заметим кстати, что в спорах по поводу версии о «самовольных правках» Катковым романа «Отцы и дети», как это показало недавнее исследование парижской рукописи романа, правда оказалась на стороне В. А. Архипова, а не его оппонентов (см.: А. Батюто. Парижская рукопись романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». «Русская литература», 1961, № 4).



вести от Г. А. Бровмана, Г. А. Бялого и Г. Н. Куницына и прежде всего от самого себя содержащийся в новой книге о Некрасове (стр. 53) упрек в оправдании ими «либерализма 60-х годов». Развернутой аргументации В. А. Архипова А. Г. Дементьев противопоставляет весьма своеобразный способ защиты. «Если бы он (Архипов, — Ф. П.), — рассуждает в связи с этим А. Г. Дементьев, — вел себя так не на страницах книги, а в каком-либо общественном месте, то его погадка и манера выражаться, вероятно, подлежали бы компетенции дружины по охране общественного порядка».<sup>5</sup>

Тоска А. Г. Дементьева по дружине, с помощью которой он вместе с Г. А. Бровманом наводил бы «общественный порядок» в литературоведении и устанавливал эталоны общественной «этики», поистине умилительна!

От заметки А. Г. Дементьева выгодно отличается, по крайней мере по своим внешним признакам, посвященная той же теме рецензия «Литературоведческая чудасия» Б. Я. Бухштаба.<sup>6</sup> Рецензент не уклоняется от задачи оценить новую книгу о Некрасове в целом и пытается рассмотреть ее не выборочно, а главу за главой. Но эта часто внешняя объективность расходится с внутренним отношением к объективному замыслу рецензии. Так, например, Б. Я. Бухштаб почему-то не обмолвился ни единым словом о первой главе книги, главе проблемной и ключевой. Не проявлена должная последовательность рецензентом и в анализе главы «Рождение поэта»: из целого ряда вопросов, затронутых в ней автором, Б. Я. Бухштаб рассмотрел только два — вопрос о Белинском и Некрасове и вопрос о Некрасове и Лермонтове. С гораздо большей обстоятельностью рассмотрена глава книги, посвященная центральному произведению поэта — поэме «Кому на Руси жить хорошо». Не ограничиваясь критическими замечаниями в адрес автора, рецензент противопоставляет здесь взглядам последнего свою собственную точку зрения и приходит к выводу о том, что книга В. А. Архипова в целом представляет собой одну из «попыток фальсифицировать облик художника».

В чем же состоит сущность концепции Б. Я. Бухштаба, из которой вытекает его столь суровый приговор книге В. А. Архипова? Б. Я. Бухштаб самым решительным образом восстает против принадлежащего В. А. Архипову определения центрального произведения Некрасова как «поэмы о побеждающей русской революции» (стр. 311). Совершенно очевидно, что слово «революция» употреблено в данном случае автором исследования в расширительном его значении. В других местах книги эту же мысль В. А. Архипов разъяснил следующим образом: «Некрасов... поставил проблему неизбежности революции в России и тем самым на 50—60 лет во многом определил содержание русской литературы, гениально „угадав“ ее главную тему» (стр. 232); «он создал великую национальную поэму, рисующую пробуждение народа для борьбы с царем и помещиками, начало этой борьбы» (стр. 297).

С столкновением основной идеи поэмы Некрасова связано у В. А. Архипова и понимание ее творческой истории. «Схлынула революционная ситуация начала шестидесятых годов, — пишет он, — и застопорилась работа над поэмой. Наступил новый подъем демократического движения в 70-е годы — и Некрасов стал явственнее различать свободную даль своего повествования...» (стр. 291).

В этом логически развивающемся ходе мысли автора книги «Поэзия труда и борьбы» Б. Я. Бухштаб пытается обнаружить, во-первых, извращение исторических фактов и, во-вторых, противоречие с ленинской оценкой русского освободительного движения. «В. А. Архипов... — пишет Б. Я. Бухштаб, — здесь не в ладу с хронологией. Революционные ситуации, как известно, были в 1859—1861 и в 1879—1880 годах, а поэма „Кому на Руси жить хорошо“ писалась (с перерывами) в 1863—1876 годах. В эти промежуточные годы революционные демократы горько сетовали на отсутствие революционности в народных массах. Об известных словах Чернышевского на эту тему Ленин говорит: „...это были слова настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения. Тогда ее не было“. По Архипову же — было с избытком».<sup>7</sup>

Но желая нанести сокрушительный удар по В. А. Архипову, Б. Я. Бухштаб самым безжалостным образом побивает самого себя. Совершенно неправомерно он сводит значение понятия «революция» к понятию «революционное восстание» и далее предлагает нам крайне упрощенное истолкование понятия «революционная ситуация». Революционные ситуации и возникали и прерывались, как известно, отнюдь не сразу. Но Б. Я. Бухштаб не желает считаться с такими понятиями, как *канун революционной ситуации, период общественного подъема* и т. д. Он навьюно полагает, что первая революционная ситуация в России продолжалась лишь до 31 декабря 1861 года, после чего сразу же наступил слад антикрепостнических настроений в стране, тогда как в действительности переход к последнему намечался лишь в 1863 году. И в большое заблуждение вводит читателя Б. Я. Бухштаб, когда он отрицает благотворное воздействие, которое оказал на создание гениаль-

<sup>5</sup> «Новый мир», 1961, № 11, стр. 259.

<sup>6</sup> «Литературная газета», 1961, № 145, 9 декабря.

<sup>7</sup> Там же.

ной поэмы Некрасова общественный подъем как начала 1860-х, так и середины 1870-х годов.

По-школярски понимает Б. Я. Бухштаб и приведенные им слова В. И. Ленина об «отсутствии революционности в массах великорусского населения». В этих словах охарактеризована неподготовленность в начале 1860-х годов *всей массы населения к непосредственному революционному выступлению*. Между тем Б. Я. Бухштаб догматически пытается истолковать их, как отрицание революционных настроений в русском крестьянстве. «Наличность революционных элементов в крестьянстве, — писал В. И. Ленин, — не подлежит... ни малейшему сомнению».<sup>8</sup> И в своих многочисленных выступлениях по крестьянскому вопросу В. И. Ленин разоблачил полную несостоятельность программных установок либералов и меньшевиков, отрицавших или же недооценивавших революционные возможности русского крестьянства.

Б. Я. Бухштаб хочет убедить нас в том, что поэма «Кому на Руси жить хорошо» создавалась как раз в то время, когда в среде русского крестьянства не было никакой революционности, следовательно, и бесплодны всякие попытки отыскать ее отражение в некрасовском произведении. Конечно, нетрудно согласиться с тем, что какой-либо второстепенный поэт смог бы заметить наличие революционных настроений в массах, только будучи взнесенным на самый гребень революционной волны. Но Некрасов был великим поэтом и глубочайшим знатоком жизни трудового народа. Его вдохновляли и окрыляли периоды общественного подъема, но и в периоды общественного затишья он прозревал то нарастание революционной активности в народных массах, которое позволило В. И. Ленину назвать весь огромный период с 1862 по 1904 год «эпохой подготовки революции» в России.<sup>9</sup>

Некрасов тосковал об отсутствии в массах русского крестьянства той степени революционной сознательности, о которой мечтали Чернышевский и Добролюбов.

Русь не шелохнется,  
Русь — как убитая! —

писал он; но констатируя горестный итог своих наблюдений и раздумий, поэт видел истину и с другого ее конца —

Но загорелась в ней  
Искра сокрытая.

В превращение искры революционного сознания в пламя народного гнева Некрасов глубоко верил. И когда он произносил свои вещие слова: «Мечты! Я верую в народ!» — то они являлись отнюдь не изложением «символа веры»; это был итог его длительных наблюдений над жизнью реального народа, итог мучительных и, если угодно, теоретических размышлений о революционных возможностях русского крестьянства, и не наивная или внушенная извне, а проверенная опытом и «теорией» вера пашла выражение и гениальной поэме Некрасова. Обо всем этом с глубоким пониманием сложности проблемы, вдумчиво и доходчиво, увлеченно и талантливо рассказывает в своей книге В. А. Архипов.

Но если в определении основной идеи «Кому на Руси жить хорошо» Б. Я. Бухштаб попадает в плен ошибочных представлений, так сказать, *невольню*, то в характеристике взаимоотношений Тургенева и Некрасова он *сознательно* идет на предвзятое толкование фактов. Вникнем внимательно в следующее рассуждение рецензента: «В стремлении убедить читателя в справедливости своей антипатии к Тургеневу *Архипов прибегает к не принятым в научной полемике приемам* (курсив мой, — Ф. П.). Тургенев, например, описывает в „Призраках“ фантастический полет над ночным Петербургом „через Неву, через Дворцовую площадь к *Литейной*“. „Шаги и голоса слышались внизу: по улице шла кучка молодых людей с испитыми лицами и толковала о танцклассе“. „Разумеется, это «нигилисты»“, — безапелляционно решает Архипов. „Тургенев даже назвал адрес квартиры поэта и редакции «Современника»: *Литейная*“. И вот под волшебным пером Архипова кучка потасканных бездельников, бредущих ночью из танцкласса (эти заведения пользовались весьма незавидной репутацией), превращается в „толпы молодых людей у редакции «Современника», вызывающих „чувство отвращения тургеневского лирического героя к революционной молодежи“».

Итак, В. А. Архипов высказал предположение, что в тургеневской фантазии «Призраки» есть элемент полемики с Некрасовым. Появление группы молодых людей, «нигилистов» на *Литейной*, где находилась редакция «Современника», с точки зрения исследователя, отнюдь не случайно, так как противники некрасовского журнала именно влиянием последнего объясняли распространение «нигилистических» настроений среди молодежи. Мы считаем эту догадку весьма убедительной и проницательной. Но если бы даже она была псудачной, то все равно

<sup>8</sup> В. И. Ленин, Сочинения, т. 4, стр. 223.

<sup>9</sup> Там же, т. 16, стр. 293.

никаких оснований для обвинения В. А. Архипова в «не принятых в научной полемике приемах» она, разумеется, не дает, тем более потому, что исследователь здесь ни с кем не полемизирует. Б. Я. Бухштаб тщится доказать, что догадка В. А. Архипова наивна и даже неприлична, что изобретенная Тургеневым «кучка молодежи» никакого отношения к «нытилистам» не имеет, и чтобы все это доказать, он... выбрасывает из рассуждений В. А. Архипова самый главный аргумент — нарисованный Тургеневым образ девушки в измятом платье и папирской во рту, читавшей «том сочинений одного из новейших напих Ювеналов». Без этого аргумента догадка исследователя выглядит действительно жалкой, т. е. именно такой, какой пожелал ее представить читателям «Литературной газеты» Б. Я. Бухштаб.

Думается, что подобного рода усилия, предпринятые Б. Я. Бухштабом, менее всего соответствуют его благородному стремлению уличить автора рецензируемой им книги в попытке «фальсифицировать облик художника».

Среди отзывов о книге В. А. Архипова по своему исследовательскому методу совершенно особое место занимает статья «Актуальность подлинная и мнимая» Я. Е. Эльсберга.<sup>10</sup> Научные достоинства книги В. А. Архипова Я. Е. Эльсберг пытается определить путем сопоставления ее с книгой А. С. Бушмина о М. Е. Салтыкове-Щедрине и статьей Н. Я. Берковского о «Повестях Белкина» Пушкина. Сопоставление получилось неудачное, так как пазванные работы в статье не соединены друг с другом даже механически, а противопоставление статьи Н. Я. Берковского книге В. А. Архипова, настойчиво проводимое Я. Е. Эльсбергом, уж очень сильно сбивается на морализаторское наставление детям на тему: «Что такое хорошо и что такое плохо». Вывод наперед заданный: хорошо — у Берковского, плохо — у Архипова. Какого-либо научного значения эта мораль не имеет прежде всего потому, что подлинного значения статьи Н. Я. Берковского критик не раскрыл. Он дает весьма высокий отзыв только об отдельных наблюдениях автора названной статьи, что же касается ее оценки в целом, особенно ее основных положений, то мнение о них критика более чем сдержанное: «... его (Берковского, — Ф. П.) тезисы, — заявляет Я. Е. Эльсберг, — не представляются мне бесплодными, произвольными или бессодержательными».<sup>11</sup> Основные положения книги В. А. Архипова не удостоились, разумеется, даже такой снисходительной оценки. Правда, отказ Я. Е. Эльсберга найти в книге «Поэзия труда и борьбы» хотя бы незначительные достоинства отзывается духом плохо усвоенного снобизма, а сама процедура разбора книги в статье «Актуальность подлинная и мнимая» носит весьма неглубокий и даже странный характер: в книге В. А. Архипова Я. Е. Эльсберга интересуют прежде всего и по преимуществу разного рода мелочи (неудачные выражения, подстрочные примечания и т. д.).

Так, например, автор книги «Поэзия труда и борьбы» считает несостоятельной свойственную некоторым некрасововедам склонность рассматривать мужиков из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» как «житийных правдоискателей». По мнению исследователя, истина не в готовом виде нисходит на мужиков, а познается ими постепено, на живом опыте. Насколько прав исследователь в этом своем утверждении? Я. Е. Эльсберга это несколько не интересует, так как его внимание поглощено другим вопросом. В. А. Архипов положительно отозвался о статье В. Г. Базанова «Поэма „Кому на Руси жить хорошо“ и крестьянское политическое красноречие»,<sup>12</sup> а между тем в ней мужики названы «правдоискателями». «Так с кем же полемизирует В. Архипов? — спрашивает в раздражении Я. Е. Эльсберг. — Не с Базановым ли, статью которого он считает „новой страницей“ в изучении некрасовской поэмы? Почему же он тогда об этом умалчивает?» И так далее. Раздражение совершенно, разумеется, необоснованное, так как слово «правдоискатели» в статье В. Г. Базанова встречается всего один раз и употреблено оно в смысле, не имеющем ничего общего с «концепцией правдоискательства».

В другом случае поводом для полемического воодушевления Я. Е. Эльсберга послужило следующее место рецензируемой им книги: «... поэма Некрасова — это изумительный протокол своеобразного всероссийского крестьянского съезда, непрезойденная стенограмма прений по острому политическому вопросу» (стр. 283). Написав это, В. А. Архипов тут же, дабы избавиться от критиков, готовых поймать вас на слове, дважды извинился перед читателями за допущенную им «модернизацию» терминов и понятий (стр. 284). Но Я. Е. Эльсберга это не успокаивает; стараясь заглушить голос автора, он клянется: «... термины „протокол“, „стенограмма“ употреблены В. Архиповым всерьез».<sup>13</sup> Как оказывается, суровый критик неспроста так цепко ухватился за эти термины: он решил воспользоваться ими (за неимением других данных) как уликой для более серьезного обвинения В. А. Архиповым, видите ли, «снимается» вопрос о художественном своеобразии этого произведения, о художественной логике его построения и раз-

<sup>10</sup> «Вопросы литературы», 1961, № 12.

<sup>11</sup> Там же, стр. 91.

<sup>12</sup> «Русская литература», 1959, № 3.

<sup>13</sup> «Вопросы литературы», 1961, № 12, стр. 98.

вития». Ну как тут не воскликнешь вслед за гоголевским персонажем: «Вишь куда метнул!»

В третьем случае поводом для полемического ожесточения критика послужило заявление автора книги «Поэзия труда и борьбы» о том, что между высказываниями Белинского о мужике в 1844 и в 1848 годах лежит «бездна» (стр. 31), тогда как, по мнению Я. Е. Эльсберга, взгляды великого критика по этому вопросу на протяжении второй половины 1840-х годов оставались неизменными. Но и в этом случае, как нам кажется, В. А. Архипов прав, так как совершенно очевидно, что слово «бездна» употреблено им здесь в качестве метафоры или гиперболы. Конечно, в учебниках математики или физики гипербола неуместна, но кто же может отменить ее в публицистике и критике? Ведь мог же писать В. И. Ленин о «бесчисленных слащавых письмах» Герцена к Александру II, хотя названных писем было всего лишь четыре. Никак нельзя согласиться с Я. Е. Эльсбергом, полагающим, что мнения Белинского о мужике в 1848 году были «те же самые», что и в 1844 году. На позициях революционного демократизма великий критик утвердился в начале 1840-х годов, но демократизм его в то время не был еще *мужицким*. Дальнейшее развитие мировоззрения Белинского шло в направлении к *мужицкому* демократизму, однако процесс этот оставался не завершенным до конца, он был прерван смертью критика. Таким образом, игнорировать расстояние, пройденное Белинским с 1844 по 1848 год в его общественно-политическом и эстетическом развитии нет ни малейших оснований.

Из вопросов, поднятых в статье Я. Е. Эльсберга, только один имеет действительно принципиальное значение — это вопрос об идейном содержании созданных Некрасовым образов русского крестьянства. Критик усматривает методологический порок В. А. Архипова в том, что он приписывает некрасовским мужикам способность «осмыслить коллективный опыт народа». Но дело в том, что задолго до В. А. Архипова эту же способность приписывал русским мужикам Н. А. Некрасов. Ярким подтверждением чего служит знаменитая речь Якима Нагой. Конечно, степень этого осмысления могла быть разной. И даже Яким Нагой не мог прийти, как известно, до правильной революционной теории. Но ведь до нее не дошли и самые выдающиеся русские революционеры той эпохи. Таким образом, Я. Е. Эльсбергу для полного торжества его замысла нужно было сперва вскрыть «опибки» своего основного противника, Некрасова, чего он, к сожалению, не сделал. К тому же вряд ли и удалась бы любая попытка опровергнуть взгляды великого поэта по данному вопросу, так как правильность их была подтверждена всем дальнейшим ходом русской истории. Подтверждение исторической правоты Некрасова в спорах об уровне политического сознания и революционных возможностях русского крестьянства находим мы и в ленинских работах. «Но падение крепостного права, — писал В. И. Ленин, — встряхнуло весь народ, разбудило его от векового сна, научило его самого искать выхода, встать борьбу за полную свободу».<sup>14</sup>

Автор книги «Поэзия труда и борьбы» придает огромное значение образу некрасовского Савелия-богатыря. «Образ Савелия... — заявляет В. А. Архипов, — говорил о многом, и прежде всего о способности крестьянства выделять из своей среды закаленных борцов». «Мало было тогда в народе таких людей, как Савелий Корчагин, но именно они представляли характер народа в его неисчерпаемых возможностях, в его развитии» (стр. 307). Исследователь полагает, что острог и каторга были для Савелия «школой революционной борьбы», которая привела его к мыслям, близким к теоретическим выводам Рахметова, героя знаменитого романа Чернышевского.

Как методологические предпосылки, так и общий ход рассуждений В. А. Архипова в истолковании образа Савелия плодотворны и правильны, хотя данная исследовательницей здесь же характеристика этого героя как «революционера высокого класса» (стр. 307) представляется нам несколько преувеличенной, а потому и неудачной.

Вместе с тем трактовка образа некрасовского Савелия, предложенная Я. Е. Эльсбергом, является в корне несостоятельной, основанной на глубоко ошибочном мнении, будто бы политическое сознание русского пореформенного крестьянства решительно никаких тенденций к развитию и сближению с революционной мыслью не обнаруживало. «Некрасов, — пишет критик, — с поразительной смелостью показывает все противоречия, живущие в этом человеке (Савелии, — Ф. П.), из мощного и грозного бунтаря превратившегося в столетнего „придурковатого деда“, скормившего Демидушку — по старости и недосмотру — свиньям...»<sup>15</sup>

Отсюда нетрудно заключить, что противоречивость крестьянской революционности Я. Е. Эльсберг видит в старческом одряхлении Савелия-богатыря, в том, что этот в прошлом грозный бунтарь с фатальной неизбежностью превращается впоследствии в «придурковатого деда». По Некрасову же эта противоречивость состоит совсем в ином, в том именно, что Савелий, богатырь и закаленный боец, придавлен грузом сорокалетней каторги и ссылки, тяжелыми обстоятельствами жизни, в том.

<sup>14</sup> В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 65.

<sup>15</sup> «Вопросы литературы», 1961, № 12, стр. 101.

что даже среди своих братьев по судьбе, безропотных «Аник-воинов», он пока что не находит сочувствия, что ему, рожденному для больших дел и свершений, приходится владеть довольно жалкое существование. Что же касается до съеденного свиными Демидушки, то этот образ привлечен Некрасовым для углубленного показа страдальческой жизни Матрены Тимофеевны, а не для посрамления столетнего деда (недоглядеть ребенка мог бы и сам Рахметов, доживи он до столь преклонного возраста) и тем более не для характеристики революционных возможностей русского крестьянства.

Таким образом, Я. Е. Эльсберг совершенно не понял поэтический замысел Некрасова — раскрыть в образе Савелия внутреннее благородство, могущество физических и духовных сил, пробуждение чувства личного достоинства и революционную неустранимость русского мужика. Примечательно, что взгляд автора статьи «Актуальность подлинная и мнимая» совпадает здесь почти полностью с глубоко ошибочной точкой зрения Г. В. Плеханова по этому же вопросу. Некрасовский Савелий-богатырь — это, по Плеханову, «типичный крестьянин Востока», представитель народа, который «не умеет бороться и не сознает необходимости борьбы».<sup>16</sup>

Свою статью «Актуальность подлинная и мнимая» Я. Е. Эльсберг склонен рассматривать как попытку осветить важнейшие вопросы советского литературоведения в свете решений XXII съезда партии. Наличие в статье целого ряда ошибочных утверждений, путаных формулировок, субъективистских и тенденциозных оценок как нельзя лучше свидетельствует о том, что ее автор, к сожалению, не проникся сознанием всей ответственности той задачи, которую он перед собою поставил.

И А. Г. Дементьев, и Б. Я. Бухштаб, и Я. Е. Эльсберг, зондировавшие книгу В. А. Архипова о Некрасове, как надо полагают, с помощью всех находившихся в их распоряжении литературоведческих инструментов, к сожалению, не обнаружили ряда ее немаловажных и несомненных достоинств. Так, например, совершенно обойденной ими оказалась глава первая книги, в которой дана удачная попытка определить соотношение пушкинского и гоголевского направлений в литературе, охарактеризовать наступивший в конце 1850-х годов кризис натуральной школы, проследить на большом хронологическом пространстве судьбу крестьянской темы в русской литературе, показать на примере эволюции темы «лишнего человека» остроту классовых конфликтов эпохи. В. А. Архипов абсолютно прав, упрекая отдельных историков литературы в забвении социологического метода исследования, в замалчивании фактов борьбы, происходившей между различными литературными направлениями и группировками, в которой в конечном счете отражалась борьба классов. На большом количестве примеров, в том числе и на работах К. И. Чуковского, В. А. Архипов убедительно показал отрицательные результаты подхода к явлениям литературы прошлого с целью «примирить» друг с другом ее крупнейших представителей, с точки зрения «единого потока». Это достоинство автора книги «Поэзия труда и борьбы» было уже справедливо отмечено П. Николаевым в упомянутой выше его статье.

Большой насыщенностью материалом отличаются также почти все последующие главы книги. В главе четвертой («Карающая лира») исследователь во многом по-новому освещает вопрос о том, как молодой поэт, выпустивший первую книжку стихов «Мечты и звуки», становится сотрудником «Отечественных записок» и одним из друзей и соратников гениального Белинского, как из бытописателя петербургских углов и подвалов Некрасов постепенно превращается в певца крестьянства, поэта революционной демократии; как уже в 40-е годы появляется и навсегда остается в его творчестве бичуемый им тип русского либерала; как лирическая тема у Некрасова сочетается с темой эпической, темой народной судьбы, темой родины. Глава пятая («Рождение героя») посвящена возникновению в творчестве Некрасова образа «народного заступника» — революционера. Глубокое понимание закономерностей и своеобразие русского освободительного движения и влюбленность в свою тему позволили автору открыть несколько неизвестных страниц из истории русской литературы 1860-х годов. Так, например, считалось общепризнанным, что история разрыва И. С. Тургенева с «Современником» нами досконально изучена. Но В. А. Архипову удалось по-новому прочитать и объявление редакции об издании «Современника» в 1862 году, и статью Нового Поэта «По поводу похорон Н. А. Добролюбова», и другие источники и дать названной истории более убедительную и стройную трактовку.

Десятки раз воспроизводилось и комментировалось нашими исследователями стихотворение Некрасова «Тургеневу», и никто из них даже не подозревал, что это стихотворение имеет двух адресатов и что последняя его строфа с обращением «Непримиримый враг цепей» и т. д. относится не к Тургеневу, а к Добролюбову. И бесспорность этой истины впервые обосновал В. А. Архипов. В этой же главе на большом материале автор книги показал, как революционно-демократическая постановка вопроса о земле провела в конце 50-х годов новую демаркационную линию между «правыми» и «левыми», как в связи с этим появились в литературе

<sup>16</sup> Г. В. Плеханов. Искусство и литература. Гослитиздат, М., 1948, стр. 637, 634.

новые критерии прогрессивности и народности и как Некрасов в содружестве с Чернышевским и Добролюбовым выходит на самый передний край борьбы с крепостничеством и самодержавием.

Важной особенностью книги «Поэзия труда и борьбы» является то, что творчество Некрасова рассматривается в ней не только в соотношении с историей русской общественной мысли, журналистики и литературного движения эпохи, но и в тесной связи с жизнью и судьбами русского крестьянства. Наиболее рельефно эта особенность проявляется в главе «Гениальный парадокс», составляющей четвертую часть всей книги. Заявим прямо: эта глава является лучшим из всех имеющихся социально-исторических комментариев к поэме «Кому на Руси жить хорошо». И только страдающие настоящею или же притворною слепотою критики могут утверждать, будто автор увлекается в этой главе сенсациями. Как раз наоборот, все внимание его сосредоточено на выявлении того, как соотносится это великое произведение поэта с историческими фактами, с крестьянским движением и классовой борьбой периода 60—70-х годов в России. Но при всей «приземленности» своей и загроуженности архивными источниками и прочей документацией это не комментарий в узком смысле слова, автор распоряжается огромным и разнообразным материалом как полновластный хозяин, раскрывающий перед вами и грандиозность замысла, и художественную мощь, и необозримую масштабность бессмертного творения поэта.

С глубоким пониманием сложности вопроса и соблюдением чувства историзма истолкованы В. А. Архиповым образы сельского духовенства в поэме. Впервые в нашей литературе исследователю удалось объяснить, почему Некрасов, наряду с отрицательными типами сельских попов, вывел также положительную фигуру сельского священника (седенского попаика). До сих пор исследователи Некрасова стыдливо замалчивали вопрос о раскольниках и сектантах, которые в замысле поэмы занимают такое, казалось бы, непомерно большое место. Смело, глубоко и проникновенно объяснил В. А. Архипов ту действительно немаловажную «идейную нагрузку», которую несут эти образы в поэме.<sup>17</sup>

К главе «Гениальный парадокс» по своей проблематике тяготеет вторая глава книги «От Грешнева до всей Руси», в которой показана жизнь крепостного крестьянства Ярославского края периода 1820—1840-х годов. Б. Я. Бухштаб нашел, что материалы этой небольшой главы, «удачно обрисовывающие быт эпохи», будто бы «не имеют прямого отношения к Некрасову». Автор книги «Поэзия труда и борьбы» придерживается противоположного взгляда. «Тема „Ярославль“... — справедливо подчеркивает он, — касается самих основ творчества Некрасова, она „участвует“ в решении буквально всех проблем его поэтической деятельности» (стр. 70).

«Местная... тема... — заявляет далее исследователь, — ширилась, зрела, углублялась в своем течении, захватывала все новые и новые сферы действительности, все более глубокие социальные пласты и разрезы, — она росла по мере формирования Некрасова как поэта революционной демократии, по мере роста его как поэта России» (стр. 70—71). Вопрос о взаимозависимости между ярославскими и общероссийскими впечатлениями поэта решается В. А. Архиповым с глубоким проникновением в существо предмета и соблюдением необходимых пропорций. И поэтому нельзя согласиться с А. Мигуновым, который в своей в целом объективной, обстоятельной и дельной рецензии<sup>18</sup> полагает, что в книге «Поэзия труда и борьбы» допущен «перекосяк» в сторону ярославской действительности.<sup>19</sup>

В книге В. А. Архипова отсутствует специальная глава, посвященная анализу художественного мастерства Некрасова. И вместе с тем на всем протяжении ис-

<sup>17</sup> Отметим кстати, что в марте 1862 года Н. А. Некрасов ходатайствовал перед Литературным фондом об оказании денежной поддержки бывшему учителю Пермской духовной семинарии А. Н. Моригеровскому, сосланному в 1861 году в Тотьму «за распространение (как докладывал поэт) раскольничьей рукописи» (см.: «С.-Петербургские ведомости», 1862, № 81, 17 апреля, стр. 372). В действительности названная рукопись («Послание старца Кондратия») была не чем иным, как революционно-демократической прокламацией, обращенной к раскольникам. С содержанием этой прокламации Некрасов был безусловно знаком. Есть веские основания считать, что к написанию «Послания старца Кондратия» самое непосредственное отношение имел Н. Г. Чернышевский (ср.: М. Лемке. Политические процессы в России 1860-х годов. М.—Пгр., 1923, стр. 318).

<sup>18</sup> А. Мигунов. С позиций современности. «Литература и жизнь», 1961, № 116, 29 сентября.

<sup>19</sup> Новым подтверждением научной ценности изучения ярославских и грешневских впечатлений Некрасова является недавно напечатанная содержательная статья ярославского исследователя А. Ф. Тарасова «О местных источниках поэмы» (см. сборник: Истоки великой поэмы. Ярославль, 1962). Характерно, что выводы этой статьи в основном совпадают со взглядами В. А. Архипова на значение «местной темы».

следования автор проявляет усиленный интерес к изобразительным средствам поэта, к системе его образов и формам поэтической речи. Большую чуткость к колоритному некрасовскому языку, различнейшим его оттенком и переливам исследователь демонстрирует и в анализе таких стихотворений, как «Ростовщик», «Опыт современной баллады», «Блажен незлобивый поэт» (стр. 117, 119, 156), и в определении некрасовского пейзажа (стр. 163), и в характеристике «углубленного» слова поэта, живописующего народную толпу (стр. 283—287), и во многих других случаях. На стр. 266—267 книги В. А. Архипов дал первую в исследовательской литературе развернутую характеристику образа старообрядца Кропильникова из «Кому на Руси жить хорошо». Исследователь определяет прежде всего социальный смысл этого многозначительного образа. Что же касается характеристики художественного своеобразия портрета Кропильникова, то В. А. Архипов дает ее довольно неожиданным способом, вскользь, путем простого сравнения этого портрета с картиной Сурикова «Боярыня Морозова» и типами раскольников из «Хованщины» Мусоргского, но характеристику эту следует признать на редкость удачной. Исследователь рассматривает поэтическую форму как средство выражения мысли и вследствие этого анализирует первую не изолированно, а попутно с раскрытием содержания произведения. Наряду с этим В. А. Архипов ставит вопрос о зависимости поэтического мироощущения Некрасова от его общественно-политических взглядов. В главе «По пути Пушкина» раскрыты существенные особенности реалистического метода поэта, унаследованные им от Пушкина. Вопрос этот ставился и освещался многими исследователями (в том числе и К. И. Чуковским), но в книге «Поэзия труда и борьбы» он раскрывается гораздо глубже и серьезнее. Проблема традиций рассматривается В. А. Архиповым прежде всего с целью определения поэтического новаторства Некрасова. «Точка зрения мужика, — пишет исследователь, — смещала все. Критерии оценки, психология героя, его речь — новые темы и новая действительность — все требовало новых средств для своего выражения. И Некрасов двинул в поэзию буквально груды и горы новых слов, образов, красок и звуков, без чего его герои корчились бы безязыкие, им нечем было бы кричать и нечем разговаривать. Земля, щедро политая крестьянским потом, возрастала это поэтическое слово. Новое отношение героя к земле дало новую предметность и новую материализацию его психологии, его душевных движений. У Некрасова есть потрясающий портрет пахаря, переходящий в описание земли, на которой он работает, слившись с нею.

Грудь впалая, как вдавленный  
Живот; у глаз, у рта  
Излучины, как трещины  
На высохшей земле;  
И сам на землю-матушку  
Пожоже он: шея бурая,  
Как пласт, сохой отрезанный,  
Кирпичное лицо,  
Рука — кора древесная,  
А волосы — песок.

После этого едва ли могут быть сомнения, в какой мир и в какую сферу поэзии мы попали» (стр. 329). И надо сказать, что с этой сферой автор книги «Поэзия труда и борьбы» тесно и органически связан; она внутренне ему близка.

Таким образом, В. А. Архипов превосходно чувствует художественную силу и своеобразие некрасовского стиха; однако в данном исследовании поэтика занимает автора прежде всего со стороны выражения в ней мироощущения и мировоззрения великого народного поэта. Неоднократные «заходы» исследователя в эту область (особенно в подглавке «Идея и ее движение») являются несомненным вкладом в изучение поэтического мастерства Некрасова.

Исследование В. А. Архипова о Некрасове свободно от свойственных иным литературоведческим работам «обтекаемых» формулировок, сглаживающих острые моменты идейной борьбы в истории русской литературы XIX века. Оно написано человеком резко выраженным симпатий и антипатий по отношению к различным событиям и деятелям нашего исторического прошлого. Автор остро ощущает живую преемственную связь этих событий с сегодняшним днем и поэтому судит о них с таким увлечением и страстностью, как будто их непосредственный участник. Неподдельную страстность и высоким полемическим пафосом исследования объясняются как несомненные научные достоинства книги В. А. Архипова, так и ее отдельные, частные недостатки.

Автор книги «Поэзия труда и борьбы» настойчиво и систематически противопоставляет Некрасова Тургеневу, определяя последнего как едва ли не самого главного политического и литературного антагониста поэта. Мы как раз не разделяем стремлений тех литературоведов и критиков, которые хотят любую цену «примирить» Тургенева с Некрасовым. Сторонники названного примирения впадают порою не скажем — в своеобразное ханжество, но в какую-то непонятную литера-

туроведческую чопорность, восстающую против более чем естественных попыток изобразить историко-литературный процесс во всей глубине и сложности его противоречий, изобразить безбоязненно и объективно, без «примирительного елеса» и драпировок. Пропасть, разделявшая в 60—70-е годы Тургенева и Некрасова, действительно была невосполнимой, и возникла она прежде всего на почве политических разногласий. И поэтому вызывает законное недоумение, скажем, такой факт, что нашим школьникам и студентам до сих пор внушается нелепая мысль о том, будто в 1861 году Некрасов считал Тургенева тем идейным вождем, «кому назначено орлом парить над русским миром», — тогда как в действительности этого не было и не могло быть. Вместе с тем заблуждается и В. А. Архипов, когда он полагает, что свободомыслие Тургенева исчерпало себя «Записками охотника», и ставит знак равенства между либерализмом Тургенева, с одной стороны, и либерализмом П. В. Анненкова, с другой. Исследователь забывает, что даже в разгар своей борьбы с «Современником» об «отрицателях» типа Добролюбова и Спешнева Тургенев заявлял: «Они идут по своей дороге потому только, что более чужки к требованиям народной жизни» (письмо к К. К. Случевскому от 14 апреля 1862 года). Мы уже не говорим здесь о периоде 70-х годов, когда колебания Тургенева в сторону демократизма проявлялись с гораздо большей силой и когда отчетливо намечилось сближение писателя с революционной молодежью. Акцентируя все свое исследовательское внимание на изъянах политического мировоззрения Тургенева, В. А. Архипов вольно или невольно внушает читателю неверную мысль о том, будто политическими взглядами великого русского романиста исчерпывается значение его многостороннего и богатейшего художественного наследия.

Автор новой книги о Некрасове с полным основанием подвергает сомнению издавна утвердившийся взгляд на первый сборник стихотворений поэта («Мечты и звуки») как на неудачный дебют молодого автора. Тщательно анализируя названный сборник, исследователь находит в нем элементы поэтической индивидуальности зрелого Некрасова, но при этом впадает в противоположную крайность: он наделяет молодого поэта той степенью идейной и художественной зрелости, которой у него в то время не было. Не соблюдено В. А. Архиповым необходимое чувство меры и в освещении соотношения первого сборничка стихотворений Некрасова с поэзией Лермонтова. Высказанное исследователем предположение о том, что Лермонтов мог быть знаком с «Мечтами и звуками» Некрасова, на наш взгляд, имеет право на существование, хотя форма этого предположения («можно поручиться») излишне категорична. Вообще глава «Рождение поэта», из которой взяты нами последние два примера, по нашему убеждению, ниже общего научного уровня книги в целом, и поэтому с замечаниями, сделанными в адрес этой главы Б. Я. Бухштабом в основном следует согласиться.

Мы не будем отягощать внимание читателя ни анализом, ни подробным перечнем других менее существенных определений, формулировок и мест книги, которые представляются нам неудачными или малосубсидительными (характеристика «Сказки для детей» Лермонтова, определение Наташи Ростовской как образа декабристки и т. д.). В конце концов не этими частными недочетами и мелкими погрешностями стиля определяется значение рецензируемой книги.

«Поэзия труда и борьбы» — это одно из тех вдумчивых и талантливых исследований, которыми не так уж богата наша наука о Некрасове. Оно вводит в научный обиход много свежего материала, намечает новые аспекты в изучении творчества поэта, дает правильное решение ряда сложных историко-литературных вопросов и тем самым вносит ценный вклад в развитие советского литературоведения в целом.

Ограниченный тираж книги «Поэзия труда и борьбы» (2000 экз.) к настоящему времени полностью разошелся, и поэтому мы с удовлетворением присоединяемся к пожеланию, которое уже было высказано в печати, — переиздать исследование В. А. Архипова о Некрасове в одном из наших столичных издательств.

Полагаем, что для нового издания автор освободит книгу от отчужденных выше недостатков, усилит аргументацию тех положений, которые рождают ненужные споры, дополнит свои утверждения новыми данными и тем самым сделает ее еще более емкой, весомой и увлекательной. Большой интерес, вызванный книгой «Поэзия труда и борьбы» в среде наших читателей, заставляет надеяться, что переиздание ее — дело недалекого будущего.



А. Х О Д Ю К

## НОВОЕ ИЗДАНИЕ СОЧИНЕНИЙ А. Н. ТОЛСТОГО \*

Произведения Алексея Николаевича Толстого — отдельными книгами, сборниками, собраниями сочинений — непрерывно издаются огромными тиражами. Только в последнее десятилетие вышло в свет три издания сочинений писателя. В 1953 году завершено издание полного собрания сочинений в пятнадцати томах и шеститомного собрания избранных произведений в издательстве «Советский писатель». Семидесятипятилетие со дня рождения А. Н. Толстого Гослитиздат отметил выпуском первого тома собрания сочинений в десяти томах. Теперь издание закончено. Полное собрание сочинений было издано тиражом в сорок тысяч экземпляров, тираж последнего собрания сочинений равен шестистам семидесяти пяти тысячам. Это ли не признание писателя народом!

Творчество А. Н. Толстого многогранно и разнообразно. Перу этого замечательного художника принадлежат произведения самых различных жанров: стихи, рассказы, очерки, романы, пьесы, критические заметки и статьи, доклады по вопросам теории и истории литературы, языку, драматургии.

Не все художественные произведения А. Н. Толстого равноценны, не все суждения его об искусстве и литературе беспорны. Сложный жизненный и творческий путь писателя, эволюция его мировоззрения на разных этапах истории — до Великого Октября, в годы эмиграции и, наконец, по возвращении на родину, — естественно, не могли не отразиться в его художественных произведениях, публицистике, критике.

Перед редакцией стояла сложная задача: представить писателя по возможности во всем богатстве его мыслей, образов, идей. Десятитомник создает в представлении читателя правдивый облик А. Толстого. По содержанию он лишь немногим уступает пятнадцатитомному изданию, которое хотя и названо полным, но не является таковым: в нем отсутствует целый ряд произведений А. Н. Толстого, опубликованных в периодической печати в 1917—1922 годах, нет и такой статьи писателя, как «Четверть века советской литературы» (доклад, прочитанный на юбилейной сессии Академии наук СССР в 1942 году), совершенно не представлено богатое эпистолярное наследие писателя, хранящееся в архиве Института мировой литературы им А. М. Горького.

В издании принят жанрово-хронологический принцип расположения материала. В первых семи томах в хронологической последовательности размещены рассказы, повести, романы; в восьмом томе стихи, сказки, произведения для детей; в девятом — пьесы; в десятом — публицистика, критика, рассказы периода Отечественной войны. Такое размещение произведений создает определенные удобства и для чтения, и для работы по изучению творчества писателя.

Редакцией проведен тщательный отбор произведений и заведомо слабые в идейном и художественном отношении, не определяющие творческого лица писателя не включены в издание; среди них небольшие рассказы разных лет («Синее покрывало», «Дым», «Анна Зисерман», «Все полетело кверху ногами», «Счастье Аверьяна Мышина»), несколько пьес второстепенного значения («Дочь колдуна и заколдованный королевич», «День битвы», «Путь к победе»), а также на заимствованные сюжеты («Смерть Дантона», «Бунт машин», «Делец»). Не вошло в издание большинство пьес, написанных в соавторстве. Сокращена публицистика, исключены незначительные газетные заметки — поздравления, приветствия, интервью, т. е. то, что представляет интерес для исследователя, а не для широкого круга читателей. Однако следует заметить, что вряд ли было целесообразно изымать такие циклы, как «По Воляни» и «По Галиции», в которых наиболее непосредственно выражено отношение писателя к первой мировой войне.

Крунейшему историческому повествованию А. Н. Толстого — роману «Петр Первый» предшествовало, как известно, несколько произведений, посвященных теме Петра. Массовому читателю — а это и учитель средней школы, и студент, и каждый любящий литературу и изучающий ее историю — хотелось бы иметь под рукой наряду с романом и рассказами «Наваждение» и «День Петра» все, что написано Толстым о Петре, в том числе и пьесу «На дыбе», не попавшую в издание.

Десятитомник не представлял бы интереса, если бы вся работа редакции свелась к изъятию некоторых произведений, дабы не превысить установленного объема. Ценность издания в том, что в него вошли новые произведения, которых мы не находим в предыдущем собрании сочинений. Среди них неизвестный ранее колоритно написанный рассказ «Эшер» (1911) о смелых и гордых людях Кавказа,

\* Алексей Толстой, Собрание сочинений в десяти томах, под редакцией А. В. Алнаторова, Ю. А. Крестинского, А. С. Мясникова, В. О. Перцова, Л. И. Толстой, В. Р. Щербини, тт. I—X, Гослитиздат, М., 1958—1961.

предпочитающих смерть неволе. В другом рассказе — «Миссионер» (1913) — автор рисует судьбу рядового Назара Иванова, бежавшего за границу от преследований за участие в солдатском бунте в 1905 году. Назар очень скоро понял, что в Париже, куда он попал, все продается и покупается. Усвоив мораль буржуазного мира, он превращается в вымогателя и грабителя.

Новое издание пополнилось повестью «Необыкновенное приключение Никиты Рощина», примыкающей к широко известному автобиографическому произведению «Детство Никиты» и воспринимающейся как его продолжение. Повесть интересна тем, что в ней мы находим первые наброски картин гражданской войны, которые позже займут центральное место в эпопее «Хождение по мукам». В «Необыкновенном приключении», писавшемся, как и «Детство Никиты», в эмиграции, сильно звучат мотивы тоски по родине, выразившие чувства самого писателя на чужбине.

Читатель познакомится также с пьесой «Чудеса в решетке», написанной в 1926 году и не публиковавшейся около трех десятилетий. Это по-настоящему веселая комедия, живо передающая характерные фигуры и нравы времен попа.

В десятитомник введен ряд новых материалов по истории и теории литературы и критики.

Значительный интерес представляет доклад А. Н. Толстого на юбилейной сессии Академии наук СССР в 1942 году — «Четверть века советской литературы». С присущими его таланту оригинальностью мысли и образностью речи Толстой начертил исторический путь советской литературы, особо подчеркнув ее живую связь с народом, с историей страны; свежи и оригинальны мысли Толстого о различии и общности русской классической и советской литератур, о качественном различии гуманизма. Периодизация истории советской литературы, намеченная писателем, во многом совпадает с той, которая принята современным литературоведением.

Почти все произведения А. Толстого были изданы при жизни писателя, многие из них подвергались неоднократной авторской правке. Однако редакция не пошла по пути перепечатки произведений из предыдущих изданий, а проделала дополнительную текстологическую работу. При сличении печатных текстов с рукописями и первыми публикациями обнаружилось, что в неоднократно печатавшихся произведениях А. Толстого немало искажений, пропусков, опечаток и т. д., которые механически переносились из издания в издание. Даже в таком популярном романе, как «Петр Первый», замечены текстологические ошибки, которые искажали смысл. Приведем несколько примеров. В полном собрании сочинений, как, впрочем, и в других изданиях романа, читаем: «Идем, я покажу, где она (Анхеп, — А. Х.), — проговорил сзади в ухо вкрадчивый голос. Это был пестельник в пунцовый рубахе, Алексашка Меньшиков с пронзительными глазами. — *Девкой* домой пошла!»<sup>1</sup> В десятитомнике исправлено: «*Девка* домой пошла» (VII, 94).

В некоторых предыдущих изданиях «Петра Первого» имя стрельца печаталось то «Микита Гладков», то «Микитка Гладкой». В десятитомнике правильно последнее написание, что подтверждается текстом рукописи.

В письме Петра ошибочно печаталось: «Яким маляр да польский дякон Кривосыхин».<sup>2</sup> (В полном собрании сочинений даже — «рольский»). По рукописи установлено, что А. Толстой писал «*тосольский* дякон».

Замечены неточности чисто технического характера, но тем не менее нарушавшие реальную картину. В предыдущих изданиях романа печатали: «Приятым ветром наполняло четыре больших прямых паруса на грот- и фок-мачтах и два косых, носовых — на конце длинного бушприта...»<sup>3</sup> Исправлено: «...четыре больших прямых паруса на грот- и фок-мачтах и два прямых...» (VII, 313), — что соответствует действительному устройству корабельных снастей.

Немало найденных в трилогии «Хождение по мукам» и в других произведениях неточностей ныне устранено в десятитомнике.

Содержательны в десятитомнике вспомогательные материалы. Если сравнить комментарии в полном собрании сочинений и в рецензируемом издании, то мы заметим значительную разницу. В первом они довольно пестры, далеко не равны как по объему, так и по содержанию. Наряду с комментариями, которые содержат обильный материал, встречаются и такие, которые можно назвать краткой библиографической справкой.

В десятитомнике точно установлен тип комментариев, определен круг вопросов, на которые в справочном аппарате даются ответы. Это — творческая история произведения, различия в редакциях, варианты, критические отзывы. Комментаторы стремились по возможности не вторгаться в область критики, придерживаться только фактов. Но вряд ли оправдано стремление редакции избегать оценок,

<sup>1</sup> А. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, т. IX, Гослитиздат, М., 1946, стр. 88.

<sup>2</sup> Там же, стр. 310.

<sup>3</sup> Там же, стр. 291.

хотя бы и кратких. В новом издании как раз наиболее содержательными и интересными оказались те статьи, в которых авторы касаются идеи произведений, характеристики героев. И наоборот, стремление во что бы то ни стало ограничиться изложением библиографических материалов приводит к тому, что комментарии превращаются в сухую справку, лишённую познавательного значения.

Комментарии в десятитомнике подготовлены А. В. Алпатовым, Ю. А. Крестинским, А. Н. Нечаевым и А. Л. Сокольской. Первые три автора участвовали в подготовке комментариев и к полному собранию сочинений. Несмотря на это к новому изданию многие статьи написаны заново (к трилогии «Хождение по мукам», повестям «Детство Никиты», «Ибикус» — А. В. Алпатовым, к повести «Хлеб» и роману «Чудаки» — Ю. А. Крестинским, к драматическим произведениям — А. Л. Сокольской, к сказкам — А. Н. Нечаевым), другие основательно переработаны и дополнены новыми материалами, разысканными в архивах (комментарии А. В. Алпатова к роману «Петр Первый»).

А. Толстой, как и всякий большой художник, много работал над совершенствованием своих произведений, возвращался к законченным, переделывал, вносил поправки. Комментарии знакомят читателя с этапами работы Толстого над произведением, как бы вводят в творческую лабораторию писателя. Так, в примечаниях к рассказу «Приключения Расстегина» (II, 729—730) включена колоритная сцена крупной ссоры дворян с буржуа-лавочником, впоследствии исключённая Толстым из рассказа, но имеющая немаловажное значение для выяснения идейных позиций автора в те годы. В комментариях к роману «Хромой барин» помещён эпилог, позже снятый автором, об уходе князя Краснопольского в революцию и его гибели на эшафоте (II, 745). Приведены варианты повести «Детство Никиты», свидетельствующие о том, что Толстой, перерабатывая произведение, стремился устранить чувствовавшийся кое-где налет некоей таинственности, мистической загадочности (III, 698—704). В комментариях к «Ибикусу» впервые публикуется запись писателя, в которой даны первоначальные наброски плана произведения (III, 706—707).

В комментариях А. В. Алпатова к «Хождению по мукам» по письмам, высказываниям, статьям писателя можно проследить, как менялись замыслы Толстого на протяжении двадцатилетней работы над эпопеей. Материалы свидетельствуют также о том, с каким вниманием писатель относился к каждой фразе, к каждому слову. Комментируя «Хмурое утро», А. В. Алпатов показывает, как много труда затратил Толстой на первую, вводную фразу романа, которая последовательно менялась так: первый вариант — «У костра сидели двое — мужчина и женщина»; второй вариант — «В степи горел костер. У огня сидели двое — мужчина и женщина»; третий вариант — «В степи горел костер, место было неудачное, из меловой балки усиливался ветер, посыпываясь в помятой и давно осыпавшейся пшенице. Осенний закат густел, мрачнел за едва различимыми далекими холмами — от него шла огромная, далекая щель» (VI, 712).

Писатель остановился на первом варианте, предельно лаконичном, выразительном, создающем в представлении читателя четкий образ, что так характерно для стиля А. Толстого. Вспомним его писательское кредо: «Работать над стилем — значит... беспощадно выбрасывать все лишнее: ни одного звука „для красоты“». Одно прилагательное лучше двух, если можно выбросить наречие и союз — выбрасывайте. Отсеивайте весь мусор, сдирайте всю тусклость с кристаллического ядра. Не бойтесь, что фраза холодна, — она сверкает» (X, 144).

Очень интересны публикуемые А. В. Алпатовым в примечаниях к «Петру Первому» материалы из записных книжек Толстого.<sup>4</sup> В них отражена огромная творческая работа писателя над историческим романом, наглядно представлено, как из многочисленных материалов он извлекал факты, характерные обороты речи, отдельные слова, мастерски вплетал их в ткань повествования и таким путем создавал подлинный колорит эпохи (VII, 855, 857).

По записным книжкам можно проследить, как намечал писатель различные варианты глав, отдельные сцены, эпизоды. Большой интерес представляют также наброски к третьей книге романа. Запись «Шведы под Кроншлотом, Толбухин» говорит об имевшемся у Толстого намерении показать в романе нападение шведов на Кроншлот летом 1705 года и разгром их русскими войсками, среди которых особенно отличился полк Федота Толбухина. Из биографических материалов об А. Н. Толстом известно, что он собирал материалы об этом событии: в 1944 году он посетил Кронштадт, ходил на Толбухино косу.

Интересна и публикация главы из «Петра Первого» об «Злоключениях Алешки Бровкина, покинутого Александшкой Меньшиковым», главы, не включавшейся писателем в роман (VII, 852—854).

В повести «Хлеб» А. Толстым допущены неточности и ошибки, которые стали очевидны в последние годы. Редакции необходимо было объяснить их. И она это

<sup>4</sup> Часть материалов опубликована А. В. Алпатовым в монографии «Толстой — мастер исторического романа» («Советский писатель», М., 1958).

сделала. В комментариях Ю. А. Крестинского сказано, что в 30-е годы, когда создавалась повесть, преувеличивалась роль обороны Царицына, которой руководил Сталин. Под влиянием тех материалов, которыми снабжала писателя редакция «Истории гражданской войны в СССР», и существовавшей в те годы в исторической науке концепции А. Толстой «воспринял трактовку значения обороны Царицына, как главного форпоста революции», «хотя в действительности решающее значение в этот период имела борьба на Восточном фронте» (VI, 716).

Вносят комментаторы поправку и в характеристику А. Е. Снесарева, который в повести представлен троцкистом, тогда как на самом деле он с первых дней революции до конца жизни честно служил в Красной Армии, занимая ряд руководящих постов.

Содержательны примечания А. Н. Нечаева к восьмому тому, особенно статья «Русские народные сказки в пересказах А. Н. Толстого». Иллюстрируя статью многочисленными примерами, А. Н. Нечаев раскрывает процесс создания А. Толстым сказки на основе многих фольклорных вариантов. Стремясь донести до читателя подлинно народный смысл и подлинно народную форму сказок, А. Толстой творчески перерабатывал фольклорные произведения, создавал свои варианты и, таким образом, как бы выступал в роли общерусского сказочника. Чуткий к народному слову, чувствовавший всякую фальшь не только в его смысловых оттенках, но и в интонациях, А. Толстой стремился услышать сказку из уст сказителей. «Надо непременно прослушать хороших сказочников. Они могут дать для нашей работы больше, чем многие записи...» — говорил он (VIII, 541). Так, создавая свой вариант сказки «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что», Толстой изучил двадцать шесть записей этой сказки, да еще прослушал ее из уст известного сказочника М. М. Коргуева.

В примечаниях А. Л. Сокольской к пьесам довольно полно представлена творческая и спенческая история драматических произведений А. Толстого. Здесь мы находим новые архивные материалы, отзывы на спектакли в повременной печати, узнаем имена исполнителей, среди которых немало выдающихся мастеров русской сцены (О. Садовская, В. Пашенная, В. Массалитинова, М. Блюменталь-Тамарина, Н. Радян, Н. Нароков, В. Софронов, Н. Черкасов, В. Меркурьев, Н. Хмелев, А. Грибов). Особенно обстоятельно рассматриваются комментатором исторические пьесы — «Петр Первый» и «Иван Грозный». Изучив исторические материалы о Грозном, А. Л. Сокольская пришла к выводу, что А. Толстой в своей драматической повести показал Ивана IV несколько однобоко. Она пишет: «В мемуарах и письмах драматург находил интересные сведения об отношениях царя с опричниками и теми или иными представителями боярской оппозиции, существенные подробности быта и нравов того времени. Вместе с тем подбор материалов был в известной мере односторонним. Драматург широко использовал те документы, которые подтверждали сложившийся в его сознании образ царя-патриота, и оставлял без внимания свидетельства бессмысленной жестокости властителя, болезненной мнительности Грозного» (IX, 785—786). Интересны наблюдения исследователя над тем, как А. Толстой строил речь персонажей, используя письма Грозного и Курбского, летописи, фольклорные материалы.

Собрание сочинений открывается очерком «А. Н. Толстой» В. Щербини, перу которого принадлежат книги и статьи о писателе, в том числе и вступительная статья к полному собранию сочинений. Очерк в десятитомнике отличается от предыдущих работ автора. Творчество Толстого в нем рассматривается с учетом новых исследований, во всей сложности взаимоотношений формирующейся личности писателя с общественной средой. Это позволило по-иному осветить некоторые этапы творчества А. Толстого. Так, отвергая распространенное мнение о том, что в начале творческого пути писатель подражал символистской поэзии (сборник «Лирика»), В. Щербина устанавливает, что первыми произведениями А. Толстого были стихотворные отклики на революционные события, свидетелем и участником которых был писатель. В. Щербина отмечает далее связь А. Толстого с демократическими кругами писателей, с литературной группой «Среда», с «Книгоиздательством писателей» в Москве, подготовившим первое собрание его сочинений.

Следует отметить однако, что вступительная статья написана без учета содержания издания. В статье упоминаются очерки «По Галиции», «По Волыни», «В Англии», пьесы «День битвы», «Нечистая сила» и некоторые другие произведения, не вошедшие в десятитомник.

В целом новое собрание сочинений А. Н. Толстого по своему построению, по типу комментирования и текстологической обработке может рассматриваться как удачный опыт научно достоверного массового издания произведений классика советской литературы.

В. ТИМОФЕЕВА

## МАЯКОВСКИЙ И ЛИТЕРАТУРА ЕГО ЭПОХИ \*

Среди важнейших проблем современного литературоведения немалое место занимают проблемы, связанные с начальным этапом развития современной литературы — бурным периодом борьбы за новое, социалистическое искусство, когда в ожесточенных столкновениях и страстных поисках рождалась и набирала силу литература социалистического реализма. Не случайно именно этот этап привлекает широкое внимание зарубежных исследователей, да и в советском литературоведении не раз вызывал острые научные дискуссии, одним из примеров которых может служить дискуссия, развернувшаяся недавно на страницах журнала «Вопросы литературы». В 20-е годы закладывались основы советской литературы, практически решались сложные вопросы оценки художественного наследия, нащупывались новые принципы взаимоотношений искусства и жизни. В этот период молодая советская литература выработывала иммунитет против вредных воздействий буржуазного искусства и прежде всего против формалистических влияний. Словом, это было время, во многом отличное от последующих этапов развития советской литературы и вместе с тем глубоко с ними связанное, а потому и при изучении современного литературного процесса мы почти всегда обращаемся к опыту 20-х годов и находим там материал для суждений о современности.

Чрезвычайно интересна в этом плане опубликованная в 1961 году книга А. Метченко «Творчество Маяковского 1925—1930 гг.».

Среди сотен работ о крупнейшем советском поэте эта монография (представляющая собой, по существу, продолжение ранее вышедшей книги того же автора)<sup>1</sup> прежде всего отличается широтой исследования. Творчество Маяковского рассматривается в тесной связи с развитием литературного процесса, с творческой работой других советских писателей, вместе с Маяковским закладывавших основы советской литературы. Идейно-художественные искания замечательного поэта пролетарской революции раскрываются в свете исторических закономерностей формирования и развития социалистического искусства; его поэтические открытия осмысливаются как выражение творческих завоеваний литературы нового мира.

Такой широкий размах исследования отражает не только характерную особенность авторской манеры. Он обусловлен прежде всего самим предметом исследования. В творческой деятельности Маяковского второй половины 20-х годов как в фокусе преломились многие существенные проблемы литературного развития — начиная от поисков нового метода и нового героя и кончая такими, казалось бы, частными, преходящими, но в то же время чрезвычайно важными вопросами, как вопрос об отношении к литературным группировкам. Углубленное изучение поэтического наследия Маяковского просто невозможно без самого обстоятельного исследования реальных фактов общественной жизни 20-х годов, сложных переплетений литературного движения, многообразных и противоречивых поисков и устремлений писателей-современников.

А. Метченко прокладывает свой путь не по нехоженной целине. В современном литературоведении имеется уже немалый опыт изучения творчества Маяковского, накоплено большое количество фактов, наблюдений, обобщений, позволяющих в основном представить творческий путь поэта, его вклад в развитие литературы и его роль в борьбе за становление и укрепление социалистического реализма. Появились также такие труды, как трехтомная «История русской советской литературы», дающая общее представление о литературном процессе, об основных завоеваниях советской литературы.

Однако это обстоятельство несколько не снижает значения рецензируемой книги. В ней находим не только новые факты для подтверждения уже сложившихся представлений. Работа А. Метченко значительно дополняет и уточняет, а кое в чем и заметно поправляет существующую научную литературу. А главное — в этой книге во весь рост встает могучая фигура Маяковского, поэта, кровно связанного со своей эпохой, с ее открытиями и поисками, с ее пафосом и противоречиями. Историзм, последовательно с начала до конца книги проведенное стремление рассматривать факты в контексте эпохи, в их исторической обусловленности и реально существовавших взаимосвязях представляет собой одно из самых существенных достоинств новой книги о творчестве Маяковского. Это качество тем более ценно, что за последние годы появилось немало работ, в которых почти

\* А. Метченко. Творчество Маяковского 1925—1930 гг. «Советский писатель», М., 1961.

<sup>1</sup> А. Метченко. Творчество Маяковского 1917—1924 гг. «Советский писатель», М., 1954.

единственным материалом для исследователя оказывается одно из последних изданий Маяковского, а само исследование превращается в произвольное комментирование.

Книга А. Метченко включает в литературоведческий обиход целые пласты забытых или неизвестных фактов, позволяя современному читателю, для которого 20-е годы порою оказываются давней историей (нельзя забывать, что почти  $\frac{3}{4}$  населения нашей страны по данным переписи 1959 года родилось после Октября!), наглядно представить себе обстоятельства, воздействовавшие на поэта, глубже понять социальную обусловленность творческой работы Маяковского.

Возьмем для примера разделы книги, посвященные, казалось бы, таким сугубо литературоведческим проблемам, как проблема положительного героя и проблема типизации. В них находим широкое освещение литературных споров той поры, различных путей художественного воплощения формирующегося в самой действительности нового героя, обстоятельный анализ творческого решения Маяковским проблемы положительного героя. Эти материалы для современного читателя имеют не только историческое значение — в них легко можно обнаружить переключку с недавними дискуссиями о герое современной литературы, когда снова некоторыми писателями и критиками была вытащена на белый свет слегка подремонтированная теория «живого человека». Рассматривая полемику 20-х годов, творческие завоевания лучших советских писателей и, в первую очередь, поэтическую работу Маяковского, автор показывает проверенный художественной практикой путь решения данной теоретической проблемы. При этом закономерно сближаются позиции внешне очень различных, порою даже резко полемизировавших друг с другом писателей и, с другой стороны, прямо противопоставляются кажущиеся литературные соратники. Так, в частности, показана близость взглядов на положительного героя эпохи Ф. Гладкова и Маяковского и принципиальные расхождения поэта с О. Бриком и С. Третьяковым. Развернутая критика лефовской концепции нового героя существенно дополняет освещение полемики между рапповцами и переральцами. Вполне обоснован в книге тезис: «Концепция человека, которую защищал во второй половине двадцатых годов Маяковский, отмеченная печатью его яркой личности и художественного своеобразия его творческой манеры, оказывалась в главном своем гуманистическом и социально-историческом содержании в близком родстве с горьковской. Их породила жизнь, близость мировоззрения. В то же время эта концепция противостояла не только теориям Воронского и рапповцев, с которыми он полемизировал, но и лефовцев, с которыми он находился в дружеском контакте» (стр. 49—50).

Наблюдения автора над тем, как эта концепция нового героя преломлялась в творчестве Маяковского, начиная от поэмы «Владимир Ильич Ленин» и кончая стихами и пьесами последних лет, представляет собой немалый интерес для решения вопроса о становлении социалистического реализма в советской литературе. Показывая своеобразие самого процесса художественного обобщения в творчестве Маяковского, присущую поэту агитационную целеустремленность, А. Метченко вместе с тем выделяет то главное, что сближало поэта с другими советскими писателями. Концепция нового положительного героя тесно была связана и с сатирической работой Маяковского, с его драматургией, поэтому обстоятельное исследование этой теоретической проблемы позволяет глубже и основательнее осветить специальные вопросы сатиры и драматургии поэта.

Творческое наследие Маяковского не исчерпывается художественными произведениями. Он принадлежал к тем писателям, для которых характерен живой интерес к важнейшим эстетическим проблемам современности. В выступлениях и стихах поэта есть немало глубоких мыслей о коренных принципах социалистического искусства. Эти мысли уже привлекали внимание исследователей, ибо в них находят отражение не только собственный творческий опыт Маяковского, но в какой-то мере и опыт развития всей молодой советской литературы, воспринятый и осмысленный большим и своеобразным художником слова.

В освещении эстетических воззрений Маяковского заметно определились две крайности. Одни авторы, почти не обращая внимания на факты, не подходящие к их концепции, превращают Маяковского в теоретика, который еще в дооктябрьские годы начал разрабатывать теорию социалистического искусства. Наиболее откровенно такой подход выражен в статье Ф. Астафьева,<sup>2</sup> написанной по материалам кандидатской диссертации, подготовленной на кафедре философии Ленинградского государственного университета.

Другие, наоборот, утверждают, что Маяковский был слаб в вопросах теории, почти всецело находился под влиянием лефовских представлений об искусстве и только в своих художественных произведениях, так сказать «ошупью», подходил к правильному пониманию эстетических принципов социалистического искусства. Эта концепция довольно прочно сохранялась в 20—30-е годы, проявлялась она и позже, например в статьях и книгах Е. Усиевич. Из работ последнего времени

<sup>2</sup> Ф. У. Астафьев. Эстетические взгляды Маяковского 1912—1915 гг. «Ученые записки Ленинградского государственного университета», 1956, № 196, серия философских наук, вып. 7.

особенно настойчиво она проводится в книге И. Машбиц-Верова «Поэмы Маяковского». Подчеркивая действительно встречавшиеся в выступлениях поэта ошибочные утверждения, связанные с групповой полемикой тех лет, И. Машбиц-Веров как-то забывает другие его высказывания, в которых с исключительной силой были выражены важнейшие принципы новой эстетики. Это тем более важно, что в 20-е годы, когда только начинала складываться теория социалистического реализма, многое еще было неясно, критическая разногласия порою запутывала даже такие вопросы, которые в основном уже были решены художественной практикой, а эстетическая мысль с трудом прокладывала себе дорогу через наслонные идеалистических и вульгарно-социологических представлений.

В работе А. Метченко высказывания и творческая практика Маяковского рассматриваются в их диалектическом единстве, исследователь убедительно рисует развитие и углубление эстетических воззрений поэта в связи с растущим опытом советской литературы. Он не оставляет в стороне неверных положений, встречающихся в высказываниях, статьях и стихотворениях Маяковского и обычно связанных с определенными фактами групповой полемики. Сопоставляя факты, обнажая смысл полемических столкновений, А. Метченко убедительно рисует сложный процесс выработки новых эстетических принципов.

В коллективном теоретическом осмыслении опыта советской литературы, преодоления вульгарно-социологических заскоков, формалистических схем и сильного еще в ту пору воздействия идеалистической эстетики В. Маяковскому принадлежала очень большая роль. Его позиции в решении важнейших теоретических проблем близки были позициям М. Горького. Не случайно поэтому в рецензируемой работе часто встречается сопоставление их высказываний. Как показывает исследователь, Маяковский, столь непосредственно связанный с революционной действительностью, в ряде случаев раньше приходил к осознанию важных положений, вошедших в эстетику социалистического реализма, и находил «классически четкое выражение идеям, которые зрели в недрах молодой литературы, подсызались всем ее опытом, от общей трактовки проблемы преемственности и новаторства до частных случаев конкретного художественного использования тех или иных традиционных мотивов и приемов» (стр. 189). Но в то же время автор не умалчивает о «глубоком драматизме отношений, сложившихся между Маяковским и Горьким» (стр. 190), раскрывая те обстоятельства, которые способствовали личным расхождениям между двумя крупнейшими советскими писателями.

Исследование о Маяковском закономерно и неизбежно перерастает в обстоятельный анализ путей развития советской литературы. В книге А. Метченко можно найти ценные материалы и интересные суждения о советской прозе и поэзии, критике, сатире и драматургии. Размах творческой деятельности Маяковского обязывает исследователя захватывать широкий круг вопросов — от сложных проблем становления и развития советского общества до специфических вопросов поэтического мастерства, от общей трактовки проблемы преемственности и новаторства до частных случаев конкретного художественного использования тех или иных традиционных мотивов и приемов.

Совершенно закономерно автор сопоставляет множество имен и массу литературных фактов. Но, разумеется, первое место в этих сопоставлениях занимают имена и факты, относящиеся к той области литературного творчества, которая была наиболее близка Маяковскому, — к области поэзии. А. Блок, С. Есенин, Э. Багрицкий, И. Сельвинский, Н. Асеев, Д. Бедный, Н. Полетаев, А. Безыменский, А. Жаров, М. Светлов, И. Уткин и многие другие поэты появляются в этой книге не как пресловутый «фон», а как полноправные участники литературного процесса, в ходе которого развивался и креп могучий талант Маяковского. Конечно, творчество этих поэтов затрагивается лишь в той мере, в какой это необходимо для уяснения развития Маяковского, но в большинстве случаев мера эта настолько значительна, что позволяет высказать существенные суждения о творческой работе многих «хороших и разных» современников великого поэта.

Широкий размах нового исследования о Маяковском был отмечен рецензентами книги А. Метченко, однако не все увидели в этом ее достоинство. Л. Лазарев, выступивший в «Новом мире»,<sup>3</sup> именно в этом обнаружил главный недостаток работы и обвинил автора в том, что он якобы обедняет творческие достижения Маяковского, «то и дело лишает поэта творческой самостоятельности», создает впечатление, «будто поэт идет по чужим следам».<sup>4</sup>

Обвинения серьезные, сразу ставящие под сомнение не только научную ценность книги, но и все направление работы исследователя, самый подход его к изучению материала. Насколько они основательны? Рассмотрим аргументацию критика.

Л. Лазарев в начале статьи заявляет, что привлекаемый автором книги конкретный материал вступает в противоречие с выводами, неправильно истолковывается и якобы даже «невольнo рождает мысль о том, что знание жизни поэту

<sup>3</sup> Л. Лазарев. Материал и исследование. «Новый мир», 1962, № 2, стр. 263—268.

<sup>4</sup> Там же, стр. 264.

давалось нетрудным путем внимательного и систематического чтения газет (лишь к середине двадцатых годов, — заявляет А. Метченко, — газета как главный источник знакомства с жизнью уступает место непосредственным наблюдениям), что первооткрывательство сведено к отклику на злобу дня, а утверждение нового взгляда как иллюстрация общеизвестных положений, щедро заимствованных из газетных заметок и передовиц.<sup>5</sup> При этом критик ссылается на страницы, посвященные стихотворению «Товарищу Нетте — пароходу и человеку». Если верить Л. Лазареву, в книге А. Метченко вся история создания этого стихотворения сведена к сопоставлению с газетной статьей, в которой шла речь о погибшем диктаторе. Не жалея места, критик приводит обширную цитату и заключает ее словами, возвращающими читателя к мысли о том, что А. Метченко превращает поэта в «иллюстратора общеизвестных положений... из газетных заметок и передовиц». «Нетрудно заметить, — пишет Л. Лазарев, — что в стихотворении Маяковского и в статье А. Аросева некоторые детали совпадают. Быть может, Маяковский и читал статью А. Аросева. Но, право же, его собственные впечатления от встреч с Нетте (если судить хотя бы по стихотворению) были богаче и интереснее. Конечно, очень хорошо, что А. Метченко отыскал статью А. Аросева. Но использовал он ее не лучшим образом, возвращая читателей к мысли, что для Маяковского газета была „главным источником знакомства с жизнью“».<sup>6</sup>

Читатель может подумать, что именно так и обстоит дело в книге А. Метченко. Но все построение критика рассыпается при соприкосновении с текстом книги. Стихотворение «Товарищу Нетте — пароходу и человеку» А. Метченко рассматривает в связи с проблемой нового героя, в связи с вопросом о том, как позиция «борца за будущее» отражается на самих принципах художественной типизации. В самом начале исследователь напоминает о том, что Маяковский лично знал Теодора Нетте, а затем коротко рассказывает о жизни одного из рядовых бойцов «суровой гвардии ленинской выправки» и приводит цитату из статьи А. Аросева, где, кстати сказать, говорится не о самом Нетте как человеке, а о его ответственной, но невидной работе, «при которой личная жизнь почти полностью вычеркивается».

А. Метченко пишет, что хотя известие о гибели Нетте произвело на поэта огромное впечатление, стихотворение нельзя назвать непосредственным откликом на это событие: оно «принадлежит к числу произведений, в которых переживания и размышления, вызванные тем или иным событием, служат живым источником для постановки большой, уже давно и глубоко волновавшей поэта проблемы» (стр. 66). Далее автор обстоятельно раскрывает идею произведения («бессмертие не является уделом „избранных“, любой обыкновенный человек, движимый высокой целью, способен совершить подвиг, который останется жить в памяти народа», — стр. 66) и в свете этой идеи рассматривает созданный поэтом образ Нетте. Анализ художественных средств, включая и некоторые стилистические наблюдения (например, замена первоначального варианта «вечные дела» окончательным «долгие дела»), подчинен основному заданию: показать на примере этого стихотворения практическое решение Маяковским волновавшей писателей проблемы нового героя.

Что же остается от заявления Л. Лазарева, будто бы А. Метченко представил здесь Маяковского иллюстратором событий, для которого газета была «главным источником знакомства с жизнью»? Абсолютно ничего. Налицо даже не различное истолкование какого-то факта (что вполне возможно в критической лигеатуре), а чистый вымысел критика, никак не соответствующий реальным фактам.

Л. Лазарев хочет убедить читателя, что «незаметно для себя, подвижной самыми лучшими намерениями исследователь то и дело лишает поэта творческой самостоятельности»,<sup>7</sup> и в подтверждение ссылается на страницы, посвященные очерку «Мое открытие Америки» и поэме «Хорошо!». Что же говорится на этих страницах?

В первом случае возмущение критика вызвало сопоставление очерка поэта с путевыми очерками тогдашнего вице-президента Академии наук СССР В. А. Стеклова, которое, по словам критика, вызвало «ложное ощущение, будто поэт идет по чужим следам». Определение, по существу, правильное: такое ощущение нельзя назвать иначе, как ложным, но сразу следует сказать, что истоки этого ощущения следует искать не в книге Метченко.

Анализ очерков Маяковского исследователь предвзывает интересным и весьма обстоятельным рассмотрением «темы Запада» в русской литературе той поры. Множество сопоставлений (с С. Есениным, А. Толстым, И. Эренбургом, М. Кольцовым, М. Шагиняном, Н. Тихоновым, В. А. Стекловым, М. Левиловым и др.) нужно автору для того, чтобы глубже показать, с одной стороны, актуальность этой темы, а с другой — своеобразие ее поэтического воплощения в произведениях Маяковского. А. Метченко справедливо отмечает близость общей оценки «американского

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> Там же.

<sup>7</sup> Там же.



образа жизни» в очерках В. Маяковского и В. А. Стеклова (как, впрочем, и в очерках М. Горького и С. Есенина), но отнюдь не ограничивается этим. «В культуре доллара — пишет автор, — Маяковского поразили такие черты, которые в его глазах поэта-гуманиста приобрели угрожающий, почти символический смысл» (стр. 139). После этих слов следует цитата из очерка Маяковского: «В отношении американца к доллару есть поэзия. Он знает, что доллар — единственная сила в его шестидесятиллионной буржуазной стране (в других тоже), и я убежден, что, кроме известных всем свойств денег, американец эстетически любит зеленый цвет доллара, отождествляя его с весной...» (стр. 139).

Можно не продолжать цитату, так как основной ее смысл отчетливо выражен в приведенных строчках. Поэт не просто отметил власть доллара, как это делали другие авторы очерков об Америке, но подчеркнул его влияние на эстетику. И это очень важный момент. Вполне справедливо А. Метченко обращает на него внимание читателя. Какие же основания упрекать автора книги в том, что он «лишает поэта творческой самостоятельности»? Абсолютно никаких! Наоборот, в данном случае стоило бы отметить научную добросовестность исследователя, который, сопоставляя факты, помогает читателю оценить подлинные открытия поэта.

Не имеют под собой почвы и замечания критика по поводу рассматриваемых в монографии истоков поэмы «Хорошо!». Указывая, что подробное изложение событий взятия Зимнего появлялось в печати, и ссылаясь, в частности, на статью О. Дзениса, А. Метченко сразу же подчеркивает иной подход поэта к освещению фактов. «... Будучи военным, — пишет автор, — О. Дзенис отмечал в проведении штурма стихийность, беспорядочность и недисциплинированность. Маяковский подошел к революции как к действию масс, а не армии, как к восстанию, а не военной операции, и это помогло ему увидеть в революции главное» (стр. 354). Вслед за этим анализируется сценка с путиловцем, глубоко раскрывающая характер новой, социалистической сознательности и дисциплины.

Ссылка на статью О. Дзениса занимает буквально микроскопическое место в обстоятельнейшем анализе поэмы «Хорошо!», направленном на то, чтобы полнее раскрыть реалистическую точность и глубину художественного обобщения. Автор отнюдь не приписывает поэту рабского копирования фактов (в чем упрекает его критик); напротив, А. Метченко убедительно доказывает, насколько, по существу, далек был Маяковский от лефовской теории «литературы факта».

Столь же необоснованны и утверждения критика, будто бы для Маяковского, широко вводившего песню в поэму «Хорошо!», первоисточником служил фельетон М. Кольцова. Чтобы убедиться в этом, достаточно раскрыть страницы 393—399 рецензируемой книги.

Что же касается последнего, казалось бы конкретного замечания Л. Лазарева по поводу фамилии одного из персонажей комедии Маяковского «Клоп», то следует сразу сказать, что оно несправедливо. Догадка исследователя интересна и плодотворна. Ссылка на статью Н. Устрялова позволяет убедительно подчеркнуть широкий политический аспект образа мадам Ренессанс (стр. 490).

Мы разобрали все те примеры, которыми критик пытался подтвердить свои обвинения в адрес автора монографии. Как можно убедиться, обвинения эти не имели под собой оснований. По существу, единственным «фундаментом» для всего нагромождения обвинений и упреков послужила процитированная Л. Лазаревым действительно неудачная фраза из книги А. Метченко: «... к середине двадцатых годов газета как главный источник знакомства с жизнью уступает место непосредственным наблюдениям». Вырванная из контекста, фраза эта может вызвать возмущения. Но в книге она имеет очень ограничительный характер, включена в ход авторских рассуждений о роли газеты в творческой работе поэта и предваряется следующим замечанием: «В период работы в Окнах сатиры РОСТА, — пишет А. Метченко, — газета часто служила главным источником, из которого поэт черпал материал своих агитплакатов на темы внутренней и международной жизни» (стр. 6). Как видим, мысль о сближении поэта с советской действительностью в данном случае не очень удачно сформулирована (ведь для Маяковского и в 1919 году огромное значение имели непосредственные наблюдения и впечатления), что и следовало отметить. Но разве одна неудачная фраза может служить основой для столь далеко идущих выводов? Тем более, что весь материал книги (и, добавим, ранее опубликованной работы, посвященной творчеству Маяковского 1917—1924 годов) убедительно показывает широту и многосторонность взаимосвязей поэзии Маяковского с советской действительностью. Последовательно осуществленное в монографии стремление полнее обосновать точность, жизненную достоверность поэтических образов Маяковского имеет чрезвычайно важное значение для понимания творческого метода поэта.

Л. Лазарев пишет о слабости эстетического анализа в книге А. Метченко, о том, что автор умеет «разобрать», но не умеет «собрать» поэтический «механизм», что анализ историко-литературного процесса дается ему лучше, чем эстетический. В этом критик видит главную причину «просчета» исследователя. С таким утверждением можно и нужно спорить, спорить прежде всего потому, что в нем заметна тенденция к неправомерному обособлению эстетического анализа. В книге А. Метченко эстетический анализ не является самоцелью, он всегда объединен с исследо-

ванием идейного замысла, содержания произведения, его связей с общественной жизнью, явлениями современной литературы. В одних случаях этот анализ тоньше, глубже, в других — слабее: книга большая, и в ней можно найти более и менее удачные места. Но самый подход автора к рассмотрению художественного произведения, само направление его анализа верны и плодотворны, а результаты во многом обогащают не только наши представления о Маяковском, но и все изучение советской литературы.

Особенно показательна в этом отношении четвертая глава — «Поэма о счастье», в которой анализируется «Хорошо!». Широкое рассмотрение новых задач, которые встали в этот период перед литературой и, в частности, перед поэзией, изучение «взаимодействия» между прозой и поэзией в канун первого послеоктябрьского десятилетия, анализ поисков и завоеваний советских поэтов на пути к овладению монументальными формами предвеляют исследование поэмы Маяковского. И уже в этих вступительных разделах находим меткие наблюдения, показывающие органическую взаимосвязь идейного замысла и художественной формы.

В анализе самой поэмы такой подход к художественному произведению проступает еще отчетливее. Каждая деталь художественной формы привлекает внимание исследователя не сама по себе, не своей самодовлеющей эстетической ценностью, а как часть единого поэтического целого, как средство художественного воплощения какой-то стороны общего идейного замысла. Даже такой, казалось бы, сугубо формальный момент, как звуковая «оркестровка» поэмы, очень тонко прослеженная А. Метченко, или же постоянно отмечаемое критиками и во многом по-новому раскрытое в монографии кольцевое обрамление центральной главы поэмы «Хорошо!» используются исследователем для углубленного рассмотрения идейно-эстетического содержания произведения. Наблюдения над композицией, языком, ритмикой, образными средствами органически включаются в широкий, многоплановый разговор о поэме «Хорошо!», так непосредственно связанной с литературой тех лет и вместе с тем значительно ее опередившей.

Конечно, работа А. Метченко может вызвать споры, полемику. Могут быть предложены другие решения поставленных вопросов, выдвинуты новые проблемы. Внося большой вклад в изучение литературы 20-х годов, автор далеко еще не исчерпал все возможности своей темы. Да это и невозможно в одном труде, ибо творческое наследие Маяковского чрезвычайно широко и многогранно.

В некоторых случаях даже очень интересные новые наблюдения автора монографии могут не совсем удовлетворить внимательного читателя. Возьмем, например, небольшой раздел о пейзаже. Убедительно опровергая мнение о том, что пейзаж у Маяковского не занимает заметного места и имеет по преимуществу пародийный характер, А. Метченко весьма тонко показывает своеобразие пейзажа в творчестве поэта, его социальную насыщенность, художественную синтетичность, внутреннюю связь с мыслью о трудовой деятельности человека. Необычайную крупноплановость, масштабность поэтического видения мира в поэзии Маяковского исследователь объясняет масштабностью самой эпохи революции, открывшей перед человеком безграничные возможности. «Маяковский был полон предчувствием неизбежного превращения человека Земли в человека Вселенной», — справедливо замечает автор, показывая космический размах некоторых образов поэта. После полетов Юрия Гагарина и Германа Титова в космические просторы еще более обособленной представляется эта мысль, а поэтический образ из стихотворения «Разговор на Одесском рейде...»:

Дремлет мир,  
на Черноморский округ  
синь-слезицу  
морем оброня, —

действительно, становится необычайно современным не только по масштабу художественного изображения, но и по той самой высокой — в прямом смысле этого слова — точке зрения, с которой смотрит поэт на мир.

Однако следует сказать, что в разделе о пейзаже ощущаешь некоторую недоговоренность. Раскрывая «два подхода к природе» в поэзии 20-х годов, А. Метченко вспоминает высмеиваемую Маяковским «мужиковствующих свору» и называет имена Н. Клюева и С. Клычкова. Конечно, Маяковскому глубоко чужда была такая поэзия, и в его пейзажных зарисовках несомненно ощущается полемически резко выраженное принципиально иное отношение к природе. Но едва ли эти имена могли быть поставлены в один ряд с именем Маяковского. Совершенно ясно, что, поднимая вопрос о пейзаже 20-х годов, нельзя обойти молчанием С. Есенина. Сопоставление двух больших поэтов потребовало бы, разумеется, более развернутого освещения темы, но вместе с тем позволило бы полнее и точнее передать исторический смысл поисков Маяковского и вместе с тем показать те «временные» наслоения, которые сказались в его поэтическом видении природы.

Можно высказать целый ряд и других замечаний, пожеланий и возражений, как по некоторым частным вопросам (в связи с рассмотрением отдельных произ-

ведений), так и по более крупным проблемам, начиная с проблемы нового творческого метода, борьбы за новый стиль и т. д. Но с авторской концепцией, опирающейся на огромный материал, спорить следует со столь же обстоятельным обоснованием своих возражений и во всяком случае не так, как это сделал Л. Лазарев.

Наследие Маяковского — это живая и действенная сила. Стихи поэта продолжают «поднимать, и вести, и влечь» многих и многих его читателей, они сражаются за коммунизм и наносят чувствительные удары по силам старого мира. Именно поэтому они и сейчас находятся под прицелом у наших идейных противников.

Но переменилось время — переменилась и тактика. Сейчас нельзя ни замолчать, ни просто отвергнуть Маяковского. Поэтому его изучают и «комментируют». Пользуясь недостаточной осведомленностью зарубежного читателя, до которого зачастую доходит лишь небольшая часть произведений поэта (стихи переводить трудно, стихи Маяковского с их своеобразным языком, ритмикой, интонацией — еще труднее), такие «комментаторы» пытаются извратить подлинный смысл творчества поэта революции, вопреки всем фактам представить его в разладе с советской действительностью. Для этой цели обычно чаще всего используется трагическая смерть Маяковского, причины которой весьма произвольно истолковываются в работах ряда зарубежных авторов.

В книге А. Метченко дается убедительная критика такого рода концепций, начиная от журналистских «эссе» и кончая комментариями ученого филолога. обстоятельный анализ фактов позволяет советскому исследователю раскрыть необъективность, предвзятость этих выступлений, убедительно показать новаторскую сущность поэзии Маяковского в целом и его любовной лирики в частности. Последняя глава книги, названная словами поэта — «Векам, истории и мирозданью», представляет собой пламенное утверждение высокого гуманизма поэзии Маяковского. И в то же время в этой главе с особенной полнотой раскрывается партийность его творчества, глубоко личное чувство ответственности поэта перед Родиной, ставшее для Маяковского одним из главных стимулов творчества.

А. Метченко вскрывает и те обстоятельства, которые так осложнили последние годы жизни поэта и в немалой степени способствовали его трагической гибели. К концу 20-х годов борьба литературных группировок превратилась в серьезный тормоз развития нашей литературы. Многие крупные писатели — даже такой глубоко партийный художник, как М. Шолохов, — подвергались нападкам рапповской критики. Серафимович, Гладков, Панферов и другие с возмущением писали о царившей в РАППе атмосфере, о склоках и травле честных художников.

Выход Маяковского из Лефа, его желание сбросить «обветшавшие лохмотья» групповых отношений, давно мешавшие поэту, повлекли за собой прекращение дружеских встреч с рядом близких людей. В РАППе Маяковский не встретил понимания и поддержки. Возглавлявший в то время эту организацию Л. Авербах и его единомышленники, литературная разнородность «вертодоксов», столь выразительно обрисованных в «Русском лесу» Л. Леонова, пытались всячески дискредитировать Маяковского; клеймо «попутчика» до конца жизни преследовало великого поэта пролетарской революции.

Все эти факты глубоко ранили Маяковского. Отзвуки этого пробивались порою и в стихи. Но поэт всегда оставался пламенным трибуном революции, борцом за новый, коммунистический мир. В этом отношении не было у него никаких колебаний, никакого раздвоения. Убедительно критикуя различные варианты концепции «двух Маяковских», столкновение между которыми будто бы привело к гибели поэта, А. Метченко показывает цельность поэтической натуры Маяковского, революционную целеустремленность его поэзии.

Новая книга о Маяковском представляет собой заметный вклад в литературоведческую науку. Широка охвата материала, доказательность аргументации, мастерство литературоведческого анализа, умение с партийных позиций осветить сложные вопросы развития литературы характеризуют труд исследователя. Можно с уверенностью сказать, что работа А. Метченко будет нужна и полезна и специалисту — историку литературы, и широкому кругу учителей, студентов — всем, кто любит и ценит русскую литературу.



# ХРОНИКА

## ТУРГЕНЕВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ОРЛЕ

Первая научная сессия тургеневедов на родине писателя была проведена в 1952 году в связи со столетним юбилеем отдельного издания «Записок охотника». Она положила начало дальнейшим встречам в Орле советских и зарубежных исследователей творчества И. С. Тургенева, состоявшимся в 1955 и 1958 годах. Результатом этих научных сессий явились два тургеневских сборника, выпущенных Орловским книжным издательством под редакцией академика М. П. Алексеева.

16—18 декабря в Орле состоялась очередная тургеневская конференция, организованная Государственным музеем И. С. Тургенева совместно с кафедрой литературы Орловского педагогического института.

Кандидат филологических наук М. О. Габель (Харьков) в докладе «Новая манера» И. С. Тургенева и его поиски большой повествовательной формы в первой половине 1850-х годов» высказала предположение, что свой первый роман «Два поколения» автор не отдал в печать не только по совету литературных друзей; здесь еще оказалась непреодоленной «старая манера» «Записок охотника». И. С. Тургенев понял, что основным его просчетом в «Двух поколениях» было изображение характеров в статике и неудачное их сцепление посредством любовной интриги. Начиная с 1852 года писатель ищет новых путей в изображении человеческого характера и находит их в «Муму» и «Постоялом дворе», где дает свою, тургеневскую, диалектику человеческой души, глубоко отличную от толстовской. Развитие характера у И. С. Тургенева основывается на отрицании того, как жил и поступал герой прежде, на выявлении в трагический момент тех его качеств, которые ранее были приглушены. В повестях и рассказах И. С. Тургенева тех же лет о «лишних людях» еще не наблюдается «новая манера». Автор окончательно освоил ее лишь в процессе работы над «большой повестью», как он первоначально определял роман «Рудин».

Доклады кандидатов филологических наук Е. И. Кийко и Л. Н. Назаровой (Ленинград) были посвящены академическому изданию полного собрания сочинений и писем И. С. Тургенева в двадцати восьми томах, осуще-

ствляемому Институтом русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР. Докладчики подробно остановились на принципах, положенных в основу всего издания, рассказали о работе по выявлению и собиранию тургеневских автографов, о текстологических разысканиях в связи с установлением окончательного текста и вариантов, а также о комментировании сочинений и писем И. С. Тургенева.

В. А. Громов (Орел) в сообщении «К творческой истории повести И. С. Тургенева „Переписка“» подверг анализу черновой автограф этой повести, стремясь установить творческую историю произведения, работу над которым автор начал в 1844 году и продолжал с большими или меньшими перерывами в течение целого десятилетия, вплоть до периода поисков так называемой «новой манеры».

Первая часть доклада кандидата филологических наук П. Г. Пустовойта (Москва) «Структура повествования в „Первой любви“ И. С. Тургенева» была посвящена теоретическому обоснованию самого понятия «структура повествования». Художественные произведения в настоящее время все чаще и чаще рассматриваются как «динамические, закономерно организованные структуры» (В. В. Виноградов). Структура повествования представляет собою то звено, которое связывает мировоззрение писателя с языком и стилем его произведений. Докладчик рассмотрел далее три плана и соответственно три повествовательных ключа в повести Тургенева «Первая любовь»: иронический (взаимоотношения героини с «рыцарями»); лирический (взаимоотношения Зинаиды с Владимиром); драматический, а в финале повести — трагический (взаимоотношения Зинаиды с отцом Владимира). Три повествовательных плана разной глубины соответствуют замыслу И. С. Тургенева — показать различные стадии человеческих чувств: от увлечения до страсти, вспыхнувшей внезапно и поглощающей человека целиком.

В докладе кандидата филологических наук О. Я. Самочатовой (Новозыбков) «„Записки охотника“ И. С. Тургенева и Лев Толстой (к проблеме стиля)» был поставлен вопрос о близости ранних повестей Толстого из народного быта, в частности «Утра поме-

щика», к «Запискам охотника», убедительно раскрыта связь между ними, сказавшаяся в подходе к изображению крестьянской жизни, в отношении обоих писателей к героям из народа, в способах обрисовки характера действующих лиц и в стилистической манере художников. О. Я. Самочатова показала также и жанровое своеобразие произведений, различие в средствах психологического анализа, разный подход писателей к освещению взаимоотношений помещика и крестьянина.

Кандидат филологических наук С. Е. Шаталов (Арзамас) в докладе «Особенности жанра и композиции романа „Дворянское гнездо“» обратил внимание на то, как драматическая повесть о любви Лизы и Лаврецкого перерастает в роман об одном из дворянских гнезд. Рамки повествования постепенно раздвигаются с помощью многочисленных систематических отступлений («родословных»), в которые вводятся зарисовки старинного и новейшего быта, очерки политических и культурных сдвигов в русском дворянстве. Повесть о любви автор насыщает материалом, не имеющим прямого отношения к этой любовной коллизии. Напротив, она сама становится одним из проявлений духовной жизни и взаимоотношений помещного дворянства. Именно через такие «сцены из жизни», а также через циклы рассказов, повестей, очерков русская литература шла к большим социальным полотнам.

В докладе кандидата филологических наук А. В. Недзведского (Одесса) «И. С. Тургенев и Марко Вовчок» была подробно прослежена история личных и творческих взаимоотношений классиков русской и украинской литератур. Напомнив о том, что Марко Вовчок — землячка И. С. Тургенева, А. В. Недзведский выразил пожелание увековечить ее память также и в городе Орле.

Кандидат филологических наук Е. М. Ефимова (Орел) в докладе «Роман И. С. Тургенева „Новь“ как полемическое выступление против „Бесов“ Ф. М. Достоевского», подвергнув анализу работы своих предшественников, подчеркнула, что не следует ограничиваться лишь освещением разного отношения писателей к революционной молодежи. Романом «Новь» И. С. Тургенев продолжал начавшийся еще в 1867 году, в Бадене, спор с Ф. М. Достоевским по коренным вопросам мировоззрения, который в конечном счете сводился к вопросу о том, что одолеет — наука, т. е., по Тургеневу, разум, просвещение, свобода, или — религия, т. е. мракобесие и реакция. Увидев в «Бесах» квинтэссенцию идеологической системы, враждебной своим убеждениям, Тургенев вступил с Достоевским в спор, отстаивая разум против веры. Всем своим романом «Новь» он утверждал, что именно разум является надежным руководителем человека в поисках путей обновления России.

Доклад А. Б. Муратова (Ленинград) «Гейдельбергские арабески в романе И. С. Тургенева „Дым“» привлек к себе внимание новыми архивными материалами и документами, которые дали возможность исследователю раскрыть истинный смысл полемической направленности тургеневского романа.

В докладе Л. Н. Афонина (Орел) «Творчество И. С. Тургенева в оценке Н. С. Лескова», помимо систематизации известных отзывов Н. С. Лескова об И. С. Тургеневе и его творчестве, была почти полностью приведена и обстоятельно проанализирована большая забытая статья Н. С. Лескова, всецело посвященная писателю-земляку. Эта статья появилась в мартовском номере «Церковно-общественного вестника» за 1878 год в связи с письмом И. С. Тургенева в одесскую газету «Правда» о прекращении своей литературной деятельности. Л. Н. Афонин остановился также на содержании незаконченного рассказа Н. С. Лескова «Богинька Рунькэ» (хранится в ЦГАЛИ), начало которого представляет собою литературный разговор, вызванный чтением повести И. С. Тургенева «Песнь торжествующей любви».

Сообщение кандидата филологических наук А. В. Кушакова (Орел) «Из истории восприятия творчества И. С. Тургенева в польской передовой критике второй половины XIX века» было посвящено подробному рассмотрению статьи об И. С. Тургеневе польского критика Бронислава Белоблоцкого (1861—1888), который был связан с первой марксистской партией польского рабочего класса «Пролетариат». Факты развития русской литературы и критики давали Белоблоцкому большой конкретный материал для эстетических обобщений, содействовавших развитию реализма в польской литературе. Неверно было бы считать статью Белоблоцкого о Тургеневе лишь добросовестной компиляцией высказываний русских революционных демократов или представителей революционного народничества. Именно самостоятельная литературно-критическая мысль Белоблоцкого сделала его статью о Тургеневе лучшим из того, что сказала о великом русском писателе польская критика второй половины XIX века.

Старший научный сотрудник музея И. С. Тургенева Б. В. Богданов (Орел) в докладе «Материалы к биографии И. С. Тургенева и истории села Спасское-Лутовиново» сделал обзор архивных материалов и документов, которые содержат новые данные о родословной писателя по линии матери, об истории Спасского-Лутовинова, а также об отношении И. С. Тургенева с крестьянами этого села и о проведении там земельной реформы 1861 года.

В докладе кандидата филологических наук И. С. Козырева (Орел) «Об употреблении модальных частиц „де“»,

„дескать“, „мол“ в „Записках охотника“ И. С. Тургенева) были охарактеризованы лексико-синтаксические, стилистические и эмоциональные функции названных частиц.

В обсуждении докладов приняли участие Г. М. Михалев, Г. Б. Курляндская, Е. М. Ефимова, Б. В. Богданов (Орел), П. Г. Пустовойт, Н. П. Лощинин, Н. Ф. Пияшев (Москва), Е. И. Кийко, Л. Н. Назарова (Ленинград), О. Я. Са-

мочатова (Новозыбков), С. Е. Шаталов (Арзамас), А. А. Сахалтуев (Ясная Поляна), Г. А. Васильева (Сумы), М. О. Габель (Харьков).

Подводя итоги конференции, Л. Н. Афонин отметил ее значение для развития тургеневедения, дальнейшие успехи которого будут теперь во многом зависеть от выхода в свет академического издания сочинений и писем И. С. Тургенева.

В. ГРОМОВ

## ХII ВСЕСОЮЗНАЯ НЕКРАСОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

27—29 января 1962 года в Ленинграде состоялась очередная Всесоюзная некрасовская конференция, организованная Институтом русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР совместно с Государственным мемориальным музеем Н. А. Некрасова. В ней приняли участие представители около 40 городов Советского Союза.

Конференция открылась докладом члена-корреспондента АН СССР Н. Ф. Бельчикова (Москва) «Некрасов и современность». Докладчик осветил значение наследия великого поэта для создания культуры коммунизма. Н. Ф. Бельчиков остановился также на итогах и задачах советского некрасоведения, несомненным достижением которого является 12-томное издание сочинений поэта, богатое историко-литературными и справочными материалами, а также создание больших работ по вопросам биографии и творчества Некрасова. Современное некрасоведение приняло широкий размах — Некрасова изучают в РСФСР, на Украине и в Белоруссии, Казахстане и Карелии, Литве и Узбекистане. В последнее время с особенным успехом исследуются проблемы художественной формы в поэзии Некрасова. В заключение доклада Н. Ф. Бельчиков проанализировал некоторые последние работы о Некрасове.

Доктор филологических наук Ф. Я. Прийма (Ленинград) в своем докладе «Общественно-литературная позиция Некрасова в 1860—1870 годах» отметил, что только благодаря работам советских литературоведов Некрасов предстал перед нами не рефлектирующим и кающимся дворянином, а смелым певцом поднимающихся к борьбе народных масс. Ф. Я. Прийма считает необходимым поднять вопрос о непосредственном, практическом участии Некрасова в революционном движении своего времени и тщательно собрать все относящиеся к этой теме факты. Докладчик анализирует переписку Некрасова и Добролюбова, стихотворение «Тургеневу», речь Некрасова на похоронах Добролюбова, выступления поэта на литературных вечерах, которые могут быть расценены как сознательная рево-

люционная пропаганда. Особенный интерес присутствующих вызвало сообщение Ф. Я. Прийма о «Послании старца Кондратия», «раскольничьей рукописи» А. Н. Моригеровского, политического ссыльного, в судьбе которого принимал участие Некрасов. Исследователь считает это послание четвертой революционной прокламацией «Земли и воли» 60-х годов. В начале 1861 года петербургским революционным центром была предпринята первая попытка перехода к формам нелегальной пропаганды. Был разработан план обращения к четырем группам населения: крестьянам, раскольникам, солдатам и молодежи. Три прокламации были известны и напечатаны. Теперь благодаря разысканиям Ф. Я. Прийма можно считать известной и четвертую прокламацию, адресованную раскольникам.

В заключение доклада Ф. Я. Прийма остановился на проблеме народности и национального своеобразия творчества Некрасова.

С большим интересом было встречено присутствующими выступление директора Некрасовского музея-заповедника в Карабихе А. Ф. Тарасова, сделавшего сообщение «Некрасов в борьбе с теорией официальной народности (образ Савелия, богатыря Святорусского)». Это сообщение — часть большой работы А. Ф. Тарасова «О местных источниках поэмы Некрасова „Кому на Руси жить хорошо“», которая была в сокращенном виде изложена исследователем в докладе на Некрасовской конференции 1960 года. На основании многочисленных разысканий А. Ф. Тарасов пришел к выводу, что в процессе работы над текстом поэмы Некрасов связывал место ее действия с реальной северо-западной частью Костромского края. Костромская Корежина во времена Некрасова считалась надежным оплотом русского царизма. Именно в этих местах родился Иван Сусанин. Родом из Костромской губернии был и Осип Комиссаров. Эти два имени широко использовались сторонниками теории официальной народности для доказательства того, что любовь к царю и готовность пожертвовать собой за

него является одной из характерных черт русского крестьянина. Сопоставление негнбаемого бунтаря Савелия с Иваном Сусаниным имеет поэтому в поэме большой политический и полемический смысл: вот кого в действительности родит «корейская Русь», вот каково в действительности русское крестьянство.

Первое заседание конференции закончилось сообщением кандидата филологических наук А. В. Попова (Ленинград) «О двух направлениях в сюжете поэмы „Кому на Руси жить хорошо“».

На втором заседании были заслушаны три доклада. Доклад кандидата филологических наук А. И. Груздова (Ленинград) «Сюжет и характер в поэме Некрасова „Княгиня Трубецкая“» представлял собой часть большой работы о «Русских женщинах». Долгое время предполагалось, что основные структурные элементы композиции и сюжета «Русских женщин» обусловлены историческими материалами, положенными в основу поэм. А. И. Груздев сдвигает эту точку зрения ошибочной. В «Княгине Трубецкой» отчетливо определены и сложно взаимодействуют две сюжетные линии. Одна из них — последовательно развивающиеся события, которые происходят на глазах у читателя. Другая соткана из воспоминаний и снов героини. А. И. Груздев поставил задачей своей работы показать идейно-художественный смысл и значение сюжетного движения для раскрытия характера героини, характера, в котором отразилось сложное переплетение судеб народа с судьбами передовых людей 20-х годов XIX века.

Кандидат филологических наук И. В. Шамориков (Москва) в докладе «Антирелигиозные мотивы в творчестве Некрасова» коснулся, к сожалению, только одной стороны темы — резко критического отношения Некрасова к церкви и духовенству. Вся сложность отношения представителей передовой русской мысли XIX века к религии не получила отражения в докладе. В результате остались необъясненными такие произведения Некрасова, как «Молебен», «Тишина» и т. д. Не был освещен вопрос о переосмыслении в творчестве Некрасова религиозной тематики.

Доклад «О принципах составления словаря Н. А. Некрасова» прочел Г. Г. Мельниченко. Структура словаря в целом, по предложению Г. Г. Мельниченко, должна быть следующей: 1) предисловие, 2) вводная статья о содержании и построении словаря, 3) условные сокращения, 4) самый словарь, охватывающий все слова, имеющиеся в 12-томном собрании сочинений Некрасова (Гослитиздат, 1948—1953), 5) приложения. В настоящее время кафедра русского языка Ярославского педагогического института, возглавляемая Г. Г. Мельниченко, работает над составлением «Указателя слов к полному соб-

ранию сочинений Н. А. Некрасова», который на первых этапах работы должен временно заменить собой полный словарь.

На втором заседании были заслушаны также два сообщения: «„Замолчки, муза мести и печали!“ (К вопросу об идейно-психологическом переломе в творчестве Некрасова)» кандидата филологических наук Г. П. Верховского (Ярославль) и «Некрасов и Костромской край» кандидата филологических наук Н. Н. Скатова (Кострома).

Третье заседание открылось докладом кандидата филологических наук Н. В. Осмакова (Москва) «Роль Некрасова в формировании народнической литературы». Не являясь родоначальником народнического течения в литературе, Некрасов, как утверждает Н. В. Осмаков, несомненно играл заметную роль в его подготовке и становлении. Поэт ярко выраженного демократического направления отразил наметившиеся в литературе и жизни новые тенденции, определившие впоследствии основное содержание народнической литературы. Писатели-народники углубили и развили чисто народнические элементы этих тенденций, что привело к снижению художественно-эстетической ценности их произведений, выразившемуся в никогда не свойственной Некрасову идеализации патриархальности русской деревни, натурализме и своеобразной разновидности пассивного романтизма.

На вечернем заседании 28 января была рассмотрена группа вопросов, связанная с проблемой «Некрасов и украинская литература». Этому были посвящены доклад и сообщение одесских литературоведов: кандидата филологических наук А. В. Нездведского — «Шевченко и Некрасов» и Л. Л. Ленюк — «Новое о связях Некрасова с Украиной». В сообщении Л. Л. Ленюк были приведены интересные факты восприятия творчества Некрасова прогрессивной украинской молодежью, а также херсонской прессой и общественностью. Кроме того, Л. Л. Ленюк рассказала о найденной рукописи статьи о Некрасове одного из активных организаторов Южнороссийского рабочего союза М. П. Сквери. Кандидат филологических наук О. Е. Быкова (Черновцы) прочла доклад «Некрасов на Буковине». Э. Л. Немпровская (Одесса) рассказала в своем выступлении о роли Некрасова в творчестве украинского поэта конца XIX века Владимира Самийленко. Кроме того, на вечернем заседании 28 января были заслушаны сообщения кандидата филологических наук Т. А. Бесединой (Вологда) — «К вопросу о типизации в реалистической литературе (образ Матрены Корчагиной)» и сотрудника музея поэта С. Д. Дрожжина, Л. А. Ильина (Калинин) о забытом обращении Некрасова к читателям по поводу пере-

издания в апреле 1871 года без его ведома сказки «Баба Яга — костяная нога». Обращение Некрасова было опубликовано в 137-м номере «Санкт-Петербургских ведомостей» за 1871 год и ни разу не привлекало с тех пор внимания исследователей (в частности, оно не было включено в 12-томное собрание сочинений и писем поэта).

Утреннее заседание 29 января было открыто докладом доктора филологических наук К. Н. Григорьяна (Ленинград) «К вопросу о жанрах в лирике Некрасова». Жанровая природа поэзии Некрасова, проанализированная докладчиком на примерах трансформации традиционных жанров, чрезвычайно сложна. Для поэзии Некрасова характерно слияние различных стилевых и жанровых оттенков. Поэт русской революционной демократии, по мнению К. Н. Григорьяна, двигался в двух направлениях: к созданию новой гражданской лирики и лиро-эпической поэмы из народной жизни. Наибольшей высоты достигло творчество Некрасова именно в этих двух жанрах. Ими же определяется некрасовский стиль и некрасовский период в развитии русской поэзии.

В докладе кандидата филологических наук С. А. Червяковского (Горький) «Поэмы Некрасова „Недавнее время“ и „Современники“ (из наблюдений над стилем)» была сделана попытка проанализировать жанрово-композиционные особенности поэм.

Большой интерес у присутствующих вызвали сообщения кандидатов филологических наук Б. О. Кормана (Борисоглебск) «Об эмоциональном тоне лирики Некрасова (к постановке проблемы)» и В. Н. Касаткиной (Томск) «Некрасов и Тютчев». Б. О. Корману представляется особенно плодотворным при изучении лирических произведений обращение к эстетической теории Белинского. Подобно тому как в отдельном лирическом стихотворении есть единство настроения, за которым стоит известная мысль, так в совокупности лирических стихотворений поэта есть более высокое «сквозное» единство эмоционального тона. Этот взгляд присутствует в статьях Белинского как исходная точка и метод изучения. Отражение этого подхода Белинского можно проследить в некоторых суждениях критики о Некрасове.

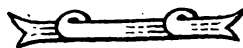
В сообщении В. Н. Касаткиной на основе сравнения эстетических идеалов Тютчева и Некрасова был сделан ряд тонких и интересных наблюдений над

стилем Некрасова, расширяющих наше представление о его художественном методе. Реализм Некрасова носит, по мнению В. Н. Касаткиной, синтетический характер. Романтическое начало, романтика революционно-демократического видения жизни входит в законном основании в реалистическую в целом эстетическую систему поэта.

На заключительном заседании конференции были заслушаны доклад кандидата филологических наук Г. В. Краснова (Горький) «Некрасов и писатели демократического лагеря 60-х годов (особенности изображения народа в русской литературе)» и сообщение главного библиографа Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина кандидата филологических наук К. К. Добровольской «О состоянии некрасовской библиографии». К. К. Добровольская подчеркнула, что в последнее время библиография о Некрасове достигла значительных успехов. В первую очередь, это относится к фундаментальной работе Л. М. Добровольского и В. М. Лаврова и библиографиям, опубликованным в «Литературном наследстве». Докладчику представляется весьма полезным опубликование в III томе некрасовского сборника работы, дополняющей указатель Лаврова и Добровольского обзором литературы за 1950—1958 годы. Насущнейшей задачей некрасовской библиографии К. К. Добровольская считает издание библиографии переводов и зарубежных работ о Некрасове, а также дополнение и переиздание «Летописи жизни и творчества Некрасова».

На конференции 1962 года было заслушано 11 докладов и 11 сообщений. В прениях приняли участие доктора филологических наук Д. В. Чалый (Киев), В. А. Малкин (Воронеж), кандидаты филологических наук О. К. Андриенко (Минск), Б. Я. Бухштаб (Ленинград), Н. М. Гайденок и М. Н. Зубков (Москва), Г. А. Костин (Воронеж), Л. А. Розанова (Иваново), В. Г. Прокшин (Уфа), директор Некрасовского музея в Ленинграде О. В. Ломан и др. В выступлениях подчеркивалась плодотворность основного направления конференции, выразившегося в стремлении сочетать теоретическое исследование важнейших проблем творчества Некрасова, углубленное изучение условий общественной и культурной жизни его времени с тщательным анализом отдельных произведений и художественного мастерства поэта.

*К. Бижбулатова*





**О КОНКУРСЕ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ИМЕНИ  
Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО**

Президиум Академии наук СССР сообщает, что в 1962 году проводится конкурс на соискание премии имени Н. Г. Чернышевского в размере 2000 руб., присуждаемой советским ученым за научные труды по общественным наукам.

В конкурсе могут участвовать как отдельные лица, персонально, так и небольшие коллективы авторов.

Право выдвижения кандидатов на премию предоставляется научным учреждениям СССР и союзных республик, высшим учебным заведениям, научным обществам, действительным членам и членам-корреспондентам Академии наук СССР и академий наук союзных республик, научным советам по важнейшим проблемам.

На соискание премии представляются: опубликованные после 1958 года научные работы в трех экземплярах; мотивированное представление, включающее научную характеристику работы, ее значение для развития науки и народного хозяйства, а также краткие биографические сведения об авторах с перечнем основных научных работ.

Материалы на соискание премии направлять в Президиум Академии наук СССР (Москва, В-71, Ленинский проспект, 14).

Срок представления работ до 1 ноября 1962 года.

Справки по телефону В 2-25-86.

О П Е Ч А Т К И

<i>Страница</i>	<i>Строка</i>	<i>Напечатано</i>	<i>Должно быть</i>
2	5 сверху	<b>Я. Лаурье</b>	<b>Я. Лурье</b>
3	15 снизу	России	России
10	13 снизу	класовых	классовых
10	7 снизу	всей острей	все острей
13	28—29 сверху	напечтана	напечатана
24	21 сверху	«разлагающийся»	«разлагающийся»
29	16 сверху	рафератов	рефератов
32	24—25 сверху	в Александровском	в Александровском

Русская литература, № 2, 1962 г.